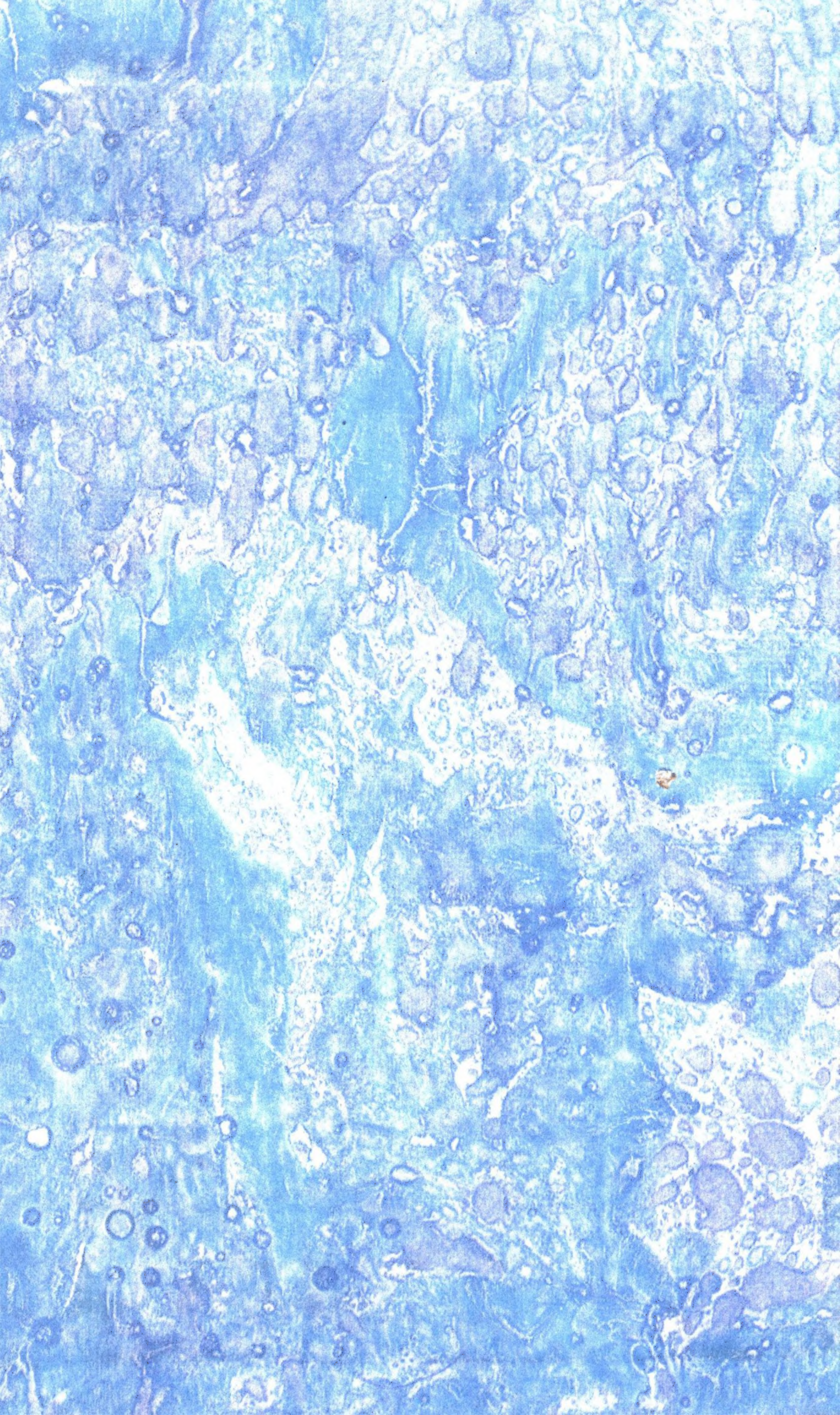
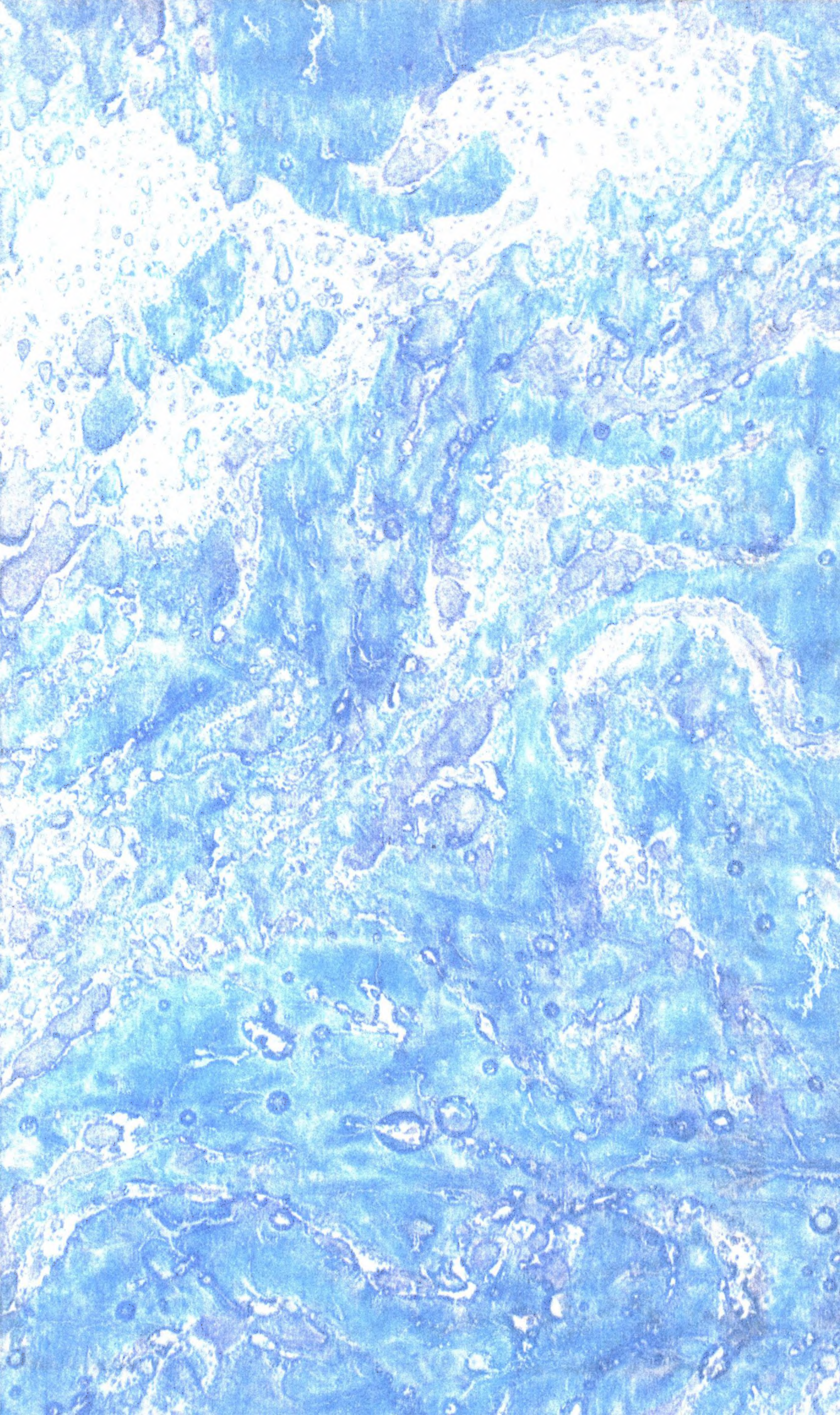

Леонид
Соболев
Морская
душа
рассказы







Леонид
Соболев

Морская душа
(рассказы)

★

Москва

„Современник"
1975



„Современник" Москва 1975

Р2
С54

Соболев Л. С.

С54 Морская душа. Рассказы. М., «Современник», 1975.

494 с., 1 л. портр.

В основе каждого рассказа сборника «Морская душа» выдающегося советского писателя Леонида Сергеевича Соболева лежит подлинный факт и речь в нем идет о реальных людях. По выражению самого писателя, «Морская душа» — это огромная любовь к жизни...» И каждый из рассказов сборника основной своей гранью отражает какое-то из подмеченных Леонидом Соболевым качеств этой души.

$С\frac{70302-090}{М106(03)-75}83-75$ **Р2**

Неизменному другу — О. М., как всегда.

Моря и океаны

1



тепь уходила вдаль, обширная и ровная, как море. Желто-зеленая и плоская ее гладь упиралась в синее жаркое небо, отмечая горизонт безупречной линией, которая присуща только морю.

Но воздух был сух, и море было далеко.

Мы были в северо-восточном углу Казахстана, у самой китайской границы, почти в центре европейско-азиатского материка. Степи, пустыни, горы, поля, холмы, джунгли, тундры — невообразимые пространства земли, поросшей зеленью, лесами или просто голой,— отделяли нас от какого-либо моря: три с половиной тысячи километров было до Балтийского моря, столько же — до Черного и до Японского, две с половиной тысячи — до Карского на севере и до Индийского океана на юге. Даже Каспий — это внутреннее, родное степям море — и тот плескался где-то в двух с половиной тысячах километров. Самой обширной акваторией была здесь запруда арыка у мельницы. В ней мы только что выкупались, соблюдая очередь: водное это пространство могло одновременно вместить не более пяти пионеров (или трех пионеров и одного писателя).

Тем удивительнее, казалось, была тема нашего разговора. Здесь, в равновеликом удалении от морей, мы разговаривали о Военно-Морском Флоте, о типах ко-

раблей, о войне на море, а также о расцветке сигнальных флагов.

Беседа началась, конечно, с метрополитена, потом по ассоциации с большим городом свернула на Ленинград, и тут рассудительный Миша, сын пограничника, взглянул в корень.

— А у вас ведь тоже близко граница. Она по морю идет, да? Как вы ее там защищаете?

Пионер, выросший у границы, не мог не задать этого конкретного и беспокойного вопроса, услышав про город, находящийся вблизи границы. Сын пограничника, он угадал ту настороженность, в которой непрерывно пребывал долгие годы весь Краснознаменный Балтийский флот. Граница была тогда действительно близко. Слишком близко...

Неподалеку от огромного города Советской страны граница бежала в тревожных шорохах кустов, в невнятной тени деревьев, по непроходимым как будто финским болотам — и обрывалась в воду... Море! Как оно манит всех, кто боится шороха кустов, кто за каждым деревом чует пристальный взгляд пограничника и черный кружок трехлинейного дула, останавливающий всякое движение. Море — бесшумная, не сохраняющая следов, удобная, гладкая вода, в которой исчезает граница!..

Но в этой воде, как большой восклицательный знак, возникает длинный и узкий остров. Молчаливое многоточие фортов возле него выразительно подтверждает это немое предостережение. Невидимые на воде, четко очерчены на картах круги обстрела орудий, и стыки их тонких линий проводят по морю ту же непроходимую черту, которая на земле зовется границей. Верно и твердо они ведут ее до другого берега и передают опять в шорох кустов, в тень деревьев, в обрывы и в болота — и в пристальный взгляд пограничников.

Если вечером смотреть из Кронштадта в сторону Ленинграда, там дрожит в небе непрекращающимся северным сиянием огромное зарево огней. Синие молнии двух тысяч трамвайных дуг, непрестанно выключаемый и зажигаемый свет в сотнях тысяч квартир, огненные отблески цехов вечерней смены, мчащиеся лучи автомобильных фар, окна театров и домов культуры, вспыхивающие в антрактах,— все эти незаметные в отдельности изменения света, сливаясь, заставляют зарево работающего

и одновременно отдыхающего города действительно дрожать в ночном небе живым дыханием сильного и счастливого гиганта.

Взглянешь в сторону моря — там тихо и черно. Только неустанно и равномерно мигают маяки, а зимой — смутная белая гладь. И что в этой черноте или за невнятной этой белесоватостью — неизвестно. Но внезапно резким, как взмах хлыста (и, кажется, даже свистящим), световым ударом прорезает черноту неба и моря голубой узкий конус прожектора. Прорежет, задрожит, замрет — и поползет, ощупывая ясным своим взором каждую волну, каждую льдину, каждый сугроб... И тогда, обернувшись опять на трепетное зарево города Ленина, всем сердцем ощутишь благодарность к нашим военным огням, узким, быстрым и разящим, как дальние и верные мечи.

Граница была слишком близко.

Сколько-то лет назад в белесоватой мгле бежала по льду обыкновенная собака. Голубой меч прожектора ударил ее в бок. Люди от такого удара обычно падают в снег ничком, ожидая спасительной темноты. Собака же бежала дальше, помахивая хвостом,— веселое, милое и невинное существо. Но часовой на форту вскинул винтовку и выстрелил.

Собачку сволокли на форт и внимательно осмотрели, ибо часовой-краснофлотец сообщил, что собачку эту он давно заприметил: то в Ленинград бежит, то на тот берег. И нашли в ошейнике собачки письма — содержания отнюдь не любовного. Разводящий не поленился после этой находки смотаться на пост к часовому и подтвердить, что догадки его оказались справедливыми... И продолжал краснофлотец маленького форта стоять на посту, лицом к белесой мгле, а за спиной его продолжал гореть живым заревом, полнеба озаряя, богатый и сильный советский город.

Через много лет, в декабре 1939 года, на уютной даче в Райволе мы нашли следы этой собачки: протоколы, документы и копии писем диверсантам и шпионам в Ленинграде и их донесения оттуда. Здесь был центр контрреволюционной антисоветской организации — под боком у второй столицы Советского Союза, в расстоянии двух часов собачьего бега.

Граница была слишком близко. Из невинных «дачных мест» — Териоки, Оллила, Куоккала — можно было наблюдать всю жизнь и боевую учебу Балтийского флота. Отсюда можно было подготовлять новый удар в самое сердце Красного флота — удар по Кронштадту, подобный тому, какой был нанесен 18 августа 1919 года.

В то лето обыкновенный календарь, висевший в моей каюте на «Андрее Первозванном» и с трогательной во время гражданской войны педантичностью сообщавший дни поминовения святых и данные о фазах луны, имел еще особую кронштадтскую рубрику. Вот записи на его листках:

«**Июнь, 18.** 5 самолетов, разведка.

22. На рассвете — налет. Бомба за «Андреем» на стенке и несколько в городе. Пожар сторожки.

Июль, 7. Была разведка. Без бомб.

23. Бросали по гавани. Мимо.

29. Несколько гидропланов. Бомбы на пароходном заводе и в гавани у кораблей.

30. Летали, очевидно, разведка.

31. То же.

Август, 1 (воскресенье). На рассвете тревога. Бомбы легли в гавани и на улицах. К вечеру — повторение, в Летнем саду убито 11 и ранено 12 — было гулянье с музыкой.

2. Бросали по гавани. Все мимо.

3. Разбудили утром бомбами. Теперь новость — к вечеру вылетают из заката, в лучах солнца, но бомбят плохо — все в воду.

4. Бомбы в гавани и у доков.

5. Опять бенефис: утром и вечером. Бросали по кораблям, по докам и заводу.

6. Удивительно: чудесная погода, а самолетов не было.

7. Отработали вчерашнее: три налета. Много бомб, опять у завода и доков. Наверное, целят в подлодки.

8. Мотались на вельботе на южный берег за картошкой. Обменял штаны на три пуда. На обратном пути — шторм, едва дошли. Огромный дым над Кронштадтом, оказалось — горит Лесная биржа. Горела всю ночь. Самолетов не было — шторм; биржу, очевидно, подожгли.

9. Дежурил на зенитной батарее. Два налета, бомбы падали в гавань, а на нас сыпались стаканы шрапнели эсминцев.

10. Кидались. В гавань и в город.

11. Гавань и город — 9 бомб.

12. То же — 8.

14. Два налета. Гавань и доки. Попадание в пневматическую трубу у Алексеевского дока — свист и смерч песка, пока не выключили воздух.

15. Кидали по гавани и докам. Смотрел пробоину в палубе «Зари Свободы»,— вероятно, полупудовая бомба...»

Такая тренировка могла приучить самую боязливую кронштадтскую старушку, торгующую семечками и подозрительными лепешками, оставаться на насиженном пеньке в Петровском парке и не срываться с него с причитаниями и воплем при басистом гуде в синей выси над головой. Так оно и стало в действительности.

Шестнадцатого и семнадцатого августа налетов не было, хотя солнечные дни особенно настораживали внимание сигнальщиков. Впрочем, на «Андрее» воздушную тревогу сыграли. Но причиной ее оказался крохотный паучок, прельстившийся полдневной тишиной и повисший на паутинке в двух дюймах от стекол подзорной трубы, направленной на запад. Случай, может быть, пустяковый. Но он ясно показывает, как были напряжены ожиданием неминуемого налета нервы сигнальщиков. Днем сигнальщикам приходилось до слез напрягать зрение, на рассвете — до боли в ушах напрягать слух: в рассветной мгле самолеты обнаруживались по гудению в высоте (звукоуловителей тогда еще не было).

Такое гудение в бледном небе и разбудило Кронштадт в три часа сорок пять минут 18 августа. Небо гудело от края до края. Прерывистые линии светящихся пуль пронизывали его во всех направлениях. Лучи прожекторов, бесполезные уже в рассветном сумраке, лихорадочно метались в облаках.

Бледная неясность рассвета, томительное гудение скрытых в небе самолетов, звонкое тявканье орудий, перебивающих друг друга, огненные столбы свистящих бомб, разрывающихся в городе, в гавани, на воде и на стенках, самая внезапность и мощность этой невидимой атаки были зрелищем диким, фантастическим и волнующим.

Глаз не поспевал следить за разрывами бомб. Сознание не поспевало отмечать последовательность событий. И, как всегда в жестоком бою, время исчезло: не то оно остановилось, не то мчалось в бешеном темпе. Казалось, все происходило сразу: ослепительно и взмывающе ударил в грудь теплый воздух, а в глаза — белый свет бомбы, взорвавшейся в двух саженях за нашей кормой: тяжело ухнуло где-то справа, за стенкой гавани,— и за белыми трубами учебного судна «Океан» поднялся огромный столб воды, а когда он сел, далеко за ним, прямо на воде, встало ровное и высокое пламя, и кровавый столб его осветил спокойную воду. Но понять, почему на

рейде, прямо на воде, стоит, полыхая, огонь, стоит и не оседает,— помешало щелканье неизвестно откуда направленных пуль, тарахтевших по броне боевой рубки. Старший помощник кинулся за рубку, увлекая нас под ее броневую защиту.

По темной воде гавани, в неверных отблесках рассвета, залпов и взрывов, с необычайной скоростью скользил неуловимых очертаний предмет — необъяснимый, чудовищно быстрый на поворотах. С него-то и летели к нам пули, непрерывным дождем стучавшие по броне рубки. «Гидроплан!» — крикнул кто-то, и дула орудий резко опустились вниз, ловя «предмет», чертом вьющийся в тридцати саженях от них.

И тут надо добрым словом помянуть Льва Михайловича Галлера — командира «Андрея Первозванного». Спокойствие не изменило ему и в этой неразберихе невиданной атаки. Он рванулся к казематам орудий, перебежав под ливнем пуль, и крикнул: «Не стрелять! Заградители!» — и крикнул вовремя: в горячке боя готовы были удариться в воду снаряды, а ударившись — неминуемо отскочить от нее рикошетом и попасть в стоящие в том углу гавани заградители, до палуб набитые минами...

Рядом с мостиком вдруг всплеснул широкий столб воды, и «Андрей» тяжко содрогнулся. Глухо рокоча, вода полилась в развороченную в броне дыру, и на линкоре забили колокола водяной тревоги.

Все это произошло как бы мгновенно. Фантастичность этой ночи взрывов, залпов и непонятного пламени, стоящего прямо на воде, усиливалась этим необъяснимым быстрым предметом, скользящим по гавани. В эти мгновения можно было предполагать самые невероятные вещи. И мысль согласилась с догадкой, кинутой кем-то среди взрывов: гидроплан! Гидроплан, самолет, снабженный поплавками, спустился в гавань — гидроплан, вооруженный торпедой!

Но это, как узнали мы позже, был один из ворвавшихся в гавань быстроходных торпедных катеров — новое, рожденное в конце империалистической войны оружие, еще неизвестное нам. Восемь таких катеров были приведены в Териоки, на финский берег, нависающий над Петроградом, в тылу его морской крепости Кронштадт. Восемь минут требовалось на перелет самолетов от Биорке до Кронштадта и двадцать — на переход ка-

теров из Териок до Кронштадтской гавани. Граница была слишком близко, заманчиво близко, чтобы не использовать такой близости.

Не зная этого нового оружия, мы могли воспринимать события этой ночи только так, как мы их и приняли: всем казалось, что враг только в воздухе, что все эти взрывы и пули сыплются не иначе как сверху. Мы слишком привыкли связывать следствие — взрыв — всегда с одной и той же причиной: с воздушным налетом. Так и на этот раз никому не пришло в голову назвать быстрый предмет на воде иначе как «гидроплан», и врага мы могли искать только в воздухе.

Тем более замечательно, что на эскадренном миноносце «Гавриил», стоявшем на рейде в сторожевом охранении ворот гавани, подумали об иной причине взрыва.

«Гавриил» с вечера вышел из гавани и стал на якорь на рейде против ворот. Услышав на рассвете, как и все, гуденье внезапно появившихся над гаванью самолетов,— более того, ведя сам бой с двумя из них,— «Гавриил» сумел, однако, обнаружить катера и уничтожить часть их.

Кто именно из военморов «Гавриила» различил в неверной мгле рассвета два катера, с необычайной, изумляющей быстротой мчавшихся от Петрограда к гавани, осталось для истории неизвестным. Эта поразительная внимательность в горячей обстановке внезапного боя с самолетами, ценная тем более, что замеченный неприятель появился со стороны Петрограда, с тыла, откуда его менее всего можно было ожидать,— эта поистине сторожевая служба наполовину сорвала задуманный противником план, обусловленный заманчивой близостью границы.

А план был таков. Семь торпедных катеров, обогнув остров Котлин с востока, подойдя вплотную к Петрограду, должны были появиться в гавани в момент разгара воздушной атаки самолетов, вылетевших из Биорке. Торпеды катеров предназначались всему боевому ядру, остаткам Балтийского флота, притиснутого к самым стенкам Кронштадта: линкору «Петропавловск» (ныне «Марат»); линкору «Андрей Первозванный», подавившему в июне своим артогнем восставший форт Красную Горку; подводным лодкам, стоявшим у борта своей базы — старого крейсера «Память Азова», легендарного корабля революции, поднявшего в 1906 году в Ревеле

знамя восстания; сторожевому эсминцу у ворот — в данном случае «Гавриилу»; крейсеру «Рюрик». Две торпеды предназначены были для ворот обоих больших кронштадтских доков, с тем чтобы лишить возможности отремонтировать подорванные линейные корабли.

Проскочив незначительное расстояние от Териок до Лахты, катера повернули на Кронштадт. Они появились точно вовремя, когда на гавань летели бомбы. Но «Гавриил» испортил им все дело.

Орудия его мгновенно открыли огонь по загадочным, невиданным еще катерам, и один из них сразу же выпустил в «Гавриила» торпеду. Она прошла мимо миноносца и ударилась в выступающий угол стенки гавани. Взрыв ее совпал со взрывом снаряда «Гавриила», попавшего в катер. Тот запылал высоким огнем (вспыхнувший бензин и легкая фанера его корпуса и бросили на воду тот кровавый светящийся столб, который мы видели из гавани).

В это же время мимо «Гавриила», наполовину высунувшись из воды, с огромной скоростью промчались вдоль стенки гавани еще два катера прямо в ворота, обдавая непрерывной пулеметной струей стенку «Гавриила», брандвахту ворот и ее старика сторожа, выскочившего на шум. Катера прорвались в гавань — и «Гавриил» не мог их более обстреливать из опасения попасть в свои корабли. Со стороны Петрограда выскочили еще три катера, направляясь в гавань. Этих «Гавриил» смог взять в оборот. Он засыпал их снарядами и заставил повернуть обратно в Териоки.

Ворвавшиеся в гавань катера, непрерывно стреляя из пулеметов, описали молниеносную дугу по гавани и выпустили свои торпеды: одну в «Петропавловск» (она попала в «Андрея»), одну в базу подлодок — «Память Азова» (от которой, по счастью, подлодки вечером отошли) и одну мимо — в стенку. Так же стремительно, как влетели, они ринулись к выходу, вздымая носами шипящие буруны белой пены.

Но ворота уже ждали их возвращения: на узкую полосу воды между гранитными стенками пристально смотрели кормовые орудия «Гавриила»...

Отстреливаясь от самолетов, сдерживая носовыми орудиями натиск второго отряда катеров и отгоняя их от ворот, «Гавриил» ждал, когда ворвавшиеся в гавань катера выскочат на рейд, где его снаряды не причинят

вреда своим кораблям. Он навел кормовые орудия на ворота и ждал.

Вылетели из ворот катера — легкие, узкие, стремительные, разгоряченные кажущейся победой,— и столбами встала вокруг них вода, завизжали осколки, затрещала фанера корпусов, вспыхнул бензин, и, заревев высоко вскидывающимся пламенем, закачались кострами на воде еще два катера...

План противника сорвался. Вместо уничтожения четырех боевых кораблей, трех подлодок и разрушения доков — катера подорвали только старый крейсер «Память Азова» и линкор «Андрей Первозванный», который к вечеру уже стоял в не тронутом торпедой доке. Удар в сердце Красного флота, обусловленный близостью границы, не привел к тем результатам, которых ожидали белогвардейцы: дорога на Питер была по-прежнему закрыта.

По всей западноевропейской равнине, от Мурмана до Крыма, извиваясь в непрестанном движении и дымясь кровью, сжималось тугое кольцо блокады. Фронтов было столько, сколько разных держав и белых генералов наступало на изнемогающую в голоде и войнах Советскую Россию. И на одном из фронтов, на севере, отбивался, стиснув зубы, огромный и голодный, упорный и страстный город, которому потом дадут великое имя Ленина. На морских подступах к нему, такой же голодный, без нефти и угля, такой же упорный и страстный Балтийский флот сохранял свою последнюю опору — Кронштадт.

Кронштадт! Это короткое громыхающее слово, подобное залпу орудий, гудело в те дни над Финским заливом.

В те дни Кронштадт вновь обрел свой грозный смысл ключа к столице, который был вложен в него при его создании. Как будто снова вернулись давно забытые времена, когда форты его отбрасывали немудрыми ядрами своих чугунных пушек шведские фрегаты. Только тогда к нему подходили отдельные корабли, а теперь его блокировала огромная эскадра интервентов.

Но каждый матрос на каждом корабле и каждый красноармеец на каждом форту держал в своем сердце короткое и упорное слово: надо.

Надо было стоять здесь, в узкой полосе неглубо-

кой воды, бессонным и нелицемерным стражем изнемогающего Петрограда.

Надо было принять на себя и сдержать натиск армий и эскадр, стремящихся к Петрограду.

Надо было рассчитывать каждый пуд угля, каждое ведро нефти, каждую мину заграждения, каждую торпеду, каждый снаряд и каждого человека, рассчитывать скупо и мудро, ибо все это подходило к концу.

И Кронштадт выполнял это надо просто, твердо и буднично.

Он высылал в море корабли с половинным числом команды, потому что другая половина на конях или в окопах дралась уже где-нибудь под Царицыном. Он собирал для кораблей, хромающих на оба винта, последнюю угольную пыль, выметенную вместе с землей из опустошенных угольных складов. Он обедал — после напряженного суточного боевого похода или после бессонной работы на заводе — блюдцем пшенной каши. Он без удивления провожал мигающими взорами своих маяков подводные лодки, идущие во льду на разведку Ревельского рейда, лодки, шипящие, как примусы, и текущие, как решето, державшиеся на воде и в воде непонятно как — одним упорством. Он ежедневно отстреливался от самолетов, швыряющих бомбы в его гавани, доки, улицы и сады. Он открывал ворота своих рейдов для миноносцев, которые ночью, в шторм, без огней и маяков носились полным ходом по сомнительным проходам между своими и чужими минными заграждениями, и встречал их на рассвете гудками завода и мастерских, где голодные люди голыми руками обтачивали боевую сталь.

Он делал все это — необыкновенный город-корабль, город-лагерь, крепость революции и сердце флота.

Упершись спиной в Морской канал, Кронштадт стоял в конце узкогорлого залива, вглядываясь в него и в близкие берега, кишевшие армиями, надвигавшимися на Петроград, и время от времени напрягал все силы, нанося врагам чувствительные удары. Форты и флот стали реальной угрозой интервентам. Форты и флот сплелись в нераздельный клубок, который непрестанно перекатывался по берегам и воде Финского залива, внося расстройство в тугое кольцо блокады. Форты и флот приобрели общее наименование — Кронштадт. Уничтожить флот — мешали форты. Уничтожить форты — мешал флот.

За четырнадцать месяцев, которые эскадра интервентов провела в Финском заливе, Красный Балтийский флот имел не меньше двенадцати боев с вражескими кораблями, и каждый раз при значительном превосходстве неприятельских сил. Так, 10 мая 1919 года эсминец «Гавриил» в течение часа вел бой с четырьмя контрминоносцами. 31 мая эсминец «Азард» в бою с восемью контрминоносцами навел их под огонь линкора «Петропавловск», 24 июля подлодка «Пантера» атаковала две подлодки противника, осенью кронштадтские форты отгоняли своим огнем монитор с пятнадцатидюймовой артиллерией.

Два крейсера, два миноносца, два тральщика, один заградитель, три торпедных катера, одна подводная лодка — вот список кораблей эскадры интервентов, которые Балтийский флот и форты Кронштадта оставили на дне Финского залива на память о тысяча девятьсот девятнадцатом годе — пятом годе беспрерывной войны, которая могла сломить кого угодно, но не смогла истощить бессмертные силы освобожденного народа, тысячекратно увеличенные жизненосной силой революции.

Каждая строчка, каждая буква этой огненной эпопеи Балтийского флота живет, дышит и стоит над миром неодолимой страстью к победе во имя освобождения от векового гнета. Каждая ее страница сурово напоминает нам голосами погибших за наше дело родных товарищей наших, балтийских моряков:

— Ты не забыл? Ты помнишь?

Мы не забыли. Мы помним. Мы учим нашу флотскую молодежь, краснофлотцев и командиров новых сильных кораблей, подводных лодок и самолетов, как биться за наше великое дело, за родину нашу, с той же великой страстью, с тем же огненным восторгом, с каким дралось орлиное племя девятнадцатого года.

И Кронштадт — громыхающее короткое слово, подобное залпу орудий,— двадцать лет стоял перед городом Ленина, стиснутый близкими — слишком близкими! — границами.

И если десятилетнего пионера, выросшего далеко от всяких морей, но на самой пограничной линии, встревожила эта близость границы к огромному городу, так как же тревожила она Краснознаменный Балтийский флот в течение долгих двадцати лет?

Простившись с пионерами, мы продолжали свой маршрут. Через час мы вышли из машины возле одиноко стоящего в степи здания с вышкой. И здесь я увидел то, что обусловило закономерность Мишиного вопроса: мутный и узкий ручей.

На том берегу его женщина, присев на корточки, мыла турсуки — кожаные мешки для кумыса. Мальчик, ровесник Миши, тащил к ней бычью шкуру, сгибаясь под непосильной тяжестью. Широкое смуглое его лицо ничем не отличалось от широкоскулых лиц казахских пионеров, с которыми мы только что расстались. Но это был ребенок, лишенный детства,— эмбрион нищего пастуха чужих стад, печальная личинка будущего раба синьцзянских скотоводов: ручей, пробегавший между нами, был пограничным.

Со странным, совсем новым чувством смотрел я на этот крохотный отрезок знакомой черты — границы. Я привык видеть ее иной. Тысячи раз в Финском заливе (где едва одна десятая водного пространства принадлежала Балтфлоту) я отмечал на карте треугольник обсервации рядом с ее прерывистым пунктиром. Ее невидимую линию, грозившую дипломатическими осложнениями, я научился отыскивать на гладкой воде на глаз — по расстоянию до чужого берега. И, может быть, потому, что тот — балтийский — участок морской границы Советского Союза был доверен нам, и потому, может быть, что все внимание поглощал именно он,— остальные советские моря как-то не ощущались в прямой и непрерывной связи с этой пунктирной линией, бегущей по карте между Териоками и Кронштадтом, между островом Сескар и Лужской губой.

Понадобилось забраться в самый центр евразийского материка, чтобы здесь — где воды было меньше, чем в питьевой цистерне эсминца, и где чужой «берег» был всего в пятнадцати шагах,— наиболее остро ощутить единство советских морей, нанизанных, подобно гигантским бусам, на крепкую непрерывную нить советской границы. И в мутных струях пограничного ручья почудились мне капли их тяжелой соленой воды — изумрудной, синей, аметистовой, желтоватой, лазурной, опаловой.

Ручей бежал влево, на север. Я знал, что через пять километров граница сползет с его русла в летучие сухие пески, что она вскарабкается потом на зеленые склоны Алтая, черкнет по сияющему снегу его «белков», переки-

нется на Саянский хребет и, пробежав по многоводным рекам, с разбегу ринется в теплые воды Японского моря.

Я знал, что справа, на юге, эта нить в трех километрах от нас тоже покинет ручей, уйдет в степи, к холмам Тарбагатая, взбежит по ледяным ступеням Тянь-Шаня на Памир — Крышу мира — и скатится с нее в самый подвал, странное море, лежащее ниже уровня моря,— в Каспий. Я знал и то, что трижды еще прервется потом ее бег по сухой земле — обширным Черным морем, узким Финским заливом, круглой чашей Ладоги,— пока она не скользнет с Кольского полуострова в прохладное Баренцево море. И тогда, вплавь по воде многочисленных северных морей — детей Ледовитого океана, то и дело отпихивая налезающие полярные льды, она сомкнется сама с собой, один только раз вынырнув на мгновение, чтобы пересечь узкий язык Сахалина.

Двенадцати морям и трем озерам вручили мы честь хранить в своих водах неприкосновенность советской границы. Сорок три тысячи километров береговой черты доверены водам советских морей.

Как же можно было в мутных струях степного пограничного ручья не угадать тяжелых блестящих капель этих морей, стекающих сюда по замкнутой кривой, больше двух третей которой проходит по соленой воде, жаркой, теплой, холодной и ледяной?

И здесь пора поговорить о некоторых особенностях соленой воды.

Когда звездолет будущего, свистя, вырвется за стратосферу и межпланетные путники где-нибудь возле Луны глянут на земной шар,— вернее всего, он покажется им гигантской каплей воды, повисшей в темном космическом пространстве.

Вода обволакивает пленкой остывающую нашу планету, и островами торчат из нее материки. Изрезывая их заливами, океаны через узкие щели проливов входят в самую глубь суши, останавливаясь перед крутыми склонами горных хребтов. И самые реки, поблескивающие в зигзагах растрескавшихся материков, кажутся щупальцами напирающих на сушу океанов.

Этот слой воды, заливающий земной шар, довелось мне увидеть впервые тринадцатилетним мальчиком. Вода,

предложенная мне судьбой для осмотра, была третьесортной — пресной и мелкой: это была сестрорецкая заводь Финского залива, безжизненная, лишенная могучего дыхания океанов — приливов и отливов. Но фантазия, вспученная крепкими дрожжами морских романов, немедленно преобразила эту пресную воду. Задержав дыхание, я всматривался в горизонт, стиснутый берегами и загороженный островом Котлин, видя только то, что мечтал увидеть,— дорогу в мир. Нетерпеливо отбрасывая Котлин с его кронштадтскими трубами и куполом Морского собора, воображение мое спеша стремилось по этой глади из узкой трубы Финского залива, через путаный коридор Бельтов, вдаль, вперед — в океан! Вот наконец она — дорога в Америку, в Индию, Австралию, в страстно желаемый, чудесный мир «Фрегата «Паллады», в мир выученного наизусть «Путешествия вокруг света на «Коршуне»! Море, разъединяющее земли и соединяющее народы, море — путь цивилизации, море — поприще великолепных побед!.. Я наклонился и ладонью погладил эту волшебную воду, в которой плавали материки и моя неминуемая слава.

Через восемь лет, дежуря на противокатерной батарее на стенке Военного угла Кронштадтской гавани, я разглядывал эту же воду с совершенно иным чувством.

Эта ровная гладь, кишащая минами, позеленевшими в воде за четыре года войны, по-прежнему уводила воображение вдаль —в океаны. Они, и точно, «соединяли народы» в единодушном стремлении поскорее оторвать от гигантского тела Советской России колонии. По океанам и по всем морям, где только были советские берега, шли мониторы, подлодки и крейсера европейских держав, волоча на буксире прыгающие на волне торпедные катера, шли линкоры, эсминцы, крейсера, шли транспорты с оружием, продовольствием, войсками, везя этот товар белогвардейским правительствам в обмен на лес, зерно, уголь. В уродливом преломлении войны исполнилась мечта первого российского европейца, засвидетельствованная поэтом:

Сюда, по новым им волнам,
Все флаги в гости будут к нам...

Военные корабли под разнообразными флагами деловито сворачивали из океанов в лабиринт Каттегата и

Бельтов, стремясь в Биорке, в Ревель, в Гельсингфорс — поближе к Петрограду и его промышленности.

Военные корабли огибали Скандинавию, выходя к Белому морю, к Мурманску — к рыбе и лесу.

Военные корабли протискивались через раскупоренные с таким трудом Дарданеллы в Черное море — к Одессе, к Батуми, Крыму — к зерну, углю, нефти.

Военные корабли отдавали якоря на Владивостокском рейде, поближе к сибирской магистрали, которая, как насос, могла выкачать богатства Сибири.

Весь мир, казалось, торопился не пропустить грандиозной распродажи страны, которой задешево торговали десятки белогвардейских правительств. Новые Колумбы и Магелланы шли водружать свои флаги на беззащитных берегах, везя в трюмах вместо традиционных бус и зеркал солдатские штаны и оружие, благо цена на эти товары после окончания мировой войны катастрофически упала. С опытностью громил, орудующих в покинутой хозяевами квартире, интервенты вязали в узлы сетей мурманскую рыбу; взламывали крепкие сибирские сундуки, набитые золотом и мехами: торопясь и расплескивая через край, сливали в поместительные бидоны трюмов бакинскую нефть; набивали мешки украинским зерном; уводили из портов мертвые корабли: расчетливо грабили склады.

Флоты и флотилии Советского государства голодали. Расшатанные за четыре года походов корабли и издерганные за четыре года войны люди мерили свой паек одинаковыми мерами: уголь и хлеб — четвертками фунта, селедочный суп и нефть — тарелками, снаряды и воблу — штуками. Балтийский флот превратился в Балтийский «дот» [1] из нескольких кораблей. Миноносцы, поднятые на поплавки, перетаскивались буксирами по каналам с Балтики на Волгу и в Каспий. Подводные лодки, на которых, по теперешним нашим понятиям, опасно погрузиться даже в гавани, лазали подо льдом в глубокую разведку, ухитрялись топить вражеские крейсера.

Сытые флоты интервентов, в изобилии снабженные боеприпасами, сжимали кольцо блокады. Вот уже прижат спиной к последней опоре — Кронштадту — Балтийский флот. Вот уже заперты на двенадцатифутовом рей-

---

[1] «Дот» — действующий отряд.

де Астрахани немногие корабли Каспия. Вот уже эсминец «Керчь» топит у Новороссийска родные свои корабли, и вода, поднятая в небо взрывами, падает в Черное море крупными каплями, тяжелыми и страшными, как матросские слезы... Вот нет уже у страны Белого моря, и на Приморье стоят на рейдах японские корабли...

Будто сами моря и океаны выступили из берегов, затопляя собой Советскую страну: так хлынули в нее со всех сторон, где она граничила с морем, армии интервентов.

Враждебные океаны вливаются в моря, заливают советскую землю, выбрасывая в пене прибоя армии, пушки, шпионов, правительства, консервы и танки. Все меньше и меньше становится сжимающийся остров, в центре которого — Москва. География летит к черту. По Донбассу, сшибаясь в двенадцатибалльном шторме гражданской войны, ходят валы двух морей — Черного и Балтийского: на гребнях черноморских волн — офицерские фуражки, на балтийских — бескозырки матросов. Уголь, уголь! Уголь — спасение Кронштадту, Питеру, стране, революции!.. Тихий океан, выходя из узких берегов сибирской магистрали, заливает Сибирь... Холодно в Питере от ледяных валов Белого моря, и, вздуваясь, захватывают серые плоские волны Финского залива Петергоф, Гатчину, Детское Село...

Понятия странно смешиваются и путаются. Страна мечется в тифозном голодном бреду кольцевых фронтов, выплескивая в историю героические видения, поражающие и необычайные. Матросы — верхом на конях бьются в зеленой степи, морские корабли — ходят по рекам. Полевые трехдюймовки, изумляясь непонятным морским командам, бьют по кораблям с покачивающихся барж, а морские орудия стреляют с площадок бронепоездов по пехотным цепям, отсчитывая дистанцию по привычке на кабельтовы. Кронштадтские форты, до судороги сворачивая прицелы, стреляют себе за спину, в тыл, по обходным группам белоэстонцев, а где-то на Волге уже записана в вахтенный журнал небывалая в истории военно-морского искусства атака кавалерии на миноносец. Линейный корабль «Андрей Первозванный» двое суток громит с моря Красную Горку — форт, выстроенный для поддержки в бою линейных кораблей.

Так, ломая традиции морской войны, Красный флот,

в самих боях отыскивая новые правила боя, бился эсминцами на реках, матросами — в степи, подлодками — во льдах, линкорами — в гавани, пока в гигантском напряжении сил республика не остановила валы катящихся на нее океанов и пока моря не отступили к своим естественным бассейнам.

Разрушенные заводы, голые поля, истоптанные пастбища одни за другими показывались из-под отступающих океанов. Остров Москвы обсыхал, расширяясь в пространстве. Корабли интервентов, захваченные отливной волной, дрейфовали из Балтики, оставив одну шестую часть своих семидесяти двух вымпелов на неглубоком дне Финского залива. Французская эскадра, потрепанная штормом восстания, уходила от Одессы, и скоро вслед за ней, увлекаемая неудержимым отливом, скатилась с крутых отрогов Крыма мутная врангелевская волна: с Перекопа дул пронзительный, с ног сшибающий норд. В радуге нефтяных пятен вошел в свои берега Каспий, вновь отделившись от Черного моря Кавказским хребтом, и, наконец, последним отступил от Приморья Тихий океан вместе с японскими крейсерами.

Моря вновь стали советскими. И к израненным, разграбленным их берегам медленно начала приливать восстанавливающаяся жизненная сила республики.

2

Была осень 1922 года. Впервые на зеленые просторы Балтики был вынесен советский военно-морской флаг. Балтика встретила его десятибалльным штормом. Трое суток она раскачивала и сотрясала ударами волн все десять тысяч тонн «Океана», сбивая его с курса.

Мы не изменили ни курса, ни намерений. Мы пронесли наш юный флаг до самой Кильской бухты, показали чужим кораблям и берегам его мятежное пламя и возвращались обратно по присмиревшему враждебному морю. И вот у мыса Мэн, спускающего в зеленые воды ослепительные меловые утесы, мы начали валиться набок.

На четвертые сутки похода корабль стал медленно крениться на правый борт, удивляя этим всех, кто был на мостике: чтобы свалить огромное тело «Океана», требовался не тот легкий вечерний бриз, который дул от Швеции. Но кренометр в штурманской рубке второй уже час

продолжал отклоняться от вертикали с неприятной безудержностью. Когда он показал шесть с половиной градусов, на мостик поднялся вызванный командиром старший механик. По старческим его щекам катились капли пота, и узловатые матросские пальцы дрожали в бессильной ярости.

Балтика все-таки взяла свое: шторм поднял в трюмах всю грязь, накопившуюся там за время многолетней летаргии корабля, и она забила перепускные помпы. Вода в котлы пошла только из цистерн одного левого борта, и корабль получил крен, увеличивавшийся тем больше, чем больше воды брали котлы. Перекачать воду и выровнять крен оказалось невозможным.

Крен этот опасности не представлял. Торговые корабли порой и не с таким креном бродят по морям, напоминая собой лихо заломленную шапку на подвыпившем матросе. Но в Петрограде, у моста Лейтенанта Шмидта, занимая собой добрую половину Невы, лежал на боку такой же огромный корабль — «Народоволец», оборвавший швартовы и перевернувшийся, когда вся вода из левых цистерн была небрежно и неумело израсходована. И этот призрак встал в кочегарках «Океана». Шторм, разболтавший грязь в трюмах, расшевелил и людскую накипь: кто-то в кочегарке стал убеждать остальных не перегружать уголь из верхних ям правого борта, что могло выправить крен: все равно, мол, перевернемся... Люди, не видавшие ранее моря, но часто видевшие «Народовольца», упали духом. Вот почему старший механик, отслуживший всю службу машинистом того же самого «Океана», дрожал от ярости и ругался, как может ругаться старый балтийский матрос.

Поход пришлось прервать. Мы стали на якорь под шведским берегом, и девять машинистов, таких же балтийских матросов, вместе со стариком механиком всю ночь перебирали донки, очищали с них липкую грязь, перекачали потом воду с борта на борт и выпрямили этим корабль. Он снялся с якоря в два часа дня, а в пять мы приняли радио о том, что комсомол взял шефство над флотом, и о том, что «Океан» получает новое имя — «Комсомолец».

Из семисот военных моряков «Океана» хорошо если семьдесят бывали ранее в море. Балтийские матросы —

матросы семнадцатого года — давно покинули корабли для бронепоездов и море для степей, сменив двенадцатидюймовые орудия на трехлинейные винтовки и условные лошадиные силы машин — на реальных мохнатых коней Первой Конной. Те, кто остался в живых, строили Советкую власть в городах, только что отбитых у белых, немногие из них учились в академиях, вернулись на флот комиссарами. Балтийский флот терял свои жизненные силы. Вялое белокровие год-два назад ослабило его гнойным фурункулом кронштадтского эсеровско-меньшевистского восстания.

Истощенный, недвижный, исхудавший, Балтийский флот требовал свежей волны здоровой крови, чтобы жить и расти вместе с оправляющейся страной. Комсомол был призван дать ему новых людей, заменить ими тех, кто струсил в кочегарках «Океана», тех, кто безразлично сторожил в гавани недвигающиеся корабли.

Комсомольцы пришли на флот.

Он встретил их сурово. Горячую романтику «солнечных рей» он с места окатил холодной водой. Буквально — потому что в разрушенных, стылых и грязных Дерябинских казармах, что на Васильевском острове, кипятку в бане не оказалось. Секретари уездных и губернских комитетов комсомола (ниже «сельского масштаба» комсомольцев во флот не отбирали), ежась, но весело вымылись в холодной воде, приняв это за первое «оморячивание». Потом повалились на голые топчаны спать (коек тоже не оказалось) — «казбеки» в своих черкесках; тверяки, все, как один, в белых заячьих шапках, подаренных губернским комитетом для трудной флотской службы; рязанцы, сибиряки, северяне, петроградцы, москвичи — в полушубках, в валенках, в тулупах — две с половиной тысячи отборных комсомольцев со всей страны. На местах их провожали, как на фронт, и долго еще, как на фронт, посылали подарки: папиросы, сахар, мыло, блокнот и письмо от организации — все это в кисете, сшитом чьими-то девичьими руками. Кисетов у иных к весне набралось до сорока штук.

Комсомольцев остригли (не без боя), одели в бушлаты, сквозь сукно которых свободно просвечивала даже пятисвечовая лампа, обули в картонные ботинки образца 1921 года и разослали по экипажам и по военно-морским школам.

Там их встретили иронически. «Шефский подарочек» — так называли их те, кого они пришли оздоровлять, а кое-кого и сменять. Так звали их в экипажах матросы-инструкторы, отсидевшие всю гражданскую войну в тылу. Так звали их старики боцмана, никак не мирившиеся с новым и непонятным типом «новобранца» — разговорчивого, самостоятельного, въедливого до неполадок, с места заявляющего о том, что он пришел «оздоровлять флот». Так звали их и многие из командного состава, побаивавшиеся их политического превосходства над собой.

Больной флот мстил им, чем мог. Он мстил сложной терминологией, которой их не обучили в экипаже, где инструкторы занимали все их время бесконечными приборками и чисткой картошки и откуда они вынесли единственное морское слово — «гальюн». Он мстил отмирающими «традициями» — татуировкой, семиэтажным матом, клешем в шестьдесят сантиметров, мстил влиянием «жоржиков» и «иванморов», мстил и прямым издевательством тех, кому на смену пришли эти комсомольцы. В кубриках экипажа старые инструкторы, осмотрев только что вымытый линолеум, украшали его презрительным плевком: «Разве так палубу драют! Мыть щераз!» Старшины из унтеров заставляли чистить свои ботинки, включая эту операцию во всемогущую «приборку». «Жоржики» уводили комсомольцев на Лиговку — и не отсюда ли в комсомольский обиход вошли дурно пахнущие слова: «шамать», «топать», «братуха», «коробка» (корабль) и прочие, украшавшие когда-то литературу о комсомольцах?

Весной, пройдя строевую подготовку в экипаже и разбившись по школам, комсомольцы впервые увидели корабли. Какие корабли!.. Из всего Балтийского флота плавало несколько миноносцев, учебное судно «Комсомолец» и линкор «Марат». Остальные «плавали» преимущественно по закону Архимеда, то есть лишь теряя в своем весе столько, сколько весил вытесненный ими объем мутной воды Кронштадтской гавани,— без всякой возможности передвижения.

«Морская практика» началась с чистки трюмов. Из всех тяжелых работ на корабле это одна из самых неприятных и грязных, заслуженно рассматривавшаяся в царском флоте как вполне равноценная замена карцера или гауптвахты. В трюмах «Марата» геологические напластования многолетней грязи являли собой спрессованную

историю флота со времен семнадцатого года. Ледовый поход восемнадцатого года был представлен остатками сахара и белой муки, вывезенных из складов Гельсингфорса. Девятнадцатый год отложил машинное масло боевых походов. Двадцатый — сгнившую мерзлую картошку и капусту продовольственных отрядов. Все это спаялось ржавчиной всех годов в плотный слой, прилипший к металлу корабля. Комсомольцы отбивали его ударами ломов. И тогда из-под пробитой корки, твердой, как броня, в спертый воздух трюмов подымались спиртовые пары разложения. Комсомольцев выносили из трюмов пьяными.

Вместе с этой очисткой трюмов возрождающегося Красного флота — запущенных трюмов, вынудивших «Океан» прекратить первый поход по Балтийскому морю,— комсомольцы должны были очистить и личный состав флота от той ржавчины, которая осталась еще с царских времен и спаялась с гнилой слизью «клешнической» психологии, доведшей флот до позора кронштадтского восстания. И пробитая корка ложнофлотских «традиций» испускала ядовитые пары, отравляя комсомольцев-моряков. «Старички» приучали их к щегольству сверхматерной брани, накалывали им татуировки, доказывали несомненную выгоду уменья «попсиховать» с командиром и учили гордиться гауптвахтой — как орденом, венерической болезнью — как доблестью, отлыниванием от работ — как геройством. Худший слой военных моряков защищался, как мог, от свежей струи, ворвавшейся во все уголки быта и службы и несшей с собой новые понятия о дисциплине, работе и учебе.

Секретари уездных и губернских комитетов комсомола очищали трюмы, драили палубу, стояли вахты, чистилу картошку, заменяли на политчасах политруков, учились артиллерии, машинному делу, гребле, теребили старых моряков, вытягивая из них знания и опыт, и бредили по ночам страшными морскими словами: «клюз», «комингс», «бейдевинд», «гинце-кливер-леер-лапа». Кое-кто поддался отраве «старичков» и посидел на гауптвахте. Кое-кто в отчаянии кидал на стол комиссара свой комсомольский билет. Но спайка, стойкость, энергия комсомольцев взяли свое.

Им пришлось бороться и с недоверием комсостава, и с замкнутостью старых специалистов, ревниво оберегавших профессиональные тайны, и (кое-где) с близоруко-

стью комиссаров, не разглядевших, что в этой молодой волне — спасение флота, и со сложной терминологией, и с морской болезнью, и со своим собственным самолюбием, которое порой получало очень сильные уколы.

Они завоевывали флот, как неизвестную страну. Здесь, на кораблях, они нашли наконец себе союзников. Это были военкомы, старики боцмана (оценившие все-таки их неистребимую, но какую-то непривычную любовь к флоту), лучшая часть командиров и коммунисты-военморы. Партия большевиков, начав возрождать флот, сделала ставку на комсомол — и не ошиблась.

И если вспомнить комсомольцев тех годов, вырывающих на гребных гонках призы у старых матросов, комсомольцев, впервые берущих в руки точное штурманское оружие — секстан и хронометр, комсомольцев, впервые стреляющих из огромных орудий,— прежде всего на память приходит то волевое устремление, которое было присуще им. Командиры из этих комсомольцев резко отличались от кадровых командиров — в большинстве своем усталых, безразличных, надорванных многими годами войны и болезней флота. Краснофлотцы-комсомольцы совсем не походили на краснофлотцев прежних наборов. Они принесли с собой на флот дисциплинированность, четкость мыслей и поступков, организованность времени, комсомольскую спайку, энергию, жажду работы и хорошее настроение уверенных в себе людей. Они пришли на разрушенный, усталый флот с мечтой о могучем советском военном флоте, с романтикой «солнечных рей», с песней «По всем океанам развеем мы красное знамя труда» — и история, творимая ими вместе с миллионными массами советского народа, осуществила эту мечту, которая тогда, в трюме «Марата», казалась только мечтой.

Они — адмиралы Советского Военно-Морского Флота — стоят сейчас на мостиках новых крейсеров, они — инженеры — строят теперь гигантские линкоры, они — подводники — создали в ледяной воде Финского залива и Баренцева моря легенды о советских подводных лодках. Это они положили начало новым кадрам флота, они — «шефский подарок» Ленинского комсомола флоту социалистической родины,— подарок, с которого история сняла иронические кавычки, выбросив их в мусор вместе с людьми, придумавшими их.

3

В мае 1921 года мы вышли на пробу машин. Весна выдалась на редкость солнечная и теплая, нагретый над морем воздух дрожал на горизонте, приподымая острова и искажая очертания маяков. Финский залив был пустынен: под серебряной его гладью угрюмо и опасно толпились стада мин, и только кое-где в этом обманчивом просторе были проложены узкие улицы, огражденные частоколами вешек. Это были протраленные фарватеры, и по ним, строго придерживаясь вех, опасаясь уклониться хоть на полкабельтова, шел наш эсминец. Кроме него в море было только четыре тральщика. Они медлительно и деловито утюжили залив, похожий более на суп с клецками, прокладывая в минном поле новый переулок, которому штурмана-острословы уже дали наименование: «Биоркский тупик».

У острова Сескар, на углу «Кронштадтского проспекта» и «Лужского переулка», мы встретили пароход. Это был обыкновенный грузовой пароход под голландским флагом, но мы удивились ему, как морскому змею: до сих пор из иностранцев нам доводилось видеть только одни военные корабли.

Пароход шел прямо на нас — аккуратно по самой середине протраленного фарватера, как по ниточке, всем своим видом показывая, что готов скорее стукнуться с нами, чем рискнуть отклониться хотя бы на метр к страшным вехам. Мы вежливо положили руля и дали ему дорогу, прижавшись бортом к линии вех. Так в узком переулке, расходясь, грузовики наезжают колесами на панель. Пароход благодарно отсалютовал флагом, и мы хором прочли на его борту невиданную надпись: «Alexandre Polder — Rotterdam». Он пошел дальше, косясь выпученными в ужасе иллюминаторами на взрывчатую воду за линией вех и с не меньшим страхом всматриваясь в возникающий на горизонте легендарный Кронштадт. Это был первый иностранный пароход, появившийся в наших водах за семь лет до войны и интервенции,— первый из десятков тысяч, которые потом приходили в Ленинград, наполняя густой синей краской выцветшие за эти годы диаграммы грузовых потоков по Финскому заливу.

Дорогу торговым кораблям открыли тральщики Краснознаменного Балтийского флота. В первые годы возрож-

дения Красного флота эти маленькие трудолюбивые корабли расчищали будущему флоту место для его учений и тренировок. Они начали эту титаническую работу весной 1921 года и закончили в 1924 году. С самой ранней весны до поздней осени тральщики в любую погоду выходили на работу — нудную, незаметную и опасную. Впрягшись в трал, они попарно тащили под водой его тяжелый стальной трос, подвешенный к буйкам, задыхаясь старенькими своими котлами, отплевываясь от волны, цепко хватаясь пеленгаторами за маяки и приметные места на берегу, чтобы проложить следующий галс точно рядом с протраленной уже полосой. Они уходили в море, как рыбаки, на целые недели, не возвращаясь в гавань и во время штормов. А штормы для них были не сладки: кораблики были маленькие, ветхие, некоторые — как «Березина», «Шексна» и «Буй» — просто колесные, вроде речных, и недаром в те дни сложена была про них ласковая песенка:

Буйка с Змейкой, ежли не потонут,
Доплывут, доплывут!

Тральщиков не хватало, а молодая Советская страна требовала скорейшего открытия плавания по Финскому заливу торговых кораблей. И тральщиками стали все сколько-нибудь пригодные для этого корабли: буксиры, катера, паровые яхты и даже миноносцы. Этим на долю выпало «контрольное траление»: заведя трал, они быстро носились по необследованным районам с удивительным спокойствием, удивительным, ибо их осадка, глубокая осадка миноносцев, не давала им никакой гарантии не стукнуть по мине собственным форштевнем раньше, чем ее обнаружит волочащийся сзади трал. Это небезопасное занятие считалось нормальным и обычным, и в этой школе воспитывались из молодежи новые кадры молодого флота.

Тральщики проводили за тралами первые советские торговые корабли, привозившие необходимые для восстанавливаемой промышленности республики машины и материалы. Краснознаменный Балтийский флот с честью возвращал торговому советскому флоту свой долг срока тысяча девятьсот восемнадцатого года.

Тогда — в апреле — тяжелые льды закрывали Гельсингфорсскую гавань и тяжелые шаги маннергеймовских

отрядов звучали у самой гавани. Финская революция была задавлена интервентами, и Балтийский флот лишался своей базы. Корабли надо было спасти, надо было вывести их через льды в Кронштадт. Без машин, почти без топлива балтийцы уводили корабли — все, которые хоть как-нибудь могли двигаться. Линкоры и крейсера, миноносцы и подлодки шли по пробитой ледоколом «Ермак» ледяной дороге.

Но мы двигаться не могли: на «Орфее», эскадренном миноносце, был погнут левый гребной вал, а в правой турбине была «капуста» — лопатки ее были смяты осенней аварией. Мы стояли в Южной гавани Гельсингфорса, в центре города, и смотрели на уходившие своим ходом корабли Балтийского флота. До 12 апреля мы не знали, каким образом удастся нам спасти наш корабль от напора призванных финской буржуазией германских войск под командованием генерала Маннергейма. Часть команды перешла на «Стерегущий»: на нем было лишь четыре человека, но машины кое-как вертелись. Ушел на наших глазах и «Стерегущий» — медленно, малым ходом, едва расталкивая разбитые кораблями льдины.

Утром 12 апреля в городе затрещали выстрелы финских белогвардейцев. Возле миноносца высился портовый кран. На верхней его площадке простым глазом, без бинокля, были видны пять фигур финнов-рабочих с красными повязками на рукавах, среди них — одна женщина. Они прильнули к решетчатым фермам крана, сжимая в руках револьверы. На Торгет-плац появились перебегающие фигуры с винтовками. Они стреляли по окнам, по подворотням, оттесняя в переулки рабочие отряды финских красногвардейцев. Тогда с крана началась редкая, но точная стрельба. Невольные свидетели, скованные условиями мирного договора, мы лишь смотрели, как на Торгет-плац падали один за другим люди с белыми повязками, одетые в добротные штатские пальто. Наступающие стали прятаться от этого точного огня за фонтан посреди Торговой площади. Потом откуда-то появился пулемет и застрекотал по крану. Он стучал долго — видимо, патронов жалеть не приходилось,— и лишь когда на кране прекратилось всякое шевеление, туда поднялись трое с белыми повязками. Они сбросили с крана тела убитых красногвардейцев и — последним — раненого. Падая с двадцатиметровой высоты, он кричал, пока не ударился о мостовую, и крик этот я помню и теперь.

Его крик был подхвачен густым и хриплым гудком. Мы оглянулись. К нам подходил грязный пузатый транспорт под советским флагом.

Такие корабли в старое время имели в военном флоте презрительное наименование «бандура». Их еще звали «купцами» или «транспортюгами». И вот такая «бандура» с парадным ходом в шесть узлов подошла к изящному и стройному, но обезноженному миноносцу. Человек в немыслимой лохматой робе кинул к нам на бак бросательный конец. Тонкая его змейка привела к нашим кнехтам шестидюймовый трос, «бандура» дала ход, и Гельсингфорс стал медленно отходить вместе с белофиннами, которые уже посматривали на одинокий советский миноносец...

Двенадцать долгих и трудных суток мы шли на буксире «Бурлака». Он раздвигал своим широким пузом разбитые «Ермаком» льды, спасая собственными бортами тонкие и изящные обводы военного корабля. Я не видал потом нигде этого транспорта. Но навсегда осталась в моей памяти его широкая и грязная корма...

В ледовом походе торговый флот оказал военному неоценимую услугу. Его ледоколы «Ермак», «Аванс» и другие разбили лед для прохода линейных кораблей, крейсеров, эсминцев. За крепкими корпусами транспортов «Люси», «Бурлака», «Иже», «Веди» и десятков других пробились сквозь лед миноносцы и подводные лодки. Позже, в годы гражданской войны, моряки торгового флота подводили к нашим бортам уголь и нефть, брали от нас боевые мины, загромождая ими свою привыкшую к мирным грузам палубу, и кидали их на путях противника. Они принимали от нас длинные стволы орудий и ставили их на свои речные буксиры и баржи. Торговые моряки, незаметно для себя приучившись воевать, оставались на Красном флоте командирами и комиссарами.

И эпопея траления Финского залива, тяжелый и опасный труд военных моряков,— это лишь честная отдача долга кораблями военными кораблям торговым. Свободно и безопасно они пошли из Ленинграда во все концы земного шара, с каждым годом все более и более насыщая ровным алым цветом советского флага пестрое смешение флагов на оживившемся Финском заливе.

Есть такой морской обычай — салютовать флагом. Удивительно, до какой степени выразителен этот морской поклон и как эволюция его иллюстрирует путь,

пройденный нашей страной за период мирного строительства.

Иностранные корабли, начавшие посещать Ленинградский порт, салютовали флагом далеко не всегда. Финский крест на белом поле или желто-красная неразбериха скандинавов чрезвычайно неохотно и медленно отделялись от клотиков, как бы раздумывая, стоит ли: на рейде болтались лишь скромные тральщики, грязные от непосильного труда.

Но уже в следующие годы, проходя по этому же рейду мимо медленно оживающей «Парижской коммуны», вставшей рядом с «Маратом», гости раскланивались более оживленно и приветливо с каждым из линкоров в отдельности. А в 1927 году бригаде линкоров, громившей у Сескара щиты двенадцатидюймовыми снарядами, повстречался германский транспорт: он стремительно спустил флаг до самого фальшборта — и долго шел так, вздрагивая при каждом залпе.

Как надменно реяли эти флаги у растерзанных советских берегов в девятнадцатом году! Каким гулким пушечным басом покрикивали эти корабли на наши города и деревни! И как хотели бы они вновь прийти к советским берегам, переполненным несметными богатствами, которые мы добыли в нашей стране за эти годы!

Но моря, омывающие советские берега, изменили состав воды. Советские моря насыщены металлом. У страны, ставшей металлической, самая вода стала стальной. Четыре флота создали на этой воде новую береговую черту, не подчиняющуюся географии.

☆☆☆

Никто не зависит до такой степени от экономических условий, как именно армия и флот. Вооружение, состав, организация, тактика и стратегия находятся в прямой зависимости от данной степени развития производства и средств сообщения.

Энгельс

...Степь. Желтая трава. Сухой жар высокого солнца (это он делает желтыми травы и смуглыми — человеческие лица). Сотни лет никто не смел задерживаться в мертвенных просторах Шаульдера. Караваны проходили здесь, изнемогая, от колодца к колодцу. Эти места носи-

ли трагическое имя «Су-сагны», что значит в переводе «тоска по воде».

В начале тридцатых годов тридцать шесть кочевников-казахов начали рыть эту сухую степь. Мутная вода Арыси наполнила канал шириной в пять метров и длиной в тридцать один километр и растеклась по ней тонкими жилками арыков. Спасительная влага преобразила степь. Кирпичные дома стали у новых хлопковых полей, шесть тысяч кочевников осели на рожденной ими самими земле. У просторной школы колхоза «Кзыл-Туркестан», в аллее молодых тополей, уже дающих тень, мы увидели веселую гурьбу казахских пионеров, пускавших по мутной воде арыка какие-то немыслимые кораблики.

Я выбрал самого маленького из них, лет девяти, и спросил у него через переводчика сперва, как его зовут («Магавья»,— ответил он), а потом — знает ли он, что такое Красный флот?

Подняв голову, он всмотрелся в беркута, описывавшего круги над степью, потом, надумав, сказал короткую фразу, блеснув белыми зубами на широком и смуглом лице. Мне перевели: «Красная Армия — это сторож нашего колхоза». Я повторил вопрос, добиваясь услышать от него именно о Красном флоте. Еще шире улыбнувшись и хитро подмигнув (мол, не обманешь!), он ответил переводчику и рассмеялся.

— Он говорит, что это одно и то же... Только не на лошадях, а на пароходах,— сказал переводчик.

Разговор оборвался — нас позвали «закусить». Мы пили кумыс и вздыхали над жирными грудами «бешбармака». Но когда мы вновь сели в машину и степь распахнула передо мной свой простор, я задумался над ответом маленького Магавьи.

Разговор происходил возле города Туркестана, на прямой дороге к Ташкенту, Самарканду, Бухаре. Здесь десятки лет тому назад шли в Среднюю Азию скобелевские и кауфманские отряды тамбовских и рязанских мужиков, одетых в белые рубахи и кепи с назатыльниками. Беркут, долговечная птица, ширявший кругами над головой Магавьи, был, может быть, одним из тех, что клевали продырявленные солдатскими пулями казахские, туркменские, узбекские тела, отмечавшие путь царской армии. И здесь девятилетний представитель национальности, не так давно считавшейся полудикой, не только знает о существовании никогда не виданных им кораблей Красного

флота, но и доверяет этим «пароходам» защиту собственной жизни. Вот оно — ясное ощущение интернациональной сущности Красной Армии и Флота!

Степь бежала мимо, постепенно зеленея (мы приближались к реке), и уже какие-то необычайно ярко-голубые птицы низко, у самых фар, пересекали наш путь. Ровный бег машины, рокот мотора, сосредоточенное молчание Исахана, шофера-казаха, недавно поменявшего верблюжий недоуздок на штурвал руля, располагали к размышлениям.

Примечательно было то, что это детское сознание не только владело уже чисто абстрактными понятиями, но и способно было выразить их на своем родном языке, в форме конкретной и образной. Магавья мог бы ответить заученной в школе фразой: «Часовой наших границ». Но он нашел свою формулировку: «Сторож нашего колхоза», именно *этого* колхоза, «Кзыл-Туркестан», дающего мальчику сытое детство, грамоту, будущность.

Эта способность мыслить рождена в Магавье новыми условиями его жизни. Его отец, пастух-кочевник, имел в его возрасте считанное количество понятий, касающихся скота, еды и нищеты. Изменения в стране, перемены байской системы хозяйства на колхозную, самый канал, проведенный кочевниками и помогший им осесть, жить вместо юрты в доме, иметь для детей школу — вот что стояло за ответом Магавьи.

Я думал еще и о том, что «оперативное задание» Магавьи Военно-Морскому Флоту доказывает уже развившуюся в этом ребенке любовь к своему колхозу, к своей стране, которая нуждается в защите и которая, следовательно, дает ему счастье (ибо защищать причину несчастья — нет надобности).

Для этого детского ума, оперирующего тем, что он видит вокруг себя, социалистической родиной оказался этот колхоз, который создал для него новую жизнь. Для ума, способного к обобщениям, эта социалистическая родина принимает очертания Казахстана, очертания Союза Советских Республик, сроднившего десятки освобожденных национальностей в великой задаче: сделать человека действительно человеком.

Так на дне ответа пионера лежала великая идея нашей эпохи — идея пролетарского гуманизма.

Во имя этой великой идеи — торжества человеческой жизни в коллективе, победившем силы природы и сло-

мавшем уродующие человека общественные отношения, которые были построены на эксплуатации человека человеком, на духовном и материальном рабстве,— гибли дорогие товарищи наши, балтийские моряки, на эсминцах «Гавриил», «Константин» и «Свобода», на бронепоездах, на речных буксирах, гибли на Волге, на Балтике, на Черном море, в Приморье. И во имя этой великой идеи четыре военно-морских флота и несколько флотилий на морях, океанах, озерах и реках...

Тут машина внезапно кинулась в сторону и запрыгала по ссохшимся колеям. Желтый комочек метнулся перед колесами и исчез в жесткой траве. Я сбоку вопросительно посмотрел на Исахана.

— Суслик,— сказал он, выводя машину на дорогу.

Поведение его показалось мне удивительным.

— Ну так что? Черепах же давишь?

— Черепаху интересно. Видал, как лопается? Суслик — нехорошо.

— Примета, что ли, какая?

— Зачем примета, наши казахи ловят, за границу идет. Зачем шкурку портить? Шкурка денег стоит...

Желтый комочек был сусликом-песчаником, знаменитым казахским зверьком, которого ловят в степях в количестве трех миллионов штук ежегодно; и я вспомнил, сколько золота приносит стране этот зверек. Машина, вздрогнув, попала в колею, Исахан прибавил газу, и в дорожное раздумье вошли огромные богатства Казахстана...

Военные корабли, как известно, построены из металлов, стреляют бездымным порохом и кормятся углем и нефтью. Где-то за горизонтом, в невидимом продолжении расстилавшейся передо мной степи, лежали под сухой и ровной ее гладью цветные металлы, железная руда, нефть и уголь, а в колхозе маленького Магавьи я оставил хлопок, взросший на ее поверхности, а чуть к югу — в степи росли волшебные корни тау-сагыза, пропитанные натуральным каучуком. Здесь, в Казахстане, была создана третья угольная база Союза — Караганда, здесь находилось второе Баку — Эмба. Уголь и нефть, без которых голодали наши корабли в гражданской войне, шли теперь из Казахстана в количествах неисчислимых. Здесь строился Балхашский медный комбинат, отсюда — из Чимкента и Риддера — текли в Советский Союз тысячи тонн свинца, здесь были никель, вольфрам, цинк.

Все основные элементы, из которых создается боевой корабль, которыми он питается, которыми он стреляет, находились здесь, в этой степи, безмерно удаленной от какого бы то ни было моря, но теснейше связанной с морем и с кораблями Военно-Морского Флота. Все эти элементы не могли появиться на свет, пока не изменилась политическая и экономическая структура страны, пока эта страна не вошла в социалистический союз республик.

Вызванные к жизни волей освобожденного народа, эти элементы смогли создать и средства собственной защиты. Две пятилетки, насытившие страну металлом, дали жизнь современным нашим кораблям. Металл в военном своем воплощении вынес оборону берегов далеко в море, создал под водой непроходимые рифы мин и подлодок.

И тогда настало время с трибуны сессии Верховного Совета сказать те слова, о которых мечтали комсомольцы двадцатых годов, которых ждали старики боцмана, отдавшие всю жизнь флоту,— слова о создании могучего Военно-Морского Флота Советского Союза. Под горячую мечту была подведена металлическая база.

Новые крейсера, быстро и далеко стреляющие, несут по водам советских морей бессмертные имена великих людей социализма. Новые миноносцы приняли гордые названия героических кораблей русского флота. Но мог ли старый «Стерегущий», кто до последнего снаряда отбивался от японцев и затопил себя, чтобы не сдаться, мечтать о той сказочной скорости, с какой мчатся по волнам новые советские эсминцы? Подводные лодки плотной, непроворотной стаей бродят теперь в тех местах, где когда-то сдерживали врага одинокие лодки девятнадцатого года «Пантера» и «Рысь».

Эти линейные корабли, эти крейсера, миноносцы, подлодки, торпедные катера, авианосцы строила и строит вся Советская страна. Сотни заводов в разных ее концах строят турбины, электромеханизмы, создают вооружение, тянут проволоку для проводов и обволакивают ее изоляцией из советского каучука, перерабатывают хлопок в порох. Огромные запасы нефти и угля создаются в предвидении того, что в нужный момент их потребуют военные корабли. И даже такая далекая от морей страна, как Казахстан, двинулась всей своей степью и всеми горными хребтами к флотским базам, неся военным кораблям сыпучие груды угля, озера нефти, горы металлов.

«Вооруженные силы страны являются ярким отражением политических и экономических особенностей данного государственного строя» (Энгельс).

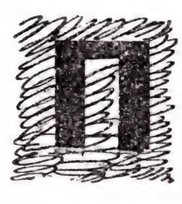
С каждым годом нам все легче воспитывать краснофлотцев из рабочей молодежи и колхозников, все легче обучать их сложному и трудному военно-морскому делу. С заводов и строек приходят готовые машинисты, с электростанций — готовые электрики, из колхозов — с тракторов и комбайнов — готовые мотористы, с торгового флота — готовые рулевые, с рыбных промыслов — готовые боцмана.

В отличие от армий и флотов всего мира и всех эпох, эти советские моряки защищают действительно *свою* родину, где находятся *лично* им принадлежащие социалистические богатства, и *свою* политическую систему, которая на базе этих богатств создала им и миллионам людей свободное, сытое, содержательное и счастливое существование.

Четыре военно-морских флота — Краснознаменный Балтийский, Черноморский, Тихоокеанский, Северный,— составленные из нужного количества мощных боевых машин, плавающих на воде и под водой, летающих по воздуху и стреляющих с береговых крепостей, охраняют моря и океаны Советской страны. И если взглянуть на командиров, комиссаров и краснофлотцев четырех флотов, то в памяти встанут два поколения: матросы революции и комсомольцы первого призыва. Это они спасли Красный флот в ледовом походе, это они отстояли его в боях гражданской войны — и это они положили начало могучему Военно-Морскому Флоту Советского Союза.

1936—1939

Перстни



ообедав, сытости не ощутили. Политой холодным подсолнечным маслом пшенной каши пришлось по пяти столовых ложек на человека. Оттого, что ели ее с больших фарфоровых тарелок, украшенных императорским гербом и андреевским флагом, сытнее она не стала. Зашумев стульями, встали из-за стола и разбрелись по кают-компании.

Она хранила еще комфортабельную роскошь былых дней. Кресла-слоны, пухлые и огромные, важной толпой обступили круглый стол, утерявший уже темно-синюю бархатную свою скатерть. Зеркальные грани аквариума, безводного и пустого, уныло пускали на подволок чахоточных, малоподвижных зайчиков. Рояль блестел черной своей крышкой, привыкшей отражать золото погон и пуговиц. Ноты на нем, в голубых атласных переплетах с флюгаркой корабля на корешке, пронесли сквозь оба года революции вечную страсть Кармен, чистую любовь Маргариты и греховную томительность ресторанных танго. Старший инженер-механик Бржевский откинул голову на спинку кресла, отыскивая ямку, к которой его седой затылок привык за последние шесть лет.

— Юрочка, приступайте к вашим обязанностям,— сказал он с тем отеческим добродушием, которое было признано всеми: Бржевский, старейший член кают-компании, теперь принял на себя почетную обязанность

председателя ее, с тех пор как в «старшие офицеры» неожиданно выскочил бойкий прапорщик по адмиралтейству, позволявший вставать из-за стола без спроса.

Шалавин подошел к нему с огромным стаканом в руках.

Такие стаканы, сделанные из бутылок, были почти у всех бывших офицеров линейного корабля. От безделья и полной непонятности, что с собой делать, кают-компания периодически охватывалась эпидемиями массового подражательства. Стоило второму артиллеристу, неизвестно почему, сделать себе стакан из бутылки, как все начали лихорадочно отыскивать бутылки и обрезать их ниткой, смоченной в бензине, изощряясь в причудливости форм и размеров. Победителем вышел младший штурман линкора Юрий Шалавин. Его стакан, сработанный из аптекарской склянки, которую он выменял у старшего врача за два крахмальных воротника, вмещал ровно литр и требовал восемь ложек сахара. Сахара, впрочем, хватало: недавно с Украины вернулся продотряд, потеряв одного матроса убитым и двух ранеными, и общим собранием линкора было решено раздать на руки по пуду сахара и по две сотни яиц.

Это тотчас породило новую эпидемию: гоголь-моголь.

Ежедневно после обеда из всех кресел раздавался дробный стук вилок, сбивающих белки, и жужжанье растирающих желтки ложек. Крутили все, кроме «женатиков», свезших яйца и сахар домой. Эти сидели возле крутивших и без устали рассказывали анекдоты, надеясь на деликатность: казенный обед, как сказáно, не насыщал. В героях нынче ходил командир второй роты Стронский, свободно съедавший гоголь-моголь из восьми яиц.

— Нечего играть, Мстислав Казимирович,— сказал Юрий лениво.— «Новых я песен совсем не «играю», старые же ж надоело...» И вообще все надоело. Скюшно чивойто. Приспнуть, что ли, минуточек триста?..

Бржевский набил прокуренную английскую трубку махоркой. В махорку он подбавлял сушеный вишневый лист, и от этого она приобретала острый и сладкий аромат и горела в трубке, как дрова: с треском и взрывами.

— Да,— сказал он значительно,— скучная жизнь пошла... А вы все же сыграйте... Вот это.

Сквозь жужжанье и перестук вилок полонез загремел

пышными и четкими аккордами. Играл Шалавин хорошо, с блеском.

Бржевский откинулся в кресле, и выпуклые его глаза медленно прикрылись сухими, стареющими веками: скучная жизнь, это правда,— жизнь в постоянном страхе, подавляемом гордостью, жизнь, полная ежеминутных компромиссов, замалчиваний оскорблений, неверных ожиданий, нерадующих надежд на какие-то перемены. Корабль бесполезен, как бревно, машины молчат. Матросов нет — есть холопы, наглые враги, упивающиеся властью. Вчера комиссар приказал выдать бензин, с таким трудом вырванный из порта, каким-то делегатам какого-то экспедиционного отряда. Не в бензине дело, черт с ним, пусть все сгорит вместе с бензином и с портом! Дело в унижении. В усмешечке машинного содержателя: «комиссар приказал...» В Питер съездить (все же — берег!) — и тут унижение: увольнительный билет, как матросу второй статьи. Да и в чем поедешь? В пальто, на плечах которого черные невыцветшие следы от царских погон, а на рукавах — такие же, чуть побледнее, следы от керенских нашивок, как двойная каинова печать: бывший капитан второго ранга, бывший механик — короче, бывший Мстислав Бржевский... Да, раз в жизни он ошибся, но ошибся жестоко и непоправимо: надо было прошлой весной оптироваться, принять польское подданство. Вот мичман Мей оптировался же в Эстонию, а Постников — в Лифляндию... Подумаешь, нашлись латыши и эстонцы! А он — кровный поляк и католик — поленился найти документы, как-то не выбрался из Кронштадта, пропустил время — старость, старость, потеря чутья!.. А теперь — война сразу со всеми новыми и старыми государствами, и оптация лопнула...

Полонез резко оборвался, и в тишине неживого корабля опять с бесполезной деловитостью застучали вилки. Бржевский открыл глаза. Шалавин, упершись локтями в клавиатуру, читал газетный лист, как-то попавший в Шопена. Газета была позавчерашней, по серой грубой бумаге тянулся через всю страницу лозунг:

ОТДАДИМ ПРОЛЕТАРСКИМ ДЕТЯМ ОСАЖДЕННОГО ПИТЕРА ЧЕТВЕРТЬ ФУНТА ХЛЕБА

— Играйте, Юрий Васильевич,— сказал Бржевский, морщась.— Хлеб уже урезали на весь август, и вопрос исчерпан...

— Кстати, насчет хлеба,— послышался голос из соседнего кресла.— Шалавин, вы собираетесь платить по старым векселям?

Юрий, не оборачиваясь, покраснел и стал ненужно перелистывать ноты. Голос принадлежал командиру второй роты Стронскому, а долг был действительно двухмесячной давности. Он относился к тому — увы, безвозвратному — времени, когда Юрий сам был «хлебным королем». Тогда, в спешке экстренных переводов командного состава, вызванных восстанием на Красной Горке, провизионка штурманских классов выдала Юрию месячный паек хлеба мукой и забыла оговорить это в пищевом аттестате. На линкоре же, готовившемся к бою с изменившим фортом, было не до формальностей. Таким образом, тридцать шесть фунтов муки неожиданно свалились с неба, как наследство американского дядюшки, и Шалавин стал жить хорошо. За двенадцать фунтов он приобрел тут же в Кронштадте велосипед — совсем хороший велосипед, только без насоса. Фунтов десять ушло на блины с артиллеристами, располагавшими пушечным салом, вполне годным для смазывания сковороды, если его перетопить с луком и лавровым листом. Остальные же запасы перешли к Стронскому.

Стронский, бывший мичман гвардейского экипажа, попавший на линкор еще до Юрия, принес с собой в кают-компанию тот особый душок, которым отличались миноносцы, зимовавшие в Петрограде. Он первый ввел в обиход нагловатую формулу: «за соответствующее вознаграждение». Всякого рода одолжения, оказываемые друг другу офицерами в порядке приятельской услуги, с появлением Стронского приобрели коммерческую базу. Сперва формулой этой пользовались с шуточкой, с улыбочкой, а со временем она вошла в быт расчетливо и жестоко. Шалавин, располагавший, как ему казалось, неограниченным капиталом, не раз и не два ленился выходить на вахту в дождь или ночью на «собаку», и Стронский стоял за него «за соответствующее вознаграждение»: полфунта муки за вахту, полтора — за караул. Тариф казался приемлемым, и все шло прекрасно, пока однажды, после большого блинного кутежа, Юрий не проснулся банкротом. Пришлось понемногу урезать от себя хлеб и выплачивать Стронскому. Теперь же с отдачей четвертки детям из пайка оставалось

только три четверти фунта, и из них платить долг было никак не возможно.

Самое обидное во всем этом было то, что Шалавин отлично знал, какое употребление делает из его хлеба Стронский: достаточно было взглянуть на его накрахмаленный китель (единственный в кают-компании), чтобы понять, что этот хлеб идет прачке,— для личного питания Стронский имел особые источники.

— Ну, ну, вы, Гарпагон,— сказал Юрий с неудающейся жизнерадостностью.— Мне же самому жрать нечего! Потерпите... Или хотите: отдам натурой, согласен на две «собаки» и одну дневную. В дождь.

— Ата́нде-с, Юрочка, гоните хлеб,— отрезал Стронский равнодушно.

Шалавин не знал, куда деваться. Сейчас Стронский станет нагло утверждать, что он сам голодает и что он не пудель — стоять за других вахты. Юрий приготовился к крупному разговору, решив высказать наконец Стронскому, что ему известно, сколько кур и масла получает тот с матросов в благодарность за просрочку отпуска, и что очень стыдно (недостойно!) грабить своих же товарищей по кают-компании, но, на счастье, к роялю подошел трюмный механик Басов, ходивший нынче в «сахарных королях», ибо в поездке с продотрядом он сумел, сверх розданного, запастись сахаром в количестве изрядном.

— Штурманец, кататься поедете? — спросил он деловито.

— Нет,— сказал Юрий, радуясь перемене разговора,— ветер чертов, с колес сшибает.

— Жаль... А я хотел попросить вас яиц купить.

— Неужто все слопали? —изумился Юрий.

— Долго ли. Домой полсотни свез. А с этого обеда в животе мировая скорбь. Смотались бы, а?

— За соответствующее вознаграждение,— сказал Юрий, улыбаясь.

— Само собой. Беру в пай: харч мой, доставка ваша. Заметано?

— Постойте,— сказал Юрий, поворачиваясь к Стронскому.— Алло, вы, мироед! Идет сахар за хлеб?

Стронский подумал.

— По шесть ложек за вахту,— сказал он твердо и поспешно добавил: — С горбом.

Начался торг. Спорили долго, со вкусом, в крик. Смеялись, острили, отворачивали полу кителя и хлопали на ней по рукам, божились, кричали: «Себе дороже!» или: «Помилуйте, овес-то ныне почем?» — и со стороны это казалось веселой забавой, игрой в рынок.

Но кончилась эта шутливая торговля вполне реально, сложной банковской операцией: Шалавин привозит яйца и обязуется сделать еще один рейс по требованию Басова (но не в дождь!) и за это получает десять ложек сахару, переходящих Стронскому в погашение векселя вместе с хлебом младшего минера, который подошел к бирже в поисках желающих отстоять за него вахту и тут же нанял на это Шалавина. Басов отсчитал четыреста рублей и передал их Юрию на десяток яиц, попросив купить их не у той бабы, что сидит у самых Петроградских ворот, а у рябой, что ближе к госпиталю. Юрий зашел в каюту, захватил портфель и пошел искать по кораблю старшего офицера, чтобы спросить разрешения сойти на часок на берег.

В этом не было никакой нужды, потому что давно уже все члены кают-компании уходили на соседние корабли или в Кронштадт без спроса, ни в грош не ставя прапорщика по адмиралтейству. Но Шалавину нравилось всем своим поведением подчеркивать, что он никак не может отвыкнуть от поступков и слов, якобы ставших его второй натурой. Именно поэтому он называл прапорщика «старшим офицером», неизменно приподымал над головой фуражку, всходя по трапу на палубу, обнажал голову при спуске и подъеме флага, гонял на вахте от правого трапа шлюпку, если в ней не было командира или «старшего офицера». Поэтому же в Петрограде он надевал под пальто флотский сюртук с блестящими обручами мичманских нашивок и, играя портсигаром с эмалевым андреевским флагом, тоном приглушенной скорби жаловался знакомым дамам, в частности хорошенькой Аглае Петровне, что флот гибнет и что им — флотским офицерам — служить все труднее и флота уже не спасти.

Все это было липой — и скорбь, и традиции, и самый сюртук, который Шалавин весной выменял у бывшего мичмана Ливрона за пуд картошки. «Флотским офицером» ему быть не удалось, ибо полтора года назад Морское училище без лишнего шума развалилось. В один мартовский день те из гардемаринов, которые за это

время не смылись к Каледину на юг или к Миллеру на север, вышли на набережную с буханкой хлеба и фунтом масла, отпущенными комитетом на первое время, и разделились на две неравные части: бóльшая подалась по семьям, где их через родных пристроили по продкомиссиям, по службам или по университетам — доучиваться, а меньшая, бездомная и не имеющая в Петрограде теток, скромно пошла по судовым комитетам «наниматься в бывшие офицеры». Так нанялся и Шалавин на эсминец, откуда его сразу же направили в штурманский класс. Но война не дала доучиться и тут, и он стал младшим штурманом линкора, впервые попав на настоящий корабль. И здесь, подавая командиру рапорт о приеме штурманского имущества, он с гордостью подписал: «б. мичман Ю. Шалавин», видя в этой явной лжи необходимый пароль и пропуск в тесный круг «благородного общества офицеров», как именовалась в морском уставе кают-компания. Ему казалось, что он нашел наконец свое место в жизни, ясность и отдых от всеобщей непонятности, продолжавшейся второй год.

Но ни ясности, ни отдыха в этом «тесном кругу» не обнаружилось. Все шло в пропасть, треща и кренясь. Флотская служба, о которой он мечтал и до которой наконец дорвался, разваливалась на глазах, и было совершенно непонятно, кому подражать и за кого держаться. Офицеры старательно избегали всяких серьезных разговоров, но было видно, что почти каждый из них что-то понял и что-то решил глубоко внутри себя, но не допускал до своих тайных и скрытых мыслей Шалавина, несмотря на то что тот всеми силами старался доказать им, что он «свой» и, ей-богу, «бывший». С затаенной ревностью он следил, как Бржевский звал к себе в каюту Стронского и они часами там о чем-то говорили. Впрочем, с той же завистью он смотрел, как просто и весело обращается с матросами младший инженер-механик Луковский, которого Бржевский с презрительной улыбочкой называл «Наш большевичок»,— но ни Бржевский, ни Луковский с ним всерьез не говорили и не шептались. В этом мирке, прочно сложившемся еще до его прибытия и теперь разваливающемся, он был совершенно один. Поэтому он и хватался с отчаянием за «традиции», как за падающие стены, чтобы хоть и упасть в бездну, но упасть не одному.

И если бы нашелся человек, который показал бы Шалавину какой-нибудь определенный и ясный путь — все равно какой,— он ринулся бы за ним очертя голову, безразлично куда — на белогвардейские корабли в Мурманск или в экспедиционный матросский отряд на Волгу, только бы уйти от этой неясности, от полной неизвестности, что же делать с самим собой,— вот с этим веселым, молодым, сильным Юрочкой Шалавиным, желающим жить, а не недоумевать. Но офицеры отмалчивались, прикрываясь анекдотами и шуточками, как броней, а идти к Луковскому и с ним вместе — к матросам Шалавин не мог: улыбочка Бржевского была страшнее всего, ибо она означала приговор. И хотя Юрий отлично понимал, что Бржевский всего-навсего сухой и неумный стареющий фат, но что-то в осанке его, в ровном ироническом тоне, в небрежном презрении ко всему, что творится вокруг, в красивом и, как казалось Юрию, измученном лице невольно влекло к себе и заставляло сочинять из Бржевского романтическую фигуру последнего хранителя офицерской чести. И в разговорах с ним Юрий всегда старался держаться такого же иронического и спокойного тона. Так и сейчас, встретившись с ним в коридоре, Шалавин спросил:

— Не из комитета, Мстислав Казимирович? Старшо́й там не митингует с матросиками?

— В комитет не ходок и вам, мичман, не советую,— ответил Бржевский так, что Юрий вспыхнул.— А вы на бережишко? Валитесь, юноша, самостийно, корабль без вас не утонет.

Оба они прекрасно знали, что никакого комитета нет уже больше полугода, но сказать «бюро коллектива» для Шалавина означало — не выдержать небрежного тона «бывшего офицера», знающего только свои компасы и не интересующегося никакой политикой, а для Бржевского — признать, что для него есть какая-то разница между комитетом и бюро коллектива: не все ли равно, как называется сборище матросов, захвативших власть на корабле?

И оба они, пересмеиваясь с некоторой, впрочем, натянутостью, прошли мимо дверей кондукто́рской кают-компании, где до появления на флоте комиссаров помещался судовой комитет, а теперь — бюро коллектива, деятельность которого каждый из них представлял себе по-разному.

Бржевский ненавидел эту дверь, как очаг неизлечимой болезни, охватившей страну и флот, и каждый раз, проходя мимо этой двери, чувствовал противный заячий страх, не прекращающийся два с лишним года,— страх, который нельзя было прикрыть ни иронией, ни остротами. Шалавину же бюро коллектива представлялось чем-то вроде кабинета инспектора классов в училище, куда вызывали нерадивых, чтобы читать нудные нравоучения или просто раздолбать по первое число и отправить в карцер. Самому ему здесь бывать еще не приходилось, но выражение лица, с которым выходили отсюда или от комиссара бывшие офицеры, вполне подтверждало эту смутную догадку. Поэтому и теперь он с некоторой опаской проскочил мимо этой двери, как бы ожидая, что оттуда выглянет суровое матросское лицо и грозно спросит: «А ну-ка, военмор Шалавин, предъявите шлюпочный компас номер ноль тридцать четыре!» — и тогда придется сознаться, что компас этот однажды под веселую руку он побеспокоил и разведенный спирт, в котором плавает картушка, употребил для цели, штурманскому делу чуждой: распил вместе со вторым артиллеристом под блины... В сотый раз Шалавин поклялся себе, что в ближайшую же поездку в Петроград он купит там стакан спирту, чтобы подлить его в хранящуюся сейчас в компасе обыкновенную воду, и, внезапно покинув Бржевского, юркнул в первый попавшийся люк, чтобы выскочить на палубу.

В бюро коллектива было сейчас полно народу, но никто не собирался допытываться, что случилось с компасом № 034, как опасался того Шалавин, и никто не ставил на повестку дня вопрос, как бы почувствительнее унизить старшего механика, как думал это Бржевский. Здесь решались дела важнее и значительнее: корабль оставался без угля.

В тот самый послеобеденный час, когда в кают-компании бывшие офицеры деятельно стучали вилками, сбивая гоголь-моголь, матросы собрались в бюро коллектива, чтобы подумать о том, о чем должны были думать бывшие офицеры: как и где найти угля, чтобы тренироваться в управлении орудиями, чтобы проветривать вентиляцией погреба с боезапасом, чтобы держать корабль в боевой готовности, и если уж нельзя ходить по морю, то хоть стрелять из гавани. И хотя уголь прямо касался Бржевского, но думал об этом не он — старший

инженер-механик, и не Шалавин, который так жаждал боевых походов на первом своем боевом корабле, и не артиллерист Стронский, занятый сейчас вовсе не мыслью о вентиляции погребов, а о том, как бы скрыть от комиссара опоздание комендора Попова, который, подлец, надул и просрочил уже семь суток отпуска, а не пять, как договаривался «за соответствующее вознаграждение». И все те образованные и обученные командовать люди, которые по-своему искренне были убеждены, что флот гибнет и все разваливается, так и не зашли в бюро коллектива помочь матросам в деле, касающемся корабля и всего флота: одни — из прямой ненависти, другие — из злорадства, третьи — из ложного самолюбия, боясь, что их холодно спросят: «А что вам здесь нужно?», четвертые — из глубокого и усталого безразличия ко всему, пятые — потому, что предполагали, будто в «коллективе» только выдумывают лозунги, спорят о революции в Мексике и устанавливают очередность отпусков для команды. Из тридцати шести бывших офицеров линкора в кондукто́рской кают-компании было сейчас только двое: тот, кого Бржевский презрительно называл «наш большевичок»,— механик Луковский, и командир линкора — скромный и молчаливый человек, бывший старший лейтенант.

Перед обедом он был в штабе флота, где ему сказали, что уголь, шедший в адрес Кронштадта, был по распоряжению Москвы оставлен в Петрограде для Путиловского завода, получившего срочный заказ для нужд фронта (которого — он так и не разобрался). Флоту же предлагалось пока обходиться собственными ресурсами, что означало просто стоянку в гавани. Ему предложили прекратить пары, включить корабль в городскую электросеть и подумать, нельзя ли варить обед на стенке в походных кухнях на дровах. Командир пытался сказать, что в городской сети ток переменный и что тогда придется отказаться от вентиляции погребов с боезапасом и от артиллерийских учений, и попросил разрешения держать под парами хоть один котел для динамо-машины. Но начальник оперативной части замахал руками и сказал, что уголь нужен и для фортов, и для водокачки, и для завода, что все кронштадтское топливо подсчитано штабом до фунта угля и до ведра нефти и что тратить его будут только для неотложных операций миноносцев. Потом он спросил, не собирается ли командир к семье,

и любезно предложил пойти вместе с ним на штабном катере прямо в Петроград, потому что на пароходе по случаю воскресенья будет, наверное, ужасная теснота. Впрочем, в четыре часа, если этот собачий ветер не разведет сильной волны, пойдет на другом катере начальник штаба, который, конечно, не откажет прихватить с собой командира линкора.

Командир хотел было с горечью сказать, что если б поднять на стенку все восемь штабных катеров и прекратить это роскошное катанье штаба, то линкору вполне хватило бы угля на один котел, но, по привычке своей к скромности, промолчал и пошел на корабль. Зато здесь, увидев у трапа катер номер два, он сейчас же приказал прекратить на нем пары, чем вызвал крайнее неудовольствие пяти-шести принаряженных по-городскому матросов, дожидавшихся у трапа помощника командира, который собирался на этом катере прямо в Ораниенбаум. Один из них, гладкий и бойкий парень с выпущенным из-под фуражки чубом, ловко припомаженным на лбу, догнал командира.

— Товарищ командир, куда ж с такими вещами? — сказал он, показывая на два чемодана.— На Усть-Рогатке долмат застопорит, ему пропуск подавай, а пока комиссара найдешь, пока что, так и пароход уйдет...

Командир посмотрел на чемоданы. Они были большие и, видимо, тяжелые. Но уголь, уголь?..

Чубатый, заметив его колебание, тотчас заскулил:

— Думал жене отрядный сахар свезти да робу постирать — уж, видно, оставить придется... До Петровской бы, товарищ командир, тогда хоть пропуска не надо!..

— До Петровской пристани можно — и сейчас же катер назад,— морщась, сказал командир, и чубатый пошел к трапу.

— На своем на корабле да катером стесняться, эх, командиры господа бога малохольные...— заворчал он по дороге, и командир это услышал и хотел было его вернуть, чтобы объяснить, что угля нет, что его надо беречь всеми мерами. Но, представив себе, что таких, как чубатый, на корабле около тысячи и каждому объяснять невозможно, он прошел прямо к комиссару, чтобы попросить его собрать бюро коллектива для важного сообщения. Комиссара он застал за необычным занятием: тот укладывал в чемоданчик яйца, очевидно тоже собираясь к семье. И командир, глядя, как осторожно и

бережно заворачивают его огромные толстые пальцы каждое яйцо в обрывок газеты, вдруг с облегчением почувствовал, что уголь обязательно будет. Ведь сумели же матросы в голодной стране найти сахар и эти яйца? Так же сумеют найти и уголь...

И уголь, точно, нашелся. На бюро коллектива из чьей-то горькой шутки, что линкору придется теперь ходить на дровах, сама собой возникла верная догадка: перевести на дрова не линкор, а береговые кочегарки, а их уголь отдать кораблям. Механик Луковский взялся поговорить об этом в штабе и добился того, чтобы в береговых кочегарках колосники переделали под дрова, и комиссар, отложив поездку домой, стал собираться вместе с ним к комиссару штаба.

Все это осталось неизвестным Шалавину, и, поспешив поскорее смыться от страшной двери, он вывел из кормовой рубки велосипед и сошел по трапу.

Штормовой ветер ударил его в бок сразу же, как он выехал из-за железного сарая у стенки. Юрий вильнул рулем и выругался: прогулка превращалась в труд. Ветер дул с севера, не меньше как на семь баллов,— флаги на кормовых флагштоках стояли, как картонные, и, трепеща, трещали непрерывным тревожным треском. Дым дежурного миноносца у ворот стлался почти по воде. Пыль летела горизонтально.

У ворот Усть-Рогатки «долмат» — портовый сторож, дремучий старец в черной шинели, похожей на рясу,— остановил Шалавина.

— Пропуск,— сказал он сурово.

Юрий, перекосившись на седле, уперся ногой в камень.

— Не узнал, дед? Два велосипеда на всю гавань, пора бы знать.

Старик равнодушно поправил на ремне берданку.

— Не ласапет. Ласапет нас не касаемо. На вещи пропуск.

Юрий оглядел себя — какие вещи? — и улыбнулся: на руле висел портфель. Сказав «пустой же», он открыл его. Старик деловито заглянул внутрь.

— Пропуск надо. Там стружки каки-то. Казенные стружки?

Шалавин полушутя, полусердито объяснил, что стружек этих у железного сарая, где работают плотники, хоть завалиться, что хотя они и казенные, но бросовые

и что взял он их, чтобы не побить в портфеле яйца, за которыми едет. Переругивались минут пять, пока у Шалавина не лопнуло терпение. Внезапно для старика он снял с камня ногу, ветер тотчас подхватил его в спину, и крики старика мгновенно заглушились шумящими деревьями Петровского парка. Кажется, старик засвистел вслед,— ну и черт с ним, не стрелять же станет, долмат!..

Усмехнувшись, Юрий привычно свернул на самую середину улицы, так как возле панелей то и дело сверкали битые оконные стекла — следы недавних разрывов бомб. Ветер дул здесь еще сильней, машина, гонимая им, катилась сама, как мотоцикл, и ощущение быстрой езды сгладило раздраженность, вызванную унизительным разговором со сторожем,— выдумали эти пропуска, как для воров... Выпуклый узор чугунной мостовой, рокоча, стлался под шины, широкая безлюдная улица мчалась навстречу. Могучие, как форты, стены артиллерийских мастерских мертво и безмолвно смотрели на Юрия пустыми глазницами выбитых стекол. Козы, щипавшие поросшую на мостовой траву, шарахались в стороны. Мелькнуло зеркало канала, равнодушного к ветру за гранитной защитой своих стенок, крутой мостик заставил велосипед взмыть вверх — и тут Юрий едва поспел затормозить и объехать глубокую и широкую яму в мостовой. Новость! Очевидно — вчерашний налет...

Бомбы вошли в быт Кронштадта естественно и просто, как разновидность дождя или снега: второй месяц почти ежедневно они падали с неба на город. Их плотный и глухой взрыв предварялся пронзительными воплями горнов, игравших на кораблях воздушную тревогу, и потом — резким и беспорядочным стуком зениток. Небо покрывалось легкими розовыми пушка́ми шрапнели, и где-то возле них мальчишки, выбегавшие из домов на призыв горнов, находили один или два аэроплана: сверкая, они плыли в высоте со странной медлительностью, заставлявшей замирать сердце. Задрав головы и расставив босые ноги, мальчишки встречали их звонким радостным гвалтом. Наконец тот из них, кто потом гордился целую неделю, кричал: «Бросил, бросил!» Блистающая, быстрая слеза скатывалась с желтых крыльев, спадая дугой на город, и сразу пропадала из виду. Потом доносился пронзительный короткий свист (будто воздух рассекли цирковым бичом), и откуда-то долетал приятный,

бодрый и плотный звук взрыва. Ребята, вертя головами, искали черно-желтый клуб дыма, встающий за крышами домов, чтобы, найдя его, вперегонки мчаться к месту падения бомбы. Азарт этот не мог быть прекращен ничем, даже гибелью двух девочек и трех женщин, убитых в Летнем саду во время гулянья с музыкой в прошлое воскресенье. Впрочем, жертвы были редкостью: бомбы падали, как правило, в пустопорожнее место — в воду гавани, посреди улицы, в заводские пустыри.

Однако при каждом новом налете Шалавин испытывал все более неприятное ощущение. Это было чем-то вроде лотереи: чем больше билетиков вынуто, тем больше шансов вытащить из остатков тот, что с крестиком. И каждый промах по линкору не радовал, а тревожил. Казалось, что в следующий налет вся порция попаданий, отпущенная теорией вероятностей, обязательно ляжет на палубу,— когда-нибудь должны же попасть?.. Игра эта начала уже утомлять, и поэтому сегодняшний ветер, гарантирующий невозможность налета, казался кстати.

Но на повороте этот ветер со всей силой обрушился прямо в грудь. Пригнувшись к рулю, работая ногами до сердцебиения, Шалавин с трудом выгребал против него. Пыль летела ему навстречу, слепя и забивая рот. Чертовы яйца!..

Самым обидным оказалось то, что когда Юрий, взмокший и задыхающийся, довез наконец себя до Петроградских ворот, яиц там не оказалось. Старухи, правда, сидели, но одна торговала лепешками из жмыхов, другая — яблоками, мелкими и твердыми, как репа, а рябая, повесив на локоть пустую корзинку, собиралась уже уходить.

Прокляв все — и старух, и Стронского, и ветер,— Юрий присел отдохнуть и тут же выругался вновь: портсигар был пуст. Он поднял голову, присматриваясь, у кого из проходящих на пристань можно было бы попросить папиросу.

На пристань шли главным образом матросы. Их небрежно накинутые на плечо бушлаты, тщательно заглаженные брюки с преувеличенным клешем, почти скрывающим на диво начищенные ботинки, непринужденность жестов, белые зубы и громкий разговор действовали на Юрия угнетающе. Он сидел на скамье в возможно независимой позе, вертя в пальцах бесполезный спичечный

коробок, но против воли прислушивался к их шуткам, все время ожидая чего-то, что вот-вот должно произойти.

Что именно должно случиться — он сам не знал. Но такое ощущение настороженности никогда не покидало его при встрече с матросами. Это властное и сильное племя, решительное в поступках и счастливо уверенное в себе, делилось им отчетливо на две неравные части: свои и чужие. «Своими» была команда линкора, «чужими» — все остальные. Но и среди «своих» он так же отчетливо различал два подкласса. Те, кого он знал по фамилии,— матросы его роты, сигнальщики, рулевые,— были совсем не страшными, обыкновенными людьми, от которых он не ожидал никаких внезапностей и с которыми можно было разговаривать, шутить и даже на них сердиться. Прочие «свои» были менее ручными, но все же не вызывали в нем того страха, который органически связывался с «чужими». Страх этот кидал его в две крайности: или в заискивающую фамильярность, когда он попадал в их среду один, или в презрительно-насмешливую холодность, когда он бывал среди них в компании офицеров. Великое это чувство — локоть соседа! Вот и сейчас — если б он сидел здесь рядом с Бржевским или с тем же Стронским, разве он ежился бы так, ожидая грубой шутки по своему адресу, оскорбления, наконец, просто насилия? Вероятно, они острили бы наперебой, рассматривая принаряженных матросов, собравшихся к своим питерским дамам, вроде вот этого, с чубом, выпущенным из-под бескозырки...

Шалавин вздрогнул. Чубатый, точно угадав его мысли, вдруг всмотрелся в него и, сказав что-то, на что громко засмеялись шедшие с ним матросы, отделился от них и пошел прямо на него. Юрий внутренне весь сжался, сердце его заколотилось, а губы непроизвольно улыбнулись навстречу улыбке чубатого матроса. Тот подходил вразвалку, размахивая двумя чемоданами и оглядываясь порой на поджидавших его матросов... Вот оно, вот оно, сейчас... Шалавину захотелось прикрыть глаза и сползти под скамейку.

— Огоньку одолжите, товарищ штурман,— сказал, подойдя, матрос, и Юрий с облегчением узнал в нем «своего», но никак не мог вспомнить ни его специальности, ни фамилии. Кажется, раз стоял с ним ночную вахту...

— Пожалуйста, товарищ,— протянул он коробок с излишней торопливостью, которую тут же брезгливо отме-

тил внутри себя, и, не узнавая своего голоса, продолжал с ненужно-циничной бранью: — Дайте и мне папироску, забыл, чтоб им...

Чубатый поставил чемодан на траву, раскрыл коробку «Зефира № 400», закурил сам и, ловко укрывая от ветра огонь ладонями, поднес Юрию спичку. На коротких пальцах матроса сверкали два золотых перстня, на безымянном — с большим рубином, на мизинце — длинная маркиза, едва налезшая на второй сустав.

— В Питер? — спросил Юрий, опять против воли закончив вопрос циничным предположением.

— Погулять охота,— сказал чубатый матрос весело.— А как вы на корабль доберетесь, ишь дует как? Мы с братками и то смеялись: кто кого везет — вы машину или она вас?

Он поблагодарил за огонь и быстро пошел вдогонку за матросами. Юрий смотрел ему вслед с неопределенным чувством гадливости, не понимая, откуда оно: от собственной ли его унизительной торопливости со спичками и подлаживающейся брани или от матроса с его чубом, уверенностью и кольцами. Вдруг он понял и с омерзением швырнул недокуренную папиросу.

Кольца!.. Конечно, гадливость была вызвана ими. Кольца! Бржевский говорил, что на одном из фортов на днях расстреливали заложников-офицеров и что для этого собирали с кораблей охотников-матросов, будто бы и с линкора кто-то пошел. Неужели чубатый был там?.. Расстреливал?.. Потом снял кольца и носит, сволочь!

Юрий яростно кинул спичечный коробок в портфель, вскочил на велосипед и завертел ногами, борясь с ветром, чтобы как можно скорее оставить место этой страшной встречи,— и чубатый преследовал его еще квартала три, жестоко улыбаясь и играя кольцами, *теми* кольцами... И он еще на прощанье пожал ему *эту руку*!

То, что одно из колец было явно дамское, а второе отдавало такой купеческой безвкусицей, что и Бржевский не смог бы подтвердить им свое мрачное сообщение, никак не могло рассеять кошмарной грезы, гнавшей Юрия от пристани. «Матросы, расстреливая, снимают перстни» — такова была легенда, хотя колец никто из бывших офицеров давно не носил по той простой причине, что за два с лишним года революции все, кто имел перстни, или смылись с ними за границу, или просто перегнали их на

муку и масло. Но легенда жила, ужасала и гнала Юрия от пристани в другой конец города.

Когда ветер и физическое усилие успокоили его, он сообразил, что заехал к Северным казармам. Отсюда в гавань можно было попасть или через город, или вдоль крепостной стены. Второй путь показался ему выгоднее: под стеной не так будет дуть ветер, а там — на фордевинд, по ветру...

Он повернул на Северный бульвар.

Необыкновенное движение на нем поразило его. Из казармы выскакивали солдаты — кто без винтовки, кто, наоборот, вооруженный до зубов. Слева из переулка вышел быстрым шагом матросский отряд и, повернув вдоль бульвара, пустился дробным и беспорядочным бегом. Кто-то кричал. Выла где-то сирена.

Юрий недоверчиво поднял голову: неужели налет? В такой ветер? Но небо бежало в быстрых белых облаках, и ни одного розового шрапнельного пушка́ на нем не было. Вдруг огромная черная лошадиная голова дыхнула ему в щеку, звон и грохот пожарного обоза откинули его к панели. Пожар?..

— Где горит? — спросил он, подбавляя ходу и нагоняя солдата, бежавшего вдоль панели.

— Таможня! — крикнул тот на бегу.— Подвези, эй! На ось стану!

Но Шалавин, не слушая, нажал на педали, заражаясь общим стремлением людей. У конца бульвара в шум бегущих толп, в грохот солдатских сапог по камням и в свист ветра врезался новый странный шум. Это был вой и треск огромного костра. Юрий, задыхаясь, свернул за угол и соскочил с велосипеда.

Грязно-желтый воющий смерч стоял над Купеческой гаванью. Он вздымался выше корабельных мачт, огромный, колеблющийся, пригибаемый к воде порывами ветра. Искры играли в нем, вздымаясь и падая. Длинные языки пламени скрещивались в дыму, как шпаги. Неравномерный жар — от теплого до обжигающего лицо — обдавал Юрия даже здесь. По стенке гавани метались люди, крича, ругаясь, хватаясь за бревна, за тросы, за руки соседей, помогая и мешая друг другу, не слыша своего голоса в реве и треске пламени.

Здесь было чему гореть.

Десятками лет накопленное богатство Кронштадта — доски, рангоутные деревья, бревна, дрова, строительный

лес, горбыли, фанера, длинные сосны, дранка, чудовищной толщины дубы,— все хозяйство лесопильного завода, порта и города лежало здесь, на искусственном островке в Купеческой гавани, соединенном с городом узким мостом. Лес лежал тут в огромном количестве, аккуратно сложенный в гигантские штабеля, похожие на дома без окон и дверей. Это была Лесная биржа Кронштадта.

Высушенные многолетней сменой солнца и мороза, звонкие на удар, сухие, как порох, и, как порох, жадные на огонь — доски и бревна эти горели все сразу. Нельзя было понять, откуда начался пожар. Не горели только каменная кладка островка и окружающая его вода. Все остальное пылало свободно и могуче, воя, взвихриваясь, раскачиваясь дымным смерчем, выбрасывая гибкие пламенные руки, чтобы ухватить ими дома на берегу, мачты лайб, самую воду, которая вскипала от головней, летавших по воздуху, как длиннотелые огненные птицы. Крыша таможни уже занялась от их жгучих клевков, тонкие струи воды били в нее снизу, и черные фигуры пожарных мелькали на карнизе. Двухмачтовая лужская лайба, которую на шестах проводили вдоль стенки, вдруг заволоклась качнувшимся к ней смерчем, и, когда он опять взвился к небу, Юрий увидел, что лайба уже пылает и люди прыгают с нее в воду. Портовый пожарный катер тремя струями шлангов поливал стоявшую дальше баржу, покорно ожидавшую огненных объятий. На стенке матросы оттаскивали какие-то ящики — тушить было бесполезно, оставалось только спасать то, что еще не пылало.

С высокой насыпи уличной набережной, где остановился Шалавин, можно было охватить взглядом всю эту страшную картину. И вдруг он заметил, что железная баржа, которую поливал буксир, была полна снарядами. Тупорылые, блестящие, они лежали в неглубоком ее трюме, а на палубе, на баке, стояли деревянные ящики,— вероятно, с сорокасемимиллиметровыми зенитными снарядами. У Юрия захватило дух. Он мгновенно представил себе, что́ будет, когда снаряды накалятся или огонь охватит ящики и когда все это ахнет у самой стенки, засыпая огромную толпу осколками. Бросив на насыпи велосипед, он спрыгнул с откоса и побежал к воде. Но там уже стояла цепь матросов, останавливая сбегавшихся.

— Давай, давай назад! — кричал усатый матрос с ленточкой «Гавриил» на бескозырке, отпихивая лезших на цепь людей, и больно толкнул Юрия в грудь.— Ну куда, куда? И так толкучка!..

Другой, тоже с «Гавриила», высокий и плотный, видимо взявшийся командовать, кричал охрипшим голосом, поворачивая подбегавших за плечи:

— На крыши! Головни скидывай! Вались, вались на крышу!

— Куда, к черту, крыши, снаряды рванет, не видишь? — в азарте повернулся к нему Шалавин, отталкивая усатого.— Отвести баржу надо, а не поливать!..

Высокий обернулся к воде и, вдруг сказав: «Дело!», ухватил за рукав трех матросов из цепи.

— Пошли на буксир, живо! Антипов, гони тут всех, к чертовой матери, на крыши, чего глазеют? — крикнул он на бегу усатому, и тот с новой яростью уперся в грудь Шалавина.

— Да меня-то пустите, ведь я же приказал о барже! — взмолился Юрий в отчаянии, но усатый, не слушая, заладил свое:

— Катись, катись на крышу! Комиссар сказал, всем на крыши!..

Люди отхлынули, и Юрий, сталкиваясь с другими, побежал обратно к насыпи. Лезть на крышу ему не было никакой охоты, да и обида на матросов, забывших о нем, кто первый увидел опасность, как-то сразу выключила его из игры. Не хотят, ну и черт с ними! Пусть сами справляются... Он забрался на насыпь, с завистью смотря, как те четверо спрыгнули на буксир, как высокий матрос с «Гавриила» о чем-то перебранивался со шкипером, потом тем же привычным жестом взял его за плечи и проворно повернул к переговорной трубе в машину. Правильно... Конечно, шкипер струсил, и Юрий сделал бы точно так же или сам крикнул бы в машину: «Малый вперед!..» Буксир дал ход и, поливая из шлангов, осторожно и боязливо подошел вплотную к барже. Матрос с «Гавриила» и с ним еще двое выскочили на нее, быстро завернули трос за кнехты. Но тут высокий смерч огня, поваленный ветром, качнувшись, лег на снаряды и на матросов. Люди на корме буксира кинули шланги и побежали на бак, и вода из шлангов бесполезно забила в воду. Толпа на берегу ахнула и отшатнулась. Юрий весь сжался в ожидании взрыва, но ветер взметнул огненно-дымный столб вверх,

и на барже вновь стали видны фигуры матросов. Теперь они выкидывали за борт ящики со снарядами, занявшиеся огнем, одновременно сбрасывая в воду ногами пылающие головни, принесенные на палубу смерчем. Люди на буксире, опомнившись, побежали на корму, и три струи шлангов вновь забили на палубу баржи, на снаряды, на головни и матросов — и так, дымя черным дымом, страшная баржа медленно стала отходить в дальний конец гавани.

Толпа снова заговорила, и Шалавин с новой злобой подумал, что, если б не этот усатый дурак, говор шел бы теперь о нем, о Шалавине, ринувшемся в огонь к снарядам. Но, прислушавшись, он понял, что говорят о другом. То, что он смог уловить в тревожном и нервном говоре вокруг, вполне совпадало с его собственным мнением: это был, конечно, поджог! И надо же было выбрать именно такой ветер!

— Поймать бы субчика да за ноги и в огонь,— сказал кто-то рядом с ним. Юрий обернулся. Золотушный солдат в шинели внакидку и в зимней продранной шапке смотрел на пожар, сплевывая через нижнюю губу. Лицо его неприятно поразило Юрия: малоподвижное, одутловатое, с вывороченными толстыми губами, на которых прилипла подсолнечная шелуха, оно было невыразительно и жестоко. Маленькие, кабаньи глазки, глядевшие из щелок под белесыми бровями, были особенно неуютны. Он опять сплюнул перед собой шелуху, и она попала Юрию на рукав кителя.

— Что вы плюетесь, товарищ, осторожнее,— сердито сказал он, брезгливо смахивая ногтем шелуху. Солдат глянул на него и ничего не ответил. Кислый запах шинели шел от него, и Юрий двинулся было в сторону, но дикая сила играющего перед ним огня остановила его, приковывая внимание. Не шевелясь, забыв о солдате, Шалавин очарованно глядел в грандиозный костер. Черные клубы дыма вздымались, как пена вскипающего молока, срывались ветром, опадали — и тогда вихрь пламени, видного и при солнечном свете, вырывался вверх, и становились заметнее очертания черных штабелей леса. Их было еще очень много.

Зрелище всякого разрушения всегда приводило Юрия в какой-то жестокий восторг... Ломались ли с треском стойки поручней и трапы при неудачной швартовке даже своего корабля, взрывалась ли рядом мина, пусть гро-

зившая осколками, разбивались ли волной шлюпки о камни — всем этим он наслаждался как проявлением огромной слепой силы, которая рушит, ломает, крошит и не может быть остановлена. Страшась ее и восхищаясь ею, Юрий внутренне молил: «Ну еще, ну, пожалуйста, еще...» — и невольно крякал, когда привычно неподвижные и крепкие вещи сдвигались с мест и ломались. Так и сейчас, смотря на горевшую биржу, он ни секунды не думал о том, что здесь гибнут огромные запасы дерева, могущего быть полезным в форме домов, шлюпок, саней, весел, мачт, столов, что здесь сгорали дрова, которых хватило бы для согревания всего города на добрые две зимы, что это зрелище, так его захватившее,— результат чьей-то злой воли, направленное в конце концов против него самого, и что этот спектакль дорого обойдется и флоту и крепости. Все это заслонялось жестоким восторгом разрушения.

На огненном острове погибали сейчас не только строительный материал и дрова для квартир. Там гибли тепловые калории — миллиарды калорий, без которых одинаково остро будут страдать зимой и человеческие тела, лишенные жиров, и стиснутый блокадой, ослабленный организм осажденной крепости, в складах которой уголь уже не пополнялся, а в цистернах нефть опускалась все ближе ко дну. Колоссальные запасы тепловой энергии, консервированные природой в звонкой клетчатке сухого дерева, уходили сейчас в нагретое солнцем летнее небо, как уходит в землю из широкой раны кровь: бесповоротно и неудержимо. Так и не превратившись в разнообразные формы энергии, необходимой Кронштадту и флоту для жизни и отчаянной борьбы за эту жизнь, калории гибли бесцельно. Электростанция, пароходный завод, водокачка, минная лаборатория, бетонные форты, хлебопекарни, артиллерийские мастерские, литейные и прачечные Кронштадта оставались без топлива.

И, может быть, чувствуя это прежде людей, они потому так и кричали всеми своими гудками и сиренами, сзывая со всего Кронштадта людей, умоляя спасти это погибающее, нужное им тепло. Их кочегарки — первые звенья в сложной цепи превращений тепла в вещи, в поступки, в чувства, в победу — чуяли уже то близкое время, когда, отдав драгоценный уголь и нефть боевым кораблям, сами они будут сжигать в своих голодных недрах кронштадтские заборы, ломаные баржи, мусор и мокрый

ельник, подобно тому, как на дрейфующем корабле кидают в топку обшивку кают, столы и шахматные доски. Они чуяли это — и густой рев гудков стоял над крепостью отчаянным, тревожным призывом.

И матросы бежали к пожару. Они вручную отводили от гигантского костра лайбы и баржи, взбирались на крыши, скидывая летающие головни, тушили занявшуюся таможню. Но никому не приходило в голову, что сейчас для многих из них здесь начинался уже страдный путь по степям Донбасса, по волжским плесам, по сибирским лесам. В этот жаркий от солнца и пламени день призрак зимы, когда каждая щепка, способная к горению, будет расцениваться так же, как равнообъемный кусок хлеба, не мог еще показать стылое свое и мертвое лицо,— и матросы, спасая то, что можно было спасти, не знали еще, что многие из них скоро отдадут свою жизнь где-нибудь далеко, в Донбассе или в Сибири, в долгих и отчаянных боях за уголь для кронштадтских кораблей, которые будут вынуждены делиться его скудными запасами с береговыми кочегарками, чье топливо сгорало сейчас на островке Лесной биржи.

Высокий штабель бревен, обнажившийся на момент в капризном метании дыма, вдруг рухнул — частью в воду, частью на стенку. Шипящий столб искр взлетел фейерверком, и на тяжелый удар обвала берег разом отозвался гулом человеческих голосов. Солдат рядом смачно обматерился.

— Ах, здорово, черт его дери! — восхищенно крякнул Юрий и тотчас пожалел об этом. Золотушный солдат повернул к нему голову и осмотрел его с головы до ног.

— Народное достояние, а вы радуетесь. Нашли смешки.

— Да я и не радуюсь, откуда вы взяли? — поспешно ответил Шалавин, ощущая привычную неуютность.— Стою и смотрю.

— Вижу, что стоите и смотрите. Тителек беленький боитесь запачкать?

Солдат вдруг обозлил Шалавина.

— Вы-то много помогаете,— сказал он насмешливо.— Не семечками ли? Понатужьтесь, может, весь пожар заплюете.

Кругом засмеялись. Молодой матрос хлопнул солдата по плечу:

— Эй, скопской, поднатужься, качай, коломенская!

Солдат откинул его руки и обернулся к Шалавину.

— Чего делаю, то мое дело! — закричал он вдруг, и маленькие глазки его сразу стали злыми.— Тебе какое дело? Протопоп нашелся проповеди читать! Я, может, стою и плачу, а тебе смешки-смехунчики!

— Не его горит, вот и смешки,— сказал еще чей-то голос.

— Ему каюту не дровами топить, чего жалеть? — нараспев поддержала женщина справа.

Юрий вспыхнул.

— Понадобится, я в этой каюте тонуть буду,— сказал он, чувствуя, что говорит совсем ненужное,— вас же защищаю...

— Подумаешь, защитник нашелся,— подхватила другая женщина привычной к перебранкам скороговоркой.— Ручки в брючки, на лисапете приехал, что в театр, матросы за снарядами в огонь полезли, а он тут баб защищает...

Это было до того обидно, что все в Юрии закипело и слезы бессильной злобы выступили на глазах, но он смолчал: отругиваться было бесполезно. Он повернулся и молча стал протискиваться.

— Не пондравилось, видно,— хихикнула вслед бойкая.

Солдат сплюнул перед собой.

— Дворянские сынки, офицерá — только погончиков не хватает... Возятся с ими флотские, и чего возятся? У нас таких еще в февральскую передавили... В белом тителе то-оже... Раскомандовался... Да я ему покажу христа-бога и семнадцатый годочек! — опять закричал он и стал, ругаясь, протискиваться вслед за Шалавиным.

Шалавин торопливо пробирался к оставленному велосипеду. Не хватало еще, чтобы его сперли. Тоже, подумаешь, полез помогать и бросил машину! Вот и помог, нарвался на оскорбления... «Ручки в брючки!» — вот же вредная дура! И этот демагог, кабаньи глазки... Хорошо еще, что так кончилось, могли и избить за милую душу... И черта его понесло в эту толпу, надо скорее на корабль, к «своим»... Толпа! Страшная вещь — такое сборище, да еще на пожаре...

Велосипед лежал там, где он его оставил. Правда, двое мальчишек, предпочтя далекому зрелищу близкое, сидели уже около него на корточках: один звонил в звонок, другой крутил колесо, наслаждаясь быстрым мель-

канием спиц. Юрий сердито их отогнал и рывком поднял велосипед. Портфель, висевший на руле, сорвался и упал, раскрывшись. Шалавин неловко подобрал его, придерживая велосипед. Стружки и спички посыпались на землю. Торопясь, он сунул спички в карман и, разгибаясь, вдруг увидел в десяти шагах от себя знакомые кабаньи глазки. Они глядели на него с такой торжествующей злобой, солдат так поспешно бежал к нему, что Юрий, охваченный непонятным ужасом, весь похолодел и, вскочив на велосипед, безотчетно ринулся вперед. Ветер опять помог ему, но сразу же он услышал позади отчаянный и долгий крик:

— Держи-и!

Продолжать бегство было непоправимо глупо. Люди, стоявшие по улице вдоль откоса к гавани, уже начали оборачиваться на этот крик. Его, несомненно, задержат. Но кабаньи глазки, горевшие непонятным торжеством, были страшнее всего. Все, что угодно, только не встреча с ними. Он пригнулся к рулю и бешено завертел педалями, едва поспевая задевать зубчаткой разогнавшуюся ось.

— Держи-и! — кричал сзади высоким и страшным голосом солдат.

Хлопнул выстрел — один, другой. Юрий увидел перед собой стену людей и врезался в нее. Чьи-то руки стянули его с седла. Он сильно ударился коленкой, но в следующий момент его подняли, и он почувствовал, что ему скручивают за спину руки. Десятки людей окружили его, чей-то наган остро уперся в спину.

— Товарищи, товарищи, постойте! — кричал он, стараясь перекричать общий гул.

Его нагнули. Кровь прилила в голову.

— Обожди, не бей,— сказал над ним чей-то хрипловатый голос.— Пусть подбегут, того ли словили.

Мгновенная надежда мелькнула перед ним. Сейчас все выяснится, ему дадут рассказать, все станет ясно... Это было похоже на сон.

Ему позволили выпрямиться, и тотчас между головами он увидел подбегавших людей и впереди них — золотушного солдата. Тот потерял на бегу шапку, стриженая его голова блестела на солнце, в высоко поднятой руке были зажаты в горсти стружки.

Юрий почувствовал, как у него подгибаются колени и как кровь отхлынула от сердца. Мгновенная тошнота заполнила рот сладкой слюной. Его чуть не вырвало.

Стружки! Боже мой! Стружки — сейчас, здесь... Кто поверит?..

— Кажи портфель! — прохрипел, задыхаясь от бега, солдат, и Юрий ужаснулся, что тот сказал именно портфе́ль, а не по́ртфель. В этом было самое страшное, бесповоротное и окончательное.

Кто-то поднял над головами портфель. В черной, растянутой руками пасти его желтели остатки стружек.

— Вот, товарищи, стружки в портфеле и спички! — отчаянно кричал солдат, кашляя и стараясь отдышаться.— Спички он в карман сунул, как меня увидал... Чего это значит, товарищи? Коли не сам поджигал, так запасной?

Юрий метался взглядом по толпе. Крики улеглись, и теперь молчаливые враждебные люди смотрели на него. И ни одного — с «Петропавловска»...

— Что ж, отвечайте, гражданин, раз спрашивают,— сказал сбоку тот же хрипловатый голос, что советовал обождать, того ли словили.— Стружки и в самом деле не к месту, зачем у вас в по́ртфеле стружки?

Юрий снова почему-то отметил ударение, на этот раз неверное. И, как будто это имело решающее значение, он почувствовал невыразимое облегчение.

— Яй-яйца,— сказал он, слыша с отвращением, что заикается.

Тот, кто держал его руку сзади, выкрикнул грубую и полную грозного смысла шутку.

— Обожди, не трепись,— сказал спрашивающий.— Вы с какого корабля?

Теперь Юрия несколько отпустили, и он смог повернуться к нему. Это был матрос с «Гавриила», тот, который побежал на буксир. Красивое его лицо было теперь измазано и черно, ладный бушлат прогорел на животе, левая рука была обмотана тряпкой, весь он был мокрым, и от него пахло дымом. Он посмотрел на Шалавина внимательно, будто припоминая, и закончил:

— С эсминцев вы, что ли?

— С «Петропавловска», младший штурман,— опять заикаясь, сказал Шалавин.

Матрос обернулся к толпе:

— Кто здесь с «Петропавловска», товарищи? Есть кто?

Из толпы отозвались два голоса, как на перекличке:

— Есть с «Петропавловска».

— Ходи сюда.

Матрос с «Гавриила» распоряжался деловито и властно. Двое протиснулись к нему, и Юрий с тоской увидел, что оба они незнакомые. Один со штатом кочегара на рукаве, другой в грязном рабочем без всяких признаков специальности.

— Ваш?

Оба матроса осмотрели Шалавина, как осматривают опознаваемую утерянную вещь.

— Кто его знает? — сказал кочегар.— Может, и наш,— всех не упомнишь.

— Чего за трибунал? Веди прямо к воде! — закричал солдат, торопливо протискиваясь к Шалавину.— Ты чего, матрос, раскомандовался? Гляди — стружки! Чего чикаться, в самом деле!..

— Обожди,— опять властно отвел его руку матрос и снова повторил: — Ваш?

Тот, кто был в грязном рабочем, вгляделся. Это был один из тысячи матросов линкора, который мог видеть Юрия на корабле только случайно — на вахте или на мостике. Видел или не видел? От этого сейчас зависела жизнь Юрия, и решал вопрос один из тех, кого в кают-компании безлично и презрительно обобщали коротким словом «команда». И что для них Юрий Шалавин? Один из тех, кого матросы, в свою очередь, обобщали безличным и презрительным словом «офицерá». Видел или не видел?

Матрос молчал, и Юрий с завистью подумал, что Луковского тот не рассматривал бы с таким равнодушием, а признал бы сразу, и тут же с горечью обвинил себя, что неделю назад не послушался Луковского и отказался заниматься с матросами на выдуманных тем общеобразовательных курсах. Может быть, этот, в грязной робе, был бы его учеником, и все сейчас обошлось бы хорошо... Но вдруг он с ужасом понял, что все уже кончено, что никаких курсов для него больше не будет, что жизнь, так глупо и неверно начатая, сейчас оборвется... Сейчас опять пригнут к земле или потащат к стенке, и этот солдат с кабаньими глазками возьмет его портсигар... Впрочем, нет, берут не портсигары, а кольца... И не солдаты... Бржевский говорил: матросы снимают кольца... Кто же снимет — вот этот?

Он открыл глаза и взглянул опять на матроса, и мысль о том, что матрос этот не найдет на нем никаких

колец, показалась ему такой забавной, что он усмехнулся.

— Наш,— вдруг сказал матрос облегченно, как человек, решивший трудную головоломку.— Наш. На велосипеде все гоняет.— И, подумав, добавил: — Веселый.

— Фамилия как? — спросил матрос с «Гавриила», и Шалавин не сразу понял, что тот обращается к нему. Он назвался.

— Где-то я вас видел, не припомню? — спросил матрос, всматриваясь.— На эсминцах раньше плавали?

— На барже,— почти беззвучно сказал Юрий, не веря надежде. Неужто выручит? Этот?.. «Чужой»?

— Я на баржах не плавал,— усмехнулся матрос, и Юрий заторопился:

— Нынче... Я вам о барже со снарядами крикнул, а вы побежали... Там усатый еще был, он не пустил за вами...

— Еще о чем спроси, каланча, с кем на крестинах пили! — опять закричал солдат и повернулся к толпе.— Товарищи, что за шашни? Они тут снюхаются, а мы гляди? Заступа какая нашлась! Тебя бы с ним вместе к стенке!.. Товарищи, становись за революционный закон, эх, нагана нет, не рассусоливал бы!..

— Зато у меня есть,— сказал высокий матрос жестко и вдруг закричал так, что загудевшая было вместе с солдатом толпа притихла: — Заткнись, орово господа бога и трех святителей, таких не одного сшибал! Закон!.. Да что ты о законе слыхал, ты...

И матрос закончил таким словцом, которое было как точный и злой портрет солдата. Тот смешался, а кругом засмеялись. Матрос опять повернулся к Юрию.

— Так какие же яйца, не пойму? — спросил он опять спокойно и негромко, словно это и не он сейчас кричал и бранился.

Шалавин, путаясь и все еще заикаясь, рассказал. Кое-кто улыбнулся, остальные рассматривали его недоверчиво и неприязненно. Солдат втихомолку сбивал вокруг себя кучу сторонников. И уже не он, а кто-то другой насмешливо крикнул:

— Сказочки! Там офицера́ подтвердят, одна шатия!

Матрос с «Гавриила», не слушая, повернулся к кочегару с «Петропавловска».

— Беги, браток, к пожару, найди в охранной цепи кого с «Гавриила», двоих с винтовками. Скажи, комиссар зовет... Товарищи, отпустите ему руки.

Комиссар?.. Так вот какие бывают комиссары! Вот же орел-мужчина — и патруль вызвал, чтобы проводить его до корабля. Шалавин приободрился и, растирая красные пятна на кистях рук, улыбнулся, будто ничего не случилось.

— Спасибо, товарищ комиссар, что выручили. Я и не знал, кто вы,— сказал он развязно.

— А это не обязательно. Не царствующий дом,— ответил тот и оглянулся.— Расходитесь, товарищи, в Чека выяснят. Вы арестованы, военмор Шалавин.

— Есть,— сказал Юрий упавшим голосом.

Чека! У него опять засосало внутри — на этот раз медлительно и тускло, но сейчас же он опять улыбнулся: это же отвод глаз! Надо же как-нибудь комиссару спасти его от самосуда толпы...

Но комиссар уже действовал дальше.

— Обожди, товарищ,— остановил он солдата, собравшегося уходить и смотревшего на него злыми глазами.— Пройди-ка вместе, там расскажешь, что видел.

Солдат с удовольствием взял протянутый ему из толпы портфель, вложил в него стружки, которые он так и держал в руке, и злорадно посмотрел на Юрия. Тот повернулся к комиссару.

— Товарищ комиссар,— сказал он умоляюще,— все же ясно. Ну, справьтесь на корабле... Зачем же в Чека, неужели вы мне не верите? О барже поверили, а тут...

Комиссар посмотрел на него внимательно.

— Всему нынче верить не приходится,— сказал он медленно и потом улыбнулся, белые зубы сверкнули на замазанном сажей его лице успокоительно и мирно.— И чего вы так Чека боитесь? Не съедят вас там, а разобраться надо. Да, машина ваша...— Он поймал за рукав петропавловского матроса в грязной робе.— Отведи, товарищ, машину на корабль, сдай комиссару. Скажи, комиссар «Гавриила» прислал, Белосельский. И о штурмане расскажи, чего он тут со стружками начудил, пусть в Чека позвонит и сам разберется, понятно? Не сломай доро́гой...

Первое, что увидел Шалавин, когда после двухча́сового томления в темном коридоре их ввели в комнату дежурного следователя, был накрытый газетой стол. На

нем стояли банки с мясными консервами (о которых на линкоре давно забыли и которые хранились в неприкосновенном запасе), бутылки с янтарным подсолнечным маслом, цибик чаю, синие пакеты сахара — старого, царского сахара. Желтым чудом сиял у чернильницы большой кусок сливочного масла. Пожалуй, Бржевский был прав: в Чека не голодают...

За столом сбоку стоял матрос, видимо, следователь. При входе их он обернулся, и Юрий узнал в нем чубатого матроса с Петроградской пристани. Перстни на его пальцах сверкнули Юрию в глаза страшным предостерегающим блеском: цепь замкнулась, и кошмар воплощался в жизнь... Слабая надежда, которая блеснула ему в белозубой улыбке гаврииловского комиссара и помогла спокойно ждать в коридоре, теперь исчезла. Комната поплыла перед его глазами, он прислонился к косяку.

Вероятно, он пошатнулся, потому что конвойный с «Гавриила» поддержал его за локоть, и Юрию стало стыдно. Что ж, если умирать, так умирать красиво! Он будет острить, издеваться, смеяться в лицо этому чубатому палачу, обжирающемуся здесь и снимающему с трупов кольца!.. Он покажет ему, как умирают офицеры, и жаль, что Бржевскому никто об этом не расскажет...

Чубатый не начинал допроса. Он стоял молча, и только кольца на его пальцах зловеще сверкали. Открылась дверь в глубине комнаты, вошел пожилой матрос и, мельком взглянув на Шалавина, протянул чубатому какую-то бумагу. Неужели уже приговор?.. Чубатый, даже не глядя на Юрия, подписал, и тогда пожилой матрос сказал хмуро и категорично:

— Сымай перстни.

Чубатый, всхлипнув, стал стаскивать кольца, бормоча жалкие и умоляющие слова, и Юрий внезапно все понял. Легенда Бржевского о матросах, снимавших кольца с расстрелянных офицеров, глупо, но убедительно обернулась спекулянтом-артельщиком третьей роты, имевшим доступ в провизионку. Кошмар таял на глазах, и жгучая, острая ненависть к Бржевскому вдруг вспыхнула в Юрии, как будто Бржевский был той причиной, которая вызвала весь сегодняшний ужас. Он сам еще не понимал, что в нем произошло, но чувствовал огромное облегчение, словно с плеча его сняли чью-то тяжелую и липкую руку, которая настойчиво и властно вела его против воли. Веселое спокойствие овладело им, и, когда

чубатого увели, он подошел к столу смело и охотно. Пожилой матрос спросил солдата и повернулся к Юрию. Тот рассказал следователю о стружках и яйцах, о барже со снарядами и Белосельском, о перебранке с солдатом и о семечках. Следователь позвонил на корабль комиссару, долго хмыкал в трубку в ответ на то, что там говорилось, и Юрию стало ясно, что все идет как нельзя лучше. Следователь повесил трубку и спросил, придвигая к себе бумагу, может ли кто-нибудь подтвердить, что Юрий действительно сошел с корабля только после обеда и что он поехал за яйцами.

— Механик Луковский может,— сказал Юрий.

— Тоже офицер? — спросил пожилой матрос, и Юрий обиделся.

— Он, по-моему, большевик,— сказал он с гордостью.

Следователь потянулся опять к трубке, но Шалавин вдруг торопливо сказал:

— Вызовите сюда еще командира второй роты Стронского и старшего механика Бржевского, они тоже свидетели.

— Не надо,— сказал следователь.— Дело ясное.

— Я вас очень прошу,— умоляюще сказал Юрий.— Пожалуйста... Все-таки трое, а не один...

— Ну, хорошо,— сказал следователь, пожав плечами, и завертел ручку звонка.

Шалавин представил себе, как замечется сейчас на корабле Стронский, как медленно побледнеет красивое лицо Бржевского, когда ему скажут, что его вызывают в Чека,— и мысль об этом доставила ему такую блаженную радость, что он повернулся к солдату, все еще державшему в руках портфель, и сказал с широкой улыбкой:

— Закурим, что ли? Папиросы есть?

Солдат удивленно посмотрел на него маленькими своими глазками. Но лицо Шалавина сияло такой заразительной веселостью, что он сам невольно усмехнулся и полез в карман.

— Давай закурим,— сказал он и качнул головой.— Чудной. В Чека сидит — и зубы скалит...

1934—1942

Первый слушатель



тро пролетело в хлопотах. Начальник академии уехал в Москву, и Борису Игнатьевичу пришлось сидеть в его кабинете, подписывать бумаги, звонить по телефонам, ходить с каждой мелочью к комиссару, так что только к полудню он вспомнил, что остался нерешенным важный вопрос. Он отыскал в папке учебный план подготовительных курсов и встал из-за стола, но в кабинет вошла секретарша Кондрата Петровича.

— Борис Игнатьевич, прибыл новый слушатель, примете? — спросила она и, сочувственно улыбнувшись, добавила вполголоса: — Первая ласточка... из этих... на подготовительный...

— Подождет, я скоро вернусь,— сказал он раздраженно и вышел в приемную. Высокий, плотный командир с орденом Красного Знамени на кителе поднялся ему навстречу. Борис Игнатьевич молча прошел мимо него и слышал за спиной нежный голосок баронессы Буксгевден:

— Придется подождать, товарищ. Профессор скоро вернется.

Борис Игнатьевич поторопился закрыть за собой дверь.

Собственно говоря, это вышло по-хамски: он мог бы и сам сказать это и извиниться, и, вероятно, в другое время

он так бы и сделал, несмотря на всю свою неприязнь к «первой ласточке». Но сейчас он был слишком раздражен свалившимися на голову делами Кондрата Петровича и, главное, тем, что именно ему придется разговаривать не только с этой «ласточкой», но и с остальными, которые вот-вот начнут прибывать один за другим. Он пошел по коридору, недовольно фыркая под нос.

Академия была пустынна. Сквозь стеклянные двери только в трех аудиториях были видны слушатели (разгром! разгром!), да в вестибюле он встретил двух преподавателей, примащивающих на спине «обезьянки» с картошкой (опять вечером изображать амбала!). Он прошел в вестибюль и позвонил у дверей, обитых пухлой клеенкой. Звонок прожурчал мягко и вкрадчиво. Горничная открыла дверь, улыбнулась и, сказав: «Пожалуйте, Борис Игнатьевич, сейчас доложу», скрылась за портьерой.

Он прошел в полутемную гостиную и привычно сел в кресло у столика с иностранными журналами. Журналы были давнишние — 1917 года, но спокойная тишина, приветливая горничная, портреты адмиралов-флотоводцев, Николая I — основателя академии — и гравюры парусных кораблей на стенах, весь налаженный годами и неизменившийся порядок этой теплой и просторной квартиры отвлекал от того, что творилось за ее дверями. И даже то раздражение, с которым он пришел, постепенно проходило. Самый запах — запах книг, табаку и (чуть-чуть) духов — всегда успокоительно действовал на его нервы, а теперь в особенности. Показалось, что и у него дома так же тихо и тепло, что не нужно думать о дровах (хотя холода наступили) и таскать на себе картошку и что на письменном столе белеет стопка отличной плотной бумаги, на которой не текут чернила и которая сама привлекает к себе мысли... Мысли! Они замерзли, как все в его кабинете, превращенном в склад картошки, капусты и какого-то костяного масла, которое черт знает какой идиот в порту придумал давать в паек! Говорят, если его переварить с лавровым листом и луком...

Он усмехнулся: мысли! Вон они куда заворачивают, даже здесь, в этом единственном в Петрограде человеческом жилье, которое ухитрился сохранить для себя основоположник русской морской стратегии, мозг русского флота, философ войны...

Впрочем, такие роскошные титулы Борис Игнатьевич применял к хозяину квартиры только в беседе с другими, когда фигура «основоположника» перерастала в некий символ чистой науки, в знамя, объединяющее профессуру, в объект, за который надо бороться, если хочешь спасти самого себя как научную величину. Наедине с собой Борис Игнатьевич все эти высокопарные слова заключал в ехидные кавычки: он слишком хорошо знал эту блестящую карьеру.

«Основоположник», собственно говоря, только вынес на страницы газет те мысли, которые на страшном огне цусимского разгрома сами по себе кипели в умах молодого офицерства. Этим он привлек к себе оппозиционную флотскую молодежь и стал ее знаменем. Сам Борис Игнатьевич (тогда лейтенант) отдал ему всю свою энергию и подсказал немалое количество мыслей, которые появились потом в печати за подписью «основоположника». Но странное дело: в осторожном и абстрактном изложении его они потеряли всю свою остроту и направленность. Меч, вложенный им в руки учителя, не разил, а почтительно («не беспокоит-с?») брил министерские щеки, орудия громоподобных статей не стреляли, а салютовали: это был период, когда авторитет молодого флотского ученого был уже признан и когда петушиные наскоки пора было менять на солидную проповедь.

Но это были частные наблюдения Бориса Игнатьевича. В глазах остальных основоположник все-таки оставался создателем новой, послецусимской Морской академии и творцом учения о дальнейших судьбах русского флота. Базу этого учения он счастливо нашел в глубоких сдвигах русской общественности. Он первый уловил истинную природу оппозиции молодого офицерства. Настойчивые поиски новых методов морской войны, нового оружия, новой организации вызывались не флотским самолюбием, ежечасно оскорбляемым намеками на Цусиму, не борьбой «отцов и детей» и не карьеризмом выбивающихся на верхи лейтенантов, как ворчливо объясняли это потревоженные адмиралы. Причины крылись глубже: в молодом русском конституционализме, в крепнущей русской промышленности — во всем историческом процессе изменения обветшавших форм огромного государства.

Россия готовилась стать парламентарной страной — действительно европейским государством. Этой новой

России нужен был могучий и способный побеждать флот. Этому новому русскому флоту — плоти от плоти создающей его молодой русской промышленности — требовалась своя доктрина, свое учение о победе. Кабинетный ученый, философ и теоретик — он создал эту доктрину.

Ее приняла флотская молодежь и отвергли адмиралы. Но за молодежью стояли те круги общества, которые выходили на политическую арену носителями идеи новой России, и его учение победило. На крепких дрожжах теории «владения морем» авторитет творца этой теории возрос до чрезвычайности. Именно ему, несмотря на протесты адмиралтейских стариков, был доверен только что созданный военно-морской отдел, который превращал Морскую академию из чисто технического института кораблестроителей и гидрографов в Олимп морской мысли, в лабораторию победы, в питомник лучших флотских умов, призванных спасти флот и Россию.

Основоположник встретил здесь неофитов во всем блеске своего учения. Флотские умы, попав в академию, захлопали глазами: из горькой действительности едва встающего на ноги русского флота они чудесным образом были перенесены в сказочное царство торжествующей доктрины «владения морем». Здесь, в академии, тяготеющие к России моря были уже покорены. Черное и Балтийское, в ожерелье первоклассных портов и морских крепостей, кишели дредноутами, крейсерами (линейными, броненосными и легкими), стаи миноносцев рыскали по русским морям, справляясь, не высунул ли нос кто-либо там, где царствует андреевский флаг, который «нераздельно владел» даже и Тихим океаном (где на самом деле был едва десяток паршивых номерных миноносцев, уцелевших от японского разгрома). Это была разгоряченная мечта молодой России, фантастический парад судостроительных программ, на осуществление которых морское министерство только выпрашивало деньги у скупой Государственной думы. Флот, владевший морями, еще не был даже заложен, но в морских войнах, разыгрываемых на картах в аудиториях академии, где разрабатывались операции, грандиозные по размаху, он потрясал уже океаны. Это называлось «военно-морской игрой». Правильнее было бы назвать это детской игрой в кораблики.

Зачарованные этой картиной, слушатели кончали курс, навек отравленные гипертрофией теоретической

мысли. В опьяняющем воздухе этой фабрики побед трезвость сохраняли немногие — кто слишком хорошо на своей шкуре познал всю горькую правду действительности. Борис Игнатьевич был одним из этих немногих. Вернувшись из академии на корабли, они продолжали делать свое дело: создавать русский метод артиллерийской стрельбы, поразивший английские авторитеты, совершенствовать минное оружие, маневрировать на данном театре данными кораблями в данной обстановке, без всякой фантастики. Они действительно преображали русский флот —но академия здесь была решительно ни при чем. Единственное, что от них не зависело, это были судостроительные программы, оперативные планы, вопросы комплектования, строительство портов — все это находилось в руках тех учеников основоположника, которые укрепляли собой ряды исконного врага русских боевых кораблей — штабы.

Февральская революция открыла перед Россией тот путь, во имя которого была создана доктрина владения морем. Основоположник стал первым выборным начальником академии. Казалось, наступал расцвет. Но Октябрь спутал все карты: новая политическая программа — «без аннексий и контрибуций» — никак не соответствовала доктрине, созданной именно в предвидении захватов. Да и объект этой доктрины — русский флот — перестал существовать. Он дал последний бой в Рижском заливе и развалился. Нельзя же было, в самом деле, называть флотом партизанское сборище шаланд, буксиров и миноносцев, собранных в речные и озерные флотилии, десяток катеров на Черном море и разнокалиберный Балтийский «дот»! Несмотря на все свое ироническое отношение к основоположнику и оторванность его учений от действительности, Борис Игнатьевич предпочел вернуться в академию. Действительность флота исчезла, и причина разногласий отпала.

Он нашел академию превращенной в консервную банку, где великая доктрина сохранялась до лучших времен, когда она сможет быть претворена в бытие русского флота. И теперь эту банку собирались вскрыть...

Четыре года основоположнику и профессуре удавалось сберегать академию от этой грубой операции. Четыре года высокая и строгая чистота военно-морского искусства охранялась от тлетворного и разрушающего влияния переходной эпохи. Эти четыре года расценива-

лись ими как годы упорной, самоотверженной борьбы. И вдруг стало ясно, что борьба, в сущности, и не начиналась. Гордо думали, что академия держится как несдающаяся крепость, а на поверку выходило, что на нее никто и не думал наступать всерьез: она воевала без противника. Противник показался на горизонте только теперь.

Это были матросы, возвращавшиеся с речных флотилий, из Конной армии, с бронепоездов, с фронтов закончившейся гражданской войны. И принимать атаку приходилось в полном расстройстве сил: без союзников-слушателей, которых начисто разогнала фильтрация, без опытного командующего — основоположника, вместо которого вот уже месяц академию вел нерешительный Кондрат Петрович.

Четыре года Борис Игнатьевич взращивал в этой теплице ростки своего метода артиллерийской стрельбы. Труд многих лет был завершен — и оставалось учить этому тех, кто способен был воспринять его сложные и прекрасные выводы. А ему предлагалось теперь излагать их полуграмотным комендорам. Это было похоже на то, как если бы Бетховену предложили исполнить Девятую симфонию на одном турецком барабане.

— Пожалуйте, Борис Игнатьевич, просят,— сказала горничная, появившись в дверях. Борис Игнатьевич одернул по привычке китель, провел ладонью по лысеющей голове и вошел в кабинет.

Основоположник сидел за столом, откинувшись в кресле, неподвижный, вялый и равнодушный. «Сдает, однако»,— подумал Борис Игнатьевич, здороваясь.

— Имею честь проздравить — начинают прибывать «красные марша́лы»,— сказал он, подчеркивая и этим ударением, и словом «проздравить» свое сочувствие основоположнику.— Сегодня буду иметь удовольствие познакомиться, один уже там меня дожидается.

Желтые, отекшие щеки хозяина шевельнулись в подобии улыбки.

— Что ж, бог в помощь,— сказал он и задохся в припадке сухого табачного кашля.

Борис Игнатьевич, пережидая, опустил глаза на листы корректуры, лежавшей на столе, и узнал последний труд основоположника — «Революционные войны в свете биологической теории войны». На листах выделялись тезисы, вынесенные жирным шрифтом в фонарики на

полях (основоположник любил это делать «для организации мышления читателя»). Кося глазом, Борис Игнатьевич прочел знакомые тяжеловесные фразы: «соотношение между психической и общественной эволюцией человечества...», «мировой альтруизм как субстанция революции...», «в чем Вл. Соловьев близок к Марксу...». Он усмехнулся:

— И вам помогай боже: как вы эту премудрость будете вдалбливать в головы новых академиков? «Субстанция революции»... Они вас в Чеку за это посадят: кака-така, мол, станция революции?.. Впрочем, шутки в сторону. Вот я вам прейскурант нашего рабфака принес, выбирайте по вкусу, что возглавить: кафедру арифметики или кафедру чистописания...

Он с некоторой опаской положил на стол учебный план, ожидая, что основоположник тотчас швырнет его обратно. Но тот стал просматривать его с удивившим Бориса Игнатьевича вниманием.

План делился на две части — младший и старший курсы. Учитывая, что на младший курс принимались лица с незаконченным или низшим образованием, в программе действительно упоминались арифметика, алгебра, геометрия, физика, русский и иностранный языки и дань времени — социально-экономические науки. Старшему предлагались основы высшей математики и кое-какие обрывки специальных предметов: тактики, артиллерии, минного и штурманского дела.

Основоположник тонким карандашным крестом перечеркнул типографский штамп в левом углу бумаги: «Николаевская Морская Академия».

— Поставьте здесь: «Детский сад для взрослых имени Митрофана Простакова», и тогда все будет в порядке,— сказал он, возвращая бумагу.

Борис Игнатьевич понял, что старик закусил удила и что чаша его терпения переполнилась. Но были соображения, по которым обязательно следовало привлечь к подготовительным курсам самого основоположника. Позавчера они с Кондратом Петровичем весь вечер ломали над этим голову. Неверно было бы дробить силы и выпускать из рук инициативу — это раз. Было очень важно, чтобы основоположник возможно ближе ознакомился с варварами, пришедшими разрушать науку, чтобы он изучил противника лично — это два. И в-третьих, нежелание принять участие в работе подготовительных курсов могло

быть рассмотрено как саботаж и привести к последствиям. Конечно, все понимали мотивы — оскорбленнное самолюбие, горечь развенчанного властелина, но...

Однако, второй раз изумляя сегодня Бориса Игнатьевича, основоположник не дал ему и заговорить об этом.

— Я возьму на себя свой же предмет. Добейтесь включения его в план обоих отделов. Можно назвать: «Элементарные основы сущности войны» или «Вводный курс лекций» — как хотите. Но включить необходимо. Приходите вечерком, поговорим подробнее. Я набросаю бумагу в центр с обоснованием... Пока Кондрат Петрович в Москве, надо ему туда переслать...

Он придвинул к себе корректуру и взял перо. Это означало конец аудиенции.

Борис Игнатьевич вышел из кабинета в некоторой растерянности: куда он гнет? Собирается поддерживать «детский сад»? Борис Игнатьевич невольно усмехнулся: злой язык у старика, пойдет теперь это название гулять по академии...

Основоположник, оставшись один, опять отложил перо и задумался, откинувшись в кресле. Борьба переходит в другую плоскость. Из поражения надо делать выводы, а не ахать. Обстановка складывалась так, что старый план кампании был дискредитирован и надо было создать новый.

Четыре года он вел академию, как корабль в тумане: малым ходом. Туман был плотным и непроницаемым. Изредка оперативные сводки приподымали его завесу — и тогда открывались ориентиры: дальние огни колчаковских костров на вершинах Уральских гор, плавучие маяки европейских крейсеров под самым Кронштадтом, тонкие вехи деникинских знамен в Орле, мигающий огонь юденических залпов под Пулковом. Эти случайные пеленги не внушали доверия: шторм гражданской войны сносил чуть мелькнувшие вехи, топил плавучие маяки, разметывал зажженные дружественной рукой костры, и по ним нельзя было получить точного места.

Приходилось определяться по глубинам. В тиши своего кабинета он методически бросал лот в экономику, в международные соглашения, в извечную природу человеческих судеб — и полученные данные накладывал на

карту Великой французской и недавней германской революций. Выходило, что течение истории несет Россию к реставрации, к национальному возрождению. Академию нужно было сберечь для этих недалеких времен и встретить новые кадры строителей флота-завоевателя во всем блеске лаборатории побед.

И он вел академию нужным курсом, время от времени кладя лево руля, когда того требовали обстоятельства. Так он охотно помог организовать соединенные классы, выпустившие для «временных нужд» (для гражданской войны) штурманов, артиллеристов, минеров из недоучившихся гардемаринов. Так он обучил и выпустил в штабы флотилий пятнадцать бывших офицеров, содействовав этим укреплению Красной Армии. Так он написал «Революционные войны» — уступка духу времени.

Летом двадцатого года по курсу встала грозная опасность. Москва потребовала облегчить правила приема в академию, остававшиеся без изменения с 1910 года. Маневрирование предстояло сложное: впервые за три года революции на мостике рядом с ним стоял комиссар. Но сманеврировать было необходимо. До сих пор удавалось оберегать академию от коммунистов. Облегченные правила приема могли пропустить в академию, кроме бывших офицеров, еще и матросов. Матросов, которые давно уже заменяли бывших офицеров,— не на кораблях (это полбеды!), а в штабах флотилий, в руководстве портами, в центральных военно-морских управлениях, даже в штабах флотов!.. В академии их пока что не было: экзамены за курс Морского училища или офицерских классов закрывали им путь. Пустить матросов в академию — означало потерять управление и сбиться с курса, как сбилась с курса Академия Генерального штаба, куда принимали только «участников гражданской войны или активной боевой работы на пользу революции, в защиту коммунизма и его идей», как сказано было в правилах приема. В Морской академии было, слава богу, всего четверо коммунистов (вместе с комиссаром и с комендантом здания).

Он положил лево руля: собрал конференцию, выступил в печати с приветствием реформе и, описав координат[1] влево, благополучно привел академию на прежний

[1] Координат — маневр, при котором корабль, уклонившись от курса, вновь возвращается к нему.

курс: новые правила приема, которые конференция разрабатывала все лето, свелись к тому, что в соответствующих статьях Морской корпус был переименован в Морское училище, офицерские классы — в соединенные, обер-офицеры — в военных моряков командного состава. Самая же суть осталась неизменной: поступать в академию могли только лица командного состава, окончившие одно из помянутых заведений.

И вдруг в конце четырехгодичного искусного плавания Николаевская морская академия начала терпеть аварию за аварией.

Началось это после кронштадтского восстания. Партия подняла сигнал: «Принять меры к возрождению и укреплению Красного флота». Академия подняла «ясно вижу» до половины, капитан ее решил сыграть в Нельсона, приложив подзорную трубу к выбитому глазу, и курса не менял. Но сигнал висел над республикой и был отрепетован флотом, заводами, комсомолом, всей страной. Сигнал не мог остаться не разобранным академией. Его все-таки разобрали: не на мостике, а в аудиториях. Разобрало сигнал считанное количество коммунистов, организовавшихся в коллектив. Их было теперь шестеро. И эта кучка — шесть человек во главе с беспокойным инженером-механиком, организатором коллектива,— сорвала очередной маневр.

Этим маневром должен был быть все тот же испытанный координат влево. Особая комиссия Центрального Комитета партии потребовала организации в академии подготовительного отдела с такими пониженными правилами приема, которые явно указывали состав будущих слушателей: матросы. Академия положила лево руля: собрали конференцию, обсудили, согласились и постановили — организовать курсы через год, когда появятся «соответствующие кандидаты» из числа обучающихся сейчас в соединенных классах. Но координат не вытанцевался, руль остался влево на борту, корабль резко покатился влево. Коллектив не дал закончить маневра: посыпались статьи, постановления, собрания, дело дошло до Центрального Комитета партии большевиков — и к приему матросов на подготовительный курс пришлось готовиться всерьез... И уже нельзя было вернуться на прежний курс.

Академия запрыгала по подводным камням, как таратайка. Пробоина за пробоиной... Коллектив организо-

вал мандатную комиссию для проверки состава слушателей... Едва успели отстоять тех, кого она потребовала исключить по политическим соображениям,— новый удар: арест органами ВЧК трех четвертей слушателей и половины административного состава в связи с заговором в Петрограде... Через неделю докатилась штормовая волна фильтрации личного состава флота, смывшая остатки... Соединенные классы, где уцелело едва четыре десятка слушателей, были упразднены и слиты с академией, где тоже удержалось только пятнадцать человек. И, наконец: ликвидация внутренней автономии. Ликвидация конференц-совета... назначение начальником Кондрата Петровича.

Это было похоже на град снарядов. Точный прицельный огонь по вылетевшему на банку кораблю.

Все было сметено. Остались — кафедра философии войны, квартира при академии, авторитет основоположника и сочувствие профессоров. Это все-таки кое-что значило. Академия пошла новым, опасным курсом, но на мостике его заменил не один из этих апостолов разрушения — коммунистов, а Кондрат Петрович, ученик и соратник. Это тоже было немало.

Теперь основоположник занялся пересмотром стратегического плана. Он прочитывал газеты, как донесения разведывательных отрядов, углублялся в историю революции, как в описание аналогичных кампаний, читал Маркса и Каутского, как протоколы допросов пленных, Спенсера и Соловьева — как меморандумы союзных держав. Мало-помалу обстановка становилась для него ясной: страна вступала на путь нэпа, партия отказывалась от дикого разрушения всего старого, и после шторма, причинившего аварию, но разогнавшего туман, перед академией зажегся далекий, но ясно видимый маяк — российская демократическая республика, точная копия германской, уже нашедшей форму...

И если матросы — коммунисты и разрушители — все же ворвались в академию, нельзя было рассматривать этот факт как полное поражение. Там, где Борис Игнатьевич и остальные видели начало конца, он видел начало победы. Коммунизм отступает для нэпа — революция отступит перед наукой. Партия посылает в академию матросов — что ж, академия будет обучать матросов. Пожалуйста... Академия сделает матросов флотоводцами. Но такими флотоводцами, которые поведут флот туда, куда

хочет наука, а не революция, скрытые пути которой разгаданы наукой.

Он отбросил корректуру и придвинул к себе чистую бумагу. «Субстанция!..» Близорукий остряк!.. Подлинный ученый должен уметь передать сущность своих идей и ребенку, истина всегда проста, и надо только найти для нее понятную форму. Матросы же не дети и во флоте кое-что понимают.

Он плотнее уселся в кресле и начал работать над конспектом лекций для подготовительного курса с увлечением, которого давно за собой не замечал.

Борис Игнатьевич, поднявшись к себе, нашел нового слушателя за чтением газеты. Тот с подчеркнутой военной выправкой тотчас встал ему навстречу. Это несколько смутило Бориса Игнатьевича, и, вспомнив свое недавнее хамство, он подошел к нему, протягивая руку.

— Извините, что не смог вас принять,— сказал он, чувствуя на себе иронический взгляд баронессы Буксгевден.

Командир взял под козырек и неожиданно громко (так, что баронесса вздрогнула), четко отрапортовал:

— Товарищ начальник, флагманский артиллерист Каспийской военной флотилии военный моряк Белосельский прибыл в ваше распоряжение для обучения в академии.

Борис Игнатьевич с самого начала рапорта совершенно растерялся, не зная, что делать с протянутой рукой. Он кое-как дослушал рапорт, удерживаясь от желания самому стать «смирно», и с облегчением почувствовал наконец крепкое пожатие руки прибывшего.

— Прошу... сюда...— сказал он, еще не оправившись и избегая смотреть на баронессу, которая, как он догадывался, вряд ли одобряла его поведение.

Они прошли в кабинет, и там Белосельский положил на стол пухлую пачку бумаг. Документы поставили Бориса Игнатьевича в тупик: канцелярия была для него делом темным, и он решительно не знал, где и какие ставить резолюции. Будь это кто-нибудь из своих, Борис Игнатьевич тотчас отложил бы бумаги в сторону, сказав: «Ну, батенька, эту писанину отдайте баронессе», и завел бы разговор на более интересные темы: как там, на Каспии, разворачивается Иленбек (его загнали туда флаг-

артом вместо Бориса Игнатьевича, которого академии удалось отстоять), как с харчем, правда ли, что с Персией подторговывают рисом?.. Но это был чужой, и военная четкость, с которой он отрапортовал и представил документы, обязывала к таким же четким действиям, чтобы не дать повода с первых же шагов обвинить академию в растяпстве... Продовольственный и денежный аттестаты... командировочные... какой-то, черт его знает, арматурный список... Отношение штаба с просьбой обеспечить квартиру. Кондрат, уезжая, советовал с места окатывать этих «ответственных» холодной водой: никакими квартирами академия не располагает, столовая, мол, по тесноте обслуживает только преподавательский состав... Сам бы и окатывал — небось предпочел словчиться. Окатишь такого, еще на грубость нарвешься...

Пауза нелепо затягивалась. Внезапно его осенило: массивный письменный прибор загораживал бумаги от Белосельского. Он взял вставочку и, ткнув ею мимо чернильницы, энергично зачиркал сухим пером по проклятым аттестатам, одновременно протянув левую руку к кнопке на столе. Баронсса, войдя, остановилась у стола, выжидая.

— В приказ,— коротко сказал он ей, протягивая бумаги.

Баронесса поднесла их к близоруким глазам и изумленно подняла брови.

— Возьмите, возьмите, я потом объясню,— замахал он рукой, не давая ей говорить. Пожав плечами, она вышла. Честь академии была спасена, и Борис Игнатьевич почувствовал себя спокойнее. Он откинулся в кресле, разглядывая Белосельского с откровенным любопытством.

Так вот кому приходилось доверять сложный и прекрасный результат многих лет упорных поисков, опыта, выкладок! Небось на первой же лекции потребует обосновать рассеивание снарядов классовой борьбой или объяснить баллистику с точки зрения... как его... исторического материализма!.. Флагманский артиллерист!.. Интересно, кто разрабатывал для него планы стрельб и писал приказы? Теперь ведь это модно — сажать командующими и начальниками штабов матросов, а всю их работу взваливать на спецов, безыменных негров, добывающих им ордена. Подписывать легко, коли есть кому за тебя соображать... Впрочем, этот, кажется, не из

матросов: сел в кресло не развалясь и не потянулся тотчас в карман за папиросой. И там, в приемной, смолчал и не заавралил. Разве что взгляд... Пристальный, неприятный взгляд, которым он тоже изучает сейчас Бориса Игнатьевича... Взгляд комиссарский. Загадочный. И черт его знает, что в нем кроется, и от него становится почему-то не по себе...

— Так, значит, теперь в академию? — спросил Борис Игнатьевич, не зная, с чего начать разговор, и выругал себя за глупый вопрос...

Белосельский, как бы почувствовав его затруднение, отвечал подробно, не вынуждая к добавочным вопросам.

Он сообщил, что с осени девятнадцатого года был артиллеристом в Нижегородском порту по снабжению, потом артиллеристом миноносца на Волге и флагартом флотилии. Пояснил, что специальные его знания опираются главным образом на опыт и что академия должна их систематизировать и углубить. Отрывочные сведения о работах Бориса Игнатьевича в области организации артогня и в особенности корректировки, которые он из пятого в десятое смог найти в «Морском сборнике», очень помогли ему в работе, тем более что ему приходилось вести стрельбу разными калибрами и что...

— Какими калибрами? — с любопытством перебил Борис Игнатьевич.

— Четыре полевых трехдюймовки, три горных, три морских стодвадцатимиллиметровых и три шестидюймовых крепостных на канонерках,— точно ответил он.

— Татарская орда! — фыркал недовольно Борис Игнатьевич.— Не понимаю, чем мог я вам помочь? Это не артогонь, а стрельба из рогаток...

Белосельский так же спокойно, как начал, сказал, что обстановка вынуждала вести совместный огонь именно из этих разных орудий и что необходимо было организовать корректировку совершенно по-новому. И как раз в этом случае он применил способ, рекомендованный Борисом Игнатьевичем для стрельбы по невидимой цели. С того момента, как разговор перешел на специальные артиллерийские темы, Белосельский перестал повторять «товарищ начальник», и Борису Игнатьевичу, отметившему это, стало как-то удобнее разговаривать. Он, правда, сердито хмыкнул еще раз, услышав, что все условия этой стрельбы были совершенно непохожи на те, которые перечисляет в своей статье он сам, но разговор ста-

новился все более интересным. Белосельский стал набрасывать на листе бумаги схему всей операции, в свете которой обстрел показался Борису Игнатьевичу чрезвычайно любопытным и уж, конечно, никак не предусмотренным в его курсе. Борис Игнатьевич попросил детализировать схему, что Белосельский охотно и сделал, пояснив, что она у него вся в голове, так как он не раз докладывал о ней, потому что именно за нее и был награжден орденом. Это еще более подстрекнуло Бориса Игнатьевича, он с любопытством взял законченную схему — и у него поплыло в глазах.

На листке бумаги, как в кривом зеркале, он увидел свои мысли в отвратительном искажении.

Долгие годы он вынашивал их для организованной мощи дальнобойного и скорострельного огня линкоров. Он создавал свою отчетливую стройную систему для снарядов, которые обычно нагоняют друг друга и путают в бинокле артиллериста свои всплески или вообще не показывают их, потому что они могут падать и за черту горизонта. На схеме же — медлительные, жалкие пушчонки палили в упор по переправе, и оскорбительно было видеть около них те же буквы, которыми он обозначал в своем курсе порядок залпов могучих башен линкоров.

Его способ был здесь так же нужен, как интегралы для подсчета выручки торговки семечками. Он ощутил почти физическую боль. Поистине только гражданская война могла родить такой чудовищный гибрид математически точной морской стрельбы и армейского буханья по площадям в белый свет, как в копеечку! Зачем этому болвану понадобилось трепать в грязи его имя? Чтобы втереть очки командованию — вот, мол, слежу за наукой, самосильно и с п о л ь з о́ в ы в а ю...

Но, вглядевшись в схему, он увидел нечто, что могло оправдать эту профанацию: противник находился за косой реки,— стало быть, был невидим для стреляющих кораблей. А если так, корректировку, пожалуй, можно было вести именно тем способом, какой он рекомендует в главе о сверхдальней стрельбе, то есть с самолета. Тут же он заметил на схеме и «самолет» — дерево, с которого, очевидно, просматривалась коса. От него отходила к якорным местам кораблей линия с перекрещенными искрами — вероятно, телефон, которым заменили радио. У разрушенной избы на косе стояла буква «W», которой

он в своем курсе обозначал вспомогательный пункт наводки.

Но при чем здесь скорострельность — основное условие для применения его метода?

Белосельский объяснил и это. Вся операция была задумана как короткий и мощный удар. Необходимо было выпустить возможно большее число снарядов за время форсирования противником реки за косой. Минное поле препятствовало выходу кораблей к косе, и собирались было глушить через косу по-армейски — беглым огнем, по площадям. Но снарядов было мало, и эффект был бы незначительным. Тут ему пришло в голову применить указание Бориса Игнатьевича и организовать настоящую прицельную стрельбу по понтонам, и притом с максимальной скорострельностью. Для этого он назначил точные интервалы залпов каждого калибра и для каждого калибра поставил отдельных корректировщиков. По первому залпу были пущены секундомеры, и вся стрельба велась залпами через минуту со сдвигом по фазе на двадцать секунд. Таким образом, снаряды падали каждые двадцать секунд, а в интервале минуты между залпами каждого калибра корректировка по телефону вполне поспевала...

Борис Игнатьевич смотрел на него в каком-то негодующем восхищении. Черт его знает, какая обезоруживающая дерзость! Вот уж поистине Девятая симфония, сыгранная на барабане!.. Впрочем, нужно быть справедливым — не на барабане, а на коровьем рожке: что-то отдаленно похожее, хотя неузнаваемо искажено. Он усмехнулся при мысли, что кто-либо из этих «академиков» так же обрадует «основоположника» рассказом о применении его плана блокады Филиппинских островов для операции против взвода белых, засевших на острове «Малый пуп» где-нибудь в протоке Волги...

Но все-таки это было любопытно!

Он еще раз наклонился над схемой, с трудом приспосабливая мозги к этому масштабу рассуждения. Смешно, но возможно. И даже по-своему талантливо. Белосельский?.. Артиллерист?.. Был, кажется, лейтенант Белосельский-Белозерский на Черном море, тоже отмочил какую-то необыкновенную стрельбу по Зунгулдаку,— может быть, это он? Неужели среди этих «ответственных» попадается и сто́ящий человек, который способен шевелить мозгами?

— Вы с какого года на флоте? — спросил Борис Игнатьевич.

— С девятьсот двенадцатого.

— Вы на Черном море плавали?

— Нет, на Балтике.

На Балтике?.. На Балтике Борис Игнатьевич знал всех судовых артиллеристов. Может быть — из крепости? Он пожалел, что отослал послужной список, не взглянув. Но схема, на которую он продолжал смотреть, поглотила его внимание.

От нее веяло настоящей смелостью артиллерийской мысли, творческой выдумкой, поиском нового. Он даже фыркнул себе под нос, на этот раз с оттенком удовлетворения. Кажется, на этого чудака не жалко потратить время. Если такого как следует выучить, может получиться прекрасный артиллерист... Здесь он, конечно, кое-что недодумал, может быть просто не знал. Вопрос можно было решить иначе, и, пожалуй, выгоднее. Баронесса Буксгевден вошла в кабинет с разобранной почтой и, косясь на Белосельского, сказала вполголоса: «Срочно», но Борис Игнатьевич отмахнулся от нее и, не подымая глаз от схемы, потянулся в портфель за логарифмической линейкой.

— Подсчитайте-ка вероятность попадания,— сказал он, двинув линейку по столу к Белосельскому.— Таблицы вон там. Примите эти ваши паршивые понтоны за миноносец, дистанцию вы знаете, а число падений в минуту примите не три, а шесть... По-моему, тут еще кое-что можно было сделать...

Он опять углубился в схему. Стодвадцатимиллиметровки в этом варварском деле можно было без ущерба объединить с шестидюймовками. Это было безграмотно, но в данном случае здесь был какой-то смысл.

— Ну? — сказал он через минуту.— Как там у вас?

Белосельский молчал. Борис Игнатьевич поднял глаза и увидел, что тот вертит линейку в руках, разглядывая ее с любопытством.

— Ну, что же вы? — спросил Борис Игнатьевич нетерпеливо.

Белосельский осторожно положил линейку на стол.

— Я эту штуку издали только видел,— признался он, улыбнувшись.

Борис Игнатьевич посмотрел на него, не понимая.

— Как издали? Чему же вас в классах учили?

— Я классов не кончал.

— Так вы же артиллерист? — рассердился Борис Игнатьевич.— Почему же вы артиллерист, да еще флагарт, если классов не кончали?

— Так пришлось,— сказал Белосельский.— Я в старом флоте артиллерийским унтер-офицером был. Вот так оно и пошло.

Борис Игнатьевич встал из-за стола, густо краснея, и Белосельский тотчас же быстро поднялся из своего кресла.

— И вы, унтер-офицер, хотите учиться в академии? — спросил Борис Игнатьевич медленно, боясь, что скажет что-нибудь лишнее и непоправимое.— Не знаю... не знаю, как это у вас выйдет...

Баронесса испуганно вскинула глаза на Белосельского — ей показалось, что сейчас произойдет какой-то ужас: крик, брань, может быть, просто стрельба... Но Белосельский стоял против Бориса Игнатьевича, прямой и неподвижный, и баронесса почувствовала, что никакого скандала не произойдет: слишком уверенной силой веяло от всей его плотной фигуры, от спокойного и чуть насмешливого взгляда, каким он рассматривал взволнованного Бориса Игнатьевича с некоторым даже любопытством,— чего это, мол, так его подкинуло? Он несколько помолчал, как бы выбирая слова, и потом сказал совершенно новым тоном, тоном хозяина, совсем непохожим на тот подчеркнутый тон подчиненного, которым он до сих пор говорил:

— Без вас действительно не выйдет. Пока что мы учились на фронтах сами, на крови, на поражениях и на победах. А вот теперь пришли к вам учиться. Будете учить — выйдет. Не будете — найдем тех, кто захочет матросов учить... Давайте-ка так: мы к вам по-хорошему, впредь до недоразумений, конечно, и вы к нам так же. Вот, может, кое-что и выйдет...

Он еще помолчал, будто проверяя, понял ли его Борис Игнатьевич, и потом опять прежним тоном подчеркнутой четкости спросил:

— Разрешите быть свободным, товарищ начальник?

Борис Игнатьевич кивнул головой, и Белосельский вышел.

Борис Игнатьевич обмяк в кресле, почувствовав себя бесконечно усталым, растерянным и одиноким. Баронесса стояла у стола с той же презрительной усмешкой.

— Пра-ативник,— сказала она вдруг певуче.

— Что? — спросил Борис Игнатьевич, отрываясь от своих мыслей.

Она осторожно положила на схему тонкий указательный палец. Борис Игнатьевич взглянул и только теперь увидел, что схема была набросана кривыми толстыми линиями и что за косой у места переправы было написано «пратив», что должно было, очевидно, означать «противник». Он с отвращением взял бумажку и швырнул ее под стол. Баронесса, вздохнув сочувственно и понимающе, собрала свои бумаги и вышла из кабинета неслышным видением.

Борис Игнатьевич посидел некоторое время, фыркая себе под нос и оценивая все происшедшее. Потом, несколько успокоившись, он покосился на схему, валявшуюся на полу, раз, другой и вдруг, воровато оглянувшись на дверь, где могла появиться баронесса, быстро поднял схему и спрятал ее в портфель.

Все-таки в ней было что-то любопытное, о чем следовало подумать на досуге.

1936

Экзамен



орес» возвращался из похода. Шторм утих, и к осту от Шепелевского маяка открылась спокойная, удивительно ровная гладь, начинающая по-вечернему отблескивать сталью.

С обоих бортов потянулись низкие берега, определяя собой путь в горло залива — в Кронштадт,— и скоро прямо по носу, низко над водой, вдруг вспыхнула и, дрогнув, ослепительно засияла в закатных лучах золотая точка — купол Морского собора.

Мягкий, как бы усталый ветер дул в лицо, и в спадающих его порывах дымовые трубы обдавали мостик теплым, пахнущим краской током воздуха и утробным своим урчанием.

Белосельский стоял на правом крыле мостика, втиснув крупное тело между штурманским столом и парусиновым обвесом поручней. После того, что произошло в походе, ему хотелось малодушно спрятаться в каюте и не показываться никому на глаза.

Собственно говоря, ничего особенного не произошло. На походе командиру вздумалось провести ученье «человек за бортом». Для этого с мостика кинули за борт связанную койку, вахтенный комендор выпалил из пушки, дежурные гребцы бросились к вельботу, довольно быстро спустили его на воду, но в горячке вместо кормовых

талей[1] выложили сперва носовые, чего, конечно, не следовало делать, ибо миноносец имел еще порядочный ход вперед. Вельбот развернуло задом наперед, ударило волной о борт «Жореса», причем сломало две уключины, одно весло и придавило пальцы минеру Трушину.

Ученье не состоялось, боцман хмуро осматривал поднятый обратно на ростры поврежденный вельбот, Трушин ходил уже с перевязанной рукой и мечтал о двухнедельном отпуске по комиссии, а койка вместе с заключенным в ней пробковым матрасом бесследно затерялась в волнах Финского залива.

Все это, вместе взятое, называлось на кают-компанейском языке «военно-морским кабаком», случалось десятки раз и ничего, кроме смеха, вызвать бы не могло, если бы спуском шлюпки распоряжался любой из командиров «Жореса», кроме Белосельского, и если бы этот поход не был первым походом его на «Жоресе». Но то, что Белосельский был одним из тех, кого в кают-компаниях иронически называли «красными маршáлами», придавало этому невинному эпизоду неприятный оборот.

«Красными маршáлами» бывшие офицеры прозвали академиков приема 1922 года: это были матросы, только что вернувшиеся с гражданской войны командующими, начальниками штабов, комиссарами флотилий и кораблей и пришедшие теперь в академию, где для них был создан специальный подготовительный курс. На лето их расписали по кораблям для стажировки в средних командирских должностях, и Белосельский попал на «Жорес» старшим помощником командира.

Он мог управлять артиллерийским огнем целой флотилии, мог составить план операции, несущий разгром противнику (свидетельством чего был его орден), но спустить на волне шлюпку — что умел сделать любой из командиров и старшин «Жореса» — он не смог. В башне линейного корабля, где он провел все три года царской войны комендором, потом унтер-офицером, в Центробалте, на миноносце, где он был комиссаром, в боях на Волге, в штабе Каспийской военной флотилии некогда было обучаться шлюпочному делу. И все эти мелочи морского дела, привычные с детства морскому офицеру, для него оставались такими же неизвестными, как молекулярное

[1] Тали — блоки, которыми поднимают на борт шлюпку.

строение тех снарядов, которыми он отлично умел попадать в корабли противника. Именно поэтому партия направила его в академию, и именно поэтому подготовительный курс академии включал в себя разнообразные предметы — от арифметики до курса морской практики младшего класса Морского училища.

Но все же на левом его рукаве было чуть не вдвое больше нашивок, чем у командира «Жореса», а у вельбота поломан борт, и у Трушина перевязана рука, и на мостике его встретили иронические усмешки артиллериста и снисходительный тон командира — «ничего, привыкнете, Аким Иванович»,— и очень хотелось уйти в каюту. Но как только открылся Шепелевский маяк, командир ушел с мостика, оставив Белосельского «вести корабль».

Положим, корабль вел штурман, даже и не взглядывая на Белосельского, отлично понимая, что тот торчит здесь для мебели. На мостике была обычная обстановка домашности, уюта, веселого содружества хорошо знакомых и приятных друг другу людей, присущая «Жоресу». Штурман сидел на поручнях компасной площадки, хитро обвив вокруг стойки длинные ноги, и напевал «Шумит ночной Марсель». Артиллерист Любский, стоявший на вахте, перегнулся назад, через машинный телеграф, слушая комиссара Вахраткина, который сочно рассказывал очередную историю, сигнальщики вполголоса болтали на левом крыле, и, по-видимому, всеми владело отличное настроение, какое бывает в конце похода, и никому не было дела до Белосельского.

А в сущности, почему ждать от них сочувствия? За две недели своей стажировки он успел всем причинить неприятности. Прежде всего — комиссару.

На первом же бюро коллектива Белосельский подытожил свои впечатления: «Жорес» — не корабль, а усадьба, бывшие офицеры, не в пример другим кораблям, верховодят всем, комиссар ходит у них на помочах, подлаживается, дисциплина на корабле и не ночевала, миноносец развален... Вахраткин встал на дыбы: кто-кто, а уж он-то, старый матрос, бывшего офицера за пять миль чует! Командиры «Жореса» — честные спецы, хорошие служаки — не в пример другим кораблям сумели найти к команде подход, команда их любит и слушается. Что до дисциплины,— видно, в академии ее учат по букве, и настоящего духа революционной дисциплины так и

не расчухали. Есть на «Жоресе» хоть один случай неисполнения приказания? Нет! Если данному товарищу не нравится тон, которым комсостав «Жореса» отдает приказания, то здесь — не армия и солдат тут нет! И не будет! На «Жоресе» настоящая трудовая дисциплина, а тянуть краснофлотцев и за грязную робу в трибунал отдавать — не выйдет! Основная задача коммунистов во главе с комиссаром — добиться доверия к спецам и сплочения их с командой,— таковая задача на «Жоресе» на сегодняшний день выполнена. И выполнена не береговыми моряками-академиками, а комиссаром и коммунистами корабля. И если товарищ Белосельский начнет запугивать командиров и вводить свои порядки, то бюро коллектива «категорицки и в упор» станет против...

Но после, поговорив по душам с остальными членами бюро — с рулевым старшиной Портновым, с младшим инженер-механиком Луковским и с машинистом Колангом,— Белосельский увидел, что бюро-то, пожалуй, «категорицки и в упор» станет на его точку зрения.

Артиллериста он сразу же вооружил против себя после первого осмотра материальной части. Тут Белосельский — бывший артиллерийский унтер-офицер царского флота и флагманский артиллерист Волжской флотилии — был вполне в своей стихии. Орудия действительно могли стрелять, и команда была как будто обучена. Но погреба не проветривались, в стволах кое-где оказалась ржавчина, а сам артиллерист, когда Белосельский посадил его за прибор Длусского [1], не смог решить задачи малость посложнее элементарных стрельб этого года, после чего сам же насмерть обиделся.

Командир держался тактично и осторожно. Он принял Белосельского не так, как приняли академиков-стажеров на других миноносцах, где дело доходило порой до прямого саботажа командиров по отношению к помощникам-академикам. И хотя с приходом академиков вся минная дивизия раскололась по горизонтали на два лагеря — командиры миноносцев, с одной стороны, и их помощники — академики — с другой, командир «Жореса» остался как-то посредине. Он порой заходил в каюту к Белосельскому, когда в ней набивались академики с соседних кораблей, добродушно подшучивал над их

---

[1] Род учебного полигона для решения артиллерийских задач.

жалобами и как будто совершенно примирился с тем, что на флоте появились довольно многочисленные кадры будущих командиров кораблей, начальников штабов и командующих, которые, несомненно, закроют ему путь к продвижению на высшие должности. Он сразу пошел навстречу Белосельскому, охотно подписал все составленные тем инструкции по дежурной и вахтенной службе. Но войну Белосельского с комсоставом он наблюдал со стороны, не вмешиваясь, и, когда Белосельский вошел в жестокий конфликт со старшим механиком по поводу кочегаров и погрузки провизии (на «Жоресе» машинная команда добилась привилегий и от верхней работы была когда-то и кем-то освобождена), командир отшутился: «Монтекки и Капулетти?.. Давнишний спор славян между собою, строевые и «духи»? Увольте, не командирское это дело — капуста! Кто бы ее ни грузил, мне важно, чтобы у команды был борщ... Разберитесь уж сами...»

Белосельский «разобрался» — и нажил себе и в старшем механике врага.

Штурман Шалавин объявил нейтралитет.

— Эпоха великих реформ! — резвился он за вечерним чаем.— Опять же — свежая струя и луч света в темном царстве, не возражаю. Пущай фукцирует — нас, лоцманов, это не касаемо. Команды у меня — раз-два и обчелся, и портки у всех чистые, а девиацию в академии только на втором курсе проходить начнут. Он меня, как Любского, не забьет, я его сам лямбдой-аш[1] покрою...

Однако, будучи человеком веселым и любопытствующим, он с удовольствием засиживался в кают-компании, слушая жестокие драки Белосельского со старшим механиком, и, по приверженности к чистому спорту, становился для оживления разговора на точку зрения Белосельского.

— Люблю решительность,— сказал он раз Луковскому.— Роскошный мужчина! Опять же — как долбает, как долбает! Красота... Я чего-нибудь выкину, Петрович, чтоб он и на меня кинулся, ей-богу! Давно меня начальство не долбало, отвык, а люблю хороший фитиль — жить как-то интереснее...

---

[1] Лямбда-аш — направляющая сила магнитной стрелки на корабле, термин из девиации — наука о магнитных силах, действующих на железном корабле.

Штурман, кроме Луковского, казался Белосельскому единственным из комсостава, на кого можно было опереться. Он был из недоучившихся гардемаринов, и в нем не было еще того особенного, офицерского духа, который Белосельский чуял и в командире, и в старшем механике, и в артиллеристе. Кроме того, несмотря на вечный балаган, несмотря на быстро прилипшее к нему этакое, «чисто жоресовское», пренебрежение к дисциплине, он был очень неплохим штурманом и дело свое, по молодости лет, еще не успел разлюбить. Вот и сейчас, сидя на поручнях в позе, которая ему казалась остроумной и должна была выражать презрительную беззаботность («Подумаешь — плавание! Лужская губа — Кронштадт, маршрут номер пять, Калинкин мост, плата три копейки!..»), он, не меняя позы, незаметно и очень зорко прицеливался через пеленгатор на сияющую точку Морского собора. Мины кругом фарватера стояли еще на местах.

— «И женщины с мужчинами идут в каб-бак...» Уважаемый товарищ кормчий, отсуньте-ка ваше плечико вправо,— сказал он рулевому и, чтобы не спускаться со своей площадки, всмотрелся в путевой компас через бинокль.— Благодарю вас, дышите свободно... И не откажите, трясця вашей бабушке, точнее держать на румбе! Сто девять с половиной курс, девять!

— Я ж так и держу,— ответил рулевой, но тотчас поспешно завертел штурвалом: курсовая черта стояла против ста четырех с половиной.— Есть сто девять с половиной!

— Так держать,— сказал штурман и потом покосился на Вахраткина, сморщившись и почесывая в затылке.— Иван Андреич! Рассказ ваш превосходен и очень, оч-чень мило спет... но, смею заметить, трепотня на мостике не располагает к точности курса. А слева — шарики, и я взрываться не хочу. А вы?

«Молодец»,— подумал Белосельский. Собственно, этот клуб на мостике должен был прекратить он сам, но после неудачи со шлюпкой ему казалось, что каждое его слово будет принято иронически. Он собрал в себе мужество и выглянул из-за штурманского стола.

— Товарищ вахтенный начальник, примите замечание, вы не следите за точностью курса,— сказал он и сам почувствовал, как резко прозвучала его сухая интонация, так не совпадающая с домашностью обстановки на мостике.

Любский откинулся от телеграфа, комически развел руками и посмотрел на комиссара — мол, не пойму, кто же здесь начальство: вы или он? В этом как бы добродушном жесте было столько презрения, что у Белосельского внезапно поплыло в глазах.

— Я не слышу ответа, товарищ командир! — повысил он голос.

Штурман любопытствующе свесил голову вниз. Комиссар дипломатично пошел к трапу.

Артиллерист, не сдаваясь, пожал плечами:

— А не знаю, что мне, в сущности, отвечать... Странно...

Штурман тихонько присвистнул.

Белосельский вышел из-за столика. Фуражка Вахраткина уже белела в провале люка. Не хочет портить отношений? Ладно... Он обвел глазами мостик: сигнальщики перестали болтать и, видимо, ожидали, как повернется дело. Вахтенный прислонился к мачте, независимо поигрывая цепочкой от дудки. Это был Плоткин, артиллерийский старшина, правая рука Любского и вожак комендорской вольницы. Он с улыбочкой поглядывал на Любского, как бы говоря, что отлично понимает нелепую придирчивость старшего помощника. Улыбочка эта решила дальнейшее.

Белосельский повернулся к компасной площадке:

— Товарищ штурман, научите командира РККФ Любского правильному ответу!

Штурман удивленно поднял голову, и Белосельский с горечью почувствовал, что залп прошел мимо. Неужели и этот откажет? Все-таки одна шатия, друг за дружку горой... Но то ли в лице Белосельского, в сжатых его скулах и в расширенных ноздрях было что-то необычное, то ли в глазах его штурман прочел тревогу и надежду, или просто сама ситуация показалась ему забавной, но он скинул ноги с поручней и уже без балагана стал «смирно», подняв руку к козырьку.

— Следует ответить: есть принять замечание, приказано следить за курсом!

— Повторите, товарищ командир.

Артиллерист вспыхнул.

— Я не попугай... и... не мальчишка!

— Повторите уставный ответ, товарищ командир, — с подчеркнутым спокойствием сказал Белосельский и боковым зрением увидел, что Плоткин оставил дудку в по-

кое и подтянулся. Штурман любопытно переводил глаза с Белосельского на артиллериста.

— Я сказал, что не попугай! Я буду жаловаться комиссару!..

Теперь штурман с удовольствием потер руки и мечтательно облокотился на компас с видом человека, который готовится слушать любимую арию: сейчас начнется мировой долбеж...

Но Белосельский отвернулся от артиллериста и подозвал Плоткина:

— Товарищ вахтенный старшина, доложите командиру Краснову, что я приказал ему сменить вахтенного начальника.

Плоткин, неуверенно повторив приказание, взглянул на артиллериста и пошел вниз. Любский с пятнами на лице смотрел вперед, ничего не видя. Шалавин сполз с компасной площадки и, опасливо пройдя мимо Белосельского, целиком залез в штурманский стол, похожий на собачью будку. На мостик поднялся минный специалист Краснов. Смена вахты произошла вполголоса, потом артиллерист повернулся к трапу, но Белосельский его остановил. Он решил довести бой до конца.

— Я не разрешал вам спускаться с мостика, товарищ командир,— сказал он негромко, и Любский понял, что перегибать палку опасно: черт его знает, доведет до трибунала... все же как-никак на мостике, во время похода...

— Вахту сдал исправно, курс сто девять с половиной,— сказал он, не подымая глаз.

— Можете идти. В Ленинград не поедете, пока не сдадите мне зачет по командным словам и ответам. Понятно, товарищ командир?

— Есть сдать зачет по командным словам и ответам,— пересилив себя, ответил артиллерист и с грохотом скатился вниз по трапу.

На мостике наступила удивительная для «Жореса» тишина. Потом штурман высунул из своей будки нос и осмотрелся. Краснов, видимо вполне оценив обстановку, стоял около рулевого, то и дело заглядывая в компас, подымая к глазам бинокль, наклоняясь к счетчику оборотов. Сигнальщики неслышно копошились у флагов, наводя порядок в их цветистых комочках. Белосельский по-прежнему втиснулся между штурманским столом и обвесом. Штурман тихонько подергал его за рукав.

— Аким Иваныч,— сказал он молящим шепотом, сде-

лав насмерть перепуганное лицо,— дозвольте неофициально... я ж не на вахте, ей-богу...

Белосельский взглянул на него и едва удержал улыбку:

— Не паясничайте, штурман. Учили бы лучше товарищей, как себя держать.

— Аким Иваныч! Как перед богом... Люблю классный фитиль, это же красота, кто понимает, но тут... ох, и хай будет! — Он схватился за голову.— Он же скандал подымет и вас с нутром и с перьями съест, три дня носить будет, выплюнет, обратно съест и не выплюнет, так и погибнете... Я понимаю, печенка в вас играет после камуфлета со шлюпкой. А вы плюньте и берегите здоровье, черт с ней, со шлюпкой! Ей-богу, не то бывает... Я тоже, как первый раз на девиацию выходил... боже ж ты мой: стою на мостике, тут тебе и магниты, и таблицы, и справа банки, и слева стенка, а корапь прет, а море тесное, а посоветоваться не с кем, а амбиция играет... словом — тоё-моё, зюйд-вест и каменные пули...

— Ладно, штурманец, в каюте поговорим,— сказал Белосельский, почувствовав, как дрогнуло в нем сердце при напоминании о шлюпке.— Следите за курсом. Тут тоже море тесное.

— Есть следить за курсом, тут море тесное! — гаркнул штурман, выпучив глаза, но и в самом деле пошел к путевому компасу. Белосельский проводил взглядом его высокую и смешную фигуру. За всем этим балаганом как-то не поймешь, на чьей он стороне,— хорошо хоть сейчас не подвел с артиллеристом...

Он выставил лицо на ветерок, за обвес, и снизу донеслось быстрое шипенье воды. Он опустил голову, вглядываясь в неподвижно стоящую под мостиком разрезную волну и оценивая происшедшее. Переборщил?.. Нет. Урок к месту. Иначе с миноносцем ничего не сделать, начинать надо с комсостава — отсюда идет и Плоткин с его проповедью о трудовой дисциплине, и комендорская вольница, и комиссарские теории о сплочении. Сделано правильно, но будут неприятности. Командир, конечно, поддержит Любского, да и комиссар подгадит...

Комиссар... Странно было не чувствовать в этом мужественном слове привычной поддержки. Вон как повернулось: матросу и коммунисту приходится драться с матросом и коммунистом! Вахраткин был и тем и другим, и, кроме того, он был еще и комиссаром, но в бессонные

ночи, когда Белосельский ворочался на койке, в который раз перебирая в уме людей «Жореса» и отыскивая среди них врагов и друзей,— комиссар Вахраткин казался ему не союзником, а врагом, и врагом более опасным, чем бывшие офицеры. Почему?..

Этого Белосельский пока сам еще не знал. Это надо было додумать, поговорить с другими академиками, свести к итогу обрывки наблюдений и догадок, которые накопились за эти две недели. И может быть, дело в личном самолюбии Вахраткина. Подумать только, прихо́дит на корабль такой же матрос и коммунист и тычет его носом: тут неладно, тут неверно, тут проморгал,— кому это приятно? И может быть, дело не в глубокой затаенной обиде его — вот, мол, одних матросов послали учиться, будут кораблями командовать, флагманами будут, а я, Вахраткин, так и помру где-нибудь в Пубалте старшим инструктором... Может быть, дело обстоит гораздо более серьезно, и этот глухой протест Вахраткина против академиков имеет совсем другие причины...

Стоявшая под мостиком волна завораживала взгляд. Она как бы прилипала к кораблю, проносясь вместе с ним мимо остальной толщи воды, медленно изменяя форму в гребне и в изгибе, но оставаясь все время той же — шипящей, отороченной пузырьками белой пены. Люди меняются так же, оставаясь почти теми же самыми, и черт его знает, что́ загнало им внутрь встречное течение людей и событий? Вахраткина он хорошо помнит по Центробалту — боевой был матрос, пришел со «Славы». А с кем он потом путался все эти годы? Почему он так держится за командира? Почему так настроена против него часть коммунистов?.. Волна стояла над мостиком неотрывно, как часть корабля, и смотреть в ее живую глубину было спокойно и приятно, но почему-то безмерно одиноко: корабль, волна и человек. Один.

Он пересилил себя и поднял взгляд к горизонту. Кронштадт приблизился. Показались заводские трубы, наклонно вылез в небо кран, темным четырехугольником выросла водокачка. Вечер спускался тихий и ясный. И оттого ли, что на мостике стояла тишина, а может быть, оттого, что был уже отчетливо виден Кронштадт, где на других кораблях такими же чужими и одинокими чувствовали себя стажеры-академики,— но Белосельский ощутил вдруг прилив сил и спокойствия. Ну что ж, еще один фронт без залпов и выстрелов, фронт путаный и не-

определенный: справа — трудноуловимое сопротивление бывшего офицерства, слева — еще более скользкое сопротивление комиссара... Но учиться самому и учить других — надо, как надо строить флот, оздоровлять его и одновременно не забывать, что сперва отдаются не носовые тали, а кормовые. Чепуха, мордокол с дворянчиком, явным саботажником...

В конце концов не на «Жоресе» кончается флот — есть Пубалт, есть парткомиссия, там поймут и тали, и бой с артиллеристом и пощупают, чем дышит комиссар Вахраткин, матрос и коммунист. Поход кончается, и все неприятности, связанные с первым походом на чужом корабле, тоже кончаются.

Впереди показались входные буи рейда. Было еще совсем светло, и за кормой небо не успело еще осыпать алых своих закатных перьев, а мигалки на буях уже горели. Все должно делаться своевременно: мигалки — загораться до темноты, наступление — начинаться до готовности противника. И артиллеристу он насовал вовремя.

Он подозвал Плоткина, приказал доложить командиру, что миноносец входит на рейд, и потом нажал кнопку аврального звонка. Трескучие колокола громкого боя отозвались из-под мостика, топот ног по трапам нарушал мечтательную тишину вечернего похода, и на полубаке закопошилась у шпиля хозяйственная фигура боцмана.

«Жорес» подходил уже к воротам гавани, но командир все еще не подымался на мостик. Белосельский усмехнулся. Конечно, это мелкая месть за артиллериста: выйти в последний момент и не дать помощнику возможности приготовить на корме что надо, чтобы потом, когда миноносец долго будет подтягиваться кормой к стенке, иронически разводить руками в ответ на приглашения командиров с соседних миноносцев и кивать на корму: «Возится, мол, мой академик, никак чалки не заведет...» Послать, что ли, боцмана, пусть пока там посмотрит...

— Товарищ боцман,— крикнул он на полубак,— подымитесь сюда!

Но прежде чем появился боцман, на мостик вернулся Плоткин.

— Товарищ старший помощник, командир приказал передать, что он занят. Пусть, говорит, помощник сам входит в гавань и швартуется.

Белосельский обернулся и внимательно на него посмотрел. Что он, перепутал?

— Повторите, какое приказание?

Плоткин с видимым удовольствием повторил, напирая на слово «сам». Штурман, складывавший карты, выглянул из своей будки, как кукушка из часов.

— Нок-аут,— сказал он, поджимая губы.— Ядовито...

Белосельский почувствовал, что вся кровь кинулась ему в лицо.

— Есть входить в гавань и швартовиться! Товарищ штурман, пройдите на корму, будете заводить швартовы! — Он двинулся к машинному телеграфу.— Там левый стальной во вьюшке заедает, прикажите лучше сейчас набрать слабины на палубу...

Штурман посмотрел на него с уважением и жалостью, потом совершенно неофициально махнул рукой:

— Вот же сук-кин сын, а? Ладно, Аким Иваныч, как-нибудь развернемся...

Белосельский положил пальцы на ручки машинного телеграфа, как на рукоятки пулемета. Бой начинался. Первый сигнал в машину должен был означать, что он принял этот вызов.

Мгновение он боролся с собой, чувствуя себя не в силах начать эту опасную игру. Это же каприз самодура, и амбицию надо побоку... Самолюбие — и боевой корабль. Доказать — и, может быть, расшибить прекрасный миноносец. Вероятность аварии — 80 из 100: девять лет на кораблях — матросом и штабным специалистом,— и ни разу не держать в руках вожжи корабля, ручки машинного телеграфа!..

— Лево на борт,— сказал он, боясь, что голос окажется хриплым.

Гавань открылась перед «Жоресом» невероятно узкой щелью ворот. Ворота росли впереди, стремительно приближаясь и, как в кошмаре, неправдоподобно сужаясь по мере приближения к ним миноносца.

Он оглянулся. Как заговор: на мостике — никого из командиров. Нет и комиссара. Два сигнальщика, один из них — комсомолец Чернов. Его, что ли, спросить, когда командир уменьшает ход — в воротах или раньше?.. И какая инерция у «Жореса»? Расчет и глазомер... Тонкий расчет у командира, ох, тонкий!.. Спровоцировать отказ от приказания или дискредитировать как моряка... Белосельский как будто услышал будущие объяснения: «Если штаб флота присылает мне помощника, я вправе полагать, что это квалифицированный командир... Я по-

лагал даже полезным дать ему самостоятельную практику... стажировка...»

— Одерживайте... Прямо руль! — сказал он, и миноносец пошел в узкую щель ворот. Белосельский потянул на себя рукоятку сирены, густой басистый вопль повис над гаванью, оповещая всех о входе корабля. Медное горло сирены торчало над самым мостиком, могучий рев отдавался во всем теле, рождаясь где-то внизу живота, и Белосельскому показалось, что это кричит он сам гневным призывом о помощи. Он отпустил рукоятку, и на мостике опять стало тихо, так тихо, что он услышал скрип собственных зубов.

Можно, конечно, и не разбить миноносец: войти малым ходом, отдать посередине гавани якорь, развернуться на нем и, потравливая якорную цепь, тихохонько, как «Водолей», сдаться кормой к стенке. Но рев сирены вызвал уже зрителей, и завтра вся минная дивизия будет пересмеиваться: «Видали?.. Академики!.. Бумажные морячки, раком на якоре, волжские привычечки... Словом — «зачаливай!..»

Ворота пронеслись мимо. Пора!

Он дал левой машине «полный назад», и «Жорес» послушно занес корму влево, поворачиваясь носом к каменной стенке, мимо которой он только что прошел. Теперь он должен был остановиться на месте, закидывая корму, чтобы потом задним ходом подойти к своему месту у противоположной стенки гавани. Белосельский метнулся к кормовым поручням посмотреть, как проходит корма, и тотчас увидел внизу, на палубе, у торпедных аппаратов — командира, старшего механика и Любского. Они стояли (или так показалось?) с видом людей, наблюдающих агонию затравленного зверя. Он густо выругался молча, про себя,— давнишним, проверенным матросским загибом в бога, в веру, в весь царствующий дом,— отскочил от поручней, как ужаленный, и носом к носу столкнулся с рулевым старшиной Портновым, членом бюро коллектива.

— Тебе чего?

— На штурвал стану, штурман прислал,— сказал тот вполголоса, серьезно и безоговорочно, и потом громко добавил: — Разрешите заступить на штурвал, товарищ командир, Грудского штурман требует на корму.

У Белосельского точно лопнуло что-то внутри, и

бешеная злоба, с которой он только что отскочил от поручней, обернулась ясным и холодным весельем.

— Станьте на штурвал, товарищ старшина,— сказал он преувеличенно четко.— Товарищ Грудский, идите к штурману!

Портнов торопливо прошел к штурвалу, и тотчас Белосельский стал рядом с ним у машинного телеграфа и сдвинул обе ручки на «полный назад»: очевидно, он чего-то не рассчитал, и миноносец очень быстро шел на стенку.

— Разогнали очень,— сказал Портнов, тревожно оценивая расстояние до стенки.— Эх, разогнали! — повторил он, досадливо щелкнув языком.— Как его, чертяку, удержишь... Самый полный назад надо!

Белосельский послушно звякнул телеграфом и оглянулся на корму. Бурун заднего хода кипел за кормой, но миноносец по-прежнему, хотя и медленнее, двигался вперед. Белосельский почувствовал неприятный холодок вдоль спины. Он оглянулся еще раз и тогда в люке машины увидел голову младшего механика Луковского. Тот с беспокойством вглядывался в надвигавшуюся стенку. Белосельский махнул ему рукой и сделал выразительный жест: «Осади!»

Голова Луковского скрылась в машине, и тотчас бурун за кормой вырос вдвое. Вода набежала на палубу, люди на корме запрыгали, миноносец нехотя и против воли наконец остановился, и, как бы чуя это, турбины сбавили обороты. Белосельский поставил телеграф на «стоп».

Он передохнул и осмотрелся.

Теперь «Жорес» плавно отходил от стенки на середину гавани. Гавань, только что казавшаяся невероятно тесной, распахнулась большим озером воды, и до миноносцев показалось ему еще очень далеко. Белосельский прикинул расстояние до них и уже совсем спокойно дал задний ход. «Жорес» пошел назад быстрее, но, видимо, все же ход был недостаточный, чтобы он слушался руля, потому что ветром начало заносить нос вправо. Портнов хотел что-то сказать, но Белосельский уже увеличил ход и выправил машинами корму, опять нацелив ее в щель между миноносцами, и Портнов одобрительно кивнул головой, помогая рулем. «Жорес» шел назад еще быстрее.

Все внимание Белосельского было теперь устремлено на эту узкую щель. Здесь, бок о бок с другими миноносцами, должен был встать «Жорес». Еще раз или два

пришлось поиграть машинами, чтобы точно направить корму в эту щель, и, наконец, Белосельский весело скомандовал «отдать якорь!» и одновременно дал обеим машинам полный вперед, чтобы остановить стремление миноносца назад.

Но, очевидно, это стремление было слишком велико. Якорная цепь загрохотала с остервенением, быстро высучиваясь из клюза, и по этому грохоту и по тому, как отскочили от нее боцман и комендоры, Белосельский понял, что у «Жореса» опять был слишком большой разгон — на этот раз назад — и что если попытаться задержать его на якоре, то якорцепь тотчас лопнет и «Жорес» врежется кормой в каменную стенку.

Он кинулся к телеграфу, но едва ухватился за ручки, чтобы потребовать от машины самый полный вперед, как почувствовал содрогание палубы под ногами, и мгновенно покрылся по́том: уже удар?.. Шипенье пара, рев вентиляторов, эти звуки похода, почти неслышные в море и невероятно громкие в узкой щели между миноносцами, заглушали то, что происходило на корме, но ему ясно почудился лязг сминаемого железа, чьи-то крики и брань, треск раздавленных шлюпок. Внезапная слабость, какой он не испытывал в бою, подкосила его колени, и он уперся руками в телеграф.

Но палуба продолжала вибрировать под ногами длительно и плавно. Миноносец весь трясся в могучем усилии турбин удержать его губительное стремление назад. Белосельский понял, что в машине приняли свои меры, и уже больше для порядка провел ручки до отказа вперед и поставил их на «стоп».

— Наложить стопора! — скомандовал он боцману и тут же вспомнил, что забыл скомандовать на корму «подать кормовые».

Миноносец стоял между другими, клубясь паром, фыркая и отдуваясь, как горячая лошадь. Белосельский снял фуражку и вытер лоб. Портнов отошел от штурвала и улыбнулся впервые за эти десять минут.

— Вы, товарищ Белосельский, не глядите, что так,— сказал он.— Для первого разу оно тик-в-тик... Слушает носовой мостик,— перебил он себя, снимая телефон.— Есть передать трубку старшему помощнику!

— Слушаю,— сказал Белосельский.

В трубке раздался задорный и веселый голос штурмана:

— Кормовые поданы, трап поставлен!

— Как, и трап? — удивился Белосельский.

— И трап,— подтвердил голос.— Аким Иванович, дозвольте неофициально... Как же его не подать, когда без малого в Петровском парке были... Лихо швартовитесь, ей-богу! Всю стенку буруном залило, и приборки не надо — чисто́, как на палубе! — Трубка фыркнула, и приглушенный голос добавил: — Докладаю: командир корабля смылись с корабля, замечено расстройство чувств и...

— Ну, хватит,— перебил Белосельский.— Слушайте, штурманец, я тоже неофициально... Черт вас там разберет, с чего вы так, но спасибо...

— Здрасьте, а за что?

— Ну, за Портнова... и вообще...

— А... кушайте на здоровье, старый должок отдаю...

Белосельский повесил трубку, пошел к трапу, но остановился. Вниз идти не хотелось: мостик, штурвал, телеграф, самый запах (дымом и немного краской), стоявший на мостике, стали необычайно дороги и близки. И даже не хотелось думать ни о командире, ни о комиссаре. Он скомандовал «подвахтенные вниз» и опять вернулся к телеграфу, навсегда вошедшему в его жизнь холодным прикосновением медных своих ручек.

Так его нашел на мостике механик Луковский.

— Ну, Аким Иваныч,— сказал он, обтирая пальцы обстрижкой,— хорошо, что ты штурмана подослал, а то бы дров наделали...

— Я его не подсылал,— сказал Белосельский удивленно.

— Ну? А он скатился в кочегарку, отозвал меня, «Сыпь, говорит, Петрович, в машину и гляди в оба. Чичас «Жореса» долбать начнем. Стой в люке и сам соображай, куда твою машину крутить, вперед аль назад: там твой академик влип...»

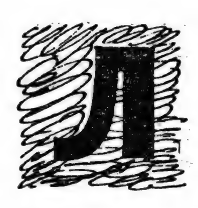
Белосельский задумался.

— Это не балаган, Петрович,— сказал он серьезно.— Что ж, поглядим... Вот что. Тут ты, да Портнов, да я — вроде как бюро... Ставлю вопрос о комиссаре. Он знал, что командир выкинул?

— Знал,— сказал Луковский.— Я сейчас тебе об этом расскажу, Аким Иваныч.

1937

Англичанин



инейный корабль готовился к походу. Съемка с якоря была назначена на восемь утра.

Несмотря на все свои огромные преимущества перед магнитными компáсами, гироскопический компáс системы Сперри[1] требует не менее трех часов, чтобы «прийти в меридиан», то есть уставиться на север осью вращающегося в нем ротора. Штурманский электрик Снигирь — хозяин носового гирокомпáса — был заботливым его хозяином. Поэтому уже в половине четвертого он шел к компасу в нижний центральный пост.

Корабль спал вполглаза. Не меньше сотни людей пробуждали его механизм от ленивого якорного сна. В тру-

[1] В тридцатых годах (время действия рассказа) корабли Военно-Морского Флота еще не имели своих, советских гирокомпáсов. Гирокомпас — сложный электрический прибор, в котором использованы особые свойства быстро вращающегося тяжелого диска (гироскопа). Огромная сила, направляющая ось диска к северу, позволяет использовать гирокомпас для вспомогательных приборов: для указателей курса корабля, работающих от одного гирокомпаса в десятке мест корабля, для приборов, записывающих курс (курсограф) или прямо зачерчивающих его на карте (одограф), для автоматического рулевого, для целей стрельбы (стол Полэна) и т. д. Преимуществами гирокомпаса является его нечувствительность к артиллерийской стрельбе, выводящей из строя магнитные компасы, возможность установки его глубоко в недрах корабля под защитой брони, высокая точность показаний курса корабля.

бах, переплетенных у подволока путаной сетью, потрескивал пар. Из кочегарок доносились гулкие голоса. Кубрики берегли еще синюю сонную полутьму, а машинные отсеки и кочегарки полыхали в открытые люки белым светом многосвечных ламп.

Помещения на линейном корабле отыскивают себе свободное пространство, вклиниваясь между башнями, погребами и трубопроводом хитрыми фигурками, не имеющими названий в геометрии. Среди этих помещений нижний центральный пост своими прямоугольными очертаниями напоминал квартиру из трех комнат. Выходило так, что почти всю квартиру занимала артиллерия. Она отхватила себе две комнаты: одну она забила моторами приборов управления артиллерийским огнем (сокращенно именуемыми криком новорожденного: «УАО»), а вторую увесила сверху донизу самими приборами УАО, заняв середину поста столом Полэна — умным механизмом, вычисляющим за артиллериста.

Штурманская же часть, на положении бедного родственника, оказалась загнанной строителями линкора в крохотушку-комнатку. Здесь во время боевого маневрирования, скинув китель в результате борьбы дисциплины с сорокаградусной жарой, обычно изнемогал над картой младший штурман Крюйс, ведя по приборам запутанную кривую пути линкора. Вследствие этой тесноты гирокомпас Сперри пришлось прописать на артиллерийской жилплощади.

Он был установлен в левом углу возле двери в штурманский пост и отделен от артиллерии условной границей медных поручней, подобно тому как отделяют шкафами угол для ввалившегося в московскую квартиру родственника из Тамбова.

Снигирь был штурманским патриотом. Поэтому такое утеснение выводило его из себя. Именно ему принадлежала мысль оградить гирокомпас поручнями, и он с удовлетворением оборачивался на каждое шипенье третьего артиллериста, когда тот, наклонившись над столом Полэна, неизменно стукался копчиком о медный прут. Артиллерист был толст, пожалуй толще младшего штурмана, и ворочаться ему в коммунальной тесноте поста было сложно.

Поручни родились позапрошлым летом на стрельбе, когда стол Полэна публично оскандалился со всем своим электрическим умом. Линкор вертелся вправо и влево,

изображая маневрирование при уклонении от атак,— и стол Полэна должен был докладывать артиллеристу изменение направления и расстояния до цели, учитывая каждый поворот и ход линкора. Полэн был в центре общего внимания, как выходящий к финишу вельбот. Он жрал электроэнергию киловаттами, хрустел шестеренками, пережевывая данные, и взасос пил гирокомпасную кровь: компас по гибкому семижильному кабелю сообщал ему курс линкора. Но, к ревнивой обиде Снигиря, гирокомпас получил только ядовитые попреки.

— Понаставили тут компасо́в, повернуться негде!..— ворчал третий артиллерист.— Надо вашу бандуру подальше в угол сдвинуть...

Артиллерист был сильно не в духе. Он хмуро ложился животом на стол, вводя в Полэна всяческие поправки, и трижды уже сообщил по переговорной трубе в боевую рубку: «Сейчас выправлю...» Снаряды ложились совсем не у щита — Полэн, видимо, врал, как американский репортер.

Неполадка разъяснилась неожиданно. В паузе команд и телефонных разговоров из штурманской клетушки донесся умученный голос Крюйса, вслух колдовавшего над картой:

— За полминуты полтора кабельтова... полтора... Где циркуль?.. Курс восемьдесят шесть... восемьдесят шесть...

— Как восемьдесят шесть? — сказал третий артиллерист, отдуваясь.— Что у вас с компасом, Снигирь?

Там, наверху, в боевой рубке правили обычно по указателю кормового компаса — рулевым он больше нравился по причине яркости освещения,— и по нему же вел боевую прокладку и Крюйс. Снигирь наклонился над своей картушкой: носовой компас, включенный на время стрельбы на стол Полэна, показывал семьдесят два градуса

Снигиря кинуло в жар. Он бросился к уровням. Пузырьки их вышли из рабочего положения. Это означало, что случайный толчок артиллерийского зада вывел гироскоп из меридиана. Компас перестал быть компасом — по крайней мере, на полчаса он превратился в неизвестно для чего жужжащий волчок...

Этот случай привел Снигиря к трем выводам. Во-первых, к изобретению ограждающих компас поручней; во-вторых, к самолюбивой профессиональной мысли, что

«полено» ничуть не умнее гирокомпаса и славу свою имеет за счет других приборов; в-третьих, что от неисправности гирокомпаса зависит не только путь корабля, но и целый бой. Последнее еще усилило его любовь к замечательной машине, называемой гироскопическим компасом.

В посту стояла теплая и звучная корабельная тишина. Дежурная лампочка дробила свой свет на артиллерийских приборах. Компас, заботливо накрытый чистым парусиновым чехлом, дремал в углу за своими поручнями.

Снигирь, бренча цепочкой, вытянул из кармана ключи, ненужно изящные, как от дамского чемодана (они вместе с компасом были сделаны в Англии), и отомкнул решетку распределительной доски. Холодный черный ее мрамор и стекла измерительных приборов, сверкнув, сонно переглянулись. Освобожденный от чехла гирокомпас, поблескивая черным лаком и никелем, покосился на Снигиря своим огромным выпуклым стеклом.

Снигирь привычно и ловко смотрел «чувствительную систему», к которой доступа после не будет, прошел к моторам и вернулся к доске. Он замкнул рубильник питания. Лампочка над компасом ярко вспыхнула и осветила двадцатидвухлетнего советского парня, готовящегося принять на себя всю заботу и ответственность за поведение сложной и капризной заморской машины.

— Ну, Маруська, поехали! — негромко сказал Снигирь и повернул ротор на примерный курс корабля, чтобы машине не искать меридиан зря по всему горизонту. Потом в течение минуты щелкали рубильники, взвизгивали один за другим моторы, вспыхивали лампочки, вздрогнув, сдвигались под стеклами стрелки приборов, звонко и четко зачикал азимут-мотор, и ровное низкое жужжание врезалось в тишину поста. Спиральная полоса в окошечке кожуха начала падать, указывая, что ротор завертелся в нужную сторону и что механические силы, рожденные электрическим током, начали свою борьбу, приводя ось гироскопа на север..

Снигирь снял телефонную трубку.

— Динамо номер четыре,— сказал он телефонисту.

Трубка защелкала, потом в нее вошел сильный и ровный гул.

— Судинов, ты? Включен носовой компас. Ток с тебя взял... Смотри, я вольтаж записываю, помни — двести двадцать, и ни копейки меньше.

— За собой смотри, у нас дело чистое,— ответил телефон.— Ну, пожелаю... плыви! Не вывернись по дороге!

Снигирь сел на разножку у компаса и раскрыл рабочий журнал. Сквозной договор соревнования специальностей — кочегары (пар), электрики (ток), штурманские электрики (компас) и рулевые (точность курса) — вошел в силу. Энергия, преобразующаяся из огня и воды в путь корабля, на каждом этапе была взята под пристальный контроль.

Впрочем, рулевые еще спали, и рули были недвижны в мутной воде гавани; еще и пар в котлах не взошел в свою полную силу, стояли и турбины, набираясь тепла, и когда еще вздрогнет шпиль, начиная выхаживать якорь,— но гирокомпас уже запел свою хорошую песню.

Снигирь любил компас первой технической любовью, восторженной и ревнивой.

Дед и отец Снигиря были поморами. Они десятки лет сражались с нуждой на два фронта: на холодных плацдармах Белого моря и в конторах рыбопромышленника Сизых. Война на море была опасной, но успешной: карбас возвращался, доверху полный серебристыми, подпрыгивающими в сети трофеями. Но десант, высаживаемый Снигирями на непоколебимые крепости Сизых, неизменно терпел поражение. В море всегда казалось, что улов обеспечит семью на полгода,— а в конторе Сизых денежная сила рыбы оказывалась ничтожной: Сизых бил ее ураганным огнем несусветно низких цен. Но больше сдавать треску было некуда. Выходя из конторы и ощупывая в соленых карманах кредитки, Снигири надеялись, что их хватит все же на три месяца жизни. Они несли их в магазин — и там тот же Сизых бил кредитки на выбор прицельным огнем цен, повысившихся за время плаванья. Но покупать больше было негде. Снигири, вздыхая, брали высокие сапоги, новые сети, смолу для шпаклевки, парусину взамен изодранной океанскими ветрами — и кредитки падали в выручку, как трупы на лобовой атаке. Остатки шли на семью, и их хватало на две недели. Тогда Снигири — дед и отец,— починив карбас, снова шли на морской фронт добывать снарядов для нового сухопутного боя.

На этот фронт Федюшку мобилизовали девяти лет от роду: воловья крепость деда сдала, и лишь вместе с внуком он мог составить одну человеческую силу. Тогда-то Федюшка и увидел впервые компас.

Это был небольшой котелок, хитро приделанный к кормовой доске карбаса. Север он показывал с точностью дерева, поросшего на северной стороне мхом,— не большей. Но и такой он стоил столько же, сколько сам карбас: Сизых отлично понимал, что помору без компаса пути нет, а у берегов главные косяки рыбы не появлялись.

Четыре года проплавал Федюшка с отцом — дед однажды упал в воду, поднимая сеть, и не всплыл. На пятый год море изменилось. На нем появился английский крейсер и стал на якорь около рыбачьего поселка. Крейсер был трехтрубный, огромный и гладкий. Это был первый пароход, который увидел Федюшка (Сизых и тот вывозил скупленную треску на парусной шхуне).

Берег же почти не изменился. Правда, уже год, как урядник перестал носить шашку и поступил к Сизых сторожем. Вместо него порядок в поселке поддерживал Филатычев сын, молодой и наглый парень, всю войну отсидевшийся дома по знакомству отца с урядником. Жить же стало хуже: Сизых еще больше качнул коромысло цен — покупных на рыбу и продажных на товар: первые понизились, а вторые повысились, как связанные друг с другом две чашки весов.

Английский крейсер вошел в Федюшкину жизнь познанием машины.

Это было в пятницу 13 июля 1918 года. День запомнился потому, что отец не хотел выходить в море: нехорошая примета — тринадцатое и пятница. Крейсера на рейде не было уже шестой день. Прошли за мыс и на горизонте заметили пять пароходов. Когда подошли ближе, Федюшка увидел, что ближний пароход тащил лебедкой из воды стальной трос. Трос бежал на палубу, громыхая, круто сгибаясь в блоке стрелы. Вдруг море зашипело пенистым пузырем, и огромная туша живого серебра, выпрыгнув из воды, повисла на стреле. Федюшка разинул рот. Полтора-два карбаса трески бились в сети высоко, под самым английским флагом. Потом сеть будто лопнула: рыба рухнула на палубу, извиваясь безмолвно и отчаянно.

Это была техника — такой ее увидел впервые Федюшка.

— Трал,— сказал отец и хмуро потрогал тяжелую дедовскую сеть.— Сизых опять цены сбавит. Гляди, сколько враз берут. Прорва.

Карбас повернул в море. Но вместо рыбы на этот раз Снигири выловили из воды трех русских матросов. Матросы оказались со сторожевого судна, потопленного вчера английским крейсером. Вся война перепуталась: воевали с немцами, а стали топить англичане. Матросы стучали зубами, один хрипло плакал и матерился в Белое море, в белую гвардию и в белесые богородицыны очи. Отец, выслушав, повернул карбас к поселку, держась подальше от английских траулеров.

Крейсер появился внезапно, когда карбас уже подходил к мысу. Отец велел матросам лечь на дно; их закрыли сетями. Круто повернули к берегу. Парус захлопал.

Крейсер рявкнул сиреной и поднял какой-то флаг.

— Мелко, сюда не пойдет,— сказал отец сетям вполголоса, будто на крейсере могли услышать. Здесь начинались прибрежные камни, и фарватер между ними знали только рыбаки.

Но с крейсера упала шлюпка, скользя по талям, и донесся звук мотора. Ветер и бензин спорили недолго. Через пять минут шлюпка была близко и с нее крикнули: «Стоп!»

— Ложись на дно, они враз напорются! — крикнул отец и вырвал у Федюшки румпель.

Федька прилег к сетям. Мотор и вправду затих, шлюпка стала. Но потом мотор снова заработал, только по-иному — реже и громче. Рядом с Федькиной головой правый борт карбаса пошел изнутри колоться в щепы. Карбас дрожал, и линия расколотой щепы шла к корме, будто борт прошивали швейной машиной. Когда щепа повалилась против сетей, они зашевелились. Из петель высунулась рука с протравленным на коже якорем, она поскребла дно и застыла. Сети вспрыгнули другим концом, и оттуда выскочил матрос, тот, который ругался. Он встал у борта и кричал страшные и бессмысленные слова, грозя кулаками. Вдруг он упал животом на борт и замолк. Тогда качнулся отец. Он откинулся навзничь, голова его ударилась о компас. Стук мотора был ровен и нетороплив: с каждым его звуком голова отца дергалась и будто уменьшалась. Из нее брызгало красное и серожелтое. Федюшка закричал и кинулся за борт. Рядом

были высокие камни, и между ними, плача и задыхаясь, он доплыл до берега.

Без отца и без карбаса жить стало невозможно. Мать сгорбилась и ослабла на глазах. Федюшка работал у Филатыча за харч года полтора, пока до поселка не достигла Советская власть и Сизых не исчез.

Трал и пулемет — две машины, впервые увиденные Снигирем,— легли в основу его любви и ненависти. Ненависть была — англичанам, любовь — машине. Он перечитал все книги в скупой библиотеке артельного красного уголка, составленной из реквизированных у Сизых приложений к «Родине» и из всякой мешанины, присланной из города в порядке культшефства союзом совторгслужащих. Первые рассказывали про любовь, горевшую в графском сердце. Вторые — про преимущества многопольной системы над трехполкой, про спор ревизионистов с марксистами и про влияние раннего символизма на космические тенденции «Кузницы». Но про машину — и те и другие молчали.

Однажды Снигирь обрадованно ухватился за нужную книгу. Она была с чертежами и называлась совершенно ясно: «Конструкция или кулиса?» Оба эти термина были в словаре иностранных слов и обозначали машинные понятия. Но кулиса оказалась театральной, а конструкция — наворотом кубов и лестниц на сцене, что и было показано на рисунках. Второй раз книга попалась нужнее: «Электротехника для монтеров». С голодухи Федор выучил ее наизусть при свете керосиновой лампы: электричества в поселке не видывали.

В 1927 году Федора Снигиря, только что раздобывшего разрозненные номера «Науки и техники», призвали на военную службу. Проехав до города триста семьдесят верст на подводе, Снигирь, как помор, был определен в Красный Балтийский флот. За следующие три дня он прошел молниеносный путь знакомства с техникой, оглянувшись на телефон в военкомате, едва успев ахнуть на паровоз и восторженно смолкнув на вздрагивающей палубе эскадренного миноносца, перевозившего партию молодых в Кронштадт.

В дни отдыха от строевой учебы молодняк водили по кораблям — знакомиться с флотом. Линкор был набит механизмами и доверху налит электричеством. Не вме-

щаясь, оно истекало наружу из люков и иллюминаторов столбами яркого света, впитываясь в снег на льду и в скользкое пасмурное небо.

— Товарищ командир, а где тут у вас ко́мпас? — спросил Снигирь, отыскивая знакомую технику.

— Компа́с у нас говорят,— поправил главный старшина рулевой, водивший молодых по кораблю, и поинтересовался, откуда Снигирь знает про компас.

Компас сначала разочаровал. Он был больше похож на часы, вделанные в стену. Потом оказалось, что это — один из двух десятков указателей, расставленных по кораблю, а самый компас, смешно называвшийся «маткой», стоит глубоко внизу и оттуда кружит по проводам эти не понравившиеся Федюшке «часы». Это сразу внушило к нему уважение.

Молодым повезло: для каких-то испытаний кормовая матка работала. Ровное жужжание моторов наполняло пост серьезностью, тишиной и великолепием исправной машины. Гирокомпас — большая тумба, поблескивающая черным лаком и никелем,— был открыт. Штурманский электрик стоял у распределительной доски. Две крохотные лампочки на ней ярко горели, как иллюминация в честь техники.

— Компасы у нас электрические, системы Сперри, английские,— начал объяснять главстаршина, а электрик, улыбаясь, смотрел на молодых, затаивших дыхание. Снигирь не слушал. Он стоял, потея в плотной шинели и меховой шапке еще без звезды, уставившись загоревшимся взглядом на черный мрамор распределительной доски. Смутные догадки наполняли его мысль. «Электротехника для монтеров», выученная наизусть, но непонятная, вдруг ожила, превратилась в реальную форму вольтметров, амперметров, рубильников и моторов и, просияв на никелированной вздрагивающей картушке, вновь стала загадочной, уйдя в жужжащий компас.

Вечером он написал заявление с просьбой при распределении по школам назначить его в школу штурманских электриков, упирая на знаменитую «Электротехнику для монтеров», и этим определил свой флотский путь.

В электроминной школе Снигирь испытал первое торжество профессионала. Гирокомпас, разобранный на части, потерял свою таинственность. Тускло сверкая безжизненными подшипниками, ротором, кольцами и винтами, он лежал на столе, как вскрытый человеческий труп.

Каждый винт Федор ощупал сам, и каждому винту его научили найти свое место. Сборка шла медленно. Собранную часть снова разбирали, раскидывали по столу и собирали вновь, добиваясь, чтобы эти части ввинтились в мозг так же крепко, как их винты в сталь.

Потом возились с присоединением проводов. Задняя стенка распределительной доски была похожа на коммутаторную доску телефонной станции; сотни проводов сплетались за ней причудливыми черными змеями, покачивая блестящими жалами наконечников. Каждому жалу было свое место — и это место надо было найти, не глядя на схему.

Схем было две: одна № 32 — «основная», другая «полная». «Основную» Снигирь мог начертить наизусть. «Полная» снилась ему по ночам в черных, синих и красных переплетающихся линиях. Это были три тока, действующие в компасе: трехфазный переменный в 90 вольт, постоянный в 20 вольт и постоянный в 6 вольт. Они текли в компас, производили каждый свое умное дело и сбегались в общий минус. На схеме это место называлось «точкой № 9» — и во сне она казалась Снигирю коллективом. Три разнохарактерных тока, каждый со своей работой, бежали из нее по одному проводу вместе — неотделимые и в то же время несмешивающиеся. Так коллектив соединяет в общей работе разных людей, не обезличивая, но ведет их вместе к одной творческой цели.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ СПЕРРИСТА СНИГИРЯ

(Необходимые для рассказа выборки)

Ленинизьм есть марксизьм эпохи империализьма. Непонятно говорил, спросить Григ.

Правый рубильник на верхнюю шину — левый борт боевой цепи.

Кассандра, Кюрасо — крейсера	2
Виттория, Верулам — эсминцы	2
Виндиктив — авианосец	1
Джентиен, Миртль — тральщики	2
Торпедных катеров	3
Заградитель	1
Л-55 — подлодка	1
	12 (!)

— английские корабли, утоплен. нами в Балтике в гражданск.

Что чистить ежедневно:
передатчик,
контактные колесики,
все реле.

Заявление о приеме на морфак послано при рапорте комроты № 129 командиру корабля.

Матке компаса

Спасибо, подруга, тобой я ничуть не обижен:
Весь поход ты покорна была.
Еще долго с тобой нам вместе жить нужно,
Ты с честью свой долг отдала.

Ценю как и твой, так и мой труд совместный,
И штурман нас сам похвалил.
Недаром же целыми днями
К тебе я на чистку ходил.

Крейсер звался «Корнуэлл», ушел из Белого моря, только как свергли белую власть. Спрашивал штурмана, говорит, и сейчас плавает в Англии.

Сказать Костровцеву о реле мотор-генератора и о щетках динамо-мотора — искрят.

Империализьм — то, во что вырос капитализьм теперь. Главные империалисты — англичане, потом французы.

«Потомок Чингис-хана». Хорошая лента, как англичан били.

С побудкой в нижний центральный пост спустился приехавший на поход старший техник гирокомпасного отдела Костровцев. Он поставил на палубу чемоданчик с инструментами и протянул Снигирю руку.

— Живет? — спросил он, кивнув головой на компас.

Снигирь радостно с ним поздоровался. Костровцев когда-то сам был штурманским электриком на подлодке. Он возился с гирокомпасами десятый год, и за немногие часы совместной с ним работы Снигирь узнал о гирокомпасе больше, чем в школе. Там была теория, здесь — практика.

Костровцев был, как всегда, серьезен и немногословен. Он посмотрел на доску, потом на компас. Взгляд его ложился на машину, как пломба: твердо и удостоверяюще.

— Не шалит?

— Не кормовой, Сергей Петрович,— ответил Снигирь тщеславно.— Это у Баева все непорядки, поправка каждый поход разная, передатчик искрит. Затем и приехали?

— Посмотрим вот...

Костровцев сел на чемодан и, вынув по привычке трубку, пососал ее впустую. Курить в посту было нельзя.

— Спеца на это привезли,— сообщил он, пряча трубку,— пять лет у самого Сперри на заводе работал...

Снигирь нахмурился:

— Англичанин?

— Самый стопроцентный.

— Зря! — сказал сердито Снигирь.— Всякого гада на корабль Красного флота пускать...

Костровцев усмехнулся:

— Все еще тебя не убедили? Раз англичанин — так и гад?

Снигирь, меняя разговор, заговорил о реле: опять запахло давнишним спором. В начале знакомства, два года тому назад, Костровцев на балансировке компаса как-то рассказывал о Лондоне, где он был в командировке, о заводе Сперри, о привычках гирокомпаса и о привычках англичан. И тогда Снигиря прорвало. В этом же нижнем центральном посту он изложил причины, по которым всех англичан считал врагами. 13 июля, пятница, было отправным пунктом. К нему прибавился счет за интервенцию. На чашку весов легли крейсер «Олег» и три эсминца, потопленные англичанами в Балтике: бомбы, скинутые на Кронштадт в 1919 году; расстрел 26 бакинских комиссаров; нота Керзона 1924 года; Хиксовский погром АРКОСа 1927 года.

Костровцев со всем счетом согласился вполне. Он даже прибавил от себя несколько пунктов, которых Снигирь и не знал. Но он разделил англичан на тех, кто должен ответить по этому счету, и на тех, кто должен помочь нам получить по нему.

Снигирю это было известно не хуже его. Еще в школе «национальному» загибу» Снигиря был посвящен специальный политчас. Снигирь охотно соглашался на международную солидарность с американцами, французами и особенно с немцами — этих по какому-то Версальскому договору грабили все, кому не лень. За китайцев, негров и индусов он даже прямо стал горой — тогда они казались ему чем-то вроде знакомых ему лопарей, только голых, потому что жарко. Но на англичанах он неизменно впадал в шовинизм. 13 июля, пятница, ровный стук машинной смерти, голова отца, прыгающая на компасе,— это не забывалось. В конце концов ведь убивали его отца, Сережкина деда и Пашкиного отца — не капиталисты, а именно англичане. Не страшная рожа в цилиндре с оскаленной золотой челюстью, под которой подпись

«капитал», а живые широкогрудые сытые матросы. Матросы же выходили — пролетариат. Здесь была явная неувязка: пролетариат и англичане?

Неувязку эту Снигирь был вынужден затаить в себе — рота не в шутку начинала донимать кличкой: «шовинизьма». Потом, со временем, неувязка эта разъяснилась, когда Снигирь наконец понял, что человечество делится не на нации, а на классы. Эта истина вошла в ум плотно и крепко, как винт в сталь.

Однако все же Снигирь вспоминал порой 13 июля, пятницу, и тогда ненависть привычно обращалась к англичанам.

К семи часам Снигиря подменил Таратыгин — надо было идти завтракать. Он наскоро проглотил чай и ситный и потом специально спустился в кормовой пост.

Англичанин оказался тощим и высоким человеком в плотной синей блузе, надетой поверх рубахи с твердым крахмальным воротником. Он стоял у доски, соображая. Правая щека его неприятно дергалась два раза в минуту. Кормовой компас еще не работал. Баев скучающе хлопал глазами около англичанина.

«Инженер. На наши деньги польстился»,— подумал Снигирь и поманил к себе Баева.

— Ну, как он? — спросил он тихо.

— Сердитый. Только и знает — фырть да фырть, швыряется ключами. То нехорошо, это неладно. Ткнет пальцем в реле, головой качает, «но гуд» говорит... Все ему не нравится.

Баев рад был поговорить после вынужденного молчания, но англичанин повернулся и залаял на него, показывая пальцем на вольтметр:

— Уэр-из йор сапляй? Ай-уáнт ту-нóу йор вóльтедж...[1]

— Вот все время так, разбери попробуй, а Костровцев куда-то провалился... Шалтай-болтай, зюйд-вест и каменные пули,— сказал Баев сердито и переспросил, будто это могло помочь: — Что надо?

— Суич-óн йор кóррент...— сказал инженер нетерпеливо и повторил еще раз раздельно: — Сап-ляй! [2]

---

[1] Где у вас питание? Мне нужно проверить вольтаж...

[2] Включите ваш ток... Питание!

— Сопля!..— вдруг догадавшись, крикнул Снигирь.— Включи ему судовой ток! Не помнишь, что ли,— «сопля»?

Английское слово supply, обозначающее «питание», было выгравировано на распределительной доске и служило еще в школе предметом хохота, отчего оно и запомнилось превосходно. Но англичанин произносил его иначе: «сапляй», поэтому было трудно сразу догадаться, что речь идет о знакомой «сопле» — то есть о судовом токе.

Баев, фыркнув, подошел к рубильнику.

— На́йс бой, э-ри́лл краснофлотец, уэл! [1] — улыбнулся инженер и одобрительно ударил Снигиря по плечу.

Тот сжался и, помрачнев, вышел из кормового поста.

На походах Снигирь моря не видел. Он только чувствовал его за двойным дном корабля под ногами. Оно, несомненно, было; стрелка лага, щелкнув, перескакивала, обозначая, что корабль прошел еще восемнадцать метров, указатель скорости покачивал своей длинной стрелкой, картушка компаса, чикая, вдруг начинала плавно катиться — и по этому можно было понять, что линкор шел вперед и поворачивал. В остальном — движения корабля не ощущалось. Огромный корабль, осторожно и бережно пробираясь в предательской тесноте отмелей и рифов Финского залива, давил мелкую волну, ничем не отзываясь на ее толчки.

Нынче поход выдался хлопотливый: стрельбы, правда, не было, но линкор маневрировал. Он резко поворачивал, резко менял хода — и все время приходилось взглядывать на указатель скорости. Передвижение корабля, несущего вместе с собой гирокомпас, вмешивалось в борьбу сил внутри компаса, пытаясь увести его с линии севера. Снигирь предупреждал это, устанавливая каждый раз диск особого коррективного приспособления на новую скорость корабля. Кормовой компас все еще не работал, и вся ответственность за точность курса лежала на Снигире.

От этого у него было приподнятое, праздничное настроение. Компас работал четко, яркий свет заливал пост, ровное жужжание было спокойно и чисто. Хорошо знать, что машина исправна, хорошо знать, что исправностью этой она обязана тебе, хорошо прятать веселую гордость

---

[1] Славный парень, настоящий краснофлотец!

специалиста за внешним безразличием уверенного спокойствия!.. Снигирь даже позабыл об англичанине.

О нем напомнил Таратыгин, который спустился в центральный пост подменить Снигиря на ужин.

— Раскусили,— сказал он торжествующе и пустился в сложные объяснения, почему, оказывается, кормовой компас неладно работал.

— Без англичанина не справились-таки,— кольнул Снигирь с ехидцей.— Тéхнички!

— Дался тебе англичанин! — рассердился Таратыгин.— Да и не он вовсе нашел, а Костровцев!

— А зачем тогда этого черта приглашали? — сказал Снигирь непримиримо.— Кланяться всяким, когда у самих головы есть... И неплохие, советские...

— Твоя-то уже очень советская! — съязвил в ответ Таратыгин.— «Шовинизьма» и есть, недаром прозвали! Иди ужинать!

Ужинать Снигирь пошел, но после все же заглянул в кормовой пост. Костровцев и англичанин разговаривали у весело чикающего компаса. Баев тоже повеселел — позор с кормовой матки был снят, и она уже пришла в меридиан. Нет ничего обиднее недоверия к твоему прибору.

Английская речь щелкала, култыхала и шипела. Англичанин был виден в профиль, и подергивания его щеки не было заметно. Снигирь смотрел на него с худо скрытой неприязнью. Такие же лица были у тех розовоскулых матросов — резкие, надменные, длиннозубые и бритые.

Англичанин повернул голову и, увидев Снигиря, сказал что-то Костровцеву, улыбнувшись.

— Спрашивает, ты еще юнга, по-ихнему ученик? — перевел Костровцев.— Отвечай ему, я переведу.

— Сам можешь сказать, знаешь ведь,— ответил Снигирь сердито.— А впрочем, скажи ему, что три года назад я о гирокомпасе и не слыхал, а теперь специалист. Скажи, если потягаться, так я его английскую морду умою, хоть он пять лет на заводе работал. И потом скажи, что я очень рад, что не он, а ты догадался, в чем неполадка была.

Костровцев усмехнулся и перевел, выпустив, очевидно, многое.

— Удивляется, что у нас очень молодые специали-

сты,— сказал он, когда англичанин замолчал.— А тебя хвалит, говорит — догадливый.

— Черта мне в его похвале! — оборвал Снигирь и вышел из поста.

На верхней палубе его охватила сырость. Она висела над морем, сгущаясь у горизонта в мутную мглу. Финский залив превратился в открытое море без видимых берегов.

Но линкор не уменьшал хода. Видимость оставалась достаточной, чтобы вовремя заметить встречные корабли. В неверной мгле, скрывшей берега с их маяками и знаками, линкор продолжал свой быстрый прямой путь, доверяясь гирокомпасу. И Снигирь ощутил прилив гордости.

Таратыгин встретил его недовольно:

— Где тебя носит? Сиди тут за тебя, жарища мертвая. Я вентилятор пустил — и то не легче... Что на ужин было?

— Макароны,— сказал Снигирь.— Успеешь, еще сигнала не было.

Он привычно взглянул на приборы, проверил ток в батарее и наклонился к компасу. Курс был семьдесят градусов. И этот курс, последний перед поворотом на Кронштадт, и опустевший после ученья пост, где остался один Снигирь, ясно говорили о конце похода.

Безжизненный до сих пор указатель кормовой матки, установленный здесь для взаимного контроля, вдруг ожил. Картушка его, защелкав, быстро описала почти полный круг и, дойдя до нуля, остановилась. Снигирь усмехнулся: наконец-то включили! Поспели к шапочному разбору... Тéхнички... Весь поход провозились!

Указатель, помолчав, опять защелкал, и его картушка осторожно, будто ощупью, подошла к цифре 70, остановилась и потом равномерно зачикала около нее: кормовая матка начала работать.

Снигирь отметил это в рабочем журнале и прошел на штурманский пост — взглянуть, не греется ли мотор лага. Там было неожиданно прохладно. Вытяжной вентилятор ревел своим широким трясущимся зевом. На решетке его трепетала втянутая сильным током воздуха бумажка с почерком младшего штурмана. Снигирь снял ее и положил на стол — может, нужная.

Мотор был в порядке, и Снигирь вернулся к компасу.

Привычка подняла его глаза к указателям — своему и кормовому, и он остановился в недоумении. Они расходились: свой держался на 70, а кормовой отошел на 63.

— Ну, загуляли,— сказал Снигирь насмешливо и снял трубку прямого телефона в кормовой пост.— Баев? Не успели наладить, как опять сначала? Куда ты выехал? Курса не меняли, курс семьдесят.

Баев встревоженно заговорил в сторону от трубки, и потом голос Костровцева сказал:

— Я и то смотрю за твоим указателем, ползет. Что у тебя с компасом?

— У меня все в порядке, а что у вас? У семи нянек...

— Погоди,— сказал Костровцев серьезно.— У нас ничего не могло быть, мы тут все время.

— И я все время!

— Проверь режим. Ты вышел из меридиана.

Снигирь хотел обидно отругнуться, но вспомнил мглу на берегах. Обижаться было не время. Корабль шел по его компасу. Финский залив — не океан, и аварии в нем меряются градусами курса.

Он проверил показания приборов. Ничто не указывало на неполадку. Он опять позвонил Баеву.

— Проверь себя. Ты рано считаешь, что пришел в меридиан. Наверное, компас еще ходит.

— Поучи еще,— заметил Костровцев.— Что он тебе — на семь градусов ходить будет? У тебя что-то неладно, а не у нас...

Вопрос был неразрешим. Сказать, какой компас вышел из меридиана, мог только штурман, определив место корабля по береговым предметам и сравнив его с курсом. Но берега не было, над ним висела мгла. Именно по этой причине на больших кораблях ставят не два, а три компаса. Но третий компас был снят — его меняли на новую модель.

В трубку донеслась английская речь Костровцева — очевидно, он советовался с англичанином. Потом он решительно сказал:

— Снигирь, ищи у себя! У нас все в порядке, Хьюдсон то же говорит. Доложи штурману, а мы сейчас к тебе придем.

Напоминание об англичанине взорвало Снигиря. Профессиональная гордость специалиста приобрела неожиданную окраску. Он повесил трубку и рывком взял другую.

— Мостик,— сказал он зло.

Он доложил штурману, что курсу верить нельзя, и добавил, что наверняка врет кормовая матка. Штурман согласился: он не имел причин не верить носовому компасу: за исключением случая с артиллерийским задом он никогда не выходил из меридиана, а кормовая матка постоянно подвирала.

— Сейчас пришлю главстаршину,— сказал он,— разберитесь скорее, кто из вас врет, и приведите в меридиан. Пусть Костровцев это сделает, раз он на корабле.

— Есть,— сказал Снигирь, скосив глаза на компас, и с беспокойствием поглядел на рабочий журнал, лежавший у самого компаса на табуретке.

Журнал лениво потягивался правой страницей и вдруг перелистнул ее без посторонней помощи. Снигирь прыгнул к компасу, присел на корточки и, облизав палец, подставил его к кожуху гироскопа. Палец свеже захолодел. Все стало ясно: врал компас его, Снигиря.

У кожуха была сильная струя сквозняка. Он тянул в открытую дверь штурманского поста к вытяжному вентилятору. Ток воздуха давил на чувствительную систему, прибавляя к рассчитанной конструктором борьбе механических сил внутри гирокомпаса еще одну — непредвиденную.

— Вот же болван, жарко ему! — ругнулся Снигирь в адрес Таратыгина, быстро выключая вентилятор и захлопывая дверь. Однако по справедливости он понимал, что Таратыгин был ни при чем: сквозняк создал он сам, Снигирь, открыв дверь в штурманский пост.

Компас врал по его недосмотру. Это был факт. Но фактом было и то, что англичанин идет сюда с Костровцевым. Сейчас они переглянутся с улыбкой, и Костровцев позвонит штурману, что носовой компас врет и править надо по кормовому. Это значило: профессиональный позор, нарушение договора, насмешки рулевых и подначка штурманских электриков, а над всем этим — презрительная улыбка англичанина.

Потом Костровцев сдвинет брови и осторожно начнет приводить компас в меридиан. Для этого нужно было только подавить пальцем его чувствительную систему — подавить с нужной стороны, с нужной силой и нужное время. Однажды Костровцев это делал, и Снигирь помнил напряженное выражение его лица: компас мог «вывернуться». Он мог запрокинуться в «следящем коль-

це» и начать биться в нем, как сильный свирепый молодой зверь, жужжа высоким воем раненного насмерть животного... Мог заскочить нижний направляющий штифт, и тогда уровни и ртутные баллистические сосуды будут сломаны яростной силой взбесившегося прибора...

Снигирь стоял над компасом, быстро соображая. Ошибка была сделана, и скрыть ее было нельзя. Но можно было исправить последствия этой ошибки. По крайней мере, тогда на презрительный взгляд англичанина можно будет ответить таким же взглядом.

Снигирь вытянул над компасом руки, сощурив глаза и делая пальцами странные движения, будто гипнотизер, усыпляющий больного. Это было репетицией: «правило штопора» вспоминалось не умом, а пальцами.

— Пузырек восточного уровня бежит к пальцу... Так... я давлю сюда, картушка пойдет сюда... Значит — наоборот: я сюда, она сюда...

Все казалось возможным и легким, кроме одного, преодолеть сантиметр воздуха между пальцем и блестящей трубкой уровня. Казалось, стоит его коснуться — и компас мгновенно «вывернется».

Палец застыл у уровня. Он дрожал, как нож в руке молодого хирурга, первый раз делающего разрез живого человеческого тела. Палец не мог преодолеть сантиметр воздуха, пропастью легший между теорией и практикой.

Секунды летели. Гирокомпас угрожающе гудел и лгал: штурману, кораблю и Красному флоту. Англичанин шел к нижнему центральному посту.

Снигирь глубоко вздохнул и, задержав выдох, вдруг приложил палец к уровню.

Уровень был как живой. Он упруго воспротивился и не двинулся с места. Зато картушка побежала вправо — туда, куда она и должна была пойти по правилу штопора. Снигирь тотчас отнял палец.

Это было совершенно замечательно.

Снигирь улыбнулся и стал дышать свободнее. Он пригляделся к курсу и вновь коснулся уровня. Картушка на этот раз чуть перевалила цифру 63. Снигирь коснулся уровня с другой стороны. Победа сделала его наглым. Теперь он добивался точности.

Снигирь выпрямился и тут только заметил, что пот непрерывной струей льет по ребрам, а сердце колотится, как звонковое реле. Сам Костровцев не мог бы выпол-

нить этот смелый и опасный маневр быстрее и аккуратнее. Гирокомпас был побежден Снигирем окончательно.

— Что, взял?.. На-кось выкуси! — сказал он вслух и показал гирокомпасу кукиш. Кукиш, конечно же, относился к англичанину.

— Дурак,— сказал сзади голос Костровцева.

Снигирь обернулся, Костровцев стоял у трапа, а за ним тянулась длинная фигура англичанина.

— Дурак! И вредный притом,— повторил Костровцев. Он был серьезен и не на шутку зол.— Геройствуешь? Чудеса показываешь, да? Грех скрываешь, а о корабле не думаешь? А если б ты компас вывернул?

— Не вывернул бы,— сказал Снигирь, тоже рассердившись.— Я же сообразил сперва, а потом тронул. Не с маху. Мозги тоже есть.

— Не в мозгах дело, а в компасе!.. Ты компас мог разгробить, понимаешь ты, чучело?.. Я десяток лет с компасами вожусь — и то бы задумался.

— А я третий год. Только теперь три года за десять лет идут, товарищ милый. Темпы! — отрезал Снигирь победоносно и взял телефонную трубку.— Мостик дай,— сказал он с торжеством, косясь на Костровцева.— Старшего штурмана попросите, носовая матка... Товарищ командир, носовой компас врал на семь градусов из-за сквозняка... Приведен в меридиан, работает исправно... Нет, я тут один был... Сам и привел...

Потом он замолчал и долго слушал трубку. Лицо его вытягивалось.

— Есть, товарищ командир,— сказал он упавшим голосом и повесил трубку.

Костровцев хитро на него посмотрел.

— Дымится? Кажется, ничего фитилек вставили... смотри, штаны прожжет!

— Да ну, какого там черта...— сказал Снигирь, краснея до слез.

Самолюбие его было уязвлено. Он понял, что геройство его оказалось в уничтожающих кавычках. Ни штурман, ни Красный флот в этом геройстве не нуждались. Оно было вызвано ложным самолюбием, а причиной этого был англичанин.

Он посмотрел на него с открытой ненавистью.

Англичанин, показав длинные зубы, что-то стал говорить Костровцеву, кивнув головой на Снигиря.

— Он говорит, что хороший специалист никогда не будет рисковать без толку,— сказал Костровцев.— Он говорит, что ты должен был подождать нас. Он говорит, что ты молод и немного горяч, а специалист должен быть всегда спокоен.

— Пусть у себя учит,— сказал Снигирь зло.— Здесь не Англия.

— А еще он говорит,— опять стал переводить Костровцев,— что однажды у них на «Корнуэлле»...

— Где? — обернулся Снигирь, точно его ударили.

— На «Корнуэлле», крейсер такой английский, он на нем всю войну плавал...

Снигирь побледнел, и в глаза ему плеснул восемнадцатый год.

Он посмотрел на англичанина. Лицо его казалось теперь знакомым. Не слушая, что продолжает говорить Костровцев, Снигирь вызывал из мучительно-плотного тумана мальчишечьей памяти вечер 13 июля, пятницы, во всех его страшных подробностях.

Он обошел компас и взглянул англичанину прямо в лицо. Оно неприятно дергалось правой щекой. Глаза улыбались.

— Атт, сука...— сказал Снигирь и беспомощно оглянулся.

На трапе показались ноги главстаршины, и Снигирь кинулся к люку.

— Товарищ главстаршина, мне срочно к штурману!.. Подсмените!..

Старшему штурману ужин приносили на мостик. Он кончал суп, придерживая левой рукой бинокль на груди, когда в рубку вошел Снигирь.

Штурманские электрики, попадая на походе на верхнюю палубу, любили подыматься на мостик. Здесь согласно и четко работали указатели, вел свой автоматический дневник курсограф, записывая на разграфленной ленте курс корабля. На особом столе ползал одограф — его карандаш чертил по карте путь корабля, пробираясь между пунктирами отмелей. Именно за ним любили следить хозяева гирокомпасов. Он воплощал собою всю точность электронавигационного дела — маленький прибор, который плывет по карте, в совершенстве копируя движение корабля по воде.

Штурман подвинулся к столу, давая дорогу Снигирю, и, запихивая в рот хлеб, кивнул ему на одограф: любуйся, мол. Но Снигирь остановился у стола.

— Разрешите, товарищ командир, с личным делом?

— Мгм,— сказал штурман, кивая головой: кусок оказался велик.

— Товарищ командир, у нас тут англичанин...

— Точно,— сказал штурман, прожевав, и подцепил на вилку котлету.

— Я видел его в восемнадцатом году в числе матросов крейсера «Корнуэлл», которые расстреляли у нас в поселке русского матроса и двух рыбаков,— сказал Снигирь, бледнея.

Штурман перестал есть и положил вилку.

— Расскажите толком,— сказал он. Скулы его сжались, и на щеках выступили два неподвижных желвака.

Снигирь рассказал.

Тринадцатое июля не закончилось расстрелом карбаса. Англичане высадились в поселок. Они искали тех, кто доплыл до берега. Кроме Федюшки доплыл третий русский матрос. Мокрые штаны Федюшки оказались уликой. Офицер в пиджаке с золотыми кругами на рукавах отодвигался от Федюшкиной матери. Она ползала по полу, хватаясь за длинные остроносые его ботинки. Федюшка сухими глазами смотрел на английских матросов (слезы кончились еще в воде). Тот, что стоял у двери, был высоким и тощим, и щека его неприятно дергалась. Потом они ушли, не тронув Федюшку. Дверь осталась открытой. В нее долетели сухие трески винтовочных выстрелов рядом.

Убитых похоронили на следующий день. Их было трое: русский матрос, Пашкин отец, во дворе которого нашли матроса, и Сережкин дед. Его пристрелили, потому что он ударил английского матроса, тащившего отца Пашки из избы.

— Вы не обознались? — спросил штурман, гася папиросу.— Дело серьезное, товарищ Снигирь...

— Нет,— ответил Снигирь твердо.— Я бы не узнал, если бы Костровцев не сказал, что тот плавал на «Корнуэлле». Лицо я потом вспомнил. Он постарел.

— Ну, пошли,— сказал штурман и открыл дверь.— Яков Яныч! — окликнул он младшего штурмана.— Я сейчас поговорю с командиром и спущусь вниз. Курс шестьдесят девять с половиной, так и идите.

У комиссара Снигирь повторил рассказ полностью. Комиссар собирался бриться. Горячая вода стояла на умывальнике, но ей привелось бесполезно остыть.

— Так. Позовите сюда Костровцева, товарищ Снигирь, и можете пока быть свободны,— сказал комиссар официально и потом кивнул головой: — Молодец, Снигирь! Никогда не забывай про классовую бдительность!

В пост Снигирь вернулся как пьяный. Он не мог уже быть спокойным. Нервы его натянулись.

«Классовая бдительность»,— сказал комиссар. «Шовинизьма»,— говорили ребята. Не все ли равно, откуда родилась эта ненависть? Она принесла плоды, и плоды эти пьянили Снигиря ощущением победы.

Как будет дальше? Он — английский подданный. Англия прикрывает его своим пышным флагом.

Вышлют из Союза... И только? А может, арестуют?

Снигирь уперся взглядом в указатель скорости. Английские буквы на нем издевались. Стрелка покачивалась насмешливо, будто палец перед носом, когда человек говорит: «Ни-ни!» Потом она резко качнулась вправо и заколебалась у цифры 12. Поход кончался.

Перед постановкой на якорь в нижний центральный пост спустился Костровцев. Он посмотрел на Снигиря внимательно и удивленно, точно увидел его в первый раз.

— Ну, как там... с англичанином-то? — спросил Снигирь, будто спокойно.

— А вот станем на якорь, приходи на партсобрание. Открытое. Комиссар сказал, чтоб ты обязательно был,— ответил Костровцев, отводя глаза в сторону.

Кают-компания быстро наполнялась, и Снигирь едва успел занять место в одном кресле с рулевым Владычиным, как вошел комиссар, а за ним англичанин, Костровцев и командир корабля. Они прошли к столу, и собрание открылось.

— Слово для доклада предоставляется политэмигранту товарищу Бэну Хьюдсону,— сказал комиссар и первым хлопнул в ладоши.

Снигирь опешил, но пока трещали аплодисменты, сообразил, что комиссар бьет на эффект: пусть сперва тот поговорит, а потом он предложит Снигирю сорвать с него маску.

— Переводить будет товарищ Костровцев, он в Анг-

лии был, ему и карты в руки,— сказал комиссар, садясь.— Скажи ему, пусть начинает.

Англичанин встал, заметно волнуясь.

— Ко́мредс,— сказал он и быстро произнес длинную фразу.

— Товарищи,— сказал Костровцев, смущаясь и отодвигая пальцем воротник кителя,— прежде всего он просит позволения... передать вам...— Он махнул рукой и быстро закончил: — Одним словом, приветствует Красный Балтийский флот от имени Английской коммунистической партии и все такое прочее...

Командир улыбнулся, и, пока хлопали, он, наклонившись к комиссару, что-то ему сказал, смотря на англичанина. Тот тоже улыбнулся и стал говорить медленнее. Костровцев, запинаясь, переводил:

— Товарищи! В нашем общественном... общем деле освобождения рабочих всего мира большим... как это... препятствием служат национальные переборки...

— Перегородки,— подсказал командир, и англичанин опять улыбнулся, смотря на Костровцева.

— Верно, национальные перегородки... Сейчас я болен... Но тут обо мне он... дело, так сказать, личное.

Командир, окончательно рассмеявшись, встал.

— Товарищи,— сказал он,— маленькая неувязка. Товарищ Хьюдсон сказал дословно следующее: «Вот сейчас я мучаюсь, видя перед собой впервые советских матросов, целый коллектив партийцев-матросов, и не имея возможности говорить с ними на одном языке. Боюсь, что товарищ Костровцев несколько неточно передает вам мои слова. Это тоже одно из проклятий национальных разделений...»

Смех прокатился по собранию, и кто-то крикнул:

— Просим, товарищ командир! Переводите сами!

— Пожалуй, я буду не лучше предыдущего оратора. А впрочем, попробую.

Он повернулся к Хьюдсону и обменялся с ним несколькими фразами.

— Провалил, Костровцев,— сказал комиссар, укоризненно качая головой.— А еще в Лондоне жил...

Костровцев, сконфуженный, но довольный, сел, вытирая платком шею.

— Ко́мредс,— опять начал Хьюдсон, и командир стал рядом с ним.

Он был широк в плечах, спокоен и прост. Тридцать

семь лет несколько отяжелили его, и говорил он, как стоял: плотно, широко и уверенно. Говорить он привык, и говорил хорошо, не задерживаясь на середине фразы и обходясь без неизбежных «так сказать», «значит» и прочих ненужных слов, употребляемых ораторами в качестве уловки, пока мысль не оформится в слово. Он переводил сразу по две-три фразы, останавливая англичанина поднятой рукой.

Следующей мыслью Хьюдсона была оценка Красной Армии и Флота как армии класса, а не нации. Это бесспорно для вас, сказал Хьюдсон, и это с каждым днем укрепляется в сознании разорванного на нации пролетариата.

Англичанин! На этом слове висит проклятье многих наций, сказал Хьюдсон. Оно звучит последней бранью в устах индуса, негра, бушмена.

Англичанин! Англия шлет в колонии самых твердых и жестоких слуг английского капитала. Именем Англии прикрываются его страшные дела.

Англичанин! Это слово туманит ум многих, заливает глаза кровью и зовет к мести.

«Смотрите, как ненавидит нас с вами мир,— говорят нам банкиры и фабриканты.— Нас ненавидят за то, что Англия сильнее всех, что она обеспечивает каждому англичанину благосостояние, за то, что она дает работу вам, английским рабочим, а не немецким. Нас ненавидят как представителей единственной нации, которая сумела утвердить свое место под солнцем. Смотрите, как весь мир хочет уничтожить нас, англичан!»

Так говорили нам, матросам крейсера «Корнуэлл», в 1914 году, когда мы переменили в погребах практические снаряды на боевые. Тогда мы не знали, что мир делится не на нации, а на классы. Я был сперристом. Билли Кросс был рулевым. Это он сказал мне первый об этом. Я рассмеялся — это придумали немцы, чтобы ослабить Англию. Мы топили немецкие подводные лодки. «Там такие же рабочие, как мы,— говорил Билли.— Почему мы их убиваем, ты знаешь?»

«Корнуэлл» метался по всем океанам. Мы обстреливали где-то у Африки остров. На нем была деревня. Билли сказал: «Там такие же крестьяне, как мы».

Война все же надоела. Она закончилась. Мы думали отдохнуть. Но через месяц мы опять приняли боевые снаряды и пошли в Белое море.

«Вот Россия,— сказали нам. Берега были унылы.— Та Россия, которая изменила Англии. Она продалась немцам и бросила нас в самый тяжелый момент войны. Измену она назвала революцией. Мы пришли сюда наказать изменников, из-за которых были убиты лишние тысячи англичан».

Это было понятно. Но Билли вечером сказал:

— Бен, а зачем здесь болтаются траулеры?

— Очевидно, ловить треску,— сказал я.

— Так ведь воды русские?

— Они изменники,— сказал я.

— А мы грабители,— сказал он.

Билли повернул дело иначе.

— В России революция,— сказал он,— власть взяли рабочие и крестьяне. Они не хотят, чтобы их треску ловила английская фирма. Ведь это английская фирма, Бен?

Я задумался. Тогда Билли стал наседать:

— Что бы ты сказал, Бен, если бы французские траулеры пришли в Дорн-Кеп и стали у тебя под носом ловить треску? И если бы французский крейсер отгонял бы тебя от трески снарядами? Твои дети голодали бы, Бен?

Надо сказать, что до службы я был рыбаком.

— «Корнуэлл» здесь не затем,— сказал я,— мы помогаем свергнуть в России власть, которая заключила предательский мир.

— «Корнуэлл» здесь затем, чтобы охранять траулеры рыболовного акционерного общества Ферст,— сказал Билли.— «Корнуэлл» здесь затем, чтобы поддерживать порядок в новой английской колонии, называемой Северной Россией. Эта колония, изобилующая рыбой, нужна Ферсту. Кому же мы служим, Бен: Англии или Ферсту?

Это я увидел своими глазами. Мы были в море. Траулеры ловили треску. Нас подозвали сигналом. Капитану сообщили, что их обстреляло сторожевое судно под красным флагом. Мы дали полный ход и к вечеру увидели его на горизонте. Мы потопили его третьим снарядом. На другой день мы подходили к месту стоянки. Я был свободен от вахты. Наше отделение вызвали наверх и приказали взять винтовки. Мы сели в катер и пошли на берег. Там оказался поселок, не видный с корабля. Это был рыбачий поселок. Сети сушились. Лодки были перевернуты, и смола в пазах днища пахла точно так же, как в Дорн-Кеп.

Лейтенант сказал:

— Надо найти людей с рыбачьей шлюпки, которые доплыли до берега. Они не подчинились сигналу. Вы узнаете их по мокрому платью. Это большевики.

Большевики были те, кто заключил с немцами мир. Их называли предателями. Но Билли рассказал мне о них другое. Я хотел посмотреть, что это за люди. Многое они говорили верно, если правильно рассказывал Билли.

В одном доме мы нашли мальчика. Он был в мокром белье. Лейтенант сказал:

— Бесчеловечно наказывать детей. Оставьте его.

Лейтенант был настоящим англичанином. Англичанин не бьет беззащитных, говорили нам в школе.

Рядом мы нашли мокрого человека между пустыми бочками. Он был в матросской форме. Это был первый большевик, которого я увидел.

— Где хозяин дома? — спросил лейтенант.

Никто его не понял. Большевик стоял и плевался сквозь передние зубы, редко и спокойно. Унтер-офицер позвал меня и прошел в дом. Мы взяли там рыбака. Когда мы повели его на улицу, к нам подбежал старик и ударил унтер-офицера по лицу.

— Большевик! — сказал унтер-офицер и доложил лейтенанту.

Мы поставили большевиков к сараю. Рыбаки провожали нас глазами. Я смотрел на сети. Они были такие же, как в Дорн-Кеп.

Старик умирал тупо. Он так и не понял, что его убили. Рыбак плакал и что-то говорил. Матрос умер превосходно. Он воспользовался несколькими английскими словами, которые знал. Он поднял руку и ткнул себя в грудь.

— Матрос! — сказал он и показал на нас.— Тоже матросы.— Потом показал на рыбака.— Пролетарий! — И опять на нас.— Тоже пролетарий.

Потом повернулся к лейтенанту и сказал:

— Офицер, хозяин, убийца! — и великолепно выругался по-английски. Лейтенант скомандовал:

— К стрельбе!

Мы подняли винтовки. Матрос вскинул голову и плюнул сквозь зубы в сторону лейтенанта.

Мне показалось, что большевик был прав. Рыбак был такой же, каким был я до службы. Билли тоже был прав.

Я опустил винтовку. Лейтенант посмотрел на меня.

— Хьюдсон, не валяйте дурака,— сказал он.— Вы слышали команду?

— Да, сэр,— сказал я.— Я стрелять не буду.

— Огонь,— скомандовал он, и остальные выстрелили.

На корабль меня привели под конвоем. Я получил два года военной тюрьмы. Это была хорошая школа. Мертвый большевик привел меня в партию. Она достала мне чистые документы и послала на завод Сперри. Там делали гирокомпасы и была большая партийная работа.

Когда разгромили Аркос, мы вышли на манифестацию протеста. Нас арестовали. Докопались до моей настоящей фамилии. Меня приговорили к пяти годам и отправили в колонии. Не буду рассказывать, как я бежал на родину. Она оказалась здесь, у вас,— родина угнетенных всего мира.

Сегодня меня узнал тот русский мальчик, который был в мокром платье. Теперь он краснофлотец. Он здесь, среди вас. Мне сказали, что он ненавидит англичан. Мне кажется, он не понимает, кого он должен ненавидеть. Я англичанин. Он обвиняет меня в том, что я расстреливал тогда матроса и рыбаков.

Его глаза ослепляет кровь. За ней он не видит, кто действительно убил его отца и расстрелял тех троих. Эта же кровь промыла мои глаза, и я стал видеть как надо. Если моя жизнь не убедила его в том, что не все англичане — его враги, я прошу его об этом сказать.

— Товарищ Снигирь, имеются ли у вас вопросы к докладчику? — спросил командир, и всем показалось, что он вдруг заговорил по-русски. О нем забыли: хотя переводил он, но все смотрели на Бена, на дергающуюся его щеку и на его английские длинные зубы. Теперь все повернулись к Снигирю.

Снигирь очнулся. Кровавый туман плыл в его глазах. Через него, через 13 июля, пятницу, через рухнувшую стену национальной вражды он крикнул хрипло и взволнованно:

— Нет! Не имею!

1931

Рассказы капитана 2-го ранга В. Л. Кирдяги, слышанные от него во время „Великого сиденья"

НЕОБХОДИМОЕ ПОЯСНЕНИЕ

ти рассказы Василия Лукича записаны мною в весьма своеобразной обстановке.

Летом 193* года мне довелось провести порядочно времени на подводной лодке, бывшей в автономном плаванье. Автономное плаванье — это особый вид боевой тренировки: вам дают полный запас горючего, боеприпасов, питьевой воды и консервов и предлагают возможно дольше продержаться в родном море, позабыв, что оно — родное. За время долгого автономного плаванья лодка должна выполнить ряд боевых заданий — прокрасться в назначенный район, провести блокаду порта, атаковать указанные корабли, скрываться от преследования, форсировать минное заграждение — словом, сделать добрый десяток тех больших и малых дел, которыми приведется ей заняться во время войны. И, как во время войны, все это надо суметь проделать, не пополняя запасов,— то есть так, как это и будет на самом деле в том чужом, враждебном ей море, куда пошлет ее в свое время боевой приказ.

Однажды, в силу сложившейся обстановки, лодка была принуждена временно исчезнуть из надводного мира на некоторый неназываемый, но весьма длительный срок. Нужно было дождаться здесь появления эскадры, но так, чтобы ни малейшего подозрения о присутствии в данном проходе лодки не возникло там, наверху, где светило солнце, всходила в свое время луна

и где, вероятно, дул приятнейший ветерок, которому, по нашему мнению, природа отпустила кислород с безобразной расточительностью. Мы согласились бы и на половину, с одним только условием: чтоб он был не в баллонах, которые приходилось считать и беречь.

Все, что в лодке могло издавать шум, было остановлено, и когда на электрической плитке урчал, закипая, чайник, командир и на него посматривал с укоризной: нас могли обнаружить чуткие уши гидрофонов. Распорядок дня был в корне изменен: из работ и занятий были выбраны лишь те, кои отличались бесшумностью и минимумом телодвижений, и львиная доля суток была отведена на сон, так как, когда подводник спит, он потребляет меньше кислорода и выделяет меньше углекислоты. А в нашем положении для уничтожения ее приходилось обязательно дожидаться прохода над головой какого-либо корабля, чтобы под шум его винтов безбоязненно включить приборы регенерации воздуха. Освещение было безжалостно сокращено — берегли энергию аккумуляторов. Формой одежды со временем пришлось объявить перманентный ноль — одни трусы, ибо в лодке стало препорядочно жарко.

Вот в этой обстановке и возникла особая форма «Тысячи и одной ночи», причем нагрузку Шехерезады добровольно взял на себя Василий Лукич Кирдяга.

Как-то само собой случилось, что однажды в неопределенное время суток (которое наверху могло быть и рассветом, и сумерками, и жарким полднем) в кормовом отсеке раздался взрыв. И хотя он никак не угрожал целости корпуса лодки, ибо это был просто взрыв хохота, командир лодки поспешил к месту происшествия, чтобы строгим внушением прекратить этот демаскирующий шум. Но к моменту своего прихода в кормовой отсек он снова застал там полную тишину и увидел, что подводники, усевшись на койках по пяти человек в ряд, слушают Василия Лукича, рассказывающего очередной суффикс.

Слово «суффикс» имело на лодке разнообразное и глубокое значение. Слово это перекочевало на лодку с общеобразовательных курсов, где тайны родного языка преподавала краснофлотцам сама жена командира. Когда столкнулись с этим термином, решительно у всех учеников заело в понимании странной силы двух-трех букв. Суффикс стал предметом горячих вечерних споров,

и многие признавались, что значительно легче понять процесс зарядки аккумуляторов или причину потопления торпеды, чем разобраться в этих суффиксах, которые переворачивают весь смысл слова и которые надо вдобавок уметь находить где-то в самой корме слова, между корнем и окончанием. Теоретическое исследование всем понятного и родного языка надолго застопорилось, причиняя одинаковые мучения ученикам и преподавательнице, которой дома по вечерам командир строго ставил на вид недостаточную четкость ее определений и неумение разъяснить показом.

Поэтому понятно, что суффиксом стали называться на лодке различные таинственные неполадки в механизмах, требующие для своей расшифровки значительного напряжения мысли, а также и затруднительные эпизоды личной жизни. Суффикс мог случиться и в дизеле, и в антенне, и в торпедном аппарате, и в котле у кока, и при погружении, и во взаимоотношениях со старшиной, с портом, а также с женой или иной подругой жизни.

Василий Лукич был фигурой в своем роде замечательной. Бывший балтийский матрос, которого гражданская война сделала комиссаром, он проплавал на всех возможных типах кораблей, а на склоне лет окончил параллельные классы и перешел в командный состав. Теперь он был капитаном второго ранга и славился как самый зоркий и придирчивый член комиссии по приемке от заводов новых кораблей. Еще в те годы, когда мы вместе служили на линкоре,— где он был помощником комиссара, а я старшим штурманом,— он уже был известен как неутомимый рассказчик, и мы подолгу засиживались в кают-компании, если Василия Лукича удавалось «завести».

На лодку он буквально свалился с неба: незадолго до того «великого сиденья», о котором идет речь, командир лодки получил радио с приказанием принять на поход капитана второго ранга Кирдягу для различных испытаний новых механизмов, и вскоре самолет (единственный, от которого мы не ушли на глубину) сел рядом с лодкой. Доставленный нашей шлюпкой на борт, Василий Лукич, явившись по форме командиру, дополнительно сообщил, что в смысле снабжения его следует рассматривать как пленного, захваченного с потопленного транспорта, и в силу этого выделить ему хотя бы

скудный паек, но что папиросы он предусмотрительно захватил и даже рад будет поделиться. Командир вздохнул, ибо на лодке это был уже второй сверхкомплектный «пленный» (первым был я), но встретил Василия Лукича со всей приветливостью.

За обедом Василий Лукич осведомился, не мешает ли нам плавать «сумасшедший порошок», и после долгого перерыва я вновь с удовольствием выслушал очередной рассказ Василия Лукича.

Оказалось, что в начале кампании Василий Лукич на этой же лодке ходил в море, чтобы испытать на практике присланное на отзыв изобретение, которое якобы давало лодке возможность надежно укрыться в воде от самолетов. Это был порошок ядовитого сине-зеленого цвета, который следовало подсыпать в балластные цистерны. По мысли изобретателя, достаточно было продуть одну такую цистерну, чтобы укрыться на глубине от зоркого взгляда летчика непроницаемой завесой цвета морской воды, но лишенной ее предательской прозрачности.

Порошок с великим уважением засыпали в цистерну номер два. Василий Лукич взбодрился на самолет, лодка нырнула и проделала все, что полагалось в инструкции изобретателя, потом всплыла — и Василий Лукич вылез из самолета в крайнем гневе. Порошок, и точно, окрасил воду вокруг лодки. Но то ли изобретателю никогда не приводилось видеть натурального моря и он доверился изображениям его в живописи, то ли просто он не подогнал колеру и малость перехватил синьки, но с самолета увидели в прозрачной глубине инородное темное яйцо огромных размеров.

Остатки порошка тотчас же выкинули, выкрасив при этом в необыкновенный цвет, на удивление рыбам, препорядочный кусок моря. Василий Лукич отослал с летчиком исчерпывающий отзыв, а неудачный состав прозвали на лодке «сумасшедшим порошком» и долго потом ругали его создателя: лодка никак не могла оправиться от пережитого потрясения и время от времени при погружении выпускала из цистерны номер два тонкий ядовито-зеленый хвост, отнюдь не способствующий маскировке. Чувствуя себя виноватым, Василий Лукич посоветовал навалить в цистерну соды и прополоскать рядом энергичных продуваний, чем добился наконец того, что вода из нее возвращалась почти нормального цвета.

Однако когда через некоторое время Василий Лукич вновь вышел в море на этой лодке уже для других целей, командир, всплыв, вызвал его на мостик и с мрачной укоризной указал на цветистый шлейф, тянувшийся за винтами. Василий Лукич горестно плюнул за борт и тут же пометил в записной книжке — спросить у изобретателя, какую именно чертовщину он намешал в краску, что она дает знать о себе не всегда, а, как показали наблюдения корабельного состава, только перед общефлотским выходным днем.

Влипнув нечаянно в наше «великое сиденье», Василий Лукич нашел для себя порядочно занятий. Всегда веселый и бодрый, он неугомонно лазал по лодке, интересуясь, как ведут себя в этих необычных условиях некоторые полезные в подводном хозяйстве приборы, и одновременно зорко наблюдал за людьми, ибо «великое сиденье» и тут производило свое действие.

Очень жаль, что терпение нельзя принимать в порту вместе с горючим и боеприпасами, так как количество его в человеке все-таки ограничено. Кошке, например, его отпущено во много раз больше: взгляните, как сидит она часами у мышиной норки без движения, почти без дыхания, не сводя зеленоватых своих глаз с заветной щели, откуда, по ее расчетам, когда-нибудь должна выскочить мышь. Ей совершенно неизвестно, когда это произойдет, но она сидит и сидит — сидит как бы равнодушно, небрежно, но в полной готовности к мгновенному точному прыжку. И ведь поди ж ты — обязательно досидится!

Такой же кошкой притаилась на дне некоторого прохода и наша лодка, выжидая того момента, когда можно будет выпустить острые когти торпед и наверняка ухватить препорядочную добычу. Только у нас, как и у всех людей, терпения было гораздо меньше, чем у кошки, и дополнительный запас его приходилось вырабатывать в себе путем значительного напряжения воли. Все в лодке отлично понимали, что при всплытии нам ничто не грозит, что войны никакой нет и что в любой момент мы можем продуть цистерны и вернуться в нормальный мир, где светит солнце, где дышат чистым воздухом и где пресную воду можно пить в любом количестве и даже (как смутно подсказывала память) мыться ею. Но так же отчетливо все в лодке понимали и то, что, всплыв до того события, которого мы здесь выжидали, мы отни-

мем всякий смысл у «великого сиденья» и лишим Родину убедительного доказательства того, что советские подводники скорее дождутся, пока, перержавев, стальной корпус лодки даст течь, чем всплывут, не выполнив задания,— что они не раз и доказали потом в бурных и холодных водах Ботнического залива.

Однако эскадра не появлялась, и сильно затянувшееся выжидание не могло не отразиться на человеческих характерах.

Это «великое сиденье» было ни с чем не сравнимо. Достаточно сказать, что за время его лодка поставила неслыханный рекорд пребывания под водой; время от времени командир решал всплыть в определенный срок, если эскадра не появится, но намеченный срок подходил, держаться под водой оказывалось еще вполне возможно — и всплытие снова откладывалось. Но все же столь длительное вынужденное бездействие начало сказываться на людях.

Кое-кто стал проявлять повышенную раздражительность, доказывая этим, что нервы его слегка подпорчены; шахматный турнир, затеявшийся было между кормовым и носовым отсеками, сорвался на первом же туре из-за какого-то вздорного пустяка, и гроссмейстер — главный старшина-моторист — и «король эфира» (он же главный старшина-радист) перестали разговаривать друг с другом на частные, не касающиеся службы темы. Кое-кто, наоборот, перехватив сна в количестве большем, чем это безопасно для человеческого организма, явно начинал утрачивать остроту рефлексов и в краткие часы бодрствования бродил по лодке, как сонная муха, натыкаясь головой на штоки клапанов и даже не подымая при этом руки к ушибленному лбу. Это уж никуда не годилось, ибо подводник при всех обстоятельствах должен быть в полной собранности душевных и физических сил, чтобы быстро, точно и умно выполнить то, чего потребует от него положение лодки.

Поэтому та освежающая психическая ванна, к которой прибегнул Василий Лукич, пришлась как нельзя более кстати, и командир вполне одобрил его инициативу, предупредив, впрочем, чтобы смеялись аккуратно, без демаскирующего шума и без лишних телодвижений в рассуждении углекислоты.

Я попытался восстановить здесь некоторые из рассказов Василия Лукича. Ввиду того что композиция его

рассказов определялась или темой, которую он избирал для данного разговора, или воспоминаниями о различных суффиксах (времен главным образом зари строительства Красного флота) и потому отличались некоторой хаотичностью — некоторые из его рассказов я выделил в самостоятельные, хотя все они в живом изложении Василия Лукича тесно переплетались друг с другом, представление о чем может дать первая запись — о загадках техники.

Записи свои я показал Василию Лукичу. Узнав, что я собираюсь их публиковать, Василий Лукич встревожился.

— Брось ты это дело,— сказал он зловеще.— Тут же одни суффиксы, и коли по ним судить, мы на флоте только чудили, и больше ничего... Конечно, за двадцать с лишним лет всякое бывало, но не все же в литературу тащить!.. Что-то, брат, не то получается, и я тебе по дружбе говорю: не советую...

Но все же я публикую эти рассказы. Может быть, Василий Лукич в них кое-что и подбавил для красного словца. Но, как он не раз говорил сам, иной кстати рассказанный суффикс так порой ляжет в память, что при какой-либо неполадке в механизме или в человеке может вполне успешно заменить собой учебное пособие, ибо не каждому захочется, чтобы про него пошел потом рассказ по флоту.

ЗАГАДКИ ТЕХНИКИ

Вот лежим мы с вами на грунте тихо, спокойно, и, как говорится, над нами не каплет. Все понимаем, что к чему, и никаких особенных суффиксов не предвидится. А когда проводишь испытание новой лодки, может случиться всякое. В позапрошлом году мы раз на такую глубину провалились, что удивительно, как это корпус выдержал. Вот уж, точно, посматривали на заклепки: не каплет ли над нами... И все вышло, прямо сказать, из-за пустяка. Вот я вам расскажу, вы, наверное, смеяться будете, а нам тогда не до смеху было.

Техника, конечно, великая вещь. Но пока все приборы не проверишь, пока не убедишься в каждом, эта техника иной раз показывает такие свечки, что только руками разведешь: с чего, мол, такие чудеса и какие

принимать меры? И сообразить все надо очень быстро, и очень важно в каждом ненормальном явлении найти вызвавшую его причину, иначе ни о каком накоплении опыта нечего и думать. А обстановка иной раз так и тянет тебя по ложному следу, да если, не дай бог, рядом еще какой догадчик окажется, тогда уж вовсе можно запутаться. А догадчики, знаете, очень большое влияние оказывают своим психическим воздействием, а оно при всякой технической загадке огромную роль играет. Вот у меня был случай, когда я поддался такому психическому воздействию и потерял здравый смысл... И хоть ничего особенного не произошло, но до сих пор краснею, как это я сразу не сообразил, в чем дело.

СУФФИКС ПЕРВЫЙ

Замыкание на корпус

Не помню, в двадцать шестом, что ли, году пошел с нами на линкоре для ознакомления предзавкома шефского завода, монтер по специальности. Отманеврировали мы свое, легли курсом на Лужскую губу, на мостике вахта осталась, а мы с командиром спустились поесть. Вдруг ни с того ни с сего — колокола громкого боя... Все обед побросали, лупят полным ходом на свои боевые места, а звонки всё гудят, да как-то непонятно — ни боевая, ни водяная, ни пожарная, а полная гибель по всем статьям, вплоть до газовой.

Тут у меня под ложечкой засосало: где, думаю, мой предзавкома? Мы его в кормовой штурманской рубке поселили, рядом с боевой. Кинулся я прямо туда, прибежал первым — и точно: стоит он в кормовой боевой рубке, держит возле уха телефонную трубку прямой артиллерийской связи, давит кнопку колоколов громкого боя и еще сердится:

— Алло! Станция! Чего вы заснули?.. Безобразие, а еще военный корабль... Станция!

Прекратил я это занятие, выговаривая ему, а он оправдывается: решил мне по телефону позвонить, скоро ли обед, а артиллерийский телефон, конечно, выключен и сигнала не дает. Так он и дошел своим умом, что надо кнопку рядом подавить. Нашел — и обрадовался... Дал я отбой, а за обедом командир ему так строго говорит:

— Вы, товарищ, на корабле, пожалуйста, ничего не трогайте. Тут у нас такие кнопки есть, что, может, все пушки враз стрелять начнут, понятно?

Ну, тот сконфуженно ответил, что понятно, я перевел разговор на другую тему — все-таки гость! — и замял этот вопрос.

Пришли в губу, стали на якорь, команду до спуска флага на берег отпустили, а мы с ним сидим в каюте и о делах разговариваем. У меня мечта была из него по шефской линии духовой оркестр для линкора выжать. Начали торговаться, а тут смеркаться стало. Я и попроси его — поверните, мол, выключатель, вон рядом с вами на переборке. Он потянулся было, потом руку отдернул.

— Нет,— говорит,— Василий Лукич, я командиру обещал ничего не трогать. Опять не за то возьмусь.

Я ему объясняю, что командир пошутил и что это просто обыкновенный выключатель, он же должен понимать, раз сам монтер. Он головой покачал, потянулся к выключателю, щелкнул — и вдруг как бахнет у нас над головой орудийный выстрел... Он даже побелел.

— Вот видите,— говорит,— я же знал... не дай бог кого убил...

Я, конечно, засмеялся.

— Что вы,— говорю,— дорогой товарищ, как это можно из каюты артиллерийским огнем управлять! Правда, у нас техника, но не до такой же степени. Щелкните еще разок и удостоверьтесь, что это просто случайное совпадение.

— Какое уж там,— говорит,— совпадение! Я же монтер и выключатель чувствую: как я ток включил — аккурат там и бабахнуло. Очевидно, провод где-нибудь на короткую замкнулся, это у вас непорядок.

Ах так, думаю, ты еще квалификацию показываешь и на корабль тень наводишь? Ладно, я тебя накажу...

— Что ж,— говорю,— если вы так в своем выводе уверены, давайте спорить: я еще раз выключатель поверну, и, если ничего не выстрелит, вы мне турецкий барабан и большую трубу к оркестру подкинете.

Встал я с кресла, а он на меня смотрит прямо с ужасом, что выйдет, а меня смех разбирает — вот ведь, думаю, до чего человека напугали, простого выключателя боится. Повернул я выключатель, свет потух, и, конечно, больше никаких последствий не произошло.

— Вы,— говорю,— ставите в связь два совершенно различных явления, и эта дурная взаимосвязь приводит вас к ложному выводу. Выключатели у нас, как и всякие выключатели, зажигают только свет. Что же насчет короткого замыкания, то на корабле такого безобразия никто не допустит. Будьте любезны, пишите в список барабан и трубу.

Ну, раз дело до лишнего барабана дошло, он разгорячился. Смотрит в свои подсчеты (а в каюте, заметьте, опять сумрак, поскольку я свет погасил), в горячке потянулся к настольной лампе и повернул выключатель. И, подумайте, как бахнет опять над головой! Даже на столе зазвенело, а гость мой весь трясется.

— Видите,— говорит,— опять та же история!.. Василий Лукич, вызовите ремонтную бригаду, у вас вся каюта на корпус включилась, смотрите, что происходит...

Ну, я вижу, у него в психике складывается превратное мнение о военном корабле, но объяснить ему такое повторное явление сам затрудняюсь. Конечно, какое-то дурацкое совпадение, но почему бы пушке стрелять? Время к вечеру, учений никаких нет. И чтобы не запутаться в объяснениях, решил узнать, в чем дело.

— Сейчас,— говорю,— выясним. Позвоню на вахту и спрошу, почему стреляют.

Потянулся к звонку, а он меня за руку ухватил, и в глазах прямо мольба:

— Василий Лукич, ну его к святым, этот звонок! Давайте лучше сами выйдем и разузнаем, куда стреляли, может, в соседний корабль попали...

Тут я уж прямо рассердился, откинул его руку и нажал звонок. И что бы вы думали — только я кнопки коснулся, как бахнет пушка и в третий раз!.. Тогда уже я сам оторопел. В чем, думаю, дело? Может, и в самом деле вся каюта на корпус включилась, но почему же именно на орудие действует? Да на корабле вообще одна пушка постоянно заряжена для сигнала «человек за бортом», так та на носовой башне, а стреляет из моей каюты кормовая зенитка...

И, знаете, такое на меня психическое воздействие этот монтер оказал своей ложной взаимосвязью явлений, что я всякое здравое рассуждение потерял, и одно у меня в голове гвоздит: к каким же это проводам моя каюта переключилась, что прямо в замок орудия угадало?

Тут явился на звонок рассыльный с вахты. И, представьте, взглянул я на него — и точно наваждение с меня какое-то сняло: чего же, думаю, я путаюсь? Ведь команда-то у нас на берегу, а время к спуску флага. Вот и дают три отвальные пушки, к шлюпкам идти... Всегда мы в губе это делаем.

Но поскольку рассыльный дожидается и сказать ему что-то надо, я и говорю:

— Передайте на вахту, что так не сигнальные пушки дают, а по уткам стреляют: что это за нерегулярные интервалы между выстрелами?

Вот ведь до чего мне это психическое воздействие голову затуркало! При всякой такой игре природы и техники очень вредно поддаваться чужому авторитету, надо обязательно своей головой думать.

Ну, этот предзавкома, конечно, не авторитет, тут просто получилось наслоение недоразумений, а вот когда столкнешься с верой в чью-то непогрешимую репутацию, тогда можно тысячи догадок перебрать, а настоящей причины петрушки так и не сыщешь.

СУФФИКС ВТОРОЙ
Балтазаровы нули

Вот вышли мы в двадцать втором году из Петрограда на эсминце на пробу машин после зимнего ремонта и в Кронштадте застряли: надо было девиацию компасов уничтожить [1]. А в те времена судовым штурманам этой несложной операции не доверяли — все, мол, молодые, того и гляди вместе с девиацией и самый компас уничтожат — и держали для этой цели в порту специального старичка Балтазара Гансовича. Штурмана на него прямо молились и так его и звали: компасный бог. Съехал за ним штурман на берег, оказывается, у него очередь, как у зубного врача,— начало кампании, каждому лестно поскорей компасы в порядок привести. Штурман поглядел, пациенты все знакомые, вместе классы весной кончали, договорился по-приятельски, кораблей пять в очереди обставил, но все же только на завтра после обеда удалось записаться. А у нас на борту полно рабочих с завода, сердятся: мы, говорят, не нани-

[1] То есть особыми магнитами компенсировать влияние судового железа на компас, уводящее его от меридиана.

мались неделю в море болтаться, будьте любезны идти на пробу согласно контракту.

Я попробовал штурману на самолюбие повлиять.

— Как же,— говорю,— так? Класс кончили, вполне квалифицированный специалист, а зовете дядю с берега... Может, сами рискнете?

— Что вы, товарищ комиссар,— говорит штурман, и в глазах этакий священный трепет,— да меня Балтазар Гансович со свету сживет, если я к компасам притронусь! Это уж его святое дело — девиация. Хорошо, если доверит с путевым побаловаться, и то под своим руководством. Нет уж, вы меня на такое дело не подбивайте...

А Балтазар этот самый за уничтожение девиации сдельно от порта получал, поштучно с компаса, и хотел было я штурману рассказать, как в деревне один чудак цельную зиму кормился — по всем избам на граммофоне играл, пока кто-то не догадался сам ручку завести, когда тот заснул. Но вижу — примет мой штурман эту притчу за святотатство, и смолчал.

Ну, привез он к обеду Балтазара с его чемоданчиком, погонял нас тот по рейду, поколдовал с компасами, потом удалился к штурману в каюту, потребовал чаю и побольше сахару и через полчаса выложил нам таблицы девиации на все три компаса, аккуратно так выписанные, на специальных бланочках, чернилами — и на любом курсе все нули или четвертушки градуса. Словом, изничтожил девиацию целиком и полностью, как это компасному богу и положено, и смылся на очередной визит. Штурман Балтазаровы нулики, как икону, в рамочку — и поплыли, благословясь.

Вышли с рейда, легли на Кронштадтский створ, начали ход прибавлять, а я смотрю назад, на створ,— за кормой маяки все время разъезжаются. Я командиру намек — что это, мол, мы все со створа сползаем?

— Я и то удивляюсь,— говорит командир,— уводит нас курс вправо. Наверное, штурман с поправками запутался, минус за плюс принял. Молодой еще. Пойду сам проверю.

Проверил — нет, все в порядке, а маяки никак створиться не желают. А рядом, заметьте, мины, их еще тогда не вытравили, да тут еще меха́нички обрадовались, завернули на пробу самый полный: летит эсминец птицей, и каждый градус курса может боком выйти — того

и гляди, с фарватера выскочишь. А у штурмана политико-моральное состояние вовсе исчезло: стоит у карты весь мокрый и все с Балтазаровыми нулями мучается — в уме их складывает, и карандашом и чертежом, а курс у него со створом никак не сходится. Тогда я командиру опять намек — немыслимо, мол, таким ходом лупить, когда курс не заладился, этак и взорваться недолго, мины-то — вон они. Надо, мол, что-то придумать. Он и говорит штурману:

— Плюньте вы на путевой компас, вы, наверное, с ним чего-то намудрили, зря это вас Балтазар Гансович помогать допустил. Ложитесь на курс по главному, на нем он сам уничтожал, вернее будет.

Сбавили мы ход, и счастливо. Потому что залез наш штурман к главному компасу, сверился с ним и командует рулевому:

— Еще вправо девять градусов по компасу!

Покатился эсминец вправо, а у меня в глазах круги пошли: этим курсом мы через десять минут мины целовать начнем!.. Пришлось и на главный компас плюнуть. Повернули мы обратно, благо створ еще виден, и давай по створу взад-назад ходить, машины испытывать.

А командир со штурманом все вокруг компасов бьются и догадываются, почему девиация с Балтазаровыми нуликами не сходится. Все случаи в памяти перебрали: и как электрик у компаса отвертку забыл, и как на каком-то эсминце магниты слабо закрепили и они от хода поползли вниз, и как в шестнадцатом году в Черном море особая девиация появилась, связанная с солнечным светом: днем компас как компас, а свечереет — начинает год рождения бабушки показывать, потому что рядом с ним, не подумав, электропроводку протянули. Для верности и у нас осмотрелись: проверили, как магниты стоят, и отвертку поискали, и пробки вывинтили, чтоб на мостике току не было — нет, врут компасы попрежнему.

Тогда командир говорит штурману:

— Знаете что, отойдите-ка вы от компаса: у вас полный рот золотых зубов, может, они просто позолочены, а внутри сталь.

А у штурмана и точно — семнадцать зубов за счет республики вставлены, поскольку он их в гражданской войне в цинге порастерял. Штурман даже обиделся, но от компаса отошел. А тот все погоду показывает.

Тогда новая версия у них возникла: может быть, корабль машинами растрясло и у него магнитное состояние в корне изменилось — как то бывает после артиллерийской стрельбы,— и теперь вся девиация насмарку, и придется снова Балтазара приглашать. А когда они в своих догадках добрались до земного магнетизма,— мол, может, за зиму склонение в Финском заливе переменило свой знак? — я уж не утерпел.

— Оставьте вы,— говорю,— земной шар в покое, с чего это старик такими делами заниматься будет? Не проще ли,— говорю,— предположить, что Балтазар у нас что-нибудь начудил? Уж больно быстро он с компасами справился...

Боже ж ты мой, что тут поднялось! Штурман только руками развел, а командир минут на десять завелся: как, мол, так — начудил? Кто? Балтазар Гансович? Да это ж признанный авторитет, да он...— и пошел и пошел. Я только рукой махнул, понял, что посягнул на репутацию, а репутация не маленькая — сам компасный бог... Вижу, мне их не сагитировать, ну, думаю, ладно: слава богу, по створу утюжим, маяки-то на глазах, дело верное, а в гавани разберемся.

И разобрались. Оказывается, Балтазар Гансович у нас девиацию не по нашим данным вычислял, а по данным того миноносца, которого он первым в то утро отгрохал: спутался старичок в спешке — и то сказать, он за день-то со своим чемоданчиком кораблей пять-шесть посетит, не мудрено и запариться.

Впрочем, этот эпизод зари Красного флота обернулся в прямую пользу для роста кадров: у штурмана нашего с этого дела в психологии сдвиг произошел. Пришел он ко мне с этой новостью, от злости и от стыда весь в пятнах, и просит:

— Уговорите вы, товарищ комиссар, командира, пусть разрешит мне самому девиацию уничтожить. Мои компасы, мне и отвечать. Не боги,— говорит,— горшки обжигают, зря меня, что ли, учили?

— Что ж,— отвечаю,— дело хорошее, уговорю. Только насчет горшков и другая пословица есть: рассердилась баба на старика и все горшки побила. Вы,— говорю,— сперва стравите несколько атмосфер, успокойтесь, тогда и побеседуем...

Ну, присмотрелся к нему, вижу, как будто парень твердый: поговорил с командиром, и вышел наш эсминец

на девиацию без Балтазара. И что же — хоть штурман Балтазаровых нуликов не достиг, но с его таблицей мы исправно до самых стрельб плавали, а там уже у него аккуратнее вышло. И пошла о нем по флоту слава, как о Колумбе каком, и глядя на нас, и другие командиры своих штурманов к их прямому делу допустили, и скоро на тех, кто Балтазара на корабль позовет, на флоте пальцем показывать стали.

Но эти все занятные суффиксы я рассказывал кстати, раз уж мы коснулись таинственных капризов техники. Эта тема, знаете, такая, что ее чуть тронь — и стопу не будет! Как у того буксира Кронштадтского порта, у которого внезапно стопорный клапан отказал, не слыхали?

Была у нас такая древняя постройка,— черт его знает какого года и завода! — на нем, наверное, еще петровской эскадре солонину доставляли. Подходил он раз к стенке, дал полный назад, чтобы не стукнуться — и так и пошел писать круги по Средней гавани: нет стопа, и всё тут! Тарахтит в нем эта его мясорубка, к кулисе заднего хода и не подступиться, а пар перекрыть нечем. Мы ему со стенки кричим: «Бросай якорь!», а шкипер весь в мыле и руками машет — на стенке якорь, красится! — и только штурвалом орудует, чтобы кого из кораблей не стукнуть. Потом, однако, приловчился, установил посередине гавани постоянную циркуляцию — и отдыхает, а буксир задним ходом по часовой стрелке крутится, как земной шар. Думали пристрелить эту посуду, да потом подсчитали, что угля до вечера только хватит, и оставили крутиться: циркулируй, мол, раз у тебя в машине такой недосмотр!..

Но, впрочем, я опять отвлекся, а по лодке вроде кофейком запахло, пора рассказать то, что обещался.

СУФФИКС ТРЕТИЙ

В объятиях спрута

В позапрошлом году принимали мы новую лодку, ну такую игрушечку, что комиссии, собственно, только птички в акте ставить. Провели надводные испытания, погрузились, начали подводные. Ну, тут, сами знаете, дело серьезное. Хоть и красавица, хоть и нашей постройки, а все же состояние напряженное. За каждой мелочью — глаз да глаз: мало ли что она по молодости может выкинуть! Ну, все идет ходошо, лодка ведет себя

вполне нормально, все сдает на «отлично», и остались самые пустяки.

Начали мы отрабатывать срочное погружение. Ныряли, ныряли, даже ноги притомились,— шутка ли в наших годах вверх-вниз по трапу мотаться! А Федор Акимыч — почтенный такой член комиссии, пожилой инженер,— предвидя это, выбрал себе наблюдение за кое-каким новым прибором в боевой рубке. Так там и оставался на погружении, только посмеивается, как мы мимо него в центральный пост и наверх носимся. Вот опять посыпались мы мимо него с мостика вниз, командир последним, люк за собой в рубку, как полагается, задраил, и пошли опять на глубину.

Стоим с часами, смотрим на глубомер, ждем, когда он сорок метров покажет. А боцман, надо сказать, на той лодке был прямо артист своего дела: на глубину не идет, а пикирует, как истребитель,— задерет корму на весь пузырек и чешет вниз, стрелка глубомера так и бежит. Вижу, подходит он к заданной глубине, выровнял лодку,— а стрелка все ползет: сорок метров, сорок пять... Он уже рули на всплытие переложил, а глубомер к пятидесяти подходит. Тут командир ему ходом помог, дал валам полные обороты, рули забрали, корма села,— должна бы лодка кверху пойти,— а глубомер к шестидесяти ползет.

Так, думаю, все нормально: в пресную воду попали. В Черном море ведь не как в Балтике: бывает, что удифферентуешься в точности, лодка сама заданную глубину держит, так что и рулей трогать не надо,— и вдруг ни с того ни с сего как ахнет вниз, будто в яму. Только поспевай продуваться, а то до самого грунта падать будешь. А там, знаете, грунт-то порой за полтора километра лежит. Пока дойдешь, того гляди, и раздавит... Очень неприятное занятие.

Притихли все в центральном посту, я на командира посматриваю. Мешать ему и лезть со своими советами никто, конечно, себе не позволит, но, чувствую, пора бы ему на рули плюнуть и продуть среднюю,— валимся мы куда-то к черту в зубы, а грунт-то здесь далековато...

Однако у него еще хватило выдержки рулями попробовать удержаться — и правильно: продуть цистерны недолго, но тогда выскочишь наверх, как чертик из шкатулки,— неаккуратно, и можно какой-нибудь кораблик нечаянно в дно стукнуть...

Только с рулями у него тоже ничего не вышло.

Застопорил он моторы, чтобы, если на грунт кинет, винтов не обломать, приказал продуть среднюю. Ждет, на глубомер смотрит. И мы смотрим. А глубомер все вниз ползет, и довольно быстро. И чувствую, у командира в голове все его подводное хозяйство ворошится — соображает, что к чему, и, как все мы, не может концов найти. Такие минуты очень надолго запоминаются: все надо мыслью окинуть, сотни причин перебрать и к решению прийти. Потом на бережку вспомнишь и весь вспотеешь, а здесь потеть некогда — решать надо.

Дал он глубомеру дойти до восьмидесяти метров — да как начал продуваться всеми цистернами, только зашумело кругом, и трюмные едва успевают команды выполнять. Вот, думаю, и правильно: хочет лодке толчок посильнее дать,— ее ведь, как коня, уздой надо кверху поддернуть, когда споткнется. Смотрю на глубомер,— ага, вижу, почувствовал! Замерла стрелка, дрожит на восьмидесяти, вот-вот вверх ринется,— при таком продувании мы пробкой должны наверх взлететь, ей только поспевай за лодкой!

Слышу, продувание к концу подходит, а стрелка все у восьмидесяти подрагивает. Непонятно.

Докладывают: все цистерны продуты,— а стрелка как рванется вниз, дошла до ограничителя: уперлась в него и даже выгнулась, будто еще большую глубину показать хочет... А куда уж дальше — все допустимые нормы мы перекатили, на такую глубину попали, что только и посматривай, как корпус — не потек ли? А нас этак встряхнуло, качнуло, поставило на ровный киль, а лодка замерла. И глубомер замер.

Переглянулись. Вот это, думаем, штука. Что за притча — все цистерны продуты, а мы на грунте припухаем, да еще на такой немыслимой глубине?

Приказал командир в отсеках осмотреться, не текут ли заклепки. И то сказать, над нами такой слой воды, что думать о нем не хочется, даже будто он на грудь давит. Отошел я к одному члену комиссии, опытному очень подводнику, и мы тихонько, чтоб командира своими догадками не путать, обмениваемся мнениями. Может быть, у нас клапана пропускать начали, и как воздух в цистерны прикроют, так опять туда водяной балласт набирается? А при такой плотности воды много ли в цистерны принять надо, чтобы затонуть? Однако слышим,

командиру докладывают, что все цистерны сухие. Видимо, и ему эта догадка в голову пришла — приказал проверить.

Что же это, думаем, за петрушка, и долго ли мы тут ночевать будем?

Вдруг этот член комиссии призадумался, наклонился ко мне и тихонько говорит:

— Василий Лукич, а ведь может быть порядочная неприятность. Подумайте: лодка совсем пустая, а ее на грунте что-то держит... Знаете, что может держать?

Ну, я ему для подбодрения духа говорю:

— Знаю. Гигантский спрут, обитатель неведомых глубин. Ухватил нас щупальцами и в данный момент рассматривает: сейчас нас схарчить или на черный день оставить? Я это где-то читал, вполне реальный случай.

— Вы,— говорит,— Василий Лукич, все шутите. Спрут не спрут, а помните, как я под скалу угадал?

Как он сказал мне это, у меня гайки отдаваться начали: это тебе не роман, а святая действительность... Прилег он как-то на грунт на лодке переночевать, а его полегоньку течением за ночь и подпихнуло под нависшую скалу. Так и заползла туда лодка, как кошка под диван. Утром начал всплывать, а скала его и придерживает. Вдосталь намучился, на палубе кой-чего ободрал об этот потолок. Но у него это хоть на человеческой глубине получилось, а если мы в такую историю влипли, когда у нас глубомер собрался ограничитель ломать, то, пожалуй, пока выберемся, все швы разойдутся, и начнем мы принимать соленую воду в желудки...

Пораскинул я, однако, мозгами — нет, думаю, не может того быть: какая же скала, когда, по толчку судя, мы на пушистый ил улеглись, уж очень толчок был аккуратный, а в иле какие же скалы?

И опять загадка эта встала передо мной во весь свой неприятный рост. Рассматриваю глубомер — никогда еще такой петрушки не видел: гнется стрелка на ограничителе, и все тут. На какой же, думаю, мы глубине, что ее так давит? Вот нечаянно и доказали, что лодка любую глубину выдержит: прямо удивительно, как корпус цел, а в рубке, наверное, уже иллюминаторы выдавило.

И как вспомнил я про рубку, прямо жаром меня обдало: там же Федор Акимыч наш запертый сидит! Я к командиру подошел и ему негромко сообщаю свои опасения. Он даже в лице изменился. Сразу было

к люку пошел, но я его удержал. Все равно, говорю, если стекла там раздавило, его вытаскивать поздно, а нам потом люка не закрыть будет. Справьтесь, говорю, сперва по переговорной трубе, отзовется — тогда люк откроем.

Вывинчивает он пробку, я смотрю со страхом: пойдет из трубы вода или нет? Нет, не идет. Ну, думаю, вовремя я о старике вспомнил. Командир его окликнул. «Вы,— говорит,— не беспокойтесь, мы сейчас люк откроем и вас в лодку заберем». А из трубы спокойный такой голос:

— Давно пора, я и то удивляюсь, минут пять уж как всплыли, а вы чего-то ждете.

Мы так и ахнули. Как так всплыли? Кинулись к перископу — и точно: солнышко на полный ход светит, штилевая вода кругом, и чайки летают.

Командир постучал пальцем по глубомеру, повернулся к нам и говорит:

— Прошу членов комиссии установить причину такого неслыханного безобразия: почему глубомер врал в таких масштабах? Я,— говорит,— и акта не подпишу, пока не доищетесь, и люка не открою, и обедать вам не дам.

Повернулся и ушел к себе в каюту совершенно обозленный. И правда, из-за такой ерунды досталось ему пережить немало.

Ну, пришла наша очередь попотеть. Бились, бились, потом доискались: оказалось, один из рабочих перед последним погружением решил проверить краник продувания глубомера — и не прикрыл его как надо. Вот и начал воздух в глубомер просачиваться и свою поправку на глубину вводить. Надул его, как воздушный шар, хорошо еще, что ограничитель выдержал, а то провалились бы мы до центра земли и так бы там лежали и думали: чего это нас держит?

ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ

Начальника штаба красной стороны чрезвычайно интересовала банка Чертова Плешь: на весь ход маневров она могла повлиять решающим образом.

Была осень 1922 года. Финский залив едва начал освобождаться от мин, которыми его исправно заваливали шесть лет подряд и наши и вражеские заградители. По сторонам только что протраленных фарватеров пока-

чивались в мутной воде мины — чей почтенный возраст никак не отразился, однако, на их способности взрываться,— и корабли могли ходить лишь по узким коридорам, как трамваи по рельсам: ни вправо, ни влево от осевой линии вех. Чертова Плешь находилась как раз на углу «Большой Лужской» (как в просторечье именовался один из фарватеров) и «Копорского переулка», что вел к месту вероятной высадки десанта синей стороны.

Следовательно, здесь, где неминуемо пойдут синие корабли, и надо было выставить заграждение, то есть скрытно послать к Чертовой Плеши какой-нибудь корабль, погрузив на него вместо мин посредника. Посредник должен был убедиться, что корабль поутюжил воду именно в том месте, где было нарисовано на карте условное заграждение, и дать об этом радио посреднику синей стороны, чтобы тот при проходе Чертовой Плеши поздравил командира десантного отряда с этой приятной неожиданностью и подсчитал, какие его корабли условно взорвались на этих условных минах.

— Все это хорошо, но кого послать? — в раздумье сказал командующий красной стороной, когда его начальник штаба доложил ему этот план.— Миноносцев у нас и для дозора едва хватит... Если тральщик... так у них такой ход, что его за сутки высылать надо, а синие еще в гавани... Увидят — догадаются... Тут надо что-нибудь такое...— И командующий повертел пальцами, показывая, что́ именно надо.

— Я именно об этом и думал,— ответил начальник штаба.— Разрешите просить штаб руководства включить в состав красной стороны «Сахар».

— «Сахар»?.. Какой «Сахар», из гробов, что ли? Это же и есть тральщик...

— Бывший тральщик,— сказал начальник штаба, гордясь своей выдумкой.— Он теперь в порту, посыльным судном... Выйдет из гавани потихоньку, будто с провизией на маяки, никому и в голову не придет, что на нем мины. Они же условные...

— Ну, «Сахар» так «Сахар»,— решил командующий.— Разработайте план и дайте ему все документы.

Так забытый богом и людьми корабль был втянут в большую игру маневров, и его командир Ян Янович Пийчик, которого война сделала из шкипера прапорщиком по адмиралтейству, а революция, отняв этот малозначительный чин, оставила на «Сахаре» командиром,

предстал перед начальником штаба красной стороны. Впрочем, обнаружив за этим пышным титулом того самого Андрея Андреевича, который все прошлое лето плавал на «Сахаре» дивизионным штурманом, Пийчик несколько успокоился.

— Операция должна быть неожиданной... сто один, сто два,— закончил Андрей Андреевич и вновь послюнил палец.— Надеюсь, Ян Яныч, вы примете меры... сто пять... чтобы никто не догадывался о цели похода... Сто десять листов плана операции и четыре кальки заграждения. Распишитесь.

Пийчик с тоской посмотрел на увесистый результат оперативной мысли штаба.

— Андрей-дреич,— сказал он с внезапной решимостью,— я лучше не возьму. Дайте только кальку, куда там мины кидать. Прочесть все равно не поспею, а у вас сохраннее будет...

— Нет уж, берите, Ян Яныч, зря, что ли, люди две ночи писали,— сказал Андрей Андреевич, пододвигая расписку.

— Так куда мне, извините, «Исторический и гидрологический обзор банки Чертова Плешь»? А он сорок страниц тянет...

— Попрошу вас, товарищ командир, воздержаться от неуместной критики штаба,— официально сказал штурман и добавил своим голосом: — Да расписывайтесь, Ян Яныч, и валитесь на корабль. Через час сниматься надо, а то до рассвета не дотилипаете. Машины готовы?

— Готовы,— печально сказал Пийчик.— Ну, давайте... только вряд ли читать буду...

Он поставил принципиальную кляксу протеста на закорючке над «и» и взял фуражку.

— Да, постойте! У вас, я помню, в надстройке две лишние каюты были?

— Андрей-дреич! — Пийчик вытянул вперед руки, отвращая неотвратимое.

— Вот вторую и приготовьте для кинорежиссера. Таковому не препятствовать наблюдать боевые действия.

Пийчик собрался ответить, но, прочитав во взгляде начальника железную решимость, покорно завернул все сто десять листов и четыре кальки в газету и вышел на палубу, полный мрачных предчувствий.

Придерживая локтем роковой сверток, Пийчик осторожно спустился в неверную зыбкость парусинки, изоб-

ражающей собой его капитанский вельбот. Сидевший в ней старшина-рулевой Тюкин, который никому не уступал права возить Ян Яныча, оживился и бодро ударил веслами, отчего утлая ладья заскрипела и отчаянно завертелась на месте, ибо, по малости водоизмещения, руля на ней не полагалось. Глядя на это мотанье вправо и влево, Пийчик с тоской вспомнил про ожидающие его зигзаги и курсовые углы — маневры малопонятные, но утомительные — и, опустив голову, тяжко вздохнул. Парусники качнулись.

— Ян Яныч, вы дышите поаккуратнее,— сердито сказал Тюкин, восстанавливая равновесие.— Этак и перекинуться недолго.

— Тяжело мне на сердце, товарищ Тюкин,— сказал Пийчик,— не жизнь, а компот. Слава богу, все войны покончили... Так нет — опять развоевались, маневры придумали... Ну, большие корабли — им и карты в руки, а мы — какие ж мы вояки? Провизию возить — это точно, приучены. А тут на-кося — локсодромии-мордодромии...

Последнее слово Пийчик выдумал тут же из отвращения к странным и ненужным вещам, которые ему вздумало навязывать начальство на десятом году безмятежного плаванья на буксирах, транспортах и тральщиках. Весной его вызывали в Петроград на курсы переподготовки командного состава, отчего у Пийчика целый месяц стоял в голове непрерывный гул.

За огромным телом линейного корабля показался «Сахар», притулившийся к угольной стенке. Пийчик окинул его взором и, расценив вверенный ему корабль с новой точки зрения, опять вздохнул, на этот раз осторожнее.

— Дожили,— сказал он огорченно,— пожалуйте воевать на таком комоде...

«Сахар», и точно, напоминал комод или, вернее,— коробку из-под гильз. Ни носа, ни кормы не наблюдалось: были взамен их четырехугольные окончания, впрочем, спереди несколько завостренные к тому месту, где у порядочного корабля бывает форштевень. Дымовая труба, тонкая и длинная, торчала, как воткнутая в коробку шутником гильзовая машинка между двумя палочками от той же машинки — мачтами. Пегий фальшборт совершенной бандеролью опоясывал все сооружение.

Такая странная конструкция была выдумана во время империалистической войны для траления Рижского залива из соображений минимальной осадки. Кто-то получил немалые деньги, кого-то собирались отдать под суд, но так и не отдали — по забывчивости или, может быть, по причине военной тайны. Однако шестнадцать таких построек, стяжав себе наименование «гробов», всю войну самоотверженно вылавливали мины, пока одни не взорвались, другие не утонули самостоятельно на слишком крупной для них волне или не развалились и пока не осталось в строю гробов разных — один, под названием «Сахар».

Название это обусловливалось обилием выстроенных тральщиков и скудостью предметов минно-трального обихода. Комиссия крестных отцов Морского генерального штаба, перебрав «Ударники», «Минрепы», «Тралы», «Капсюли», «Грузы» и даже «Вешки» и «Взрывы», над шестнадцатым крестником призадумалась. Но, по чистой случайности, адмирал Шалтаев-Аккерманский, беседуя вполголоса с другим членом комиссии, довольно явственно произнес слово «сахар», относя его, впрочем, к отложению в почках. Однако слово это было понято как предложенное название, и, подумав, комиссия решила, что поскольку в мины заграждения вставляется сахар, то слово это, кроме адмиральского недуга, может иметь еще и военное значение специально трального уклона, а следовательно, и поднять дух экипажа нового корабля. А потому циркуляром Главного морского штаба за номером...

— Куда! Ну куда его несет!..— вскричал Пийчик, угрожая секретным свертком и опуская свободную ладонь в воду, дабы, орудуя ею взамен руля, отвернуть от гудящего катера, вылетевшего из-за кормы линейного корабля. Катер, пронзительно вскрикнув сиреной, забурлил винтом и, дав полный назад, остановился в двух метрах от парусинки. Над кареткой показался ослепительный чехол фуражки и затем недовольное лицо с начальственной складкой губ. Лицо скользнуло взглядом по обдерганной и залатанной парусинке и остановило холодный взор на растерянной улыбке Пийчика.

— Не улыбаться вам, товарищ командир, а плакать надо,— сказало лицо.— Если вы со шлюпкой управиться не можете, что же вы будете делать с кораблем, если такой будет доверен вам в командование? Стыдитесь.

Из каретки высунулась голова в круглых очках и щуплое тельце в клетчатой ковбойке.

— Что это было? Как называется? — спросила голова.

— Вовремя предотвращенная авария. Полный ход! — сказало лицо и махнуло рукой старшине, показав при этом левый рукав, где над четырьмя красными нашивками блестел вышитый золотом якорь, свидетельствующий, что владелец рукава проходит курс наук в Военно-морской академии. Увидев эту эмблему, навсегда связанную в его памяти с курсами переподготовки, Пийчик неожиданно для самого себя привстал на шлюпке, дойдя, очевидно, до точки.

— Вы бы лучше своего старшину обучили, как корабли обходить! — вскрикнул он, обличительно указуя секретным свертком на корму линкора.— По солнцу, товарищ академик, по солнцу у нас на флоте ходят! Конечно, в академии таким мелочам не учат, это вам не локсодромии-мордодромии... Весла на воду!

Парусинка скрипнула, катер забурлил, и оба плавучих средства разошлись, унося в разные стороны одинаковое взаимное неудовольствие своих пассажиров.

Неприятности продолжились сразу же, как Пийчик вошел на корабль. Артельщик, выслушав основное приказание — включить двух гостей на порцию, и дополнительное — чтобы суп был что надо,— хмуро доложил, что дал бы бог своих прокормить, так как подводу забрал один из эсминцев, и провизия не доставлена, и что он вообще просит его от этой собачьей должности освободить. Помощник Пийчика Гужевой (он же штурман, он же бессменный вахтенный начальник) сообщил, что курить нечего, и радиовахту вести будет затруднительно, ибо старшина-радист застрял в Петрограде с товаром для судовой лавочки, а одному радисту ловить разные волны невозможно. Выслушивая его, Пийчик складывал вчетверо план операции и, с трудом запихнув его в секретную шкатулку, решительно произнес:

— Без табаку — паршиво. А радист пусть пострадает. Все страдать будем, что же он — святой?

Гужевой почесал живот и вздохнул.

— Я вот, Ян Яныч, насчет кают опасаюсь: писаря и баталера выселить недолго, но последствия с одной приборки никак не уничтожишь.

Пийчик собрался выругаться, но в светлом люке показалось испуганное лицо вахтенного.

— Ян Яныч! К нам катер штабной идет!

— Ну, началось, господи благослови, чертова кукла,— сказал Пийчик и двинулся к трапу.— Да приучи ты их, горлопанов, с докладами вниз спускаться — не на барже живем!

— Так оно же скорее — в люк крикнуть,— удивился Гужевой и полез по трапу вслед за командиром.

К борту уже подходил катер. Боцман, раскорякой нагнувшись в кубрик, длительно переругивался с кем-то насчет штормтрапа. Подтягивая синие рабочие штаны, Гужевой, надув яблоками щеки, пронзительно засвистел в свисток, отчего вся свободная команда, вместо того чтобы стать «смирно», побежала на корму — смотреть, кто приехал. Из каретки катера показался ослепительный чехол фуражки и недовольное лицо с начальственной складкой губ, а с другого борта высунулась голова в очках и щуплое тельце в клетчатой ковбойке. Пийчик обмер.

— Что это было? Как называется? — спросила голова.

— Сигнал «захождение», отдание почестей,— снисходительно пояснило лицо.— Сейчас нас встретит вахтенный начальник и будет рапортовать.

Однако, так как штормтрапа не нашли вовсе, то приезжающих пришлось выгружать вручную, отчего весь ритуал встречи был нарушен. Будучи поставлено на палубе на обе ноги, лицо осмотрелось вокруг и обратилось к Гужевому:

— Я назначен к вам посредником и хотел бы видеть командира корабля.

Пийчик проглотил слюну, одернул китель и, споткнувшись о приезжий чемодан, вышел вперед.

— А... это вы? — сказал посредник и, сухо поздоровавшись, проследовал в приготовленную ему каюту.

Ветер дул прямо в корму и был сырым и плотным. Сырой и плотной была и окружавшая «Сахар» темнота, в которой он скрипел и вздрагивал, выполняя предначертания штаба. Пийчик сидел на жестком диване в походной рубке и, слушая тарахтение рулевой машинки, думал свою невеселую думу.

Он только что вернулся из каюты, где посредник битый час добивался от него, какие он предпримет действия, если у Чертовой Плеши окажется противник. Пийчик потел и моргал глазами, и кончился разговор неприятностью. Посредник сообщил, что, кроме оперативной оценки, он вынужден будет доложить по начальству и об общем состоянии посыльного судна: и что кормят черт знает чем, и что рулевые стоят на штурвале в каких-то залатанных кацавейках, и что радио не смогли передать в течение часа, и что кинорежиссер был введен в заблуждение насчет нравственности, будучи вселен в каюту, где переборки намертво заклеены голыми открытками. Выслушивая неприятное, Пийчик относил все это на счет неудачного своего поведения при встрече с катером. Наконец посредник отпустил его, попросив разбудить, когда «Сахар» придет на траверз Бабушкина маяка (где следовало ворочать на Чертову Плешь), дабы, придя на мостик, оценить его, Пийчикову, способность воевать.

Все это перебирал в памяти Пийчик, рассматривая спину рулевого: тот, и точно, был одет черт знает во что. Кинорежиссер, распространяя запах резинового макинтоша и хорошего табака, шуршал рядом записной книжкой, ибо его жажда впечатлений равнялась Пийчиковой жажде курить. Гужевой — на этот раз в роли штурмана — шагал циркулем по карте, освещенной обернутой в синюю бумагу переносной лампой (что вполне заменяло боевое освещение).

— Сволочи,— сказал он вдруг и встряхнул часы.— Ян Яныч, они все останавливаются. Я этак с прокладки собьюсь.

— Скажи, чтоб из радиорубки принесли, обойдутся и без часов, а то заплывем куда-либо,— сказал Пийчик.

— Нету там. Они без стекла были, я их в ремонт сдал.

— Ну и дурак,— отозвался Пийчик.— Что ж, что без стекла? Зато ходили... А теперь как? Всегда от тебя неприятность.

— Возьмите мои,— встрепенулся кинорежиссер и снял с руки золотой браслет.— Часы прекрасные, и я буду очень рад.

Пийчик посмотрел на него сбоку.

— Давайте.— И, подумав, добавил: — У вас, может, и папиросы есть?

Папиросы нашлись, и их теплый дым растопил ледок отношений. Кинорежиссер осмелел.

— Скажите, капитан, отчего мы все время виляем? Это маневрирование? Как это называется?

«Сахар» действительно рыскал вправо и влево. Пийчик вздохнул и, ответив, что корабль идет зигзагом по причине подлодок, подошел к рулевому.

— Пенкин,— предостерегающе шепнул он,— я тебе засну!

— Так, Ян же Янович,— тоже шепотом ответил рулевой,— руля не слушает: ходу вовсе нет...

— Скажите, капитан, а какая у нас скорость? — подняв очки от записной книжки, вновь спросил гость.

Гужевой открыл уже рот, чтобы ответить своей обычной остротой, что было ш е с т ь у з л о в в час — в первый, а во втором и трех не натянули, но Пийчик его предупредил:

— Сколько положено: полный ход двенадцать узлов [1],— сказал он твердо и, приложив губы к переговорной трубе, возможно тише спросил: — В машине!.. Что у вас там опять?

Загробный голос ответил:

— Пару нет. Вентиляторы стали.

— Так какого же вы черта...— начал было Пийчик, но, посмотрев на кинорежиссера, отошел от трубы.

— Фрол Саввич, я в машину пройду, тут мне разговаривать несвободно,— сказал он и взялся за ручку двери.— Правь по курсу да маяк не прозевай...

---

[1] Василий Лукич просил вставить здесь разъяснение, написанное им лично.

Скорость корабля выражается относительной мерой — узлами, означающими скорость в морских милях в час. Тросик лага, выпускаемый на ходу с кормы, разбивался узелками на расстоянии по $^1/_{120}$ мили (50 футов). Сосчитав число узелков, пробежавших за полминуты — $^1/_{120}$ часа, можно прямо узнать скорость в морских милях в час. Отсюда следует, что выражение «30 узлов в час» явно бессмысленно: получится, что корабль вместо приличного хода в 55 километров в час тащится по 1500 футов (470 метров) в час, что и невероятно и обидно.

Гужевой хотел сказать, что в первом часу похода еще удавалось держать скорость в шесть узлов, а во втором и того не получилось. Пийчик хорошо сделал, что его остановил, ибо острота его все равно не была бы оценена гостем. Но тот, оперируя записной книжкой, мог бы потом утверждать, что сам слышал, как моряки говорят: «Столько-то узлов в час». А это выражение и так уже часто встречается в морских романах.

Кинорежиссер оживился:

— Можно, капитан, с вами? Что-нибудь случилось?

Папироса была уже выкурена, и Пийчик хмуро отрезал:

— Нельзя, секретно.— И вышел из рубки.

Но не успел Гужевой удивиться, отчего киночасы показывают на сорок минут вперед, как Пийчик вернулся в рубку, имея крайне встревоженный вид.

— Я пошутил, товарищ,— сказал он гостю необычайно мягким тоном.— Идите машину посмотреть: там, знаете, всякие лошадиные силы, эксцентрики разные, колесики... Очень интересно... Вот вас вахтенный проводит... Вахтенный!

Когда дверь за кинорежиссером закрылась, Пийчик подошел к карте и дернул Гужевого за рукав.

— Что же ты, окаянный человек, наделал? Где наше место, ну, где?

Гужевой деловито пошагал циркулем и ткнул пальцем за две мили до поворота на Чертову Плешь.

— Вот тут,— сказал он уверенно, но, взглянув на Пийчика, докончил менее бодрым тоном: — Минут через двадцать Бабушкин маяк откроется...

— Бабушка твоя откроется, а не маяк! А это что?

И Пийчик распахнул дверь. Далеко за кормой в темноте подмигнул красный свет — раз, другой, третий,— и снова на горизонт села сентябрьская ночь. Гужевой почесал живот и вздохнул.

— Не может того быть, Ян Яныч, чтобы маяк уже за кормой был... Нам до поворота еще верный час идти. У нас же ход не боле чем три узла...

— А ветер, штурман ты несчастный, ветер-то в корму? — вскричал Пийчик.— В такую погоду у нас от ветра больше ходу, чем от машин... Да и часы у тебя врали... Ну, что я посреднику скажу?

— Назад надо ворочать,— решительно сказал Гужевой.— Он же спит. Не все ли ему равно, с оста или с веста к повороту подойдем...

— Лево на борт, обратный курс,— сказал в отчаянье Пийчик и уронил голову на руки.

«Сахар» вздрогнул раз, вздрогнул другой — и вдруг ухнул правым бортом вниз, после чего начал валяться с боку на бок, поворачивая на волне. Захлопали двери, застонали переборки, и посредник скатился со скользкого диванчика на палубу, пребольно стукнувшись при этом

левой коленкой. Такое пробуждение дало ему понять, что «Сахар» повернул на юг, к Чертовой Плеши. Он методически собрал свои блокноты, рассыпавшиеся по каюте, и, выключив огонь, вышел на мостик. В рубке он никого не нашел, кроме рулевого, который, к его удивлению, держал обратный курс. Посредник вышел на мостик и окликнул командира. Пийчик отозвался откуда-то сверху, где в темноте можно было предполагать главный компас.

— В чем дело, отчего вы повернули обратно? — спросил посредник.

В темноте наверху послышался шепот, из которого выделились слова «неудобно» Пийчика и решительное «черт с ним» — Гужевого. Потом голос Пийчика неуверенно ответил:

— Миноносцы.

— Где вы их видите? — изумился посредник и попытался нашарить рукой трап наверх, но, занозив палец о деревянную обшивку рубки, сунул его в рот и замолчал.

— Там,— ответил голос Пийчика.

— Где «там»? Мне же не видно, куда вы показываете. На норде? На зюйде?

— На норде,— сказал Пийчик с натугой, словно отвечая по подсказке незнакомый урок.

— Не понимаю, как они могли там очутиться. Там же непротраленный район,— раздраженно сказал посредник.— Сойдите в рубку и покажите наше место.

Темнота вновь зашепталась, потом две пары ног прогремели по трапу, и голос Пийчика сказал уже в непосредственной близости:

— Видите ли... подходя к повороту, я заметил факелы из труб. Вот и пришлось пройти точку поворота, не меняя курса, чтоб выяснить обстановку... Пройдя две мили, я повернул обратно, думал, вот теперь-то прорвусь на Чертову Плешь. Гляжу — опять факелы... Аккурат, когда вы поднялись на мостик...

— Странно,— сказал посредник, припоминая план синей стороны, в котором ни одного слова не говорилось о посылке миноносцев к Чертовой Плеши.— Странно... но, конечно, возможно. И сколько, вы считаете, там миноносцев?

— Три,— ответил Пийчик и подумал: «Что мне — жалко?»

— Каково же ваше решение в связи с изменением обстановки? — задал проклятый вопрос посредник.

— Вот на карту взгляну и сейчас вам отвечу. Только вы в рубку не входите, а то потом глаза ослепнут,— сказал Пийчик и уверенно пошел в рубку.

Но когда он закрыл дверь, вся уверенность его исчезла.

— Наврал,— коротко сообщил он Гужевому.— Теперь все от тебя зависит: есть у тебя место — иду к Чертовой Плеши, нет места — хоть топись.

— Топись,— мрачно ответил Гужевой,— нет у меня места. Через полчаса будет, надо поближе к маяку подойти.

— Полчаса! — вскричал Пийчик.— Что же я ему полчаса врать буду?

— Что хочешь, то и ври. Ты командир — твоя и воля.

— А ты штурман! Давай место, не могу я без точного места на банку идти! Маневры маневрами, а камушки-то не условные!

— Да что я, рожу тебе место? — вскипел Гужевой, и кто знает, что произошло бы в рубке, если бы дверь не открылась и не вошел посредник, преследуя Пийчика, как совесть убийцу.

— Не вижу я эсминцев, и не должно их там быть,— сказал он, глядя на карту.— Ну, покажите, где ваше место?

Гужевой, приняв озабоченный вид, вышел из рубки. Пийчик проводил его взглядом, исполненным злобы и отчаяния, и положил на карту ладонь:

— Тут.

— Ну, а точнее?

Пийчик медленно убрал один за другим пальцы, оставив на курсе указательный, который в масштабе карты покрыл добрые две мили. «Сахар» и в самом деле был где-то в этом районе.

— Зачем же вы так далеко прошли от поворота? — недоумевающе сказал посредник.— Вы рискуете не успеть до рассвета окончить постановку... Ну, и какое у вас решение?

— Я решил...— нерешительно начал Пийчик, но вдруг заметил в стекле рубки приплюснутый добела нос Гужевого и страшно выпученные глаза, которые пытались подмигивать.

— Вот оценю обстановку и сейчас вам отвечу,— докончил он растерянно и быстро вышел на мостик.

— Ну, куда я от него убегу? — с отчаянием спросил он Гужевого.— Что тут случилось, Фрол Саввич?

— Труба твое дело, Иван-царевич,— прошептал Гужевой.— Никакого места не будет. Видимости нет.

Пийчик взглянул в сторону маяка и долгую минуту со стесненным сердцем ждал его вспышки. Наконец мутно-красным глазом подмигнул далекий огонь, закрываясь плотной сырой мглой. Ветер слабел, и надежда, что маяк откроется, слабела вместе с ним.

— Приехали,— упавшим голосом пробормотал Пийчик.

Дверь рубки открылась, и, чувствуя приближение посредника, он застонал. Видимо, терпение того истощилось, потому что в голосе его звучало неприкрытое раздражение:

— Ну... Осмотрелись, товарищ командир корабля? Сообщите ваше решение.

Пийчик взглянул в темноту и тоном человека, которому нечего больше терять, ответил:

— Не могу я вам сказать своего решения.

— Иначе говоря,— язвительно предположил посредник,— вы не пришли ни к какому решению?

— Нет, как же можно... Пришел... Только я потом вам скажу.

— Вы обязаны поставить меня в известность, если решение вы приняли,— сказал посредник наставительно.— Как же я оценю ваши действия, если не знаю замысла?

— Ну, не могу я вам сейчас сказать, ей-богу же, не могу,— искренне простонал Пийчик и добавил: — Мне самому неприятно, что так выходит...

— Значит, операция сорвана?

— Это как желаете,— покорно ответил Пийчик.

— Я укажу на разборе маневров, что она сорвана по вашей вине,— сухо сказал посредник.— Что же, я ухожу. Мне, вероятно, больше нечего делать на мостике?

— Верно, идите,— обрадовался Пийчик.— Если что будет, я пошлю доложить, а чего вам тут мерзнуть?.. Фрол Саввич, распорядитесь товарищу посреднику чайку прислать!

— Благодарю вас,— негодующе поклонился в темноту посредник и, оскорбленный в лучших чувствах,

направился в каюту писать рапорт начальнику академии.

Подумать только: кто мог ожидать, что его — слушателя последнего курса, кому по окончании академии прочили кафедру военно-морского искусства,— вдруг грубо сунут посредником на такую беспомощную посудину? Подписывая его командировку на эти первые после гражданской войны маневры, начальник академии со всей значительностью подчеркнул всю важность его миссии. В самом деле, эта странная война, в которой все шло шиворот-навыворот, в которой все заветы стратегии и тактики были чудовищно искажены, наконец, слава богу, кончилась. Пришло время, когда можно было внушать плавающему составу забытые им вечные и неизменные принципы, на которых зиждется морская победа. И, перебираясь на штабном катере в Кронштадт (в котором ему как-то не довелось побывать за все время войны), будущий руководитель кафедры с удовольствием представлял себе, какие широкие горизонты он откроет командующему той стороны, где он будет начальником штаба или, в крайнем случае,— начальником оперативного отдела. Но, очевидно, в штабе руководства совершенно упустили из виду ту огромную пользу, которую он мог бы принести флоту: по прибытии он обнаружил, что вся оперативная разработка была поручена тем же командирам, которые всю гражданскую войну провели в полном забвении (или в незнании?) основ военно-морского искусства.

Блокнот, который он мимоходом взял со стола в штабе руководства, оказался из отличной бумаги, плотной и глянцевитой, по которой отточенный карандаш скользил с особой охотой. Жизнь, видимо, начинала постепенно налаживаться во всем, начиная от первых ростков частной торговли и кончая возрождением академической мысли: бумага была ничуть не хуже той, на которой в шестнадцатом году он писал свою первую статью в «Морской сборник», открывшую ему впоследствии дорогу в академию. Качество бумаги и оскорбленная наука, взаимно сложившись, порождали изумительный по силе логики и эрудиции рапорт. В нем посыльное судно «Сахар» еще на первом листе было неразличимо смешано с пищей воробьев и уже было забыто, ибо не этим незначительным объектом могла интересоваться пробужденная мысль академика.

Рапорт подвергал жестокой критике самый план постановки заграждения. Доказывалось, что план был разработан штабом красной стороны с наивной кустарщиной, без глубокого анализа всех вариантов возможных действий противника, с путаной формулировкой решения, с небрежной документацией. Особо возмутительным был «Исторический и гидрологический обзор банки Чертова Плешь», где были допущены грубая неграмотность в определении господствующих на ней ветров и вопиющие ошибки в оценке стратегического значения этой банки для петровского галерного флота. Затем оказалось уместным (с дозволительной в официальном документе долей иронии!) показать на примере Пийчика уровень знаний современного командного состава вообще и намекнуть, как губительно доверять даже незначительную операцию командиру, не имеющему академического образования. Тут в голове мелькнула интереснейшая мысль, и, написав заглавие посвященного ей пункта одиннадцатого — «Некоторые соображения по вопросу о влиянии индивидуальности командующего операцией на общий ход выполнения таковой»,— будущий руководитель кафедры пожалел, что не догадался сразу же подложить копирку, ибо мысли, излагаемые в рапорте, превращали его в готовый конспект лекции по курсу военно-морского искусства.

Между тем тот, кто своим поведением вызвал к жизни этот замечательный образец глубокого академического анализа, то есть сам Пийчик, молча стоял на мостике, вперив глаза в сырую и плотную темноту, и ждал.

Чего?.. Маяка?.. Гибели?.. Или встречного корабля, чтобы спросить у него семафором его место?

Ужасна судьба корабля, потерявшего свое место в море! Еще ужаснее состояние его капитана: впиваясь судорожно стиснутыми руками в поручни, он всматривается в темноту, обвиняя себя в преступной небрежности, с тоской в душе вспоминая дорогие лица жены и детей, оставленных на далеком берегу... С дрожью ждет он страшного удара о подводный камень, и каждый гребень волны, белеющий во мраке, чудится ему зловещим прибоем у береговых скал, который превратит в обломки его корабль... Ежеминутно готов он крикнуть громовым голосом роковой приказ «руби грот-мачту!», чтобы, испытав и это последнее отчаянное средство к спасению, остаться со скрещенными на груди руками на мостике

корабля, уходящего в бездну...[1] И если даст ему судьба пережить эту страшную ночь, то утром соплаватели с молчаливым уважением отведут взоры от его поседевшей за эту ночь головы...

Нет, напрасно тому, кто сам не терял свое место в море, угадывать, что творится в душе такого капитана, какие чувства терзают его сердце, какие мысли мучают его изнемогающий ум...

— Ведь вот же до чего курить охота, чертова кукла,— сказал Пийчик, оборачиваясь к окну рубки.— Поищи-ка, Фрол Саввич, может, где в столе завалялось...

— Смотрел уж, Ян Яныч,— мрачно ответил Гужевой. — Всё как есть скурили. Доплавались... ни места, ни табаку...

— Плохо,— печально вздохнул Пийчик.— Я без табаку думать не могу.

— А чего думать-то? — флегматично возразил Гужевой.— Скоро светать начнет. Неужели не обнаружим себя, где мы есть?.. В крайнем случае и напрямик домой дойдем. На нас воды везде хватит, эка штука...

— Да я не о том,— помолчав, сказал Пийчик.— Я думаю, как бы нам на Чертову Плешь повернуть? Ну, мили на две ошибемся... Авось ничего.

Гужевой с явным беспокойством высунулся из окна.

— Что ты, Ян Яныч, как можно без точного места на банку идти? — неодобрительно сказал он.— Повернуть недолго, но коли не угадаем — там камушки, сам знаешь... Выдумали петрушку с этими маневрами, а нам в трибунал?

Пийчик снова вздохнул.

— Петрушка — оно конечно... А ворочать нам все одно надо. Все ж таки такое дело нам доверили — надо оправдать... Засмеют, Фрол Саввич. Вот тебе, скажут, и «Сахар»! Не зря его капусту возить поставили... И перед Андрей Андреичем неудобно: вспомнил о нас человек, надеясь, как на путных, а мы — на-кося...

Это рассуждение чрезвычайно не понравилось Гужевому, который не имел никаких причин обижаться на капусту. Наоборот, разжалование из тральщика в портовое

---

[1] Поскольку Василию Лукичу за годы плавания не удалось лично участвовать в кораблекрушении, он затрудняется объяснить, в чем заключается смысл этого средства к спасению, и просил отослать читателя к морским романам, где эту самую мачту обязательно рубят в тяжелых условиях жизни.

посыльное судно избавило «Сахар» и самого Гужевого от утомительного хождения с тралом по минным полям, чем без продыху занимались весь прошлый год, и нынешняя спокойная жизнь была более подходящей. Упоминание же об Андрее Андреевиче вызвало в нем только неприятные воспоминания о некоторых ошибках по штурманской части, ядовито подмечавшихся последним. Поэтому мотивировки Ян Яныча никак не убедили Гужевого в необходимости искать ночью, без места, окаянную Чертову Плешь.

Но, хорошо зная своего капитана, спорить с которым, если уж он что заберет себе в голову, было занятием пустым, он дипломатично промолчал, надеясь, что вздорную мысль о постановке этого дурацкого заграждения скоро выдует из капитанской головы ночным ветерком.

Но Ян Яныч, еще постояв, повздыхав и подумав, вошел в рубку и склонился над картой.

На ней прямым пунктиром, отмеченным частоколом вех, тянулся Большой корабельный фарватер, от которого у злополучного Бабушкина маяка ответвлялась на юг длинная «Большая Лужская». В конце ее, в кокетливом ожерелье разнообразных вех — крестовых, нордовых, зюйдовых и иных — чернела Чертова Плешь, и у одной из этих вех волей штаба было намечено то проклятое заграждение, от которого зависела победа красной стороны, честь посыльного судна «Сахар» и настроение Гужевого, который все с большим беспокойством ожидал, что наконец решит Пийчик. Неужто в самом деле пойдет на камни?

И пока Пийчик припоминал, как был виден в момент рокового поворота Бабушкин маяк, и прикидывал ход и ветер, тщетно пытаясь догадаться, в какой точке карты может находиться «Сахар»,— в тревожном взоре Гужевого, устремленном на Чертову Плешь, грозящую неминуемым трибуналом, медлительно засветилась мысль.

— Ян Яныч,— сказал он, сам удивляясь своей догадке.— Так она ж крестовая!

— Кто?

— Да веха у Чертовой Плеши, от которой мины кидать.

— А что мне с того — легче? — горько сказал Пийчик.— Где ее теперь сыщешь? Заплыл ты, брат, черт тебя знает куда, а я расхлебывай. Тебе, Фрол Саввич, не корабли водить, а...

И Пийчик высказал такое предположение, что Тюкин, сменивший на штурвале рулевого, фыркнул и покрутил носом. Но Гужевой, счастливый своей находкой, ничуть не обиделся на предложенную ему профессию и хитро улыбнулся.

— А зачем нам ее искать? Мы же по Кронштадтскому проспекту идем, а тут вех — что посеяно! И все — крестовые... Подойдем к любой, покажем посреднику — вот, мол, вам вторая крестовая у Чертовой Плеши, как в аптеке! И валяй, благословясь,— все равно ведь на бумаге... Ему в темноте не видать, а на карте я тебе полный пейзаж нарисую: где шли, и где поворачивали, и моменты проставлю...

Пийчик повернулся к нему, и лицо его на миг просветлело. Но, подумав, он огорченно покачал головой.

— Да не найдешь ты вехи. Днем бы увидали. А ночью — где их увидишь?

— Ян Яныч,— оскорбленно сказал Гужевой.— Мы же обратным курсом идем, а компас у меня работает, как часы... То есть не как часы...— поправился он, вспомнив,— часы меня, Ян Яныч, подвели, это точно... Я из-за часов и поворот проскочил... А компас — уж будь покоен! Туда по вехам шли впритирочку, значит, и обратно они у нас рядышком...

Видимо, перспектива одним ударом закончить эту нудную операцию соблазнила и Пийчика, потому что, постояв над картой и повздыхав, он решительно поднял голову.

— Ищи веху. Но смотри, Фрол Саввич, коли не найдешь!

Чуть заметно светало, и веху действительно можно было приметить. Минут десять оба стояли на крыльях мостика, потом Гужевой радостно вскрикнул:

— Веха, Ян Яныч, ей-богу, веха! Крестовая!.. Стопори машины! Я сейчас карту разрисую — буди посредника!

— Обожди,— сказал Пийчик.— Иди в рубку, малый ход дай... Да не телеграфом — голосом скажи: опять, не дай бог, тот на звонки вылезет... Товарищ Тюкин, вон слева веха, подворачивайте полегоньку!

«Сахар» медленно подошел к крестовой вехе, и Пийчик включил «прожектор». Этим пышным именем на «Сахаре» называлась обыкновенная стосвечовая лампа, приспособленная к автомобильной фаре для освещения

пристаней. Однако света ее оказалось вполне достаточно, чтобы на дощечке, прибитой к штоку вехи, разобрать номер восемнадцатый. Пийчик выключил «прожектор» и быстро вошел в рубку.

— Ну, ты, штурман господа бога, вот тебе и место! — сказал он торжествующе.— Считай на карте восемнадцатую веху, им на этом колене от Бьоркского тупика счет идет, забыл, что ли, как сами их ставили?.. Ну-ка, покажи... Эк куда заплыл! Подкинь, сколько отсюдова до Чертовой Плеши...— Он нагнулся к переговорной трубе.— В машине! Полный ход! Да глядите у меня с вентиляторами, чтоб самый парадный ход был, а то дам я вам жизни! В боевую операцию идем, понятно?..

Гужевой, пошагав по карте циркулем, почесал живот.

— Все одно, Ян Яныч, не получается. Не поспеем: и самым парадным полтора часа ходу, а скоро светает.

— Полтора? — удивился Пийчик.— Ты как же считал?

— Как полагается: по Кронштадтскому проспекту и по «Большой Лужской».

— А кто тебя учил по фарватерам считать? — сердито сказал Пийчик.— Ты мне тут локсодромии-мордодромии не разводи! Напрямик считай — с этой вехи до той. Срезай угол, что мы, линкор, что ли?

Гужевой вздохнул.

— Да неаккуратно напрямки-то, Ян Яныч... Вот же тут — восемь-бе...

— Хоть десять-ве! Раз боевое задание, по-боевому и действуй, и брось ты эту привычку с командиром корабля прекаться! — оборвал его Пийчик и повернулся к штурвалу.— Как, товарищ Тюкин, оцениваете мое решение? Пройдем?

— А чего же не пройти,— спокойно отозвался Тюкин,— до самой смерти ничего не будет. Воевать так воевать. Без обмана рабоче-крестьянского флота.

— Слыхал, Фрол Саввич? Ну и давай курс. Тут не более как полчаса идти... Вахтенный! Доложи товарищу посреднику, он в боцманской каюте спит: повернули, мол, к месту постановки...

Так на самом интересном месте был оборван документ, столь много обещавший, и посредник, недовольный и раздраженный, появился в рубке.

— Ну что же, пришли к решению, товарищ командир

корабля? — спросил он с явной насмешкой.— Докладывайте ваше решение... Посмотрим...

Пийчик откашлялся.

— Обстановка,— начал Пийчик, с трудом припоминая, как учили его выражаться на курсах переподготовки,— обстановка сложилась таковой, что противник, надо понимать, упорно блокирует поворот на Чертову Плешь, сами видели... Так... Теперь — решение... Я, значит, решил... форсировать это самое... в целях обхода противника и сокращения времени...— Он крякнул и быстро докончил, ткнув циркулем в восемнадцатую веху: — Словом, прямо отсюда повернул на место постановки и иду этим курсом. Аккурат вовремя будем.

— Что ж,— благосклонно сказал посредник,— решение инициативное. Хотя все-таки в наличии противника у поворота я сомневаюсь. Покажите карту... Значит, вы наблюдали миноносцы на норде... Где ваше место?

Он нагнулся над картой, и вдруг глаза его округлились. Проложенный от восемнадцатой вехи курс действительно срезал угол между протраленными фарватерами, но сразу же за вехой проходил по неправильному четырехугольнику, заштрихованному на карте красными чернилами, где Гужевым со всей старательностью было выведено: «Опасный район № VIII-Б».

— Позвольте,— сказал посредник, слегка заикаясь.— Позвольте... Вы же идете на заграждение. И не условное!

— Так оно ж не наше. Оно белогвардейское,— сказал Пийчик с удивительной логикой, которую посредник никак не смог оценить.

— Позвольте,— опять сказал он.— Какая же разница, наше или белогвардейское? Ведь это же мины! И боевые!

— Ну как, какая разница? — в свою очередь, поразился Пийчик.— Беляки меньше чем на четырнадцать футов не ставили, это уж как святое дело. На наших заграждениях ходить — оно действительно когда как: наши против ихних тральщиков нет-нет, а ставили минку фута на три-четыре. А по чужому я жену прокачу... конечно, в тихую погоду,— добавил он, заметив то странное выражение, с которым смотрел на него посредник.— Ну, да и сейчас волна небольшая, так что вы не беспокойтесь, все будет аккуратно.

— Позвольте,— в третий раз сказал посредник прилипшее к языку слово.— Вы или просто сошли с ума, или... Лево на борт! — вдруг властно повернулся он к Тюкину.

— Нет, теперь уж вы позвольте,— с неожиданной твердостью в голосе сказал Пийчик.— Где это видано — при живом командире рулем командовать?

В этот момент волна приподняла «Сахар», после чего он довольно глубоко ухнул в воду, и посреднику показалось, что сейчас раздастся взрыв. Очевидно, это ожидание отразилось и на его лице, потому что Пийчик вдруг изменил тон.

— Да вы не беспокойтесь,— сказал он мягко, как труднобольному,— прошлый год, когда тралили, мы всю дорогу только по минам и ходили — и ничего. У нас осадка вполне пригодная. А тут всего полчасика и потерпеть...

Но посредник, овладев собой, подошел к нему с видом надменным и решительным.

— Как представитель штаба руководства,— сказал он холодно,— я приказываю вам немедленно повернуть. Район запрещен для плавания, потрудитесь выполнять операцию по разрешенным фарватерам. Вы действуете вне всяких правил.

— Так какие же правила, когда боевое задание? — искренне удивился Пийчик.

— Так это же маневры? — с отчаянием воскликнул посредник.— Понимаете — маневры!

— Вот и я говорю — маневры,— подтвердил Пийчик.— Раз маневры, значит, вроде как война... Какие уж там фарватеры.

— Да поймите вы,— сказал посредник, вытирая со лба пот,— заграждение вы ставите условно, ведете огонь — условно, если гибнете — тоже условно... А вы хотите...

— Коли все условно, нечего было нас и посылать,— раздраженно перебил Пийчик.— А то людей беспокоят, корабль в море гонят, табаку вот даже дождаться не дали... Нет уж, коли ставить, так ставить, решаю побоевому — и точка,— сказал он жестко и потом добавил с откровенной насмешкой: — А коли все условно, товарищ посредник, так дайте радио, что заграждение я уже поставил: считаю условно, что у меня ход был двадцать

узлов, условно я к Чертовой Плеши давно смотался,— и разрешите идти в базу...

Посредник посмотрел на него, как на стену, которую голыми руками прошибить невозможно. Доказывать, действовать логикой было некогда — «Сахар» шел по минному полю и ежеминутно мог взлететь на воздух... Ну, правда, ходил же он над минами, когда тралил,— и ничего... Но там — траление, необходимость, а тут из какой-то дурацкой операции, выдуманной штабом... Четырнадцать футов, а волна? Волна и на пятнадцать посадит... Все это походило на сонный кошмар, мысли путались, не то чтобы испуг, так просто — непривычка ходить по минным полям... В конце концов не собирается же этот сумасшедший взорваться... Может быть, и в самом деле...

Тут «Сахар» опять ухнул с волны довольно глубоко, и посреднику с необыкновенной отчетливостью стало ясно, что надо немедленно найти какой-то выход из положения, заставить этого упрямого тупицу повернуть обратно. И тогда в спутанных его мыслях мелькнуло слово, которого все эти смутные годы он избегал и побаивался, и, пожалуй, впервые он подумал об этом слове без иронии и тайного презрения.

— Комиссар...— сказал он с тем глубоким чувством надежды и веры, какое вкладывали в это слово матросы.— Где ваш комиссар?

— А комиссара у нас нет,— ответил Пийчик, как бы извиняясь.— Как из тральщиков разжаловали, так и комиссара не стало. А секретарь ячейки вот. Побеседуйте. Только с ним согласовано.

Он показал на рулевого Тюкина и деликатно вышел из рубки. Гужевой вышел вслед за ним.

— Ишь заколбасил,— сказал Гужевой.— И комиссара припомнил, как привернуло... Ян Яныч, может, подойти к какой-нибудь вехе? Он сейчас на все согласится, по всей видимости — доспел...

— Отстань ты, Фрол Саввич,— сурово отозвался Пийчик.— Сказали тебе, не ему обман выйдет, а рабоче-крестьянскому флоту. Нет в тебе твердости характера.

— Да нет, я шучу,— сказал Гужевой и вздохнул.— Я вот думаю, Ян Яныч,— и чего человек разоряется? Хожено тут, перехожено... Сидят на берегу, а потом удивляются... Ему бы разок потралить, да в волну...

— Это тебе не локсодромии-мордодромии,— с жестоким удовлетворением сказал Пийчик и, подумав, добавил: — Операторы-сепараторы, туды их к черту в подкладку... Давай боевую тревогу.

— Тревогу? — переспросил Гужевой, и по тону его Пийчик понял, что он чешет живот, что делал во всех затруднительных случаях.— А чем давать, Ян Яныч? У нас же звонок неисправен.

Пийчик внезапно рассвирепел.

— Вот и воюй с тобой, обломом! — вскрикнул он.— Послал бог помощничка! Звонки не работают, часы скисли, рулевые черт знает в каких кацавейках на вахту выходят! Обожди, вернемся, я из тебя пыль повыбью! На первый раз пойдете, товарищ помощник, на трое суток на губу за замеченные мной безобразия на вверенном мне корабле!

— Ян Яныч! — поразился Гужевой.— Что с тобой, спалел ты, что ли?

— Еще двое суток за такой разговор с командиром корабля! Давайте боевую тревогу, товарищ помощник! Чем хочешь, тем и давай, хоть в ведро бей!

Гужевой, подобрав живот, скатился по трапу вниз, и палубу «Сахара» огласили различные команды, прерываемые пронзительным свистком:

— Все наверх! Боевая тревога! Боцман, буди команду! Кто там у люка? Петрягин, скидава́й всех с коек! Духом чтоб на местах были!

Тем временем и в Тюкине посредник нашел такое же упорство, как и в Пийчике. Тюкин сообщил, что Ян Яныч командир вполне боевой, и раз он считает, что на минное поле идти нужно, стало быть, и нужно идти. Тем более что в прошлом году «Сахар» только и делал, что ходил по минным полям, и что ничего особенного он, Тюкин, в этом не видит.

В этих долгих разговорах — взорвется здесь «Сахар» или не взорвется — заграждение было благополучно пройдено, а «Сахар» так и не взорвался. Наоборот, дойдя до заветной крестовой вехи Чертовой Плеши, он сам поставил на погибель синим условное заграждение, вынудив этим посредника дать радио, после чего тот ушел опять в свою каюту.

Но пережитое им на мостике так отвлекло его от спокойного течения мыслей, что, взглянув на недоконченный рапорт, он лег на койку, чтобы сном подкрепить

нервы. Однако и этого не удалось: едва смежил он очи, как по всему кораблю раздался оглушительный трезвон, и он выскочил из каюты, сбив с ног выбежавшего на шум кинорежиссера.

— Что это было? Как называется? — спросил тот.

Но посредник довольно грубо ответил, что сам не знает, и поспешил на мостик выяснить, в чем дело, благословляя судьбу, что режиссер не присутствовал в рубке при проходе минного поля. И зачем вообще посылают на маневры посторонних?..

На мостике выяснилось, что Гужевой, пристыженный выговором Пийчика, после окончания постановки занялся звонком боевой тревоги, самолично наладил его и теперь решил опробовать. Только после этого посредник наконец заснул, не подозревая, что его ждут новые боевые действия Пийчика, вошедшего во вкус маневров.

Трезвон несколько примирил Пийчика с помощником — было видно, что внушение подействовало на флегматичную его натуру. Он даже снял с Гужевого гауптвахту после того, как тот поклялся страшной клятвой, что с завтрашнего дня на «Сахаре» будет все фасон, как на линкоре: и медяшку будут драить, и команда снимет кацавейки, и в кубриках перестануть курить, и что сам он, Гужевой, лично сходит в инструментальную камеру за часами.

Уже рассветало, но мгла по-прежнему не поднималась над водой, и все вешки — осевые и поворотные — выплывали из нее навстречу «Сахару», который исправно шел по фарватерам, отсчитывая время по киночасам. Возле поворота на Кронштадтский проспект Пийчик, всмотревшись вперед, вдруг глухо скомандовал «право на борт» и поставил телеграф на «стоп». «Сахар» вильнул в сторону и плавно закачался: слева, саженях в сорока, чуть проступал во мгле силуэт огромного корабля. Гужевой вгляделся в него.

— «Ща», — сказал он радостно,— ей-богу, «Ща»!.. На якоре стоит, должно, мглы забоялись... Тоже воевать заставили транспортюгу! Ян Яныч, подойдем, табаку попросим...

— Не ори,— шепотом сказал Пийчик.— Он тебе покажет табаку... На-ка ключ, сбегай в каюту, там в секретной шкатулке состав сторон. Тащи сюда, я так прочесть и не поспел.

— Нечего и смотреть, Ян Яныч,— жарко зашептал ему в ухо Гужевой.— У нас во флигеле ихний механик живет, жаловался, что в работу забрали,— синий десант высаживать.

Пийчик выпрямился. Дух Сенявина и Нахимова осенил его рыжеватую голову.

— Коли так,— шепнул он, сжимая Гужевое плечо,— то буди комендора, он под пушкой спит.

— Ян Яныч,— сказал Гужевой, невольно заражаясь его воинственностью,— я лучше звонок дам, все враз вскочат...

— Иди ты со своим звонком, там же услышат!.. Буди, говорю, комендора...

Гужевой исчез. На баке послышалась сдержанная возня, приглушенный звон холостого патрона, и замок орудия щелкнул.

— Готово, что ли? — зашептал Пийчик, перевесившись с мостика и с трудом сдерживая волю к победе.— Да не тяните вы, черти, экая рыбина попалась... Готово?

— Готово,— донесся шепот Гужевого.

— Залп! — громко скомандовал Пийчик.— Буди посредника! Боевая тревога! Стреляй дальше!

Орудие тявкнуло раз и два, гремучий перезвон боевой тревоги потряс весь «Сахар», команда повскакала с коек. Посредник, с блокнотом и часами в руке, бежал к рубке, и Пийчик еще издали кричал ему:

— Запишите, открыл огонь! Стреляю из всех орудий беглым огнем по транспорту! Курсовой угол девяносто градусов! Ход — стоп!

На серой громаде «Ща» вспыхнул луч прожектора и жалобно хлопнула салютная пушчонка.

— Прозевали! — торжествующе кричал Пийчик, мигая своим «прожектором», что обозначало ведение непрерывного артиллерийского огня.— Поздно, милые! Вы уже покойнички, будьте спокойны!

Кинорежиссер, проклиная себя за несвоевременный сон, подбежал к Пийчику.

— Что это было? Как называется? — спросил он, раскрывая записную книжку.

— Ночная атака на принципе внезапности дайте папиросу,— без запятых ответил Пийчик и повернулся к посреднику: — Считаю транспорт утопленным. Он не успел открыть огня, а я уже двадцать снарядов выпустил.

— Транспорт? — ехидно спросил посредник.— А где вы видите транспорт?

— Как где? — удивился Пийчик.— Так вот же «Ща» стоит, как миленький!

Посредник окинул его уничтожающим взглядом, в котором ему удалось выразить почти все чувства, накипевшие в его душе за этот поход.

— Если бы вы дали себе труд ознакомиться с маневренными документами, товарищ командир корабля,— медленно и со вкусом начал он,— то вы бы знали, что перед вами не транспорт, а линейный корабль типа «Айрон Дьюк», и, учитывая его броню и калибр его орудий, вероятно, постарались бы пройти незамеченным, а не кидаться в эту бессмысленную атаку. Таким образом, утоплен не он, а вы. Будьте любезны поднять «глаголь» и можете возвращаться на базу,— мстительно закончил он и, взяв под руку кинорежиссера, ушел с мостика.

Пийчик ошеломленно посмотрел ему вслед, потом плюнул за борт и повернулся к Гужевому.

— И всегда ты, Фрол Саввич, напутаешь,— горько сказал он.— Говорил тебе — тащи состав сторон... Механик, механик... Живешь сплетнями, а дела не знаешь...

— Да кто же его знал, Ян Яныч,— смущенно забормотал Гужевой, но Пийчик гневно махнул на него рукой.

— Подымай «глаголь», отвоевались... Локсодромии-мордодромии проклятые... Живого корабля не признать... Линкор... «Айрон Дьюк», чертов крюк... Право на борт!

Холодная осенняя заря наконец встала над Финским заливом, осветив унылым светом серые волны и покачивающийся в них «Сахар». На долгом пути его в базу встречались ему и синие и красные корабли. Но синие по нему не стреляли, а красные не подзывали к борту, чтобы дать поручение или снабдить табаком: на фок-мачте «Сахара» трепетал треугольный флаг — роковой «глаголь», означающий, что данный корабль давно утоплен и что он — только обман зрения, некий призрак, подобный кораблю Летучего Голландца, с той только разницей, что корабль Голландца не существовал, но был видим, «Сахар» же существовал, но был невидим.

И на мостике его с той же печатью скорби на челе, которая отмечала легендарного капитана, сидел Пийчик, страдая без папирос и размышляя о странностях маневров. Ведь вот как получилось: по настоящим минам прошли, а от какой-то бумажки погибли.

Эти печальные его думы были прерваны появлением радиста, протягивавшего ему бланк радиограммы.

— А чего ты еще принимаешь? — хмуро сказал Пийчик.— Закрывай лавочку и ложись спать: утопленники мы, нечего нам слушать... Ну, чего там пишут?

Он развернул бланк и прочел. «Обстановка на 12.00. На рассвете противник пытался высадить десант в районе... Линкор типа «Айрон Дьюк», потопив артиллерийским огнем посыльное судно «Сахар», вслед за тем подорвался на нашем заграждении у банки Чертова Плешь... Торпедной атакой...»

Дальше Пийчик не читал и отдал бланк радисту. Слабое подобие улыбки проскользнуло по его условно мертвому лицу.

— Снеси посреднику,— сказал он,— разбуди, пусть распишется... Да поспрошай у ребят, не осталось ли у кого махорки,— черт знает до чего курить хочется...

ДВЕ ЯИЧНИЦЫ

Штаб бригады линейных кораблей был необыкновенно изобретателен, но академичен. Такая репутация создалась в результате жесткого соревнования флагманских артиллериста и штурмана в области выдумок.

Если первому удавалось провести в жизнь какую-либо необычайную «Инструкцию для стрельбы из зенитных орудий по подводным лодкам», то второй отлучал себя от шахмат, пока не склонял командира бригады к организации на линкорах метеорологической службы в масштабе первоклассных европейских станций. Эта благородная борьба двух организационных талантов, уподобляясь действию двух взаимно догоняющих поршней, толкала медлительный и осторожный ум командира бригады на рискованные эксперименты.

Накалившиеся за день борта излучали свое душное, пахнущее краской тепло внутрь флагманского салона, и потому тела обоих специалистов утонули в креслах до крайнего предела, оставив над ними лишь две папиросы, как перископы погрузившихся лодок. Но что значит жара для живого ума, обуреваемого новой идеей? Артиллерийский перископ втянулся в кресло, и взамен его вылетело облачко правильно наведенного залпа.

— Пуф,— сказал артиллерист,— знаешь, старик все-таки согласился пострелять по невидимой цели.

Залп, очевидно, дал накрытие, потому что штурманский перископ мгновенно скрылся, и из кресла потянулась длительная дымовая завеса, долженствующая своим спокойствием скрыть нешуточное волнение штурмана, чье самолюбие было уколото.

— Да? — сказал он с небрежным спокойствием.— Опять по болоту?

— Необыкновенно остроумный метод! — восторженно продолжал артиллерист.— Подумай только — наводим по «Посыльному», а стреляем по «Принцессе»...

— Очень интересно,— сказал штурман без всякого проявления интереса и подумал с завистью: «Вот ведь что выдумал, черт».

Артиллерист в порыве чувств положил ему руку на колено и проникновенно сказал:

— Товарищ дорогой, ты уж присмотри сам за маневрированием: вся штука в том, чтобы корабль шел точно по окружности. Нужна прямо бешеная точность.

— Ты, может быть, за своими артиллеристами приглядишь, Андрей Иванович,— сказал штурман сухо и снял с колена артиллерийскую руку.— Штурманам не привыкать к твоим дурацким маневрированиям.

Торжество рождает добродушие, и флагарт, не обижаясь, указал невежливо снятой рукой на шахматы:

— Вставлю?

— Спасибо. Мне некогда,— ответил флагштур, поднимаясь.— Надо поработать. У меня тоже есть новая идея.

Но в каюте была совершенная баня, и политико-моральное состояние, подорванное успехом соперника, разложилось окончательно. В голову лез всякий трудно осуществимый вздор, вроде опыта буксировки линкора баркасами со штормовым вооружением или маневрирования без руля, машин и компаса.

«Принцесса Адель» знала лучшие дни. В 1895 году, когда она впервые вошла в Купеческую гавань прямым рейсом из Мессины, она даже была встречена владельцем, главой фирмы «Братья Елисеевы», помахавшим ей платочком с борта катера, предоставленного ему капитаном над портом. В те дни «Принцесса» была стройной и благоуханной, что вполне соответствовало ее титулу.

Благоухала же она свежим ароматом апельсинов и лимонов, привозимых ею для названной фирмы из

Италии четырежды в год. Запах этот пропитал все ее существо и побеждал глухую вонь пропотевшего кубрика, вонючую гарь машинного масла и даже корабельного кота и исчезал лишь в каюте боцмана, сраженный духом водки, огуречного рассола и полтавской махорки; боцман вечером пил, утром опохмелялся, в промежутках же дымил махоркой и называл «Принцессу» Щукиным двором[1], а не пароходом.

С годами «Принцесса» начала дурнеть. Зловещие морщины появились на обшивке, шпангоуты схватили жестокий ревматизм и в шторм стонали. С каждым годом все труднее удавалось закрывать бесцеремонные глаза агентов Ллойда разноцветными бумажками франков или стерлингов на очередном осмотре для получения регистра. Когда расходы эти увеличились вчетверо, «Братья Елисеевы» призадумались: ремонт или слом?

Но, к счастью для «Принцессы», приключилась мировая война. Последняя, причинившая, как известно, значительные разрушения немалому числу кораблей, для «Принцессы», напротив, обернулась в прямую пользу: глава фирмы, справедливо учитывая ветхость «Принцессы» и длительный, очевидно, перерыв сообщения с лимонной Мессиной, в порыве патриотического чувства пожертвовал «Принцессу» морскому министерству на предмет скорейшего одоления врага, чем произвел немалый шум в столице и за что без задержки ему очистился орден св. Станислава второй степени, а «Принцессе» — капитальный ремонт. Тридцать же тысяч рублей, как бы по реквизиции, были вручены фирме морским министерством без излишнего шума.

«Принцесса Адель», сменив апельсины на уголь, а титул на скромное имя «Фита», честно и непоколебимо воевала три с половиной года, развозя уголь вдогонку за неугомонными миноносцами, по прошествии же этого времени заснула на период гражданской войны, медленно подгнивая деревом и ржавея железом. Когда люди закончили наконец беспокойные военные хлопоты и обратились к «Принцессе» для целей мирных, «Принцесса», она же «Фита», к употреблению годной не оказалась и была отведена на кладбище в угол Угольной гавани.

Жестокий ум флагманского артиллериста штаба бригады линейных кораблей возродил ее для новой

---

[1] Щукин двор — фруктовый рынок в Петербурге.

страшной жизни: в «Принцессу» напихали старых пробковых матрасов, заспанных до дыр, насыпали в бортовые отсеки песка, выкрасили для лучшей видимости борт и натянули между мачтами парусину. В таком виде бывшую гордость фирмы вытащили из гавани и поставили посреди моря на мель. Для хранения же парусины, пробки и дерева в штурманской рубке поселили собаку Савоську и деда Андрона, объявив ему, что провизия будет доставляться раз в неделю и что перед каждой стрельбой за ними будет приходить катер, чтобы отвозить их подальше от снарядов.

В «Принцессу» стали стрелять все, кому не лень, и борта ее изукрасились множеством дыр, забиваемых дедом Андроном после стрельбы досками.

Комиссар бригады, привыкший к всплескам артиллерийской мысли, смотрел в корень вещей и потому ткнул карандашом в чертеж стрельбы с сомнением:

— Какая же она невидимая, когда щит как на ладони?

— Необходимая условность,— ответил флагарт.— Не могу же я в море гору насыпать, чтоб через нее стрелять! Цель, и точно, видимая, но стрельба будет происходить совершенно как бы по невидимой. На щит будет смотреть только командование — судового артиллериста загоним в центральный пост, пусть управляет по приборам, а комендоры будут наводить не по «Принцессе», а по «Посыльному»; вот тут его на якоре поставим.

— Спасибо,— сказал комиссар.— Я не согласен в живой корабль целиться, ну вас с вашим способом.

— Товарищ комиссар,— голос флагарта приобрел ноты вкрадчивые и убедительные,— прицелы же будут смещены от оси орудий на угол в тридцать градусов: прицел смотрит в «Посыльного», а орудие стреляет в «Принцессу». А корабль пойдет вот по этой окружности. Круг, как видите, проведен через три точки: корабль, цель и вспомогательная точка наводки, в данном случае — «Посыльный». Нам известно, что все углы, опирающиеся на одну и ту же дугу окружности и имеющие вершину на той же окружности, между собою равны. Следовательно, если мы дадим прицелам угол, равный углу между «Посыльным» и «Принцессой», то где бы мы ни были на окружности, целясь в «Посыльного», мы

будем стрелять в «Принцессу». Это же простая геометрия.

— Геометрия — наука абстрактная, а снаряды — вещь конкретная,— хмуро сказал комиссар.— Если да если... А если вы влепите в «Посыльного», то запахнет не геометрией...

— Какая уж тут геометрия, сплошной трибунал,— удовлетворенно подсказал флагманский штурман.

Флагарт покосился на него взъяренным взглядом и пошевелил подбородком в воротнике кителя.

— Это невозможно,— ответил он комиссару твердо.— Самое худшее, что может произойти,— это если корабль пойдет не по заданной окружности, а по какой-нибудь изобаре[1]. Штурмана у нас нынче свихнулись на метеорологии, и если они плавают так, как предсказывают погоду, тогда уж я не знаю, куда снаряды упадут. Во всяком случае, не в «Посыльного». Я на него готов сына посадить.

— Сын — это ваше частное дело, дорогой товарищ,— сказал комиссар недовольно.— Это романтика, а я требую гарантии.

— Андрей Иванович однажды гарантировал,— ядовито заметил флагштур, отмщая метеорологию,— а за быка все же платить пришлось...

Бык, и точно, был разделен на килограммы шестидюймовым снарядом при опытной стрельбе по болоту: снаряд взял левее болота по причине опечатки в таблицах. Флагарт нагнул голову, подобно упомянутому быку при жизни, и горло его издало звук, похожий на ревун перед сокрушительным залпом. Но командир бригады прервал завязавшийся междуведомственный бой протянутой над чертежом стрельбы рукой.

— С одной стороны,— сказал он, повернув руку ладонью вверх,— нельзя не признаться, что стрельба малопривычная, даже, может быть, совершенно новая. Но, с другой стороны,— здесь он повернул руку ладонью вниз,— с другой стороны, нельзя не сознаться, что метод этот изучить интересно, даже, может быть, необходимо. Французский флот этим методом стреляет давно и очень успешно, о чем даже печаталось в «Морском сборнике»...

---

[1] Изобары — линии равных атмосферных давлений, принимающие самые причудливые формы.

Флагман посмотрел по очереди на всех собеседников и сказал, ставя в конце совещания точку:

— Стрелять будет «Низвержение». Пристрелку начнет кормовая башня.

Башенный командир Затемяшенный был женат всего полтора месяца, в течение которых приезжал домой три раза — когда на сутки, когда всего на вечер. У жены были необычайно хрупкие плечи, и когда они жалобно вздрагивали в рыданиях — это было совершенно непереносимо. Плакала же она с начала семейной жизни три раза, по числу отъездов Феденьки.

Поэтому нет ничего удивительного, что в этот июльский вечер хрупкие плечи и великая жалость юного сердца временно выключили из сознания Затемяшенного тяжкий контур линкора и вверенную ему кормовую башню. В двадцать три года июльские вечера темны и медлительны, а ночи — стремительны и солнечны. Когда метафорическое солнце любви превратилось в реальное, изучаемое космографией, часы показывали шесть — час, означенный в корабельном расписании словом «побудка», и едва хватило времени добежать до первого прямого парохода.

Помощник командира «Низвержения», конечно, не стал бы вдаваться в лирические причины запоздания с берега командира четвертой башни. Поэтому Затемяшенный, возрождая рыцарские времена, ни словом не упомянул про хрупкость плеч и солнце любви. К чему?..

— Явитесь к старшему артиллеристу, он вас с фонарем искал, а о прочем побеседуем позже, когда придете проситься на берег,— неприветливо сказал помощник командира, весь поглощенный неравной борьбой второй роты с восьмидюймовым тросом: линкор собирался вытягиваться из гавани, и у борта уже шипели и плевались буксиры.

Башенный командир Затемяшенный, зная по опыту, что перед стрельбой старший артиллерист находится в повышенном нервозном состоянии, предпочел его не беспокоить, отложив неприятный разговор до окончания стрельбы. Поэтому, не щадя молодой энергии и выходных брюк, он тут же полез в узкое горло кормовой башни и опытным взглядом окинул свое смертоносное хозяйство.

Сковорода начала нагреваться, и кусок масла, дрогнув и теряя очертания, пополз к краю, ибо корабль имел небольшой крен на левый борт. Дед Андрон, склонившись над хронометрическим ящиком, выпрямился, и на старом синем бархате ящика, как крупный жемчуг в футляре, матово просиял десяток яиц.

Сковорода зашипела, и штурманская рубка «Принцессы Адель» наполнилась запахом жареного, отчего свернувшаяся у дедовой койки Савоська чихнула и проснулась, зевнув и щелкнув зубами.

Дед, сложив морщинистый кулак в трубочку, нацелился яйцом на солнце (яйца были давнишней покупки). Солнце недавно простилось с морем и висело на небе чисто вымытым и потому ослепительным кругом. Первые два яйца оно пронизало розовым светом, ручаясь за их доброкачественность, отчего оба они, щелкая и ворча, очутились на сковороде. В третьем же лучи зацепились за непроницаемое пятно — и, собственно, отсюда и начинается история о двух яичницах.

— Тухлое,— неодобрительно сказал дед, и собака подняла ухо.— Тоже кооператоры, чтоб их вымочило...

И он в сердцах пустил яйцом за борт, повернувшись при этом к открытой двери рубки. Яйцо, подгоняемое легкой утренней рябью, поплыло курсом вест, доказывая свою тухлость, а старик, приставив ладонь козырьком, остался у двери, подозрительно всматриваясь в действия внезапно обнаруженного им линейного корабля.

Линкор, пуская в недвижный воздух два толстых столба дыма, быстро удалялся от «Принцессы». Дед Андрон вообще недолюбливал линкоры по причине крупности их снарядов, дыры от которых требовали большого количества досок. Этот же особенно не понравился ему тем, что палуба его, как он успел заметить, была безлюдна, а башни пошевеливали орудиями, как пианист, разминающий перед игрой пальцы.

— Эй, Савоська,— сказал тревожно старик,— смотри, что делают, ироды! Неужто палить собираются?

Собака, посмотрев на хозяина, облизнулась и выразительно махнула хвостом на «буржуйку» с шипящей сковородой. На линкоре, удалившемся меж тем на порядочное расстояние, пополз на фок-мачту красный с косицами флаг, обозначающий, что линкор собирается заняться неприятным делом и потому для проходящих судов небезопасен. Дед ринулся вон из рубки.

— Что вы делаете, черти окаянные! — завопил он не своим голосом.— Заявление подам, не посмотрю, что флагман!

Желто-красный блеск ударил вдоль кормовой башни, и старик скатился вниз по трапу много скорее, чем в молодые годы по вантам на царском смотру. Собака выскочила за ним из рубки, но тут же взвизгнула и пустилась за стариком, так как воздух раскололся и мощный рев двенадцатидюймового залпа плотно треснул, ухнул и раскатился по небесам, встряхнув собачьи внутренности и зазвенев сковородкой. Яйца же в бархатном покое ящика остались невредимыми, ибо ящик, снабженный пружинами, был построен для хронометров, механизм коих, как известно, хрупкостью превосходит яичный.

Штаб бригады линкоров, как сказано выше, был необыкновенно изобретателен, но мало распорядителен. Поэтому снятие деда Андрона с «Принцессы» перед этой эффектной стрельбой флагманский артиллерист доверил флаг-секретарю, который, по заносчивости нрава, подобное мелкое поручение счел для себя просто унизительным и передоверил его штабному писарю. Последний позвонил об этом в охрану порта, справедливо полагая, что раз речь идет о каком-то стороже, то его участью должно интересоваться именно управление охраны.

Дальнейшая судьба этого распоряжения затерялась в телефонных проводах, но, как показывают события, катер на «Принцессу» не пришел, и дед Андрон, собиравшийся заняться делом мирным и созидательным, был поставлен лицом к лицу с линейным кораблем, кружившим вокруг «Принцессы» с целями воинственными и разрушительными.

Сковорода начала нагреваться, и кусок масла, дрогнув и теряя очертания, пополз к краю, так как корабль имел небольшой крен на левый борт. Посыльное судно «Посыльный», кроме того что употреблялось на разнообразные беспокойные нужды, имело еще один существенный недостаток: маленький камбуз. Поэтому командир Ичиков давно уже приобрел примус и по утрам жарил яичницу в кают-компании собственноручно, достигнув в этом деле большого искусства.

В текущее превосходное утро, установив свой корабль на якоре в заданной штабом бригады точке и приказав

команде иметь отдых, командир Ичиков, дождавшись нужного нагрева сковороды, выбрал три яйца покрупнее и обследовал их на свет, сложив кулак трубочкой. Яйца оказались свежими, и яичница обещала быть первоклассной.

— Товарищ командир,— загнусила переговорная труба голосом вахтенного,— «Низвержение» повернуло на норд!

— Хорошо,— благодушно сказал Ичиков и, ударив ножом по яйцу, осторожно расцепил ногтями его половинки: болтуньи он не любил и желток выливал целым.

— Товарищ командир,— проскрипела труба,— на «Низвержении» боевая тревога!

— Очень хорошо, не препятствовать,— сказал Ичиков, углубляясь в выливание второго яйца; это вылилось не так удачно, и желток пустил какой-то полуостров.

— Товарищ командир,— заунывно продолжала труба,— на «Низвержении» боевой до места!

— Да ладно, знаю,— рассеянно ответил Ичиков, стараясь не повторить ошибки, но третье яйцо вылилось целехоньким желтком и погасило собой шипенье сковороды. Яичница начала густеть, и пора было ее солить.

Едва ступив ногой на скользкое дно темного трюма, дед Андрон тотчас же промолвил:

— Вот ведь гадина, огонь забыл, старая орясина!..

Забытая дедом в поспешном бегстве «буржуйка», которая в близком соседстве с досками топилась на корабле, ожидающем в борт крупный снаряд, могла и в самом деле вызвать гибельные последствия учебной стрельбы.

В ответ на восклицание деда в трюм шлепнулась Савоська, сорвавшись с трех последних ступенек, ибо, как известно, спуск по трапу собакам сильно затруднен наличием у них двух лишних ног. Шлепнувшись же, Савоська завизжала нервно и длительно.

— Молчи, дура,— сказал дед в темноту,— чего скулишь, не тебе ведь за пожар отвечать.

Вслед за этим обоснованным замечанием дед Андрон вступил в короткую борьбу с самим собой, противопоставляя чувству самосохранения чувство ответственности. Что ж из того, что за все стрельбы ни один снаряд не угадал в рубку? А теперь, как нарочно, возьмет да

попадет, опрокинет «буржуйку», займутся доски, и пойдет полыхать по всему пароходу...

— Тьфу, будь оно неладно, мать честная,— сказал дед в расстройстве.— Вылазить, что ль?

А как вылезешь, когда снаряды валятся? Пока добежишь, пока зальешь — ударит в темечко, и будьте здоровы...

— Чисто, брат, Цусима, ей-богу,— сказал дед, томясь в сомнении,— тоже, как фалы перебило, на мачту выслали, под снаряды...

Тут деду померещилось, что «буржуйка» уже опрокинулась на хромую ногу и повалила угольями на доски... Цусима забурлила мутными давними волнами в старом военном сердце и героическим потоком своим увлекла деда Андрона на первую ступеньку трапа.

Белый день ослепительно сверкнул в глаза, когда дед, пригнувшись и поглядывая на далекий линкор, пустился от люка к рубке. Но еще ослепительнее и ярче блеснула в глаза желтая вспышка на корме линкора и на бегу остановила деда в томительном и подсасывающем ожидании. Ухая и свистя, прогромыхал в воздухе снаряд, но всплеска от него около «Принцессы» не стало. Дед Андрон оглянулся вокруг и, найдя на воде белый оседающий фонтан, подумал, покачал головой и пошел в рубку.

— Чудаки,— сказал он недоумевающе.— Ну и смелый народ пошел, чтоб им повылазило!

Яйца на сковороде уже слились в глянцевый желто-белый блин, и дед, ухватив тряпкой сковороду, сдвинул ее на приготовленную досочку.

— Чудаки,— сказал он еще раз, поглядывая на море и разломив кусок хлеба.

Так была изготовлена одна яичница.

Вторая же яичница, начавшая румяниться на «Посыльном», была испорчена уже тем, что командир Ичиков ее пересолил. Случилась же эта несвойственная ему оплошность по причинам достаточно уважительным.

Когда Ичиков, набрав на конец ножа соли, начал кругообразно водить им над сковородкой, кают-компания подскочила, и сковорода, скосившись на примусе, готова была упасть. Командир Ичиков совершил одновременно две ошибки: первую — уронив нож с чрезмерной порцией соли в готовую яичницу, и вторую — ухватив

голыми пальцами край сковороды, пытаясь удержать ее от падения. Сперва зашипели пальцы, а потом и сам Ичиков, болтая ими в воздухе, а над головой взвыла переговорная труба:

— Снаряд под кормой! — После чего раздался топот многих ног и короткая брань Ичикова, ринувшегося на высоты командного мостика.

— Пошел шпиль! — закричал Ичиков, упершись животом в телеграф и настойчиво требуя от машины полного хода.

Машина, и точно, завернула с места самый полный, отчего «Посыльный» рванулся вперед. Но, натянув тугую якорную цепь, посыльное судно тут же остановилось, скосив, казалось, форштевень к левому клюзу, подобно лошади, которую подвыпивший возница одновременно нахлестывает кнутом и затягивает вожжами. Воздух разорвался над головой с пренеприятным треском, и неподалеку ахнул в воду второй снаряд.

— Пошел же шпиль, в самом деле! — крикнул Ичиков вне себя.

Но шпиль так и не пошел, а пошло само посыльное судно, освобожденное от якоря ударом топора по стальному тросу, который на «Посыльном» именовался якорной цепью. Поступок этот, покрывший славой боцмана Наколокина, был подготовлен забывчивостью кока, который имел привычку разрубать мясо на баке, почему топор лежал рядом со шпилем.

— Фу,— сказал Ичиков,— что они, с ума сошли или ослепли?

Труба «Посыльного», уходившего небывалым ходом от заданной штабом бригады небезопасной точки, дымила густо и старательно. Но не меньший дым и чад стояли в кают-компании, где, предоставленная событиями самой себе, чадила и дымила сгоревшая до углей яичница командира Ичикова.

Когда «Низвержение самодержавия» искусством флагманского штурмана начало чертить по воде гигантскую окружность, утверждая законы геометрии, и на стеньгу взвился до места боевой флаг — комиссар и флагман одновременно вздохнули с видом людей, открывших клетку со львами и выжидающих, что из этого проистечет.

Флагманский артиллерист совершенным именинником разглядывал в узкую прорезь боевой рубки якобы невидимую «Принцессу», ожидая первого пристрелочного залпа кормовой башни. Артиллерист же «Низвержения», погребенный на самом дне корабля в центральном посту, угадывал по разнообразным стрелкам, дискам и приборам направление и расстояние до действительно невидимой ему «Принцессы». Комендоры, оседлав сиденья у прицелов, пошевеливали башнями, удерживая крестовины прицелов на трубе «Посыльного», орудия же, задрав в небо свои холодные еще дула, исправно угрожали «Принцессе», как в том удостоверились флагман и комиссар, взглянув перед уходом в боевую рубку на доступные с мостика для обозрения три носовые башни.

И лишь в четвертой башне, скрытой от недоверчивого взора начальства пирамидой кормовой надстройки, и прицелы и орудия с завидной согласованностью смотрели на маленького «Посыльного».

Последнее обстоятельство показалось горизонтальному наводчику левого орудия, готового к залпу, неестественным, и он впал в сомнение.

— Товарищ старшина,— сказал он негромко, не отрывая глаз от прицела и вращая башню чуть заметным, но непрерывным движением руки,— спросите главстаршину, туда ли наводим. Это же «Посыльный».

Сомнение тревожной волной пробежало по башне от старшины к главстаршине и, как о скалу, разбилось о неколебимый авторитет башенного командира Затемяшенного.

— Наводить, куда приказано,— сказал он твердо, и наводчик, покачав головой, положил вертикальную нить прицела на трубу «Посыльного», предопределяя этим путь снаряда, ожидающего в канале орудия, ось которого с точностью совпадала с оптической осью прицела.

Однако собственные сомнения Затемяшенного, возникшие еще до вопроса наводчика, всколыхнулись, и сердце его упало. «Черт его знает, что-то неладно»,— подумал он и пожалел, что избежал неприятного разговора со старшим артиллеристом.

— В центральном! — крикнул он в телефон, стараясь не выказывать волнения.— Спросите старарта, нет ли ошибки: кормовая башня наводит по «Посыльному».

В телефонную трубку донеслось щелканье приборов центрального поста и недовольный голос старшего

артиллериста, отвечающий телефонисту: «Пусть глупостей не спрашивают, ясно, что в «Посыльного»...» У Затемяшенного отлегло: очевидно, стрельба будет на недолетах, когда из центрального поста дают нарочно меньший прицел.

Но сомнение, ликвидированное в кормовой башне, переметнулось в боевую рубку, ужалило флагмана и повлекло его к телефону.

— Четвертая,— сказал он озабоченно.— Проверьте, как у вас прицелы стоят!

— В порядке,— бодро ответил голос Затемяшенного,— сам проверял. Лично.

— Есть, есть,— невесело сказал флагман и отошел к амбразуре рубки.

Рубку встряхнуло — кормовая башня дала залп,— и все бинокли поднялись к глазам, исключая бинокль командира «Низвержения»: последний, загнанный штабом в щель между машинным телеграфом и спиной рулевого, мог только обозревать затылок флагманского артиллериста, чем он и занимался с нескрываемой желчностью,— вот ведь какую кашу заварил.

— Очевидно, перелет... Не вижу, куда упал,— сказал флагарт, опуская бинокль после длительного молчания. И, погрузив лицо в широкий раструб переговорной трубы в центральный пост, он вступил с артиллеристом «Низвержения» в узкоспециальный разговор о вире, вилке, кабельтовых и прочих профессиональных понятиях. Комиссар тем временем решительно шагнул к двери.

— Я на мостике буду,— сказал он флагману,— здесь ни черта не видно, и вообще это не стрельба, а... Стоп всё! Вы с ума сошли! — вдруг закричал он, кидаясь к рубке, но одновременно снизу по переговорной трубе глухо донеслась команда судового артиллериста:

— Залп!

— Отставить залп! — бесполезно крикнул вниз флагарт, чуя нехорошее.

Но снаряд, как и слово,— не воробей: вылетит — не поймаешь. Покинув длинный ствол левого орудия кормовой башни, он гудел и громыхал в ясном небе, по необъяснимой причине направляясь к посыльному судну «Посыльный».

— Кажется, стрельбу кончили? Прямо руль, курс сто двадцать,— сказал удовлетворенно флагманский штур-

ман и добавил, ни к кому не обращаясь: — Что бык? Бык — пустяки. Бык — не посыльное судно.

Письмо:

«Милая Клюшка. Я страшно занят, не огорчайся, я не смогу приехать еще около месяца. Идем в поход... (зачеркнуто). Мне тут выпала нагрузка по... (зачеркнуто). Я немного заболел... (зачеркнуто, дальше написано твердым почерком человека, отыскавшего наконец форму для мысли). Командир дал мне очень ответственную секретную работу, сама понимаешь, подробностей писать не могу, но ты не вздумай, пожалуйста, хлопотать пропуск и приезжать сама, я все равно не сумею вырваться на берег, загружен на все сто процентов. Но ты не волнуйся, все идет хорошо, и я тебя часто вспоминаю, милая Клюшенька, ты у меня... (дальше лирично и несдержанно до подписи).

Твой навсегда *Федюка*».

Другое письмо:

«...и, пожалуйста, зайди к Клюшке и подтверди, что я страшно занят, я не хочу ей писать, а то она будет реветь, а я не могу, если она ревет. Ври крепче, да не запутайся.

Главное, что в конечном итоге все это вышло из-за нее, и, если все рассказать, ей будет неприятно, и она будет себя винить, что тогда я не поехал вовремя. А кто же знал, что они выдумали такую нечеловеческую стрельбу, раз я опоздал и не был на собрании комсостава, где командир объяснял? Думал, стрельба нормальная. Главное, я тогда обрадовался, что в башне никого нет, были только два ученика-электрика, а я как осмотрел прицелы, так и ахнул: вижу, что сворочены градусов на тридцать в сторону, вот, думаю, хорошо, что вовремя заметил, еще ученикам на вид поставил. А они говорят: утром приходил старший артиллерист, за вами посылал, ждал, ждал, потом говорит: ладно, появится, дам ему жизни,— и свернул прицелы на сторону. Я и подумал, что проверяет мою бдительность, и, понимаешь, сам тихонько давай согласовывать по собору, чтоб никто не знал, что у меня в башне заведение,— дурак, и больше ничего. А командир, когда потом мне хвост

наламывал, спрашивал: «Тов. Затемяшенный, чем у вас голова набита? Когда вы получили приказание наводить по «Посыльному», неужели не могли сообразить, что ненормальность и будете сейчас крыть «Посыльного»? А главное, я правильно удивился, почему же стреляют в «Посыльного», а потом догадался, что, наверное, стрельба на недолетах, как, помнишь, раз стреляли, и сам флагарт тут, он же видит. Хотел сделать лучше, а вышло — чуть не угробили «Посыльного», и теперь мне такой срам на весь РККФ, хоть стреляйся, да жалко Клюшки, выходит, что недослужишь — бьют и переслужишь — бьют. Пока прощай, пожалуйста, пересылай мне Клюшкины письма прямо сюда, я буду отвечать. Жму руку.

С артиллерийским приветом твой товарищ

Ф. Затемяшенный.

21 июля 1926 года, гарнизонная гауптвахта».

БЕШЕНАЯ КАРЬЕРА

Должен вас заранее предупредить, что за достоверность этой истории я ручаться не могу, так как сам свидетелем ее не был.

К чужому рассказу я привык относиться недоверчиво: когда человек рассказывает какой-нибудь поразивший его случай, он обязательно кой-чего добавит для усиления эффекта — не то чтобы соврет, но, так сказать, допустит художественный вымысел. От этого удержаться трудно, это уж я по себе знаю.

Но, впрочем, историйка эта похожа на правду, потому что в те годы комсостав как-то не очень согласованно ездил в Петроград, в особенности глубокой осенью, когда походы закончены. И на этой почве порой происходили разные ненормальности, иногда тяжело отражавшиеся на ни в чем не повинных людях. Вот так и случилось, что штурмана Трука Андрея Петровича за короткий срок вознесло на такую служебную высоту, что это сильно на него повлияло,— и, как я полагаю, скорей всего от внезапности.

Разумная постепенность — это великое дело. Исподволь человека ко всему приучить можно. Как, например, с глубины водолаза подымают? Метр-два в минуту — и больше ни-ни. А вынь его сразу метров с пятидесяти — лопнет ваш водолаз изнутри от внезапности, и все тут.

Может быть, если бы в прохождении службы штурмана Трука была разумная постепенность, ничего бы и не случилось. Правда, тогда и рассказывать о нем было бы нечего, потому что ничем он не выдавался, и коли б не этот случай, так и стерлось бы его имя в списках Управления комплектования.

Служил потихоньку Андрей Петрович на линейном корабле в должности старшего штурмана. Вот не могу вам объяснить, почему в те годы так выходило, что коли заведут на корабле переплетную или сапожную мастерскую, обязательно ее в заведование старшему штурману дадут. То ли считалось, что у него времени больше, чем, скажем, у старшего артиллериста, то ли думали, что раз у штурмана таблицы логарифмов, то самое святое дело ему баланс судовой лавочки подводить,— только ни разу я не видел, чтобы этими побочными заведованиями загружали химиков, минеров или, упаси боже, артиллеристов. Словом, служил старший штурман Трук на линейном корабле по прямой своей специальности, то есть судовой лавкой заведовал, дознания производил, шефов ездил встречать, в свободное же время привлекался к внешкольной работе — самодеятельный спектакль ставил или антирелигиозные лекции читал, поскольку зимой корабль на якоре и работы штурману все равно никакой нет. Был он сам человеком тихим, скромным, и если доводилось ему приказывать, то и приказывал он с приятной застенчивостью: «Из правой бухты, пожалуйста, вон!»

И вот такой человек потерпел от стечения обстоятельств и от внезапности.

Началось все это с аппендицита — объявился под осень у старшего помощника. А надо сказать, в те годы болезнь эту рассматривали как дар божий или благословение судьбы: операция сама по себе пустяковая, минут на двадцать, но большую пользу принести может, если к ней иметь правильный подход. Во-первых, после припадка необходимы диета и режим, а это в переводе на русский язык значит — месяца полтора припухать дома или в госпитале, а то и в санатории, как кто сумеет. А уж после операции два месяца отпуска с комиссии не сорвать — прямо в глаза смеяться станут. Очень эта болезнь была в почете, это нынче она как-то унижена,— резанут тебе живот между двумя погружениями, и все тут,— а тогда к ней совсем иначе относились. Словом,

был на корабле старший помощник командира — и исчез с горизонта, остался один неработоспособный червеобразный отросток, каковую должность (я хочу сказать, должность старшего помощника) и пришлось временно исправлять старшему штурману Андрею Петровичу Труку.

Но в этой новой должности он ничуть не загордился, с лица только несколько спал, хлопот прибавилось. Походил это он так денек-другой — второй случай: зовет его в каюту командир линкора и на кресло указывает.

— Присядьте,— говорит,— Андрей Петрович. Так и так, должен я по долгу службы отбыть на две недели для прохождения курса газовой техники при Военно-морской академии. И, поскольку она находится в городе Петрограде, придется вам, как старшему моему помощнику, принять на себя командование кораблем. Но вы не смущайтесь, делать сейчас особенно нечего, да в крайнем случае вам командир бригады поможет, раз он у нас на корабле флаг держит. Прошу вас, распишитесь.

Расписался штурман Трук в книге приказов и вышел из каюты, несколько сгорбившись. И то сказать — двадцать три тысячи тонн кому хочешь могут спинку согнуть, особенно с непривычки. Однако он и этим не загордился, только грусть какая-то в глазах появилась, сам же скромный по-прежнему и тихий.

Командовал он так линейным кораблем еще денек, до пятницы. А надо вам сказать, что пятница в те времена была особым днем: вообще-то увольнение в Петроград разрешалось с субботы после обеда, но обычно все, кто мог, в пятницу сматывались. Считалось, что с утра субботы можно выполнить в Петрограде служебные дела, так уж, мол, вроде бы заодно. И вот в пятницу сразу после обеда заходит к нему флаг-секретарь командира бригады линейных кораблей и тоже книгу приказов кладет.

— Как вы,— говорит,— в настоящий момент будете командиром флагманского линкора, то пожалуйте новый чин на себя принять. Распишитесь.

Прочел Трук книгу приказов по бригаде, помолчал немного и, вздохнув, промолвил:

— Что ж, я готов. Извольте. Только,— говорит,— как-то странно получается: чины на меня, будто клопы, лезут, а разряд содержания, заметьте, все одиннадцатый.

— Насчет разряда,— отвечает флаг-секретарь,— командир бригады не распространялся. И, по-моему, это просто несообразный вопрос, тем более что вам доверяют бригаду линкоров только до понедельника, поскольку флагман отбывает для произнесения речи на конференции работников Губмедснабторга, которые являются шефами штаба. И не задерживайте меня, Андрей Петрович: я тоже человек, а катер вот-вот отойдет.

Проводил штурман Трук катер с комбригом и штабом и пошел в кают-компанию.

В кают-компании же нормальный вечерний отдых: трюмный механик одним пальцем правой руки дуэт из «Сильвы» играет, левой же всеми пятью в басах неизвестное — называется аккомпанемент; со столов чрезвычайный стук идет — не то клепальщики работают, не то рожь молотят, но, впрочем, ничего особенного, просто играют в распространенную игру под названием домино, или «козел»; вентиляция же вовсе всех кроет, и голоса человеческого, в особенности жалобного, во всем этом не слышно.

Попробовал он поискать сочувствия у приятеля своего, башенного командира Матвеева, а тот весельчак такой был и на все смотрел крайне легко.

— Это,— говорит,— пустяки, бригада-то линкоров! Как бы на тебя, Андрей Петрович, весь флот не навалили, все может статься.

Трук на него руками замахал и пошел к себе в каюту, в одиночестве бремя власти переживать. Но переживал он недолго: через часик зазвонил у него телефон. Трук трубку взял без всякой властности, наоборот, с некоторым недоумением и вроде как с растерянностью, из трубки же малознакомый голос:

— Кто это говорит?

— Старший помощник командира.

— А я просил командира.

— Это и есть командир,— говорит Трук.

— Виноват, мне командир бригады нужен.

— Это же и есть командир бригады, временно, то есть врид,— отвечает Трук.

— Соединяю с помначраспротдела штаба флота, не отходите от трубки.

— Хорошо,— говорит Трук,— соединяйте, какая разница.

И, произнеся это совершенно безразличным тоном, стал в рассеянности таракана пальцем придерживать, который по любопытству вылез из аппарата к разговору (сидел бы уж внутри!). А из трубки такой типичный штабной голос, не привыкший к возражениям:

— Говорит помощник начальника распорядительного отдела штаба флота такой-то. Вследствие того, что начальник штаба флота временно остался за командующего, так как последний вчера отбыл в город Петроград на торжественный выпуск барабанщиков музыкантской школы и поскольку первый отбыл сейчас по встретившейся надобности в город Петроград, в управление торгового порта, для выяснения, какой толщины ожидается этой зимой ледяной покров Балтийского моря, то, учитывая, что вы командир бригады линейных кораблей того же моря, вам, по приказанию начальника штаба, надлежит вступить в командование таковым на срок двое суток.

— Ничего не понимаю,— говорит Трук печально и таракана поднажал, у того усики на лоб полезли.— Каковым это таковым?

— То есть как не понимаете? Вот вы теперь командующий флотом, только и всего. До понедельника.

— Позвольте,— говорит Трук, приходя во взволнованность, а таракану податься некуда.— Как это так — командующий?.. Я же не в самом деле командую бригадой линейных кораблей, а исключительно по стечению обстоятельств. Кроме того, за что же я? Есть и другие флагмана — бригады эсминцев, например, или учебного отряда... Нельзя же так, в самом деле, не разузнавши...

— Ничем, к сожалению, вам помочь не могу,— отвечает холодным тоном помначраспротдела.— Приказ есть приказ, начальник штаба его перед отъездом подписал, и я менять не могу. А перечисленные вами флагмана все, может, уже в Петрограде, потому пятница.

И трубкой — шварк.

Тут Трук таракана вовсе раздавил и впервые в жизни заговорил властным голосом в повешенный на той стороне линии телефон:

— Послушайте, вы... помначраспротак вас и этак! Никакой я не командир бригады, и нашивок у меня две с половиной, и разряд по тарифной сетке одиннадцатый, а вы — комфлот!.. Я буду жаловаться, я, может, до прокурора дойду! Что это за штабные штучки?..

А служба связи со всей вежливостью:

— Кончили?

— Кончил,— говорит Трук,— кажется, кончил, дальше некуда, разве за начальника морских сил республики останусь, да счастье мое — Москва далеко...

И пошел, пошатываясь, в кают-компанию пожаловаться приятелям на свою бешеную карьеру, увидел Матвеева и головой покачал:

— Прав ты был. Вот я и флотом командую. До понедельника.

А тот жестоко хохочет, и все кругом от смеха по диванам валяются. Трук вовсе обиделся и пошел спать, чаю не пивши.

Только спал он тревожно и во сне все вздрагивал, потому что по всем линиям ему кошмары снились. То по командирской линии приснилось, будто из Москвы инспекторский смотр приехал, а весь комсостав откомандирован на курсы физической культуры. То по линии старшего помощника, что пришел приказ ввести в расписание занятий по четвергам с четырнадцати часов маникюр для всех, не исключая кочегаров, а помощнику чтоб раздобывать лаку и присматривать. То по линии комфлота,— будто пришлось созвать совещание флагманов, флагмана поприезжали, а на поверку оказалось, все штурмана — вриды, и вместо совещания все на свою штурманскую судьбу жалуются и просят освободить. А под утро приснилось, что эсминец «3 июля» утонул. И ведь так отчетливо приснилось,— будто стоял, стоял «3 июля» у стенки — и вдруг пошел на дно Средней гавани, пуская из труб пузыри. А на стенке народ волнуется, и прокурор статью ищет в отношении бездействия власти. Тут Трук вскочил с койки и, как был, с голыми ногами, в кресло прыгнул и стал ручку вертеть:

— Дайте мне дежурного по штабу морских сил!

И, утратив всю свою скромность, закричал громовым голосом, привыкшим перекрикивать гул сражений.

— Бегите,— кричит,— немедленно на стенку и лично удостоверьтесь, не утонул ли там эсминец «3 июля»!

— Во-первых,— отвечает дежурный по штабу с наивозможной ядовитостью, потому что Труков звонок его разбудил,— во-первых, ни в июле, ни в августе, ни в сентябре у нас утонувших эсминцев не числится, а во-вторых, позвольте узнать, кто это интересуется?

— Старший штурман вверенного мне корабля,— в гневе по забывчивости говорит Трук.— И вы мне календарь не вычитывайте, я спрашиваю про эсминец «3 июля», который, возможно, затонул в гавани.

— Во-первых,— говорит дежурный с новой ядовитостью,— во-первых, я вовсе флагманский юрисконсульт и к штурманам никакого касательства не имею, звоните своему флагштурману. Во-вторых, как же это живой миноносец в гавани утонет? Это совершенно невероятно. А в-третьих, мне в конце концов в телефонную трубку не видно, кто это там так расприказывался?

— Врид командующего флотом, врид начальника штаба флота, врид командира бригады линкоров, врид командира корабля и помощник его тоже врид. А у телефона старший штурман Трук.

— Здравствуйте, Андрей Петрович,— говорит юрисконсульт.— Чего это у вас ночью столько народу собралось?

— Здравствуйте. Народу же никакого нет, и всё это один я — Трук. И я вас попрошу, вы к моему голосу привыкните, потому что я, может, всю ночь распоряжаться буду. Итак, выполняйте мой словесный приказ.

И, не слушая, чего ему там дежурный по штабу говорит, трубку повесил и пошел в беспокойстве на палубу — сам посмотреть, ибо уже рассвело. Глядит — кораблей видимо-невидимо, а сколько их — не поймешь. Может, и вправду кто утонул. Дай, думает, по трубам сосчитаю, все ли в целости. Стал считать и сбился, потому что с мостика сигнальщик перевесился и докладывает:

— Товарищ вахтенный начальник, эсминец «Внушительный» просит разрешения войти в гавань!

А Труков линкор, как флагманский, старшим на рейде был, и вахтенный начальник равнодушно отвечает:

— Поднять «добро́», не препятствовать!

Но Трук его перебил и даже руку простер в знак предостережения.

— Нет,— сказал, как отрезал,— возможно, где-либо в гавани «3 июля» на дне лежит, еще напорется. Пусть походит в море до выяснения.

Командир же «Внушительного» глазам не поверил: подняли флаг «аз», что означает — «нет, не имею, не согласен».

— Как,— говорит,— не согласен, когда мне в гавань надо? Это же небывалый случай, подымите еще раз.

Вновь сигнал подняли, и вновь «аз» получили. А на третий — командир «Внушительного» плюнул и говорит:

— Право на борт, они там с ума посходили, у меня и хлеб кончился. Ладно,— говорит,— уйду вот к черту в море, пока угля хватит, а потом сами наплачутся.

И пошел рассекать стальной грудью свинцовые волны Финского залива, а завхозу приказал сухари и консервы неприкосновенного запаса доставать.

Между тем флаг подняли, и начался служебный день. Трука в каюту увели: подписывать. Сидит в каюте, а кругом народ столпившись. Ничего, справляется. Сперва печати путал — куда судовую, куда бригадную, но после наладился: бригадную — штабному писарю дал, корабельную — своему писарю Елизару Матвеевичу.

— Стукайте,— говорит,— где надо, а то я собьюсь.

Сидит и дела вершит, а старшему баталеру пресс-папье доверил. Вначале полностью подписывал — слева «врид», справа «Трук», потом по букве сбавлять стал для скорости: «ври» — «Тру», «вр» — «Тр», а на втором часе просто палочки ставить стал: слева палочку и справа палочку, печать — тук, пресс-папье — шлеп, полный конвейер. Однако к концу у него в голове помутилось, открыл рот, что рыба на песке, и глаза — как у рыбы той же, мутные и со слезой: еще дышит, но распоряжаться уже не может, потому что вся властность у него через эти подписи вышла.

Но к данному моменту остался при нем только старший судовой писарь Елизар Матвеевич с книгой приказов по кораблю — человек почтенный и заслужённый, тринадцатый год в писарях ходил и многое за эти годы повидал. Смотрит на него и сочувствует.

— Вы,— говорит,— Андрей Петрович, большую ошибку допустили, что все вперемежку подписывали. В подобных случаях для здоровья гораздо безопаснее расчленить свои функции. Вам бы штабные дела следовало в салоне вершить, судовые — в командирской каюте, а разную мелочь, боцмана там или содержателя, в помощниковой каюте выслушивать. У нас в восемнадцатом году на «Забияке» командир эсминца, бывший старший лейтенант Красильников, цельную зиму вот так же за начальника дивизиона страдал, и очень хорошо получалось, потому что организованность была. Он по штабным делам в своей каюте ни за что говорить не станет: у меня здесь, говорит, иная психика. А у нас всю зиму узкое ме-

сто было — погрузка угля на «Оку», она все четыре эсминца отапливала, а команды некомплект, и все командиры эсминцев за каждого человека торговались. Вот подвезут уголь, доложат Красильникову, он сейчас в каюту начальника дивизиона, и меня туда кличет. Продиктует телефонограмму — выслать на погрузку со всех эсминцев по десяти военморов, подпишет и уйдет к себе. Я телефонограммы разошлю, и ему тоже принесу, как командиру «Забияки», докладываю. Он прочтет и рассердится: «Что они в штабе там думают? Мне и шестерых не набрать, пишите ответ»,— и продиктует поядовитее. Подпишет — я ее в штабной входящий перепишу, иду в каюту начальника дивизиона, там опять Красильникову докладываю: вот, мол, ответ с «Забияки». Он прочитает, подумает, иной раз сбавит, а иной раз повторную телефонограмму шлет — выполнить, и никаких. А раз так рассердился, что написал приказ — командира «Забияки» на трое суток без берега, и что ж бы вы думали: отсидел, еще приятелям жаловался, что начальник дивизиона прижимает! Правда, потом выяснилось, что он в уме поврежден был от перемен в истории государства, но способ нашел очень облегчающий службу, если до крайности, конечно, не доводить...

А Трук выслушал и только рукой махнул — не поможет, мол, и по каютам ходить. Вдруг телефон зазвонил. Опять говорит неизвестный голос из штаба флота: тут мол, из Москвы пакет экстренный на имя комфлота и в нем загадка лежит, как тому Ивану-царевичу, которому давали нагрузку за ночь золотой дворец отгрохать с отоплением и освещением,— немедленно сообщить данные о потребности на предстоящую летнюю кампанию угля, нефти и смазочных материалов для всего флота с приложением оперативных обоснований, и чтоб все к вечеру было выслано, потому что в понедельник утром доклад.

Трук прямо побледнел.

— Есть, есть,— отвечает,— сейчас распоряжусь...

А сам повесил трубку и с отчаянием говорит:

— Так и знал! Что же я в субботу с таким предписанием делать стану? Что у них, в Москве, календарей нет, что ли?..

Елизар Матвеевич, подумав, дал совет — выслать ориентировочно, по догадке, и присовокупить, что точный расчет высылается дополнительно,— это, говорит, тоже

хорошо помогает, главное в таких случаях — быстро ответить. Но Трук голову на руки уронил и не решается, а тут телефон опять зазвонил, требуют из штаба флота командира линкора к разговору, а в каюту боцман зашел — приборка субботняя закончилась, так будет ли осмотр? И еще писарь штабной просится — оказалось, три бумажки в горячке пропустили, и старшина-рулевой ввалился, часы требует, пора время проверять,— словом, полный комплект. Елизар Матвеевич всем в грудки уперся и полегоньку выставил в дверь, а сам остался, думает, может, чем помогу. Трук в телефон говорит:

— Слушаю, врид командира линкора,— а сам весь трясется.

По телефону же дежурный по штабу (уже не юрисконсульт, а комендант штаба, сменились) обижается:

— Что это у вас на мостике произошло? От командира «Внушительного» радио получено, что его в гавань не пустили сигналом с вашего корабля и он стал на якорь в бухте Уединенной и просит буксиры, поскольку топливо кончилось. Очень прошу вас, разобраться в данном случае и наложить на виновного строгое взыскание.

— Есть, есть,— говорит Трук,— наложу. Даже с удовольствием. До свиданья, сейчас распоряжусь.

Положил он трубку и с таким просветлением на лице спрашивает Елизара Матвеевича:

— Посмотрите-ка в книге приказов по кораблю, какой последний номер был?

Елизар Матвеевич с гордостью отвечает:

— Мне и смотреть нечего, я все приказы текущего года помню: номер четыреста семьдесят шестой...

— Вот и хорошо,— говорит Трук с отчаянной решимостью и начал в портфель какую-то ерунду складывать: зубную щетку, мыло, папиросы.— Пишите, Елизар Матвеевич, телефонограмму: «Командиру бригады эсминцев...» Или, впрочем, нет,— там штурмана все знакомые, еще нечаянно в кого из приятелей угадаешь. Лучше так пишите: «Командиру учебного отряда. Отбывая сего числа для срочного выполнения приказа № 477, предлагаю вам вступить во временное исполнение должности командующего флотом. С получением сего немедленно озаботьтесь назначением временно исполняющих должности начальника штаба флота, командира бригады линкоров, командира линкора «N», старшего помощника

командира и старшего штурмана того же линкора, поскольку все перечисленные лица отбывают вместе со мной для выполнения приказа № 477. Подпись: врид командующего флотом Трук».

— Ну вот,— говорит,— теперь и дышать как-то легче!.. Давайте сюда вашу книгу приказов, Елизар Матвеевич!

Сел к столу и твердой рукой сам написал следующие исторические строки:

«Приказ
по линейному кораблю «N» № 477

За недопустимую халатность в организации сигнальной службы, выразившуюся в поднятии флага «аз» вместо флага «добро», арестовываю старшего штурмана вверенного мне корабля военного моряка Трука Андрея Петровича на трое суток с содержанием при гарнизонной гауптвахте.

Вр. и. д. командира линкора Трук».

Промокнул он это, полюбовался, потом написал на полях, где положено: «Читал. А. Трук», и с повеселевшим видом обратился к Елизару Матвеевичу.

— Напишите,— говорит,— скоренько записку об арестовании и дайте башенному командиру Матвееву подписать во исполнение приказа по кораблю. Только поскорее, Елизар Матвеевич, а то, не дай бог, еще что-нибудь случится.

Елизар Матвеевич с сочувствием спрашивает:

— Может, катерок прикажете подать штабной или, в крайнем случае, наш, как командиру корабля?

— Нет,— говорит,— я лучше пешком пройдусь, погода вполне хорошая, а у меня нынче голова устала от этих беспокойств.

Взял портфель и пошел наверх, совершенно счастливый.

А башенный командир Матвеев, как увидел записку об арестовании, побледнел, фуражку схватил и за Труком кинулся. Нагнал его на стенке и кается:

— Андрей Петрович, иди ты на вверенный тебе корабль, ничего там особого нет! Никакой ты не комфлот, это мы тебя на пушку взяли... И за помначраспротдела я звонил с соседнего линкора, и о пакете экстренном из Москвы тоже я... Хотели тебя попугать маленько, да кто же знал, что у тебя такие нервы слабые...

Но Трук на него посмотрел ясным взором и отвечает:

— Нет, Иван Сергеевич, я уж лучше на губу пойду до понедельника. Там спокойнее.

Едва-едва его обратно втроем увели, и все время возле него кто-либо на вахте стоял до самого утра понедельника, потому что при каждом телефонном звонке Трук вздрагивал и с места срывался — на стенку бежать.

А в понедельник утром башенный командир Матвеев сложил в портфель зубную щетку и папиросы и пошел на гауптвахту. Только не на трое суток, а на все двадцать, так как командир бригады полную власть к нему применил.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Самый поразительный случай за годы моей политработы был, пожалуй, в тысяча девятьсот двадцать втором году на учебном судне.

Вот много говорится об индивидуальном подходе к людям, что, мол, всех под одну гребенку равнять нельзя и в воспитательной работе обязательно надо учитывать особые свойства самого человека. Так вот, в первые годы моего комиссарства я раз с отчаяния такой индивидуальный подход загнул, что теперь вспомню — и сам удивляюсь.

Однако результаты оказались выше всех ожиданий, и сохранил я для Красного флота одного очень ценного человека.

Был тогда у нас на учебном корабле вторым помощником командира Помпей Ефимович Карасев. Собственно, настоящее его имя было По́мпий, но в семнадцатом году, пользуясь гражданскими правами, он это имя во всех документах переделал на Помпея и даже соответственно перенес день своего ангела с седьмого июля на двадцать третье декабря. Пояснил он это тем, что имя Помпий очень смахивает на пожарную помпу, чем при царском режиме ему порядком надоедали корабельные шутники, а Помпей много благозвучнее и даже имеет флотский оттенок, потому что, как услышал он это на лекции в гельсингфорсском матросском клубе, некий римский воевода Помпей одержал морскую победу и, следственно, тоже был военным моряком.

Должность второго помощника командира в те годы мало чем отличалась от должности главного боцмана —

как говорится, свайки, драйки, мушкеля, шлюпки, тросы, шкентеля,— и поскольку боцман у нас, по мнению Помпея, был слабоват, он сам круглые сутки катался по кораблю шариком на коротеньких своих ножках, подмечал неполадки и «военно-морской кабак» и по поводу этого беспрерывно извергал сквернословие, весьма, надо признаться, затейливое. Так же подавал и команды на аврале: в команде, скажем, пять слов, а у него — пятнадцать и остальные десять все посторонние. Прямо удивляешься, откуда что берется... Правда, плавал он к тому времени более двадцати лет и на этом же корабле с девятьсот восьмого года в боцманах ходил. До того он к этому диалекту привык, что иначе ни на какую тему говорить не мог, и раз я просто поразился, в каких случаях он на нем изъясняется.

Заработался я как-то ночью, слышу восемь склянок, ну, думаю, Помпей Ефимович, наверное, уже на ногах, он позднее четырех утра на палубу не выскакивал. А мне надо было ему сказать о покраске библиотеки. Ну, пошел я к нему в каюту,— а каюта у него была своеобразная: на столе ни чернильницы, ни бумажки, ни книжки, чистый стол, как шканцы, палуба вымыта и медяшка грелки собственноручно надраена, а на грелке вечно чайник стоит. Пользовался он каютой только для того, чтобы с полуночи до четырех и после обеда до разводки на работы поспать и вечерком — часок чайку попить. Тогда стелил он на письменный стол газетку, снимал с грелки чайник, где с утра чай парился, скидывал китель, доставал из шкафа кружку и сахар — и наслаждался.

Приоткрываю я тихонько дверь, думаю, может, он еще спит, и вижу: стоит он в исподних на коленках перед стулом — а на стуле крохотная иконка (вероятно, в нерабочее для нее время она в шкафу вместе с сахаром лежала) — и истово крестится. Вы скажете, мне бы следовало в это дело вмешаться, но к этим пережиткам тоже надо было подход иметь, а тут человек скромно отправляет культ в своей каюте, не мешая службе, агитацией религиозной не занимается,— ладно, думаю, при случае воздействую осторожно.

Хотел уже дверь прикрыть, но донеслась тут до меня его молитва, я чуть не фыркнул: увлекся мой Помпей, меня не видит и причитает у иконки, да как!.. В той же пропорции, что с командами — пять слов молитвы, а де-

сять посторонних. Жалуется богу на командира, что тот ему зря фитиль вставил за беспорядок на вельботе — и попутно, как рванет командирскую бабушку в тридцать три света, в иже херувимы, в загробные рыданья и пресвятую деву Марию, и вслед за тем — молитву о смягчении сердца власть имущих, поминая царя Давида и всю кротость его.

Ну, конечно, господу богу обращаться ко мне, как к комиссару корабля, с претензиями на второго помощника было неудобно, и от него я жалоб не слышал. А вот от комсомольцев мне за Помпея порядком приходилось. Особенно горячился комсомольский отсекр Саша Грибов. Это был год первого комсомольского набора на флот, и почти все ученики машинной школы, что у нас на корабле плавали, недавно еще были комсомольскими работниками не ниже уездного масштаба, а Помпей их благословляет с утра до вечера. Конечно, обидно. На собраниях шумят, ставят вопрос о списании Помпея с корабля как пережитка, словом, что ни день, то к командиру — рапорт, а к комиссару — постановление комсомольского бюро. Я Грибову объясняю:

— Товарищ дорогой, у нас военный флот, а не губернская конференция, пора уж, в самом деле, привыкать. Вы бы лучше, чем шум подымать, помогли бы мне — провели бы со своей стороны воспитательную работу над стариком. Народ вы молодой, флота не знаете, учить вас морскому делу надо. А где мы другого такого специалиста по шлюпкам, парусам, тросам и прочим премудростям найдем? В учебниках не все написано, а в нем двадцатилетний опыт. Кто вас так научит узлы вязать, краску составлять, фигурные маты плести?

— Да вот о матах-то я и толкую,— говорит Грибов,— он, товарищ комиссар, не плести маты нас учит, а загибать их. Вы послушайте, как наши комсомольцы в быту стали говорить: через два слова в третье — загиб. Думают, это настоящий флотский шик и есть, а как их разубедишь, когда живой пример перед глазами, тем более комсостав?

Ну, я вижу, вопрос перерастает в политическую плоскость — Помпей и впрямь у меня молодое пополнение портит. А на комсомольцев в те годы с разных сторон влияли: жоржики, которых с флота еще не всех повыкидали, татуировочку насаждают, блатной лиговский язык прививают, якобы флотский. Иной раз слушаешь —

передовой комсомолец, недавно еще где-либо у себя в Калуге новый быт насаждал,— а тут из-под бескозырки чуб выпустит, клеш в семьдесят два сантиметра закатит и говорит примерно так: «Чьто ж, братва, супёшнику счас навернем, с коробочки потопаем, прокинем нынче по Невскому, бабца какого наколем — и закройсь в доску до понедельника». Я раз их собрал, высмеял, а о «коробке» специально сказал. «Вы,— говорю,— на этом корабле в бой за Советскую власть пойдете, на корабле живете, учитесь, а нужно — и умирать будете, а вы такое гордое слово — корабль — в коробку унизили». И рассказал им попутно, как русские матросы в старое время и в гражданской войне кораблем своим гордились и сами с ним на дно шли, как в Новороссийске над этими «коробками» тяжелыми мужскими слезами плакали, когда их топить пришлось... Ну, дошло это до комсомольского сердца, и слово «коробка» у нас действительно исчезло, а прочий лиговский язык никакой борьбы не выдерживал.

А тут еще Помпей мат культивирует, борьба на два фронта получается...

Вызвал я его к себе в каюту, посадил в кресло и начал проводить политработу:

— Так и так, Помпей Ефимович, грубая брань унижает не того, в кого она направлена, а того, кто ее произносит. Это,— говорю,— в царском флоте было развито как неуважение к личности трудящегося, а в наших условиях на матерщинника смотрят как на некультурный элемент. Словом, чтобы не действовать административно, я вам не предлагаю в порядке приказа изжить матерную брань, а говорю по-хорошему: будьте сознательны, бросьте это дело.

Говорю, а сам вижу — слова мои в него, как в стенку, ни до души, ни до сознания не доходят: сидит мой Помпей, красный, потный, видимо, мучается, да и побаивается — для него комиссар страшнее командира. Нет, думаю, не тот у меня подход, надо эти лозунги бросить. Я на другой галс лег — объясняю попросту, задушевным тоном: молодежь, мол, теперь иная, это не серые новобранцы с деревни, а комсомольцы, у каждого своя гордость, и им обидно. Это нам с вами, говорю, старым морякам, как с гуся вода,— покроют,— и не встряхнешься. А им внове, надо же понимать.

Слушал, слушал Помпей Ефимович, потом на меня

глазки поднял,— а они у него такие маленькие были, быстрые и с большой хитринкой.

— Так, товарищ же комиссар, они приобыкнут! Многие уже теперь понимают, что я не в обиду и что никакого неуважения их личности не выказываю. Наоборот, иной сам чувствует, что это ему в поощрение или в пояснение. И работать веселей, а то все швабры да щетки, чистоль да тросы изо дня в день — прискучает. Опять же, скажем, терминология: эти самые ваши комсомольцы по ночам морскими терминами бредят, комингсы им разные снятся да штаг-корнаки. А я каждому предмету название переиначу позабавнее или рифму подберу, вот оно легче и запоминается.

— Вот вы,— говорю,— и напереиначили так, что теперь в кубрик не войдешь: сплошные рифмы висят — и речи человеческой не слышно.

А он на меня опять с хитринкой смотрит:

— Так что ж, товарищ комиссар, на корабле дамского общества, слава богу, нет, самый морской разговор получается, и беды я в том не вижу. Ну, если б я, скажем, дрался или там цепкой по спине протягивал, как царские боцмана себе позволяли, тогда ваши возражения были бы понятны. А тут — чего же особенного?

— Ну,— говорю,— Помпей Ефимович, уж коли бы вы еще допускали зубы чистить, тогда у нас и разговор с вами был бы иной. Мы бы с вами не в каюте, а в трибунале договорились.

А он смутился и сейчас же отбой:

— Да нет, знаете, я этой привычки и в царском флоте не одобрял, и теперь не сочувствую. Потому что она увечье дает, кроме того, действительно обидна для человека, потому что старшему в чине сдачи не дашь. А главное — никакой от нее пользы для дела, и не всегда дотянешься... Хотя, впрочем, раз довелось мне видеть, что и такая привычка обернулась во спасение жизни человеку.

Ну, я примечаю, что у Помпея случай на языке чешется. Я и придрался, чтоб дать ему разговориться и свободнее себя со мной чувствовать, потому что дело такое, что официальным подходом не разрешишь, а он сидит на кончике стула, стесняется, и душевного разговора в такой обстановке не добьешься.

— Как же,— говорю,— так в спасение жизни? Это странно... Может, поделитесь? Я до подобных историй

очень большой охотник. Сейчас я чайку налажу, вот за чайком и расскажете.

— Нет,— говорит,— спасибо, чайку я вашего не буду. Я знаю — у вас не чай, а верблюжья моча... то есть я хотел выразиться, что жидкий... Я чай привык своего настою пить. А вот за папироской расскажу.

Закурили мы, он и рассказывает:

«Я тогда без малого пешком под стол ходил. Плавал в Белом море на такой посудине, называется «Мария Магдалина». Рейс незавидный: по весне поморов на промысла развозить, а по осени обратно их в жилые места собирать. Вот осенние рейсы и мучили, беспокойно очень: у них привычка была — как напьются, так в спор. Ножи там или топорики — это у них отбиралось, но, бывало, и кулаком вышибали дух. Это тоже из терпения выводило: на каждого покойника акт надо и в трех экземплярах. А писал акты первый помощник, очень не любил писать, непривычное дело.

На них одна управа была — кран. Это капитан придумал, точное средство было: как драка, так обоих ухватить, животом на лямки, которые лошадей грузят,— и на краны поднять. У нас два таких крана было, аккурат у мостика. Болтаются оба, покручивает их, раскачивает, и самолюбием страдают, потому остальные на них ржут: очень смешные рожи корчили. А на втором часе скучать начинали. Говорят, печенку выдавливает и в голове кружение. Повернет его лицом к мостику,— «смилуйтесь,— кричит,— ваше степенство, ни в жисть не позволю ничего такого!». А капитан твердый был, Игнат Саввич звали. «Виси,— говорит,— сукин кот, пока всю мечту из головы не выкинешь». Очень они этого крана боялись.

Вот идем мы как-то, стою я на штурвале и смотрю на бак. А там у двоих спор вышел, о чем — это не поймешь: они, может, еще в мае месяце спорить начали. Стоят, плечиками друг в друга уперлись и спорят. «Не веришь, окаянная душа?» — «Не верю,— говорит,— не бывает такой рыбы».— «Не веришь?» — «Не верю».— «А по зубам съезжу, поверишь?» — «Все одно не поверю». Размахнулся тот и ударил. Удивительно мне показалось — такой ледащий поморишка, а сила какая, значит, правота в нем от самой души поднялась,— тот так и покатился. Поднялся, утер кровь. «Обратно,— говорит,— не верю: нет такой рыбы и не могло быть».

Тут капитан им пальчиком погрозил: «Эй,— говорит,— такие-сякие, поаккуратнее там! Будете у меня на кранах болтаться, как сыры голландские!» Притихли они, главный спорщик шапку скинул. «Не утруждайтесь,— говорит,— ваше степенство, это у нас просто разговор промеж себя, а безобразия мы никакого не позволим». Вижу, замирились будто, еще по стаканчику налили, а я на воду глаза отвел, вода — что масло, штиль был. Потом слышу — обратно на баке шум. Стоят эти двое у самого борта, и ледащий опять наседает: «Не веришь,— говорит,— так тебя распротак?» — «Не верю».— «Хочешь, в воду прыгну?» — «Да прыгай,— говорит,— все одно не поверю». Не успел Игнат Саввич матроса кликнуть, как тот на планшир вскочил, и в лице прямо исступление. «Я,— кричит,— за свои слова жизни решусь! Говори, подлец, в остатний раз спрашиваю: не веришь?» — «Не, не верю».— «Так на ж тебе, сукин сын!» — и прыг в воду. А тот перегнулся за борт и кричит: «Все одно не поверю, хоть тони; нет такой рыбы и не могло быть!»

Ну, пока пароход останавливали, пока шлюпку спускали, Игнат Саввич ему разными словами дух поддерживал. Но так неудачно с ним получилось, даже обидно: уши в воде были, не слыхал ничего, видимо. Очень он неловко в воде был: руки, ноги свесил в воду, и голову тоже, а по-над водой один зад маячит. Жиру у него в этом месте больше было или просто голова перевесила, это уж я не скажу, но так и плавал задом наружу, пока шлюпка не подгребла. Так за зад и вытащили. Подняли его на борт — не дышит, а из норок с носу вода идет.

Потолковали мы между собой. Качать, говорят, надо, много ли он в воде был — минут десять всего. Сперва наши матросы качали. Качали, качали и плюнули. «Кончился,— говорят,— да и не наше вовсе дело пассажиров откачивать». Тогда поморы взялись. Пошла из него вода пополам со спиртом, но на ощупь все же недвижимое имущество.

Игнат Саввич сошел с мостика, веки приоткрыл, сердце послушал. «Акт,— говорит,— составить, вовсе помер, будь он неладен»,— и послал меня за помощником. А тот спал, и так обидно ему показалось, что снова акт, что он в меня сапогом пустил. Однако вышел, пришел на бак, сам злой до того, что серый весь стал. Осмотрели карманы,— а известно, что в поморских карманах?

Дрянь всякая, кисет да трубка, крючок там какой-то да деньги в портянке, а документа вовсе нет. Подумал помощник. «Подымите,— говорит,— его в стоячку да под локотки поддерживайте, опознавать будем. Подходи по одному!» Стали пассажиры подходить, помощник каждого спрашивает: «Как ему по фамилии?» Почешется, почешется помор: «Кто его знает? Божий человек. Нам ни к чему». Который с ним спорился — того спросили. Трясется весь, говорит: «А пес его знает. Упористый был покойничек, это верно. А по фамилии не знаю».

Помощник как туча стал. И так это ему обидно показалось — и разбудили, и акт в трех экземплярах, и по фамилии неизвестно. Смотрел, смотрел на утопленника — и лицом даже покривился. «Бога,— говорит,— в тебе нет, сукин ты сын. Ну, откуда я твое фамилие-имя-отчество рожу?» — да с последним словом от всей своей обиды как двинет утопленника в скулу — так два зуба враз и вылетели. А с зубами вместе, обратите внимание, и остатняя вода, что в горле стояла и дышать мешала. Открыл покойник глаза и пошатнулся. Дошел до своего мешка, приткнулся головой и уснул. Видимо, утомился очень. После помощник ему весь свой спирт даром отдал, очень обрадовался, что тот его от акта выручил.

Но это только раз за всю мою жизнь я и видел, чтоб от битья польза была. А от соленых слов, наоборот, никогда вреда не бывает».

Посмеялся я над его рассказом, сам ему тоже для установления отношений кой-какую историйку рассказал,— вижу, перестал Помпей меня бояться. Я опять его по душам убеждаю: так и сяк, ликвидируйте вы эту свою привычку, вам на корабле и цены не будет. Бросают же люди курить — и ничего.

А он на меня опять с хитринкой смотрит и говорит:

— Это смотря сколько той привычке лет. Мне, товарищ комиссар, пятый десяток идет, это не жук плюнул. Были мы в девятьсот двенадцатом в Бомбее, так там, как из порта выйти — налево, у ихнего храма, факир на столбу стоял и не присаживался, а продовольствовался чашкой риса в день. Англичане косились, косились,— сняли со столба, положили в койку на самолучших пружинах и обедом накормили. Заскучал факир и погас, как свечка. А всего пять лет стоял, пять лет привычки имел. А я двадцать лет привычку имею, легко не отвык-

нешь. Вы мне лучше определите срок, я чего-нибудь сам придумаю. И притом вопрос: как это — совсем отвыкать или только от полупочтенных слов? Скажем, безобидные присловья допускаются?

— Отвыкайте,— говорю,— лучше сразу совсем. А безобидные пусть у вас в резерве будут, когда вас прорвет, тогда их и пускайте.

Договорились И началась новая эпоха: и точно, нормальной, скажем, брани больше от Помпея Ефимовича никто не слышит. Но как-то так он сумел и обыкновенные слова поворачивать, что слушаешь его — в отдельности будто все слова пристойные, каждое печатать можно,— а в целом и по смыслу — сплошная матерщина. Меня даже любопытство взяло. Постоял я раз на одном аврале — шлюпки подымали,— послушал внимательно и понял его приемчик. Он весь этот свой синтаксис — в тридцать три света, да в мутный глаз, да в Сибирь на каторгу, в печенку, в селезенку — в речи оставил, и хоть прямых непечатностей нет, но до того прозрачный смысл получается, хоть святых вон выноси. Да вслушиваюсь,— он еще какие-то иностранные слова вставляет, так и пестрит все ими. После я дознался: оказывается, он два вечера к старшему врачу ходил, все полупочтенные слова у него по-латыни раздобыл, на бумажку списал — и без запинки ими пользуется. Комсомольцы прямо вой подняли. «Что же,— говорят,— товарищ комиссар, еще хуже стало! Раньше, бывало, поймешь, хоть фыркнешь, а теперь покроет по-латыни — и вовсе не разберешь, что к чему!..»

Тут я рассердился, зову его опять в каюту и очень строго ему говорю:

— Вы,— говорю,— меня обманули, иначе говоря, взяли на пушку. Чтоб никаких слов — латинских ли, французских ли — я более от вас не слыхал, понятно? И объясните вы мне, за-ради бога, Помпей Ефимович: балуетесь ли вы из упрямства, или в самом деле такая в вас устойчивая идеология, будто на корабле без матерей не обойтись, хотя бы и иностранного происхождения?

Вздохнул Помпей Ефимович, смотрит на меня с отвагой отчаяния:

— По правде говорить, товарищ комиссар?

— Конечно, по правде, мы оба не маленькие.

— Ну, коли по правде, то идеология. И поскольку вы ставите вопрос не на принципиальное ребро, а по сове-

сти, позвольте с вами говорить не как с комиссаром корабля, а как с балтийским матросом. Тем более, вы какого года призыва?

— Девятьсот двенадцатого,— говорю.

— Ну вот. А я — девятисотого и в двенадцатом году уже четвертую кампанию в боцманах ходил, так что вы передо мной вроде, извините, как салажонок. Но раз вы все-таки настоящую флотскую службу захватили, то вполне должны понимать, что с морем без соленого слова никак не выйдет. Оно его любит, море-то. Раз человек лается, значит, у него в душе еще отвага и он непреклонен. Вот, скажем, на шлюпке идешь, два рифа взял, а волна... (тут он сказал, какая волна) — словом, упаси бог. Прикроет она шлюпку, сидишь-сидишь, и дыхание испортилось, а вода все на тебе одеялом. Послабже человек или кто с новобранства не обучен — тот взмолится. Ну и пропал. А как загнешь в три переверта с гаком из последнего дыхания — изо рта пузыри пойдут, а в каждом пузырьке соленое слово. В самую его мокрую душу угадаешь, моря-то. А душа у моря хмурая, серьезная — ее развеселить надо... Волна и отступит — значит, мол, жив еще человек, коль так лается.

— Ну,— отвечаю,— Помпей Ефимович, это какая-то мистика или художественный образ. Вы же кроете не стихию, а нормальных живых людей! А у них своя психика.

— Могу и насчет людей пояснить. Вот, скажем, увидишь, как настоящий марсофлот в шторм за бортом конец ловит, того и гляди, сорвется — как тут в восхищение не прийти? От восхищения и загнешь, и тому за бортом лестно: значит, от души его смелость оценили. Или, скажем, бодрость духа. Ее соленые слова знаете на какую высоту подымают? Вот упал человек за борт, ошалел, пока шлюпка дойдет, у него все гайки отдадутся. А пошлешь ему с борта что-нибудь необычное да повеселее, смотришь, и спас человека: поверху плавает и сам ругается для бодрости. Или на скучной работе: дерет, дерет человек кирпичом палубу, опротивело ему, думает — скорей бы второй помощник пробежал, может, отчудит чего посмешнее. А я тут как тут — там подбодришь кого, тут кого высмеешь, здесь этак с ходу веселое словечко кинешь,— обежишь корабль, вернешься, а они прямо искры из настила кирпичом высекают, крутят головами и посмеиваются. Или растерялся матрос, не за

то хватается, того гляди ему пальцы в канифас-блок втянет,— чем его в чувство привести? Опять-таки посторонним воздействием. Очень много могу привести вам примеров, когда плотный загиб пользу приносит. Только во всех этих случаях, обратите внимание, обычная брань не поможет. Я и сам против тех, кто три слова сызмальства заладил и так ими и орудует до седых волос. Слова и соленые приедаются, а действовать на психику надо неожиданностью и новизной оборота. Для этого же надо в себе эту способность развивать постоянной тренировкой и другим это искусство передавать.

Выслушал я его и резюмирую:

— Да, это развернутая идеология. Целая теория у вас получается. Только она,— говорю,— для Красного флота никак не подходит.

А он уже серьезно и даже с печалью говорит:

— Я и сам вижу, что не подходит. И потому прошу вас ходатайствовать перед высшим командованием об увольнении меня в бессрочный отпуск... Вы же мне все пути отрезаете и даже не допускаете замены безобидным присловьем или, скажем, иностранного происхождения. Мне это крайне тяжело, потому что с флотом я за двадцать лет свыкся и на берегу буду болтаться, как бревно в проруби, без всякого применения. Но решать, видимо, следует именно так.

У меня прямо сердце переворачивается. Вижу, Помпей наш в самом деле ничего с собой сделать не может, раз решается сам об увольнении просить. А отпускать его страсть не хочется. Ах ты, думаю, будь оно неладно! И лишаться такого марсофлота прямо преступно для новых кадров, и оставить нельзя — куда же его, к черту, с такой идеологией? А он продолжает:

— Главное дело, я чувствую, что, коли б не это наше расхождение мнений, от меня флоту большая польза была бы. Я тут среди ваших комсомольцев присмотрел людей вполне подходящих, дали б мне волю, я бы из них настоящих матросов сделал, только своим, конечно, способом. Но раз Советская власть такого разговора на палубе не одобряет, я прямо тебе скажу, Василий Лукич, как матрос матросу: против Советской власти я не пойду. Вот и приходится корабль бросать.

Вдруг меня будто осенило.

— Это,— говорю,— ты правильно сказал: Советская власть такого разговору не одобряет. И я вот тебе тоже

как матрос матросу признаюсь: я ведь — что греха таить? — сам люблю этажей семь построить при случае. Но приходится сдерживаться. Стоишь, смотришь на какой-либо кабак, а самого так и подмывает пустить в господа бога и весь царствующий дом, вдоль и поперек с присвистом через семь гробов в центр мирового равновесия...

Конечно, сказал я тогда не так, как вам передаю, а несколько покрасочнее, но все же вполсилы. Пустил такое заклятье, вроде как пристрелочный залп,— эге, вижу, кажется, с первого залпа у меня накрытие: подтянулся мой Помпей, уши навострил, и в глазах уважение.

— Плотно, Василий Лукич, выражаешься, приятно слушать.

Так, думаю, правильный подход нащупал. А сам рукой махнул и огорчение изображаю:

— Ну, мол, это пустяк. Вот в гражданской я действительно мог: бывало, как зальюсь — восемь минут и ни одного повтора. Ребята заслушивались. А теперь практики нет, про себя приговариваешь, а в воздух слов не выпускаешь.

Помпей на меня недоверчиво так посмотрел:

— Заливаешь, Василий Лукич, хоть и старый матрос. Восемь минут! У нас на «Богатыре» на что боцман ругатель был, а и то на шестой минуте повторяться начинал.

— Нет,— говорю,— восемь. Не веришь?

— Не верю.

— Не веришь?

— Нет,— мотает головой.— Я свое время не считал, но так полагаю, что и мне восьми минут не вытянуть.

— Ну,— говорю,— восьми, может, и я сейчас не вытяну, отвык без практики, но тебя все-таки перекрою.

Смеется Помпей, а мне только того и надо.

— Не срамись,— говорит,— лучше, Василий Лукич! Вот с «Богатыря» боцман меня бы перекрыл, а боле никого я на флотах не вижу.

— Ах так,— говорю и вынимаю из кителя часы.— Давай спориться! Только, чур, об заклад: коли ты меня перекроешь, дозволю тебе в полный голос на палубе разговаривать. А я перекрою — тогда уж извини: чтоб никаких слов никто от тебя боле не слышал: ни я, ни военморы, ни вольнонаемные.

Он на меня смотрит и, видимо, не верит:

— Ты что, комиссар, всерьез?

А я китель расстегнул, кулаком по столу ударил, делаю вид, что страшно разгорячился.

— Какие могут быть шутки! Ты мне самолюбие задел, а я человек горячий. Принимаешь заклад или боишься?

— Я боюсь?.. Принимаю заклад! Посмотрим!

Хлопнули мы по рукам, стали договариваться. Он выставил вопрос о судье — кого позвать — и предложил старшего помощника: он, говорит, хоть нынче остерегается по тем же обстоятельствам, но разбирается в этом деле вполне. Я судье отвод — неловко, мол, мне, как комиссару, такие арии перед комсоставом, и какой вопрос может быть о судье, если два балтийских матроса на совесть спорятся?

Тогда с его стороны еще затруднение:

— Неправильно получается: как же так, с бухты-барахты? Кого же крыть и по какой причине? Сам понимаешь, для этого дела надо ведь в запал прийти.

— Меня,— говорю,— крой, что я тебе жизнь порчу. А я послушаю, наверное, сам с того обозлюсь. Начали, что ли?

— Пускай,— говорит,— секундомер с первым залпом!

Поправился в кресле — и дал первый залп.

Ну, я прислушиваюсь. Все в порядочке: начал он, как положено, с большого загиба Петра Великого, все боцмана так начинали. Потом на мою родню навалился. Всех перебрал до седьмого колена, про каждую прабабку характеристику сказал, и все новое, и на другой галс повернул,— меня самого в работу взял, а я вижу — одна тактическая ошибка у него есть. Третья минута пошла, а он все мной занимается: и рында-буленем, и фор-брам-стеньгой, и в разные узлы меня завязывает, и каждой моей косточке присловье нашел, и все в рифму — заслушаешься. Отработал он этот участок — на небеса перекинулся, стал господа бога и приснодеву Марию тревожить, как будто и не он это на коленках перед стулом стоит. Кроет в двенадцать апостолов, в сорок мучеников, во всех святых,— а я опять на карандаш беру: еще одну тактическую ошибку мой Помпей допустил, вижу — у меня фору добрая минута будет. Потом вновь на землю спустился, начал чины перебирать, от боцманмата до

генерал-адмирала и управляющего морским министерством. Словом, шестая минута пошла, и он, вижу, начинает ход сбавлять, вот-вот заштилеет. Посматривает на часы и пальцем тычет — сколько, мол, там?

— Шесть,— говорю,— крой дальше, Помпей Ефимович.

Тут он опять ветер забрал, понесся: новую жилу нашел — все звериное царство на моих родственников напустил: и медведей, и верблюдов, и крыс, и перепончатых стрекоз. Этого ему еще на минуту хватило, но, вижу, в глазах у него растерянность, и рифм уже меньше, и неожиданностей не хватает. Потом слышу — опять митрополита санкт-петербургского и ладожского помянул.

— Стоп,— говорю и секундомер нажал.— Было уже про митрополита.

Он осекся, замолк, дух переводит, на меня смотрит.

— Было,— говорю,— было, Помпей Ефимович. Ты его еще с динамитом срифмовал и обер-церемониймейстером переложил, верно?

— Правильно,— сознается,— было. Сколько там вышло?

— Восемь минут семнадцать секунд. Перекрыл ты богатырского боцмана. Ну-ка, я рюриковскую честь поддержу. Бери часы.

Ну, набрал я воздуху в грудь и начал.

Если б вам все это повторить, многих из вас тут же бы до жвакагалса стравило. Потому что я все свои знания в этой области мобилизовал и все силы напряг, ибо ставка была уж очень большая: нужный для флота человек.

Прошел я по традиции и для времени петровский загиб, нажимаю дальше, аж весла гнутся, а на ходу все его тактические ошибки в свою пользу учитываю. Одна, что он двенадцать апостолов в кучу свалил,— а я каждого по отдельности к делу приспособил. Также и сорок мучеников, кого сумел припомнить, в розницу обработал. А у них имена звучные, длинные — как завернешь в присноблаженного и непорочного святого Августина или в святых отец наших Сергия и Германа, валаамских чудотворцев — глядишь, пять секунд на каждом и натянешь. Другая его тактическая ошибка — родню он перебрал мою только, а я всех прочистил и по жениной его линии, тоже минуту выиграл. А надо вам сказать, я еще химию понаслышке знал, потому что по специальности минером-

электриком был,— я и химию привлек со всякими ангидридами, перекисями и закисями. А главное, я его же приемом работал: неожиданные понятия лбами сталкивать и соответствующим цементом соленого слова спаять — вот оно и получается.

Словом, пою я эту арию уже девятую минуту, а впереди у меня еще Керзоны разные, да Чемберлены, да синдикаты, да картели, да анархия производства,— он таких слов и не слыхивал, а по этой системе все годится. Тут ведь не смысл важен, а придание смысла. Десятая минута идет — а у меня и стопу нет. И, может, на сорок минут развел бы я всю эту петрушку, как вдруг входит в каюту Саша Грибов, комсомольский отсекр,— услышал и замер у дверей. И точно, картина необыкновенная: сидит комиссар в расстегнутом кителе и такое с азартом из себя выпускает, что прямо беги к телефону и звони в контрольную комиссию. Я ему рукой машу,— не мешай, мол, тут дело серьезное! — а у него глаза круглые и лица на нем нет.

Я на часы покосился — одиннадцать минут полных, и Помпей совершенно убитый сидит. Повысил голос, дал прощальный раскат в метацентрическую высоту и в бракоразводные электроды — и отдал якорь.

— Ну, как заклад, Помпей Ефимович? — спрашиваю его своим голосом.

— Что же,— отвечает.— Матросское слово верное. А слово я до спора дал.

— Значит, разговор у нас снят об уходе и будем вместе Красному флоту служить?

— С таким комиссаром,— говорит,— служить за почтение примешь...— И опять на «вы» перешел: — Только скажите вы по совести, товарищ комиссар, как эти слова в себе удерживаете? Неужто никогда не тянет прорваться?

— Есть,— говорю,— еще и такое слово, Помпей Ефимович: дисциплина. Сказано — не выпускать их, вот и не выпускаю. И вы, как старый матрсс, дисциплину знаете, так что коли ее вспомните — и вам легко будет.

И точно — с тех пор Помпей Ефимович нашел способ подбодрять народ и веселить его на работе без полупочтенных слов, а я Саше Грибову то и дело говорю:

— Внуши ты своим комсомольцам, можно же без разных слов моряком быть: укажи ты им на Помпея Ефимовича, разве не марсофлот настоящий?

И вот оглядываешься теперь на капитанов третьего и второго ранга, иной раз и адмирала увидишь,— все они через его, Помпея нашего, золотые руки прошли: еще десять поколений призывников он вырастил.

А у меня, по правде, после этого состязания певцов на Большом Кронштадтском рейде трое суток в горле разные слова стояли. Начнешь на собрании речь говорить — и спохватишься: чуть-чуть в архистратига Михаила и в загробные рыданья, всегда животворяще господа, не свернул. С трудом я эту заразу в себе ликвидировал.

1926—1939

ТРЮМ № 16

На этот раз очередная «психическая ванна» Василия Лукича до краев наполнилась темой, совершенно неожиданной в условиях длительного подводного сидения. Причиной тому был острый запах спирта, со скоростью света распространившийся по всей лодке: это «король эфира», главный старшина-радист, готовясь к вечернему, краткому выходу во внешний мир, промывал контакты своего хитрого хозяйства. Ноздри трюмного старшины Помелкова (кого местные остряки переименовали в Похмелкова) мгновенно расширились, и он, вдохнув в себя острый запах, сказал с трагизмом, почти шекспировским:

— До чего же дошла мировая несправедливость! Король эфира непьющий, а ему в руки такое богатство!.. Контакты, они ведь устройство несознательное, мазни их разок по губам, а остатки... Эх!..

И он махнул рукой.

Я искоса взглянул на Василия Лукича и увидел в уголках его губ ту чуть заметную усмешку, которая, подобно титульному листу книги, всегда предваряла появление нового «суффикса». Однако он молчал, давая развиться дискуссии, в которую тотчас ринулся комсомольский секретарь, кого, несмотря на то что он был командиром отделения сигнальщиков, все непочтительно именовали Васютиком.

— Есть рацпредложение,— ядовито сказал Васютик.— Балластные цистерны водой заполнять наполовину, остальное — спиртом и продувать не за борт, а

прямо в горло... Хрустальная мечта товарища Похмел... извините, Помелкова...

Посмеялись. Потом кто-то сказал:

— А чего смеяться-то? Служба у нас — сами знаете... На всех флотах матросам подправку дают: скажем, в британском флоте — ром, во французском — винишко, в германском — этот... как его?.. шнапс...

— А в царском — водочку,— подхватил Васютик (в синих глазах его зажглись полемические огоньки).— Вот тут писатель сидит, прочитай, как он эту царскую чарку в романе разъяснил...

Положение мое становилось неловким, но Василий Лукич, круто положив руля, вывел беседу на другой галс.

— Был у нас на крейсере гвардейского экипажу «Олег»...— начал он, и в отсеке мгновенно наступила тишина: все поняли, что начался очередной рассказ.

СУФФИКС ПЕРВЫЙ

Кого считать пьяным?

Был у нас на крейсере гвардейского экипажу «Олег» старший офицер с такой фамилией, что новобранцы хорошо если к рождеству Христову ее заучивали,— старший лейтенант Монройо́ Феррайо́ ди Кве́сто Монтеку́ли. Матросы промеж себя его звали флотским присловьем: «Тоё-моё, зюйд-вест и каменные пули», а короче просто — «Тоё-моё»...[1] Предок не то французских моряков, не то итальянских, которые на службу Петру Первому подались. Так вот у него своя теория была, какого матроса считать пьяным. Если матрос к отходящей шлюпке своими ногами из города дошел, по трапу поднялся и хоть кой-как, но фамилию и номер увольнительной жестянки доложил — он беспрепятственно мог идти в кубрик. Более того, если Тоё-моё сам при возвращении с берега присутствовал, он еще и похвалит: «Молодец,— скажет,— сукин сын, меру знаешь, иди отсыпаться»... Пьяными у него считались те, кого матросы к шлюпке на руках при-

[1] Полагаю, что Василий Лукич что-то прибавил для блеска рассказа: такой фамилии на флоте я не слышал. Были, скажем, де Кампо Сципион или Моноре-Дюмон, Пантон-Фантон де Верайон, барон Гойнинген-Гюне или даже Гогенлоэ-Шилонфюрст, кого матросы переиначили в «Голы ноги, шилом хвист». Но такой звучной фамилии в списках российского императорского флота не значилось.— *Л. С.*

несут, на палубу из нее горденем подымут, как кули с мукой, и потом на бак снесут. Там их, как дрова, на брезент складывали, чтобы палубу не гадили.

Разницу эту он сам установил и твердо соблюдал. Вот, скажем, был у нас водолаз Парамонов, косая сажень в плечах и глотка — для питья соответственная. Взошел он на палубу, а его штормит — не дай бог: с борта на борт кладет, того гляди — грохнется. Тоё-моё вахтенному офицеру мигнул — мол, на бак! А Парамонов, хоть чуть жив, разобрался. Вытянулся во фронт, стоит, покачивается, будто грот-мачта в шторм, с амплитудой градусов в десять, и вдруг старшому наперекор:

— А я, вашскородь, не пьяный. Я до шлюпки в тютельку дошел. И, ежели желаете, даже фамилию вашу произнесу...

Мы так и ахнули: рванет он сейчас «Тоё-моё, зюйд-вест и каменные пули»!.. Ан нет: набрал в грудь воздуху и чешет:

— Старший лейтенант Монр... ройо... Ферр... райо... ди Квесто... Монтеку... ку [1] ...кули, во какая фамилия!

Ну, думаем, будет сейчас мордобой, какого не видели! Так тоже нет! Усмехнулся Тоё-моё, полез в кошелек, вынул рубль серебряный и дает Парамонову, а вахтенному офицеру:

— Запишите,— приказывает,— разрешаю внеочередное увольнение! — Потом к остальным повернулся: — Глядите,— говорит,— вот это матрос! Не то что вы, свиньи...— И пошел, и пошел каждому характеристику давать.

А с пьяными разборка у него утром бывала, перед подъемом флага. Придет на бак, а они уже во фронте стоят и покачиваются. Вот он и начинает, говоря по-нынешнему, проводить политработу.

— Ты что, впервые надрался? — спрашивает.

Матрос думает-думает, как лучше ответить, и скажет:

— Так точно, вашскородь, впервой. Никогда так не случалось.

— Ах так! Впервой?.. Двадцать суток мерзавцу без берега, чтобы знал, как пить!.. Ну, а ты?

---

[1] Тут Василий Лукич мастерски икнул.— *Л. С.*

Другой, понятно, учитывает ситуацию, с ходу рапортует:

— Простите, вашскородие, не сообразил. Пью-то я справно, а тут ко́решей повстречал, будь им неладно, ну и не рассчитал... А то я завсегда своими ногами дохожу, а чтобы горденем подымали, такой страм впервой случился, ваше высокоблагородие, кореши это подвели...

Тоё-моё зюйд-вест бровками поиграет:

— Та-ак... Двадцать суток. Да не без берега, а строгого ареста! Пять — на хлебе и воде!.. Я тебя научу, мерзавец: пить не умеешь, а хвастаешь!

Ну, это всё времена давние-предавние, а ведь и в нашем-то рабоче-крестьянском флоте я тоже кое-каких суффиксов по этой части навидался.

Начать-то надо, пожалуй, сбоку. В двадцатых годах появилась у нас на Балтийском флоте эпидемия: психи. Что это за явление? А вот что.

СУФФИКС ВТОРОЙ

Что такое психи?

Плавал я тогда на учебном судне «Комсомолец» комиссаром. И вот зачастили ко мне старшие специалисты. Придет, скажем, старший штурман или механик и чуть не плачет:

— Ну не могу я, товарищ комиссар, с Петрушкиным (или там с Ватрушкиным) ничего поделать: от работы отлынивает, грубит, сладу нет. Вызовешь его в каюту, начнешь долбать или политработу проводить на сознательность, он тут же бескозырку с головы — раз! — и о палубу. Ногами топчет и кричит истошным голосом: «Вы меня, товарищ командир, не неврируйте! Я псих!.. У меня такое медицинское состояние, что я не воспринимаю, чего мне говорят, и за себя не ручаюсь!..»

— Так вы таких в госпиталь посылайте,— говорю.

— Посылал. Две недели там отлежатся и придут с бумажкой, где лиловым по белому пропечатано, что военмор Ватрушкин-Петрушкин является психически неуравновешенным и до поры до времени в зависимости от дальнейших исследований за свои поступки отвечать не может, однако демобилизации по болезни пока что не подлежит...

Конечно, на флотах, как и везде, всегда сачки водились. Но тут появилась какая-то любопытная разновид-

ность. Как мы потом разобрались, пошла она от жоржиков недобитых, которые с кронштадтского восстания у нас еще оставались, да от лиговской шпаны, какую нэп наплодил. Служить-работать им неохота. А за отказ от вахты или от наряда твердо было — трибунал. Вот такой и устраивает спектакль с криком и топтанием фуражки. Его — в госпиталь. А там он еще чище номера откалывает, пока не добьется бумажки.

А тут случилась у меня болячка, положили в госпиталь. Болезнь пустяшная, в кино ходить можно, а как раз объявили модную тогда Мэри Пикфорд. Пришел я в клуб пораньше, положил на стул книжку и пошел покурить. Вернулся — книга на полу, а на моем месте сидит болящий в полосатом халате. Я ему говорю:

— Товарищ дорогой, тут книжечка моя лежала, так будьте любезны освободить место.

А он на меня посмотрел таким холодным взором и говорит:

— Катись колбаской. И ты меня, зараза, не раздражай, потому — я псих и у меня докýмент есть. Я вот сейчас тебе морду набью и отвечать не буду.

Взял я тихо-тихо свою книжку и из зала прямо к комиссару госпиталя.

— Послушай,— говорю,— браток, что же это такое у тебя творится?

А он мне:

— А что ты сделаешь? У нас теперь сплошная гуманизьма, спасу нет!.. Это тебе не гражданская война!.. Гуманизьма такая, что этого сукинова сына давно в трибунал сдать надо, а он наукой прикрылся: нервенный да психованный, вот с ним и чикаются.

— А ты чего ж молчишь? Сказал бы главному врачу, чтоб таких справок не давали?

— А если этот подлец возьмет да в него чайник кипятку швырнет? Конечно, его потом засудят, а мы-то главного врача лишимся. Понял ты, с чего такая гуманизьма? То-то...

Вернулся я из госпиталя в пятницу. А в субботу пошли мы с командиром осматривать корабль после большой приборки. Сами знаете, все должно быть промыто, надраено, корабль чистехонек должен быть, как невеста перед венцом. А тут видим — в коммунальной палубе под рундуками ветошь какая-то лежит грязная. Командир взъелся:

— Кто старшина? Чего недосмотрели? Десять суток гауптвахты!

А тот — бац! — фуражечку под ноги, начал ее топтать и зашелся:

— Не имеете права!.. Я нервнобольной!.. У меня документ!..

Тут на меня вроде наитие нашло. Нагнулся я, поднял фуражечку, расправил аккуратно ленточку, чтоб всем была видна, и ему вежливенько так говорю:

— Вот что. Либо ты сейчас заткнешься и начнешь этот кабак прибирать, либо я вызову караул и тебя не в госпиталь и не в трибунал, а прямо в Особый отдел отправлю. Ты ведь что ногами топтал? Что на ленточке написано? «Рабоче-Крестьянский Красный Балтийский Флот» — вот что написано! И как написано? Золотыми буквами написано! Значит, ты эти советские революционные слова ногами топчешь? Кто же ты есть после этого? И где тебе место? На флоте рабоче-крестьянском или — скажи, где?

И что же вы думаете? Притих, прибрался как миленький, а после ко мне в каюту пришел плакаться.

— Товарищ комиссар,— говорит,— я это сдуру, дружков наслушался.

А дружки-то его как раз те, что я говорил,— из вымирающего племени клешников да жоржиков с Лиговки. Они было сильно тон задавали, пока не пришли на флот первые комсомольские наборы.

Вот люди были! Огонь!.. Правда, с ними тоже трудновато порой было. Оно и понятно, сами подумайте, пришли они с руководящих постов — кто секретарь горкома комсомола, кто, говоря по-тогдашнему, уездного, а кто и из губкома. Флотская дисциплина осваивалась ими с трудом — как же, у них обо всем свое мнение! Чуть что — к комиссару с протестом. На комсомольском бюро планы такие строили, аж в затылке почешешь: революционные, но уж больно фантастические. Но главное-то со временем себя вполне обнаружило: новое племя на корабли пришло, комсомольское племя! Оно, глядишь, хотите — вытеснило, хотите — парализовало, хотите — перевоспитало другую флотскую молодежь, кто от клешников, жоржиков, от разной лиговской шатии всякой чепухи набрался. А уж свежий флотский набор — «деревенские», как тогда говорилось,— комсомольцы такой оборот завернули, что через годик-два смотришь — какой-нибудь пошехон-

ский паренек уже состоит в активе комсомола и шумит за мировую революцию. А когда через три года пришел на флот четвертый комсомольский набор, мы уж вовсе позабыли, что это такое — психи.

И вот подумайте, в двадцать седьмом году, когда все вроде установилось, у нас на линкоре такая отрыжка этого явления произошла, что мы руками развели.

СУФФИКС ТРЕТИЙ
Сердечник Карпушечкин

Был у нас вахтенный начальник по фамилии Карпушечкин. Такой глуповатый, прямо сказать, комсоставчик — как говорится, не командир, а существо в нашивках: ни звезд с неба, ни чинов от начальства не хватает. Училище кончил где-то на шкентеле, пятым-шестым с конца, так и стоит все на вахте вроде ночного сторожа. Даже ротой командовать не смог, пребывал в помощниках. Но и тут он, сейчас уж припомнить не могу, чего-то такого наворотил, за что ему командир корабля вкатил пятнадцать суток без берега.

Вот с этого-то Карпушечкин и запсиховал. Правда, фуражку не топтал, это уж отжило, а пошел по другой, деликатной линии: лежит в каюте, охает, стонет, на сердце жалуется и ест вполсилы. А надо сказать, тогда у комсостава, кто постарше, из царских офицеров, заметно стали сдавать сердца: чуть по службе какая неприятность — бледнеют, за сердце хватаются и лезут в карман за пузырьком, как сейчас помню, «строфант» называется. Но то у людей в годах, с переживаниями, со сложной биографией. А этот — молодой, без всякой анкеты и вроде здоровяк, а вот поди ж ты!.. Дует он этот строфант, как воду, а за сердце все держится.

Комиссар корабля в отпуску был, я за него оставался. Посоветовались мы с командиром, решили послать Карпушечкина в госпиталь на обследование, пусть, думаем, врачи что приговорят, может, в отпуск по болезни пошлют. А командир — тоже из бывших офицеров — мягкий, обходительный. Все кается: зря, мол, я так его огрел, хотел даже взыскание снять, да я воспротивился: «От двух недель без берега, говорю, никто еще не умирал, а фитиль вы ему вогнали правильно».

Вернулся Карпушечкин из госпиталя со справкой, а в ней — разные медицинские слова. Я звоню по телефону

начальнику госпиталя: нельзя ли, мол, пояснее, попроще?

— Да,— отвечает,— действительно сердечный невроз в сильной степени. Это теперь явление частое. Сказываются тяжелые годы, а организм еще молодой, неустановившийся. Службу нести может, но с ним надо обращаться бережно. Мы тут ему микстурку давали укрепляющую, пусть продолжает принимать месяц-другой.

Карпушечкин микстуру сдал вестовым в буфет, приказал ставить перед прибором. И аккуратно по две столовые ложки перед обедом и ужином глотает. А она, видимо, горькая: пьет, морщится, водой запивает; но действует — не так уж нервничает, на сердце меньше жалуется. Впрочем, и обхождение с ним было соответственное — черт его знает, все-таки больной, сердечник, мало ли что. А он, между прочим, прямо цветет, рожа — поперек себя шире. И не мудрено: на ночную вахту не ставят — больной, в угольную погрузку дежурным по палубе не назначают, подъем флага проспит — никто слова не скажет. Месяца через полтора совсем поправился наш Карпушечкин, старший помощник стал ему уже и нагрузочки подбрасывать.

А тут вышло новое чепе. Был у нас еще один вахтенный начальник, командир первой башни со смешной фамилией Люм, из прибалтийских немцев, такой интеллигентный, хлипенький. На него старший артиллерист чего-то напустился, тот встречно чего-то ответил, словом, получилась недопустимая перебранка в кают-компании, и Люм вдруг сорвался с нарезов и зашелся. До фуражки, правда, дело не дошло, но руки у него дрожат, на глазах слезы и говорит без запятых:

— Я больше не могу отпустите меня я рапорт об отставке подам лучше в инженеры или врачи пойду!..

Я его приобнял немножко:

— Ну,— говорю,— не надо, успокойтесь.— Незаметно подвожу к столу Карпушечкина и наливаю микстурку. Думаю, должна сработать, симптомы ведь те же, но для верности побольше налил, так с полстакана.

Взял у меня Люм микстурку дрожащей рукой, выпил, схватился рукой за грудь, вроде спокойнее стал. Я ему еще налил.

— Пейте,— говорю,— раз помогает. Карпушечкин с вахты придет, мы ему объясним, что позаимствовали, склянка-то почти полная, ему хватит.

Выпил он и эту порцию и пошел на свое место.

Сели мы ужинать. Только слышу — на том конце стола Люм разговорился. Шумит, острит, ну, разошелся вовсю, веселый, словно не он только что концы отдавал. Тут в меня подозрение вошло: что, думаю, за чертовщина? Дай-ка проверю... Взялся за сердце и говорю старшему штурману:

— Вам поближе, дайте-ка мне карпушечкину микстурку, что-то и у меня сердце пошаливает, поволновался, видно...

Налил пальца на два и глотнул. Что бы вы думали? По крайней мере, семьдесят пять — восемьдесят градусов, чуть разведенный спирт!.. Тут я понял, почему Люм за грудь хватался и почему этот чертов Карпушечкин свою микстурку водой запивал...

Дождался я, когда он с вахты сменился, вызвал его в каюту, поставил перед ним склянку и говорю:

— Ну, признавайтесь, выкладывайте все начистоту!

— А чего ж признаваться? — отвечает.— В госпитале, и точно, была микстура, я с нее и поправился, а тут подливать начал понемногу.

— Пустяки,— говорю,— понемногу, градусов на восемьдесят!

А он:

— Так ведь, Василий Лукич, всего две столовые ложки на прием! Раз количеством нельзя — приходится качеством брать...

Если по-теперешнему считать, он, мерзавец, по сто граммов верных у нас на глазах пил полтора месяца, да еще смеется!..

Ну, что после того было, я вам рассказывать не стану — полный компот с добавкой от командующего флотом. Такое ему выдали, что наши сердечники забеспокоились. Не знаю, всерьез или на подначку, но перед обедом подходит ко мне старший минер, бывший лейтенант, и протягивает пузырек.

— Снимите,— говорит,— пробу, товарищ комиссар, и удостоверьтесь, пожалуйста, что это строфант, а не спирт.

И, знаете, с недельку они меня так изводили, то один, то другой, пока я не обозлился.

— Да глотайте себе на здоровье,— говорю,— даже если тут не ваш строфант, а карпушечкин, и оставьте меня в покое: это же пузырек, а не его бутылка!..

Но вот среди таких алкогольных суффиксов в условиях корабельной дисциплины один мне запомнился крепко.

СУФФИКС ЧЕТВЕРТЫЙ
Жертва царизма

Был у меня кореш, еще на «Цесаревиче» вместе плавали, он — комендором кормовой башни, а я — электриком носовой. Потом я его потерял,— в гражданской он на Урале воевал, а я против Юденича,— и свела нас судьба только в двадцать восьмом году на дивизии линкоров: весной прибыл он на нее флагманским артиллеристом.

Вот как из матросов за эти годы произошел! Подтянутый, спокойный, такой аккуратный, всегда чисто бритый и одеколоном напрысканный. У него за время нашей разлуки к духам слабость какая-то, что ли, появилась: войдет в кают-компанию — вроде в парикмахерскую дверь распахнули, так и благоухает!..

Летом стояли мы в Лужской губе, все три линкора, и придумал он для нашего хитрую стрельбу по невидимой цели перекидным огнем через Сойкину гору. А мне приказано было вместе с ним сидеть на НП на этой самой горе для политобеспечения операции. Пошел я на катерке к подъему флага за Андрей Ивановичем (он на флагманском линкоре плавал), вхожу в каюту, а он еще бреется. Пить мне хочется — спасу нет, уехал-то я без чаю. Вижу — графин на круглом столике, налил себе стакан, глотнул — и задохся: чистейший спирт!.. Его из порта выдавали для промывки прицелов. Прокашлялся, говорю:

— Андрей Иваныч, что ж ты его так держишь открыто? Хоть бы предупредил, я же человек непьющий!

А он этак с усмешкой отвечает:

— Понимать надо, Лукич. Ты же не у командира башни, у самого флагарта в каюте...

И тут берет он мой пригубленный стакан и допивает остальное, не моргнув и не крякнув. Потом зубы одеколоном прополоскал, щеки и шею им протер, надел китель — и его духами попрыскал, оглядел себя в зеркало и говорит:

— Ну, позавтракали, едем посмотреть, как молодежь небо дырявит...

— Силен! — не выдержал Помелков.

На него зашикали, и Василий Лукич продолжал:

— Я только руками развел, вот, думаю, откуда эта парикмахерская-то!.. Забрались мы на гору, сидим, наблюдаем стрельбу, а у меня в голове все гвоздит: что же это, братцы мои, деется? Такую борьбу с проклятым наследием царского флота ведем, а тут — здрасьте! — флагарт какой цирк показывает... Поглядываю на него — сидит, как святой в табельный день. Вскинет бинокль на падение снарядов, в книжечку команду корректировщика запишет — и опять за бинокль. И только и признаков этого его «завтрака», что флагарт наш даже на свежем воздухе благоухает. Линкор постреливает, снаряды над головой шуршат. А всплески, как назло, все кругом да около щита, хоть бы, на смех, одно попадание. Андрей Иванович хмурился, хмурился, подошел к корректировщику, взял у него трубку радиофона и начал старшего артиллериста нашего, кто стрельбу вел, поучать. Чему и как — это я не понял, дело артиллерийское, но, видимо, своего добился, потому что дальше пошло, как в сказке: накрытие за накрытием! На пятом залпе от щита ничего не осталось.

Тут-то я и понял, что за мастер Андрей Иваныч и что он за учитель.

Ну, раз щит разбили, объявили «дробь», и пошли мы с Андрей Иванычем в лесок прогуляться, пока новый подведут. Завел я с ним разговор о графине и спрашиваю:

— Слушай, Андрей, в какое же ты меня положение ставишь? Ну что я теперь должен делать? Ты же понимаешь, мы с этим делом боремся, а ты...

— Понимаю,— говорит.— А ты другое понимаешь: что с двенадцатого года, как нас с тобой призвали, я эту гадюку в себя вводил без стопу? Даже в империалистическую, когда чарку отменили, я все-таки исхитрялся прицелы с умом промывать. Да и в гражданской, правду сказать, приходилось способы изыскивать. А почему? Потому что я этой царской чаркой насквозь отравленный. Сколько я ее, проклятущей, за эти года выпил, ни тебе, ни мне не сосчитать! Ты учти: я к спирту привык, как ты к куреву, и тебе меня не корить надо, а морально поддерживать, как жертву старого режима и флотской каторги...

Тут уж я в пузыря полез.

— Ты брось шутки шутить! Тоже нашлась мне жертва царизма!.. Я тебе серьезно говорю: давай подумаем,

как с этим делом кончать? Как бы там одеколоном ни маскировался, а напорешься когда-нибудь — и, сам понимаешь, получится неприятность!

А он мне в ответ:

— Я тебе тоже серьезно говорю: ты вот скажи мне, когда-нибудь видел меня кто не в себе? Не то чтобы на бровях, а так — в заметности?

Я по совести отвечаю:

— Да я и сейчас удивляюсь, как ты после своего утреннего чайку стрельбу выровнял!

— То-то,— говорит,— оно и есть. Пути у нас с тобой, Лукич, разошлись: ты на политработу подался, а я к пушкам. Тут, брат, диалектика. Надо ее понимать, и ты будь более гибким.

— Как же,— говорю,— гибким? Одних за выпивку в трибунал посылать, а других по головке гладить? Не понимаю я такой диалектики.

— Не понимаешь? Поясню... Ты нас, старых марсофлотов, не учи, сделай милость. Мы ни Красный флот, ни революцию не подведем. Ты же сам удивлялся, как я стрельбу сейчас выправил. А почему? Потому что в мозгах с утра смазка была, вот они и не скрипят. Это молодежь нынче на полтинник выпьет, а бузит на весь червонец. Вот тебе и диалектика!.. Ты за молодыми смотри, комиссар, а за старым ма́тросом не приглядывай, а коли какой грешок есть — помолчи.

Кончился наш разговор вроде ничем. Вернулся я на корабль в полном смятении чувств: понимаю, что никак нельзя это дело оставить, а дать ему надлежащий ход — какого артиллериста потеряешь! Ведь он целое поколение выпестовал, а главное — сам из матросов, и к каждому комендору подход имеет, и молодых комендоров тому учит. И так верчу в мозгах, и этак — он ведь не Помпей Ефимович, кого, помните, я от полупочтенных слов отучил... Да у меня и образование по этой специальности не то: возьмешься Андрея об заклад перепивать, гляди — под стол свалишься...

Съездил я к нему разика два-три. Потолковали по душам, кой-чего я в нем затронул, и пообещал мой Андрей Иванович с первого числа попробовать отвыкать. А почему с первого, потому что спирт из порта выдавали на месяц.

— Ладно,— говорит,— Лукич, вот добью июньский — и дробь! В самом деле, эпоха не та. К тому же, замечаю,

в последнее время комдив ко мне чего-то принюхиваться начал. Я теперь, когда с ним разговариваю, поправку на ветер беру делений двадцать по целику. Да, по правде, мне за эту дымзавесу уж надоело полжалованья в ТЭЖЭ отдавать...

— Опять на шутках отыграться хочешь? — спрашиваю.

— Нет,— говорит,— Лукич, уговор флотский. Характер у меня, сам знаешь, твердый.

Однако ничего из этого не получилось. Не настало еще первое июля, вернулись мы из губы в Кронштадт, и, как положено, флагманские специалисты смылись в Ленинград на свои штатные полтора суток. Поехал и мой Андрей Иванович. Прямо с катера зашел на Васильевский остров к дружку, посидел там вечерок и пошел белой ночью к себе на Петроградскую сторону. Подошел к Биржевому мосту, а он разведен. Андрей Иваныч разделся, аккуратненько обмундирование связал в сверток, присобачил его на голову, вошел осторожно в быстрые струи Малой Невы и поплыл на тот берег. Добрался вполне исправно, вышел и направился потихоньку домой. Но на Кронверкском проспекте задержал его милиционер и попросил объяснений.

Оказалось, Андрей Иванович забыл одеться — и два квартала протопал нагишом со свертком на голове...

Что началось!.. Чуть не демобилизовали, да жаль было такого артиллериста терять. Продраили его с песочком да с битым кирпичом — и оставили. А на него этот случай морально так повлиял, что он — руля на борт и поворот оверштаг: начисто отрезал, даже в смысле пивка. А мне пояснил:

— Понимаешь, Лукич, я ведь и всамделе всерьез хотел бросить. Я уж подсчитал: сколько православному человеку от господа бога на тридцать шесть годиков жития полагается,— я всю норму выполнил. А сколько на шестнадцать лет флотской службы матросу положено, пожалуй, и две отработал. Стало быть, пора и на мертвый якорь. Решил отвальную себе справить, зашел к Кандыбе,— помнишь, на «Цесаревиче» минным машинистом был? — а у него вдобавок жена именинница. Сел за стол — и перебрал. Как это получилось, прямо ума не приложу, но перебрал... Я так вывожу: наверное, потому, что пил не стоя, а сидя, и потом, не один и не для службы, а в компании и для развлечения. Я ведь свою

порцию точно знаю и сроки приема тоже. А тут не ко времени, да с людьми, да еще с подначкой: валяй, мол, в последний раз!.. Вот ведь что обидно: китель, штаны и ботинки, обрати внимание, сухие, а надеть забыл. Это уж в организме какие-то неполадки, значит, какое-то реле во мне уже не срабатывает, стало быть, полный стоп: дробь так дробь!

Вот и учтите: берегся человек и духами страховался, ан глядь, все-таки подвел его спиртишко, да еще как!

— Не спирт, а вода,— неожиданно сказал трюмный старшина.— Не залезь он в воду, дошел бы себе безо всяких чепе. А тут посторонняя среда, и опять же рефлекс нарушен...

Начался бурный спор. В особенности кипятился Васютик, доказывая, что катастрофа была закономерна и подготовлена годами. Василий Лукич слушал дискуссию довольно долго, потом поднял руку и сказал:

— А вот я вам, товарищи, загадку загадаю. Говорите вы о неустойчивости Карпушечкина, о царской отраве, а что вы скажете, если часть комсомольцев — тех самых, что так помогли оздоровить личный состав флота,— тоже оказалась подвержена влиянию, или, хотите, вливанию заветного напитка? Если комсомольцы на палубе линейного корабля пьяные шатались и лыка не вязали? Слышали такое?

Тут сразу настало молчание. Васютик посмотрел на Василия Лукича ошеломленно.

— Товарищ капитан второго ранга, я что-то не понимаю, о чем вы говорите,— сказал он, оглядываясь на соседей.

— А вот послушайте,— ответил Василий Лукич, уселся поудобнее и начал свой очередной рассказ.

СУФФИКС ПЯТЫЙ
Трюм № 16

Летом двадцать четвертого года перебросили меня с эсминца на линкор на должность помощника комиссара, которого там еще не было, и мне пришлось исполнять его обязанности до прибытия. Впрочем, и самого-то линкора, строго говоря, тоже еще не было — была мертвая коробка: корабль стоял на долговременном хранении уже

шестой год, с самого ледового похода. А тут пришла пора вернуть его к жизни, на службу возрождающемуся Красному флоту. Перетащили его с кладбища к заводской стенке, скомплектовали костяк команды — опытных машинистов, электриков, комендоров, кочегаров, подкинули в помощь строевой команде комсомольцев последнего набора, а старпомом поставили Елизара Ионовича Турускина, знаменитого на весь флот служаку: не человек, а статья Морского устава, который ему при царе вбивали в голову в Ораниенбаумской школе строевых унтер-офицеров и судовых содержателей.

Впрочем, именно такого старпома нам и нужно было: корабль — еще не корабль, стоит у завода в самом Питере, соблазнов много. Тут дисциплинку держать надо — шкоты втугую. И хоть на корабле полно было заводской мастеровщины и сам корабль был весь разворочен, такой завел Елизар флотский порядочек, что все стали почесываться. А молодой комсостав — вахтенные начальники да ротные командиры,— те просто взвыли. Однако одно средство на него все же нашли: именовать его при всяком удобном случае «старшим офицером» или еще пошикарнее — «старофом», как бы в шутку или оговорившись. Скажем, у дверей каюты: «Что, старший офицер у себя?» Или за обедом: «Товарищ староф, разрешите из-за стола?» Или более тонкий ход, якобы не видя, что он рядом: «Нам бы на бережишко, да не знаю, как взглянет старший офицер...» А ему это — как коту масло: улыбнется в полном удовольствии, но всякий раз заметит:

— Вы, товарищ командир РККФ (он все букы со вкусом полностью выговаривал: «эр-ка-ка-фэ»), не забывайте, что с офицера́ми мы на флотах еще в семнадцатом году расправились... А что такое у вас на берегу приключилось?

Глядишь, тут же и отпустит.

А пошло это с того, что Елизар наш как-то за вечерним чаем начал политработу проводить:

— Вот вы, товарищи молодые командиры РККФ, взгляните, как наша революция людей подымает. Кем, скажем, я в настоящем сроке моей службы с одна тысяча девятьсот седьмого года мог быть при царском режиме? В крайнем случа́е — кондукто́ром [1]. А теперь,

---

[1] Кондукто́р — чин царского флота, соответствующий прапорщику в армии, самый низший.

взгляните,— старший помощник командира линейного корабля, что по-старому соответствует должности старшего офицера в чине не менее капитана второго ранга. И супруга моя вхожа в общество Дома Красного флота, имеет приличную шубу, и квартира у нас отдельная, и мебель хорошая...— И так на полчаса.

Но, говоря по правде, для данного состояния линкора лучшего старпома было не найти. Службе он отдавал всю душу и на своей «отдельной квартире» хорошо если раз в месяц бывал. Вообще должность старпома — не сахар, а на корабле у завода — уж вовсе не пряник: глаз да глаз, всюду надо нос сунуть. И хоть хлопот много, корабль весь разворочен, главная страсть у него была — чистота. В машинах, в башнях, на верхней палубе — все вверх дном, работ выше головы, а он чистоту требует. Чтобы до подъема флага — мокрая приборка, хотя флага у нас еще нет, корабль же не в строю! Рабочие придут в семь часов, а на палубе суета, вода да сплошная драйка. Краснофлотцы ко мне. Поставили вопрос на партийно-комсомольском собрании: тут, мол, не экипаж, а мы не новобранцы, а ремонт от этой чистоты страдает. Много горьких слов наговорили, а больше всех — три Орлова.

Были они в комсомольской прослойке главными энтузиастами: Орлов-омский, Орлов-калужский и Орлов-из-центра. Первый пришел на флот с поста секретаря губкома комсомола, второй — горкома и третий Орлов — из аппарата Цекамола. Омский еще до этого приходил ко мне, весь кипит, возмущен тем, что Орлова-из-центра старпом за какой-то пустяк посадил на губу на трое суток. И сразу с ходу:

— Есть, товарищ комиссар, комсомольское предложение: пускай комсостав, если хочет припаять взыскание, передает вопрос на комсомольское бюро. А мы уж сами разберемся — на губу или три наряда, без берега или общественное порицание...

Я разъясняю:

— Товарищ дорогой, есть у нас на флотах одна деталька, которую вы не учитываете,— Устав РККФ. Там все права и обязанности определены.

А он мне — опять в кипятке:

— Ну и что ж? Нельзя, что ли, его пересмотреть? Мы же шефы Красного флота, мы же флот строим!..

Сами понимаете, посадить всех Орловых на губу за внутрипартийную демократию нашему «старшему офицеру» было неудобно. Поэтому критику он затаил в себе, как занозу, но все присматривался, как бы орловскому колхозу отомстить. И дождался.

Самой трудной и грязной работой при восстановлении корабля была, конечно, чистка трюмов. В царское время на нее матроса назначали в наказание. И вот Елизар так подстроил, что на утренней разводке на работы чаще всего в трюмы стали попадать комсомольцы, а уж все три Орлова — обязательно. Я это приметил, зашел к нему в каюту и наедине указал: мол, молодежь обижается. Но он из партийного разговора сразу свернул в уставный фарватер.

— Вы, товарищ помощник комиссара корабля, в данном случáе не правы дважды. Во-первых, вы вмешиваетесь в функции старшего помощника командира корабля. Во-вторых, краснофлотцев, имеющих специальность и опыт, я на эту работу не могу назначить, их у нас и так недостаток. А для молодого пополнения это самая подходящая работа, не требующая особых знаний и опыта. И мне удивительно, что современные комсомольцы брезгуют грязной работой. В мое время, взгляните, комсомольцы шли на все трудности с энтузиазмом и вполне безусловно.

Я опять перевожу разговор в свою плоскость.

— Так-то так,— говорю,— товарищ Турускин, но я все же за справедливость: среди строевых у нас комсомольцев меньше половины, а в трюмах — все они да они. Надо ребят и к другой работе приучать. А то ведь опять на собрании вопрос станет.

Это на него подействовало.

— Если таково ваше приказание, товарищ помощник комиссара корабля (он отлично знал, что до прибытия комиссара я являюсь исполняющим его обязанности, но упорно меня титуловал так, видимо для уязвления самолюбия), если таково ваше приказание, то попрошу вас поставить об этом в известность командира корабля, поскольку вы вмешиваетесь в мои действия.

Ладно, думаю, поставлю. Командир согласился, и комсомольцам полегчало.

Но Елизар Ионыч нутро корабля знал лучше нас обоих. Пождал, пождал, дал Орловым недельку-две по-

работать на палубе, а потом всех трех поставил на чистку трюма № 16.

А это был хоть и небольшой, но самый запущенный трюм. С ледового похода туда ни одна живая душа не заглядывала. Был он под провизионкой, и потому накопилось в нем черт-те что: другие трюма́ в машинном масле или просто в воде и ржавчине, а этот в какой-то присохшей корке, которую и ломиками не сколупнешь. Бились Орловы там дня два-три, потом калужский приходит ко мне с комсомольским предложением: помочь раздобыть пневматический отбойный молоток. А их и на заводе был дефицит. Я опять к Елизару. А он:

— Я удивляюсь, товарищ помощник (и так далее), почему это такая комсомольцам перепрегатива? Остальные краснофлотцы, взгляните, вершат свою флотскую работу без претензий, а тут вы требуете особой техники!

Я объясняю, что сам, мол, пробовал ковырять ломиком и лично убедился, что корка — как железо, этак ее и до весны не отдерешь. А Елизар все свое:

— Не знаю, товарищ (опять полный титул), в мое время с такой нехитрой работой даже темные деревенские новобранцы справлялись. А тут образованные люди дрейфят? Если желаете, это даже не воспитательно: сегодня в трюм пневматику, завтра — электросварку, чтобы стальной трос сплеснить [1], а послезавтра — для мытья палубы подай стиральную машину? Пусть оморячиваются, как в песне поется: «Вперед же по солнечным реям!..»

Вижу, плотно залез он в бутылку, не вытащишь. Впрочем, и я обозлился, главным образом за солнечные реи. Вам известно, что комсомольский набор не очень-то охотно встречали вот такие ярые служаки, как наш Елизар: тоже мне, мол, моряки-молокососы, всех учат. А главное, не один Елизар у нас такую позицию занял, а вся его старая гвардия — боцмана да старшины. Вот я и пошел в контратаку.

— Ну ладно,— говорю,— с молотком я как-нибудь сам разберусь. А вот у меня к вам вопросик: когда же вы выкроите время для партийно-комсомольского собрания? Боцман-то ваш ведь гуляет как ни в чем не бывало?

---

[1] Сплеснить — срастить два конца без узла, переплетая пряди.

Тут Елизар мой совсем обозлился. А дело было в том, что в прошлую субботу любимец его, баковый боцман Иван Петрович, старослужащий, из царских унтер-офицеров, марсофлот и служака, вернулся из горсда в таком дрейфе, что засвистал в люк четвертого кубрика и дал дудку: «Все наверх, гребные суда подымать!» — хотя на корабле еще ни одной шлюпки не было, а время было половина двенадцатого ночи. Случай, сами понимаете, неслыханный, но Елизар Ионыч так устроил, что его Иван Петрович отделался всего двумя неделями без берега. А о собрании, чтобы провести воспитательную работу, я никак не могу договориться: тянет Елизар, тянет, все ссылается на срочные работы даже по вечерам — словом, хочет это дело замять.

— Так вот,— говорю,— давайте послезавтра освободите время, и обсудим вопрос. А молотком я сам займусь.

Пошел я на завод, договорился с главным инженером, тот поморщился, но один молоток велел дать на день. Тут выяснилось, что Орлов-омский, хоть и секретарь губкома, но в технике разбирается. И утром с разводки на работы пошла вся комсомольская тройка в трюм № 16 с песней «Вперед же по солнечным реям!..»

По правде сказать, у меня что-то подсасывало под ложечкой: загубят, думаю, пневматику, потом мне с заводом не разобраться. Не вытерпел и после обеда спустился в трюм. Грохот — спасу нет. Орловы все в какой-то черно-ржавой пакости, дух стоит смертный, гнилью несет. Оно и понятно: видно, в восемнадцатом году в Гельсингфорсе братишечки по случаю предстоящей демобилизации картофель тут попрятали, а вывезти по деревням не удалось. Но комсомолия моя с трудностями не считается и работает на совесть, ведро за ведром подает в горловину. Более того, Орлов-из-центра обращается ко мне:

— Товарищ комиссар, разрешите в порядке перевыполнения задания работать после отбоя. Мы, пожалуй, за один заход и прикончим, а то двадцать раз мыться!

— Что ж,— говорю,— солнечные энтузиасты, валяйте!

Поднялся я наверх, сказал на вахту, чтобы им ужин в расход оставили, и занялся своими делами.

А как раз перед ужином приехал из Кронштадта инструктор Пубалта со всякими срочными вопросами. Мы с ним засиделись, ужин даже пропустили. Зашел разговор и о чепе с боцманом, я прошу помочь с собранием. Инструктор говорит:

— А ты попроси старпома сюда, я его припугну: мол, в Пубалте недоумевают, чего вы тянете. Сегодня же и соберем собрание, время еще есть.

И не успел я рассыльному позвонить, как вдруг открывается дверь и входит ко мне в каюту сам «старший офицер».

— Вот,— говорю,— кстати!.. Знакомьтесь — инструктор Пубалта, товарищ Донской. Интересуется, когда же мы обсудим на коллективе проступок вашего боцмана?

А у Елизара на лице такая ехидная улыбочка — не поймешь и к чему. Здоровается он с Донским и говорит:

— Действительно, кстати. Я как раз к вам, товарищ помощник (и опять все святцы), с таким же вопросом, поскольку на линейном корабле обнаружено трое пьяных комсомольцев.

Я ушам не поверил:

— То есть как это?

— А так,— отвечает с нестерпимой ядовитостью.— Можете полюбоваться на своих строителей мощи Красного флота.

Тут уж и инструктор уши навострил, заинтересовался, в чем дело.

А Елизар расселся в кресле и словно оперную арию поет:

— А в том, товарищ инструктор Политического управления Балтийского флота, что комсомольцы, работавшие в трюме номер шестнадцать, не вышли к ужину. Когда же за ними послали, были обнаружены там в состоянии сильного опьянения и, будучи вынесенными на верхнюю палубу, не держатся на ногах. А причиной тому — найденные в трюме две бутылки водки завода Смирнова, поставщика двора его императорского величества, каковые могут служить вещественным доказательством.

Я за фуражку — и наверх. Гляжу — и сердце упало: ведут моих Орловых, каждого двое, под ручки, потому что ноги у них заплетаются, а они головки свесили. Орлов-

омский травит, как кит, направо и налево, а Орлов-из-центра хриплым голосом поет «Вперед же по солнечным реям!..». А Орлов-калужский почти без сознания. За ними идет баковый боцман — тот самый Иван Петрович — и несет пустые бутылки, как ручные гранаты на взводе, поодаль от себя.

— Куда? — спрашиваю.

— В карцер по приказанию старпома,— отвечает боцман и с усмешечкой покачивает обеими бутылками.

Стою и не знаю, что делать. Факт, как говорится, голый. Но тут Орлов-калужский вроде очнулся, увидел меня и говорит:

— Товарищ комиссар, доктора бы поскорей... Я первый свалился...

Долго рассказывать не буду; вместо карцера доставили их в лазарет, осмотрели и установили: отравление спиртовыми газами гнилостного разложения. В этом окаянном трюме чего-чего не было: и картошка, и сахар, и мука. Все это за шесть лет перебродило и закупорилось под коркой. Словом — выдержанный коньяк. Как его раскупорили — так и пошли от него головы гудеть. Орлов-из-центра потом говорил, что сначала всем весело было, потом рвать начало, потом Орлов-калужский упал, а когда омский пошел к трапу, сил не хватило. И хорошо, говорят, что вовремя вытащили.

Спустились мы все трое — и «старший офицер», и Донской, и я — в этот трюм и убедились: кроме смирновских бутылок, нашли еще штук десять пустых — и пивных, и из-под шведского пунша,— видимо, братишки в Гельсингфорсе времени не теряли. А когда последнюю нашли, посмотрел я на Елизара Ионыча и говорю:

— А что, товарищ старший офицер, не распорядитесь ли на вахту закусочки сюда подослать? Славно бы времечко провели: садись, дыши и закусывай!

— Вот какие бывали случаи на заре нашего Красного флота,— закончил Василий Лукич, и Похмелков вздохнул:

— Ммдда... У нас-то все трюма́ чистые-пречистые... Эх, была жизнь!..

1967

ТРИНАДЦАТОЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Тема новой беседы Василия Лукича была подсказана «суффиксом», происшедшим в кормовом отсеке: «король эфира», он же главный старшина-радист, вздумал побриться, для чего пристроил свое карманное зеркальце ближе к лампе, на верхнюю койку, но при тщетной попытке взбить в соленой воде мыльную пену не рассчитал движений и задел локтем зеркальце. Оно слетело на палубу и разбилось.

Всем известно, что разбитое зеркало предвещает владельцу крупную неприятность — до внезапной его кончины включительно. Василий Лукич пришел в кормовой отсек в самый ожесточенный момент спора. Мистики зловеще качали головами, смутно утверждая, что в приметах, несомненно, «что-то такое есть» и что «здесь, как бы сказать, не без того», и остается только выяснить, сам ли Власов помрет сегодня, или зеркало имеет в виду кого-либо из его родственников. Скептики же дружно высмеивали эти утверждения и обратились за поддержкой к вошедшему Василию Лукичу. Но, к их удивлению, тот неожиданно спросил:

— А день какой у нас нынче?

На этот простой вопрос мы не смогли сразу ответить: все дни в «великом сидении» смешались. Потом установили, что четверг, и тогда Василий Лукич авторитетно сказал:

— Смертельного исхода не предвидится. В четверг зеркало на корабле разбить — к большому походу. Нынче всплывем как пить дать. Вот увидите!

Мистики обиженно зашумели — такой приметы они и не слыхивали,— и так родился еще один из рассказов Василия Лукича, самый удивительный и самый трудный для передачи, потому что многие сведения о приметах, сообщенные им, мною, к несчастью, забыты.

Так, например, я никак не могу вспомнить, что следует делать в том случае, если при прогулке с девушкой вас неожиданно разделит с нею телеграфный столб или тумба. По кодексу примет это предвещает близкий разрыв, но чем можно обезопасить этот коварный замысел судьбы, я забыл: не то надо тут же присесть на корточки, не то трижды обойти задним ходом проклятый столб. Во всяком случае, надо сделать что-то такое, отчего вас или поволокут в милицию за уличное хулиганство, или сама

девушка убежит от вас, как от человека, показавшего, что он давно не в своем уме. Возможно, что большой процент разрывов любовных связей объясняется именно сложностью этой профилактики.

Если бы мне удалось привести в систему все приметы, изложенные в этой беседе Василием Лукичом, и все меры, аннулирующие неприятность, такой труд послужил бы основой счастья человечества. Но, к сожалению, я могу опубликовать лишь то, что удалось запомнить.

«В двадцать четвертом году,— начал он свою поучительную беседу,— перевели меня комиссаром на эсминец. Он еще на заводе стоял, кончал ремонт после долговременного хранения, и готовился к сдаче ходовых испытаний. Командир, Сергей Николаевич Горбунов, видимо хороший моряк, из старых офицеров, службу начал в двенадцатом году, но к Советской власти вполне лоялен, дисциплинку на корабле держит, ремонтом болеет. Ну, думаю, служить мне тут без особых хлопот. И вот перед самым выходом в море на пробу машин поступают ко мне нехорошие сведения, что командир корабля скупает золото.

Проверил я — и точно: он уже у пятерых спрашивал, где бы купить царскую золотую десятку или пятирублевик. Так, думаю, дело ясное: тут слушок прошел, будто нас в заграничный поход собираются послать с курсантами, вот он и запасается загодя валютой. Очень этот факт меня огорчил. Казалось, совсем человек перевоспитался, прибавочную стоимость исправно изучает, сам наловчился занятия с комсоставом по политэкономии проводить, я за это даже благодарность от Пубалта получил,— а гляди ж ты, все-таки родимые пятна капитализма из него лезут! И чтобы как следует его пристыдить, я за вечерним чаем при всех командирах и при старике инженере, который от завода ремонт у нас вел, взял да ему и бабахнул:

— Валютку,— говорю,— скупаете, Сергей Николаевич? Хорошее дело...

Он смутился, покраснел, а я продолжаю:

— Давайте бросим это занятие. Ежели сам командир такую предусмотрительность показывает, у нас не корабль получится, а прямая лавочка.

А он говорит:

— Вы, Василий Лукич, как большевик, этого не пой-

мете. Я, собственно, всего один золотой ищу — пятирублевик или десятку, это безразлично, а нужен он мне для предотвращения бедствий нашему кораблю. Так что это не спекуляция, а наоборот — забота о народном достоянии.

Я даже чаем поперхнулся — спятил, думаю, у меня командир. А он с достоинством и даже этак покровительственно поясняет:

— И мне удивительно, что вы, старый ма́трос, сами не догадались. Вы о Гогланде что-нибудь слыхивали?

Я отвечаю, что Гогланд этот мне глаза намозолил — сотни раз мимо него ходил. Остров как остров, лежит посредине Финского залива, и в чем, собственно, вопрос?

— А в том,— говорит,— что всякий старый моряк знает древнее поверье. Оно еще с петровских времен идет: когда в первый раз на корабле мимо Гогланда в море проходишь, надо золотую монету в воду кинуть — вроде как жертву морскому богу,— и тогда все плаванья на этом корабле будут тебе счастливы.

— Что же,— говорю,— может, в петровские времена это было рентабельно. Но сейчас, пожалуй, расход получается несообразный: скажем, если линкор идет, а на нем тысяча двести человек команды — это сколько же потянет? Двенадцать тысяч рублей золотом отдай — и вдобавок никакой гарантии?.. На такое мероприятие,— говорю,— Наркомфин визы никак не положит.

Молодежь из командиров, понятно, рассмеялась, старик инженер недовольно хмыкнул, а командир говорит:

— Вы, Василий Лукич, хотите свести к абсурду. Команды это не касается, а командир корабля как его хозяин, естественно, обязан отдать морскому богу эту небольшую лепту, чтобы чего не вышло... Обычай старинный, красивый, и в нем глубокий смысл.

— Допустим,— говорю,— что в этом есть своя красота. Но у меня к вам вопрос: поскольку при Советской власти комиссар корабля является ответственным за него наравне с командиром — значит, и мне прикажете на поход золотым запастись? Или, по моей несознательности, может быть, советским червонцем отделаюсь?

Он рассмеялся.

— Ну,— говорит,— раз Советская власть еще не издала декрета, какие приметы вздорные и какие научно обоснованы, так это дело вашей совести. Но на вашем

месте я бы от греха монетку Гогланду бросил. Ведь дело здесь вовсе не в суеверии, не в признании таинственного божества,— культурному человеку смешно об этом думать! — а просто в человеческой психологии. Вот я о себе скажу: я вполне понимаю, что примета эта — вздор, а все же внутренне опасаюсь, что коли я обычая не выполню, то это создаст во мне ожидание беды, аварии, какой-нибудь неприятности — словом, во мне это самое политико-моральное состояние, как вы изволите выражаться, будет нарушено, и я перестану быть на мостике уверенным в своих действиях. Повторяю, все дело здесь в психологии. Вот взгляните в историю: полководцы перед сражением обычно гадали — на петухах или там на бараньих лопатках, всякие затмения и кометы учитывали. Вы думаете, они судьбу этим пытали, будущее хотели узнать? Вовсе нет. Они в созвездии и в петушиные потроха за уверенностью лазили. Если ему светила благоприятствуют, этот полководец прямо землю роет — и смелость у него появляется, и инициатива, и боевой задор. А не дай бог дурное предзнаменование выйдет, тут уж он сам не свой — и мораль испортится, и глупости начнет делать, вот и выходит — лучше бы от сражения вовсе отказаться. Толстой об этом точно написал,— помните, у Наполеона был насморк перед Бородинским сражением? Он уже не войсками распоряжался, а чихал и о платках заботился, и эта посторонняя мысль ему сражение испортила... Или возьмите англичан: культурнейшая морская нация, а вы знаете, что у них в офицерской аттестации особая графа есть: везучий офицер или невезучий? У них признанного неудачника в серьезную операцию не пошлют: провалит обязательно. А тот, кого адмиралтейство признало за удачливого, счастливого,— тот в себе вполне уверен, у него особая смелость есть: раз он знает, что ему везет, он на многое рискнуть может... Зачем же самому себе психику портить? Золотой в воду кинуть — расход небольшой, а это мораль укрепит. А так как у меня на глазах живой пример с Гогландом был, то согласен я половину жалованья отдать, чтобы на походе быть спокойным.

— Какой же это пример? — спрашиваю.—Любопытно...

— Очень убедительный. Когда я службу желторотым мичманком начинал, попал я на миноносец номер двести двенадцать и выходил на нем вот тоже так: с завода из

Гельсингфорса в Петербург на торжественный спуск линейного корабля «Севастополь». А командир был тоже вновь назначенный, старший лейтенант Клингман. И вот, помню, на прощальном обеде перед походом офицеры с соседних миноносцев спрашивают его, приготовил ли он золотую монету для Гогланда. А надо вам сказать, Клингман из прибалтийских немцев был — скуповатый такой, расчетливый, экономный. «Это,— говорит,— пустая примета и устарелая. Она имела смысл при парусном флоте, потому что за Гогландом ветер обычно меняется, и отсюда ее происхождение. А для паровых кораблей помощь морского бога не нужна. Кроме того, мы идем мимо Гогланда не в море, а с моря, и к тому же миноносец не раз уже мимо него ходил». Мы, молодые, пересмеиваемся — видим, ему просто десятки жалко, вот и подводит всякие обоснования... Ну, вышли мы в море, легли курсом на Кронштадт. Подходим к Гогланду, а у Клингмана, вижу, внутренняя борьба происходит: и золотого ему жалко до смерти, и приметы побаивается. Потом, гляжу, кошелек вынул, порылся в нем, достал серебряный полтинник и кинул в море, как раз когда Нижний Гогландский маяк на траверзе был: видимо, он своим немецким умом в точности подсчитал, какую скидку на паровой корабль следует сделать по сравнению с парусным. А штурманский офицер ему говорит: «Зря вы, Артур Карлович, Гогланд изобидели. Вроде извозчику на чай дали. Лучше бы вовсе не кидали монету, а так — нехорошо получилось, как бы чего не вышло...» Клигман побагровел, но все-таки кошелек спрятал и Гогланду ничего не прибавил. И что бы вы думали? Входим мы в Неву — нам по диспозиции парада надо было стать на якорь против среднего пролета Николаевского моста,— набережные полны народом, торжество кругом, музыка играет, платочками машут. Клингман решил класс показать, а моряк он неплохой был. Идет, не уменьшая хода, скомандовал: «Оба якоря к отдаче изготовить!» — и лупит против течения прямо к среднему пролету. Расчет у него точный был: течение в Неве сильное,— если грохнуть с ходу оба якоря, миноносец остановится и замрет как раз у самого моста. Маневр красивый, что и говорить... Ну, летим мы к Николаевскому мосту, народ к перилам кинулся, в ладоши хлопают, «ура» кричат, любуются. А Клингман машины застопорил, стоит на мостике, как статуя, и на пролет моста смотрит. Довел, собака, до

предела, у меня сердце замерло: сажен двадцать до моста осталось, а миноносец все летит,— и скомандовал этак со щегольством, не торопясь: «Из правой и левой бухты вон! Отдать оба якоря!» Загрохотали якорцепи, на баке — дым и искры... С такого хода, сами понимаете, якорцепи как бешеные сучатся, треск стоит!.. Лошади на мосту — на дыбы, люди от перил отшатнулись, видят — миноносец прямо под мост летит... А Клингман красуется, глазом меряет, когда скомандовать «задержать канаты». И вдруг мелькнуло что-то в клюзах, на баке все стихло, а миноносец — шмыг под мост, как мышь в нору... Мачта полетела, начисто срезало, одну трубу снесло, вторую, третью. Выскочили мы ощипанные по ту сторону моста, привалились к быку, а с моста извозчики, мерзавцы, для смеха кричат: «Куда держишь, черт желтоглазый, правее держи, окосел, что ли?» Клингман за голову схватился и убежал в каюту. Застрелиться не смог, а флотскую карьеру кончил: списали его на берег... Комиссия потом разобралась: оказалось, обе якорцепи на пятой смычке отклепаны были для покраски. Недосмотрели на заводе перед походом. Так и отдались оба якоря навовсе... Вот как ему Гогланд за полтинник отомстил!..

Я на Сергея Николаевича во все глаза смотрю: вот, думаю, послал мне господь бог и исторический материализм командирчика!..

— Послушайте,— говорю,— надо же здравый смысл иметь! При чем здесь Гогланд? Кабак у вас на миноносце был, это точно: слыханное ли дело с отклепанными канатами в море идти?.. И, кроме того, ваша теория тоже здесь не выдерживает критики: ведь этот Клингман уверенности в себе не потерял, и смелый маневр задумал, и распоряжался толково — при чем же здесь давление на психику?

— Так-то,— говорит,— так, а все же... Это еще Шекспир писал: «Есть много в жизни тайн, мой друг Горацио...» И Пушкин отмечал: «Татьяна верила преданьям простонародной старины, и снам, и карточным гаданьям, и предсказаниям луны. Ее тревожили приметы...» Помните?

— Нет,— говорю,— не помню. И Татьяна ваша в рядах рабоче-крестьянского флота не состояла, так что это ее частное дело. А вам, как командиру РККФ, довольно стыдно суеверия разводить.

— Может быть, может быть, Василий Лукич, но, повторяю, в приметах есть своя правда. Многие из них сложились исторически. Вот говорят, что третьему от одной спички не следует прикуривать, нехорошая примета. А почему нехорошая и чего ждать — забыли. Откуда это пошло? От штуцерных ружей. В Севастопольской обороне у англичан и французов появились штуцера — нарезные, меткие, прицельные. Вот и начали отрабатываться первые снайперы: они наших матросов по ночам в бастионах подстерегали, когда те трубочки раскуривали. Высечет матрос огоньку, даст первому прикурить — стрелок огонь увидит, штуцер вскинет. Второй матрос прикуривает —стрелок наводить начинает. А третий к огоньку потянется—тут ему и пуля в лоб. И так это приметили, что это в плоть и в кровь моряку вошло, а причину забыли. Более того, придали ей вульгарный смысл: будто, мол, если третий прикуришь, дурную болезнь подхватишь... Но действие-то приметы осталось,— если мне, скажем, не удалось отшутиться и пришлось третьим прикурить, я целый день сам не свой хожу, все пакости какой-нибудь жду — и это вне моих сил, с детства во мне сидит: и отец третьим не прикуривал, и дядя. Так зачем же мне самому себе настроение портить? Вот и не прикуриваю третьим, и это не суеверие, а простая забота о собственной психике. Я себя суеверным никак назвать не могу. Вот Фрол Игнатьич — другое дело; он у нас всему верит — «и снам, и карточным гаданьям, и предсказаниям луны», и кошкам, и всяким бабьим сказкам...

А Фрол Игнатьич, старик, заводской инженер, насупился.

— Коли это бабьи сказки, то ваши морские приметы — уж вовсе ерунда. Кошка, луна и прочее — это исконная народная мудрость, вроде как приметы о погоде, которым ученые-метеорологи удивляются. А когда это у вас, моряков, тринадцатое, пятницу выдумали и откуда это пошло, вы сами не объясните, а небось в пятницу, тринадцатого вас с якоря не стащишь, хоть в трибунал отдавай...

Командир мой улыбнулся.

— Пятница, тринадцатое — это, конечно, вздор. А вот в понедельник, тринадцатого я действительно в большой поход не пойду. И могу вам пояснить, как эта примета сложилась. Англичане как морская нация для

вас авторитет? То-то. Так вот во время войны стояли мы в Рижском заливе в Рогекюле рядом с английскими подлодками, и я с одним офицером об этом разговорился, он и смеется: «Странные вы люди, говорит, русские! Ну понятно — весь мир знает, что тринадцатого в понедельник в море выходить опасно. Но почему нельзя в пятницу? Это же просто суеверие!» Я спрашиваю: «А понедельник, что же, не суеверие?» — «Конечно, нет,— говорит.— Это результат долгих наблюдений. В воскресенье всякий порядочный моряк напивается так, что в понедельник его еще дрейфует и в мозгах такая девиация, что он носа от кормы не отличает. И мировая статистика показывает, что наибольшее количество аварий приходится на понедельник. Что же до тринадцатого числа, то опять-таки весь мир знает, что в Англии ни на одной улице нет дома номер тринадцать, а есть двенадцать-бис, потому что тринадцать — число несчастливое. И никто себе не враг: если с пьяных глаз тринадцатого, да еще в понедельник, в море сунуться, тогда уж не аварией пахнет, а гибелью. Вот это все объяснимо! А ваши суеверия просто смешны». И прав этот англичанин: действительно, понедельник — похмельный день, а тринадцатое дополнительно на психику давит. Так сказать, квадрат в кубе. Видите, как все просто...

— Чего же проще,— хмуро отвечает Фрол Игнатьич.— И статистику за волосы притянули, и психику, а про тринадцатое число ничего научно не объяснили, а ведь верите, что число несчастливое. Почему же тогда не верить, что кошка, перебежавшая дорогу, или пустое ведро навстречу сулят неудачу? Где же логика? Уж если одной примете верить, так надо всем верить. Только в них разбираться надо. Вот, скажем, молодой месяц. Коли его неожиданно справа увидишь и успееешь за кошелек схватиться — весь месяц деньгам переводу не будет. Но, думаете, взялся за кошелек — и все тут? Дудки-с! Это все бы в миллионщиках ходили. А соль тут в том, четные у тебя в кошельке деньги были или нечетные. Коли нечетные — и молодой месяц не поможет. То же и с зеркалом: тут все роль играет — дареное или купленое, где разбилось, и как упало, и какой рукой ты его поднял, и в какой день... И потом — на всякий газ есть противогаз. Например, кошка. Если она дорогу перебежит — известное дело, пути не будет, обязательно какая-нибудь дрянь ожидает. А ты возьми и перевернись

через левое плечо, плюнь ей вслед и добавь заклинаньице покрепче. Вот и вся профилактика... Это еще в Священном писании сказано — да опасно каждый ходит. Иди и посматривай: собачку увидишь, что на глазах у тебя присела за нехорошим, ты ей сейчас кукиш в кармане сложи, вот и отведешь ячмень от глаза... Или, скажем, на мостике в походе кто засвистал, что, как известно, может несчастье накликать,— боже тебя сохрани его остановить: обязательно авария будет. А ты тихонько отойди да поскреби мачту ногтем. Сразу его глупость на хорошее повернешь: ветерок попутный получишь. Я очень одному человеку благодарен: он меня всем этим тонкостям научил, и я теперь хожу как в броне — всякой примете могу нужный кукиш показать...

Тут в разговор встрял штурман.

— К сожалению,— говорит,— не на всякий газ есть противогаз, Фрол Игнатьич. Вот, скажем, можно ли на мостике говорить, что придем, мол, тогда-то? Я и сам этого не делаю и другим не позволяю. А почему? Потому что я участником последствий такой ошибки был. В семнадцатом году шли мы на миноносце «Стройный» двадцатого июня из Хельсинки в Рижский залив в дозор. А штурман был из мичманов военного времени, и ему командир — старший лейтенант Рязанов — не очень доверял и сам всю дорогу в прокладку вмешивался. Мое же дело было телячье — по случаю революции я сигнальщиком на мостике торчал в бывшем гардемаринском звании. Подходим к Куйвасто, Рязанов взял пеленг, скомандовал поворот, дал курс, взглянул на часы и так уверенно говорит: «Вот, штурманец, сказал я вам, что ровно в восемь ноль-ноль отдадим якорь на рейде, так оно и получится». А миноносец вдруг подпрыгнул, повалился на правый борт, но не потонул — повис на сахарной голове, на карте не показанной... Снять не поспели: утром налетели немцы, тремя бомбами утопили... С тех пор я хожу опасно, как вы говорите, и насчет того, когда якорь кинем, помалкиваю. Уже если какое начальство, кому не поперечишь, привяжется, пускаю в ход формулу, какую сам составил: мол, если все пойдет, как предполагаю, можно рассчитывать стать на якорь в семь тридцать пять или около того, как получится... Но это так, для собственной психики, а уверенности, что формула сработает, нет... Может, что посоветуете?

Вот, думаю, попал я на кораблик: мракобес на мра-

кобесе! И что удивительно: штурман этот царского флота не прихватил, а предрассудков набрался.

— Погодите,— говорю,— давайте опять разберемся. При чем тут примета, если ваш командир самодеятельностью занялся? Вел бы штурман, все в порядке было бы... А интересно, кто под суд пошел? Он или штурман?

— Никто. Я ж говорю, на карте камня не было. Мимо него всю войну утюжили, а тут — на́ тебе!.. Нет уж, товарищ комиссар, что ни говорите, а лучше с опаской отвечать...

Не успел я ему возразить, как подал голос дивизионный минер — он на нашем эсминце квартировал, тоже бывший старший лейтенант.

— А я,— говорит,— так полагаю, что приметы — дело полезное и относиться к ним надо терпимо. Вот хотите послушать, как меня они от ложного шага предостерегли?

Час от часу не легче! Вот уж не думал, что эта тема заденет всю кают-компанию, гляди, пожалуйста,— мистик за мистиком, а еще интеллигенты!..

— Ладно,— говорю,— поделитесь. Дополните энциклопедию примет, все ж таки образованнее будем.

— А вы,— говорит,— Василий Лукич, не иронизируйте. Случай этот, может, вам в руку сыграет. Дело в том, что, когда после ледового похода попал я на береговую должность, я стал подумывать о домашнем очаге. А тут познакомили меня с одной семьей нашего, так сказать, круга,— отец был врачом, скончался при Советской власти в почете, семье персональную квартиру оставили. Обстановка вся сохранилась, даже рояль, а мелочь мать и дочь полегоньку травили через кнехт в комиссионки — жить-то на что-то надо... Зачастил я к ним и осенью двадцать первого года сделал предложение. Прямо надо сказать, особого романа у нас не было: Наталье Петровне уже за тридцать, мне под сорок — словом, не Ромео-Джульетта, а, как говорится, брак по расчету. Свадьбу решили справить по обычаю, тогда еще насчет церкви никто на флотах не разъяснял. И вот прихожу я как-то в воскресенье, чтобы пройти вместе с Натальей Петровной в собор к батюшке — договориться об оглашении и о прочем. Вхожу, она так мило встречает в передней: не успел я порог переступить, обе руки тянет. Поздоровались мы, а мамаша из гостиной кричит:

«Наташа, Наташа, назад! Разве можно через порог здороваться, поссоритесь!» Я рассмеялся: какие у нас могут быть ссоры, но под напором мамаши отступил назад и перепоздоровался. Сели мы завтракать, и, как на грех, потянулся я за стаканом и соль перевернул. Будущая моя тещенька опять в крик: «Что за день! Еще дурная примета! Нет, как хотите, ссоры нам не миновать...» Я успокаиваю ее: это, мол, предрассудки, но заставили меня эту соль через левое плечо назад кинуть. Ну, ладно, пошли мы в собор, идем к трамваю, а тут восьмой номер как раз отваливает. Мы бегом. Наталья Петровна кричит: «У вас шнурок развязался на ботинке, переждем, пропустим восьмерку, примета плохая!» Я ее под руку подхватил — и подумайте, наступила она на бегу на шнурок — и я бац на торцы... Встал весь в пыли, пришлось вернуться — почиститься. Вошли, Марья Федоровна как ахнет: «Ах, боже мой, вы с ума сошли! Такое важное дело, поворот всей жизни, а вы возвращаетесь? Не пущу вас сегодня ни за что, я своей дочери не враг!» Я начинаю ее убеждать: откладывать нельзя, скоро филипповский пост, не поспеем с оглашением — значит, свадьбу отложить на полтора месяца... Ни в какую! Кипит моя будущая тещенька, как самовар, и стопу нет. Чувствую, настроение у меня портится, начал горячиться, пошел у нас спор, да какой!.. Все припомнила тещенька — и что познакомился я с ними в понедельник, и что предложение умудрился сделать в пятницу, и что кошка дорогу перебежала, когда мы выходили, а мы не заметили... Тут и Наталья Петровна масла в огонь подбавила — о шнурке... Словом, смотрю я на них и с ужасом вижу, что с Марьи Федоровны весь культурный лоск сошел и передо мною просто уксусная вздорная дама.

А еще хуже — в разгар ссоры такое замечаю выражение лица и у самой Натальи Петровны, что меня прямо страх взял: вижу, годика через три-четыре моя Наташа в такую же дамочку превратится... Я за фуражку. А сам волнуюсь, и как я ее с подзеркальника потянул, задел как-то зеркало, оно хлоп об пол, а тещенька в обморок, и Наталья Петровна кричит: «Что вы наделали, вы мамочке смерть напророчили!..» Ну, ушел я, и отношения наши так охладились, что о браке и речи быть не могло... Вот, товарищ комиссар, не будь этого кодекса примет, пожалуй, получил бы я семейное счастье... Ведь не зря Оскар Уайльд, что ли, писал, мол, трагедия каж-

дой женщины в том, что с годами она становится похожей на свою мать... А тут мне благодаря приметам будущее открылось. Вот я и сказал, что приметы — дело полезное.

Так вопрос с золотом для Гогланда и остался на повестке дня. Служит мой командир — не придерешься, на корабле порядок, работы заводские идут, везде он сам присматривает, нахвалиться не могу. А меня все этот золотой тревожит: купил, думаю, или не купил?.. Вышли наконец в море, проходим Гогланд, я на мостике стою рядом с командиром неотступно. Докладывает штурман: «На траверзе Гогланд, разрешите ворочать на курс двести семьдесят?» — «Добро,— говорит командир,— ворочайте»,— а сам на правое крыло и что-то в руке держит. Я к нему. Посмотрел он на меня смущенно и ладонь разжал: там крест нательный и цепочка золотые.

— Василий Лукич,— говорит,— вы мне не мешайте. Это я не покупал. С детства на мне висело. В семнадцатом году снял, в столе лежало. А теперь пригодилось...

Вскинул руку — и швырнул за борт золото, а сам повеселел.

— Смейтесь,— говорит,— не смейтесь, а у меня словно камень с души упал. Вот увидите, как кораблик наш щеголять будет!..

Я просто руками развел: никакой обработке мой командир не поддается. Шут с ним, думаю, у каждого свои причуды есть, и перестал обращать на него внимание.

Поплавали мы с месяц-полтора после приемки корабля от завода, лоск навели, учебные стрельбы прошли, стал наш эсминец на первые места выходить, сердце радуется. Я Сергею Николаевичу все его чудачества простил: командир — всем на удивление. И вот как-то получаем семафор: командиру и комиссару явиться в штаб флота. Вышли мы с Сергеем Николаевичем на стенку, идем, и у самого штаба, откуда ни возьмись, кошка перебегает дорогу, да еще черная. А это по кодексу — уж совсем плохая примета. А перевернуться через левое плечо по рецепту Фрола Игнатьича никак не выходит — кругом людей полно, краснофлотцы ходят, командиры идут навстречу, и ни с того ни с сего вращаться на ровном месте вокруг собственной оси не очень-то удобно... Чего это, скажут, за кадриль? Я на него сбоку смотрю, как он из положения выйдет, а он мне тихонько говорит:

— Если ничего не имеете против, обойдемте эту клумбу вроде как в разговоре.

— Нет,— говорю,— имею против: пора эти шутки бросать, товарищ командир эсминца. И коли насчет примет пошло, то у меня своя примета есть: кто перед штабом флота суеверные фокусы показывает, того обязательно демобилизуют как не соответствующего званию командира РККФ. Примета верная, будьте спокойны! Так что выбирайте из двух примет одну. Хватит бабу из себя строить!

Видимо, сказал я это твердо, потому что Сергей Николаевич мой помялся-помялся и пошел через кошкины следы прямо ко входу в штаб. А там нам разъясняют, что готовится общефлотское ученье и что нашему эсминцу надлежит выйти к устью Финского залива во вторник в восемь утра для выполнения особого задания. Командир остался в оперативном отделе получать документы, а я решил ему штучку подстроить. Пришел к начальнику Политуправления, рассказал ему о Гогланде и попросил посодействовать: выход назначить не во вторник, а в понедельник, якобы для того, чтобы незаметно занять позицию. А понедельник-то был тринадцатого числа... Вот, думаю, завертится мой Сергей Николаевич!

Вернулись мы с ним на эсминец, началась подготовка — поход длительный, а осталось два-три дня, пошли всякие приемки. Вдруг в субботу приходит ко мне мой командир и говорит:

— Василий Лукич, вот какая штука: задание нам изменили. В понедельник приказано выйти...

— Ну что ж,— говорю,— и отлично. В понедельник так в понедельник. Тем более тринадцатого числа. Вот и посмотрим, как оно сыграет.

Замрачнел он, но службу несет исправно. А вечером за чаем завел со штурманом спор: как, мол, у того компасы? И порешили они завтра выйти на рейд, подуничтожить на всякий случай девиацию и поточнее ее определить — поход-то долгий. Ладно. Вышли мы в воскресенье после обеда на рейд, покрутились-повертелись, девиацию вконец изничтожили. Тут командир и говорит:

— А что, товарищ комиссар, зачем нам в гавань возвращаться? Увольнения все равно не будет, пусть команда отдохнет.

Что ж, думаю, дельно. Стали мы на якорь на Большом Кронштадтском рейде и койки на час раньше раз-

дали. А утром тринадцатого, в понедельник, снялись с якоря и потопали в Балтийское море.

Походик был трудный, всего хватило — и маневрирование сложное, и штормик навалился, но все идет хорошо. А главное — никакой этой психики или там депрессии у Сергея Николаевича не наблюдается: веселый, решительный — словом, переломил он, видно, в себе эти дурацкие суеверия. Возвращаемся мы с моря, уже и Кронштадт виден, Морской собор куполом из воды полез — и хотел я было командира подначить: вот, мол, и кончился поход благополучно, несмотря на ваши приметы... Даже благодарность комфлота схватили!.. Уж рот раскрыл, да промолчал. Странное дело: припомнил штурманскую болячку насчет лишних слов на мостике раньше времени — и промолчал. Вот ведь и на меня эти чудасии свое действие оказали!.. И только когда в гавань вошли, якорь отдали, швартовы на стенку подали, тогда сказал я с ехидцей:

— Что ж,— говорю,— Сергей Николаевич, где же ваши приметы? Вышли тринадцатого, в понедельник — и вернулись как миленькие!..

А он на меня хитро так глядит.

— Тринадцатого? Откуда вы это взяли? — и берет из штурманского стола навигационный журнал.— Пожалуйста, справьтесь.

А там четким штурманским почерком написано: «Воскресенье, двенадцатого числа такого-то месяца. 14 ч. 12 м. Отдали швартовы и вышли в море» — и дальше полагающиеся записи об уничтожении и определении девиации.

— Ну и что? — спрашиваю.

— А то, что начали мы поход вовсе не в понедельник, а в воскресенье, только и всего. Видите, написано: «Отдали швартовы и вышли в море».

— Позвольте,— говорю,— мы же вышли на рейд?

— Ну и что? — говорит он мне моими же словами.— А рейд — часть моря. В понедельник мы поход продолжали, а не начинали. Вот так, товарищ комиссар: на всякий газ есть противогаз...

И штурман рядом стоит с ухмылочкой. Ну, хорошо, думаю, я вам еще припомню!.. И точно, случай представился: тут так подошло, что вскоре тринадцатое число пало на пятницу. Я опять к начальнику Политуправления, давайте, говорю...»

Но как отомстил Василий Лукич командиру эсминца, мы никогда не узнали — по лодке загремели колокола громкого боя, и по трансляции разнеслись долгожданные слова:

— По местам стоять к всплытию!

«Великое сиденье» наше кончилось.

Уже много позже, когда повернули в Севастополь, «король эфира» подошел к Василию Лукичу.

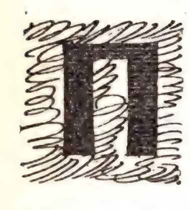
— А что ж, товарищ капитан второго ранга,— сказал он.— Выходит, примета с зеркалом-то верная? И часу не прошло, как она сработала!

Василий Лукич засмеялся.

— Примета?.. Да я насчет всплытия еще накануне знал. Как-никак я ж на лодке у вас в посредниках существую. Шифровку командир мне еще вчера показал — вот вам и вся мистика!

1926—1967

Рождение командира



орыв ветра донес с бухты хрустальный перезвон склянок, и нетерпеливо шагавший по пристани лейтенант почти бегом поднялся по ступеням мимо безмятежной парочки, пристроившейся в тени колоннады. Он взглянул на них со злостью, смешанной с откровенной завистью, и застыл у колонны в позе отчаявшегося ожидания.

Девушка проводила взглядом его ладную и крепкую фигуру. Золотые нашивки на рукавах белого кителя сияли предательской новизной, явно указывая, что владелец их ходит в лейтенантах не слишком давно.

— Бедняга! Видно, она уже не придет,— сочувственно сказала девушка и пожала пальцы собеседника (который еще ни разу не опоздал на свидание).

— Свинство! — согласился тот и добавил с железной логикой влюбленного:— Чудесный ветерок, не правда ли?

Лейтенант нервно закурил папиросу и зашагал вдоль колоннады. Девушка опять взглянула на него с жалостью: наверное, разрыв. Разве так мучают человека, если хоть немножко его любят?.. Лейтенант опять остановился, взглянул на часы и потом решительно пошел вниз, к пристани, где стояли красивый военный катер и большая пузатая шлюпка.

Со ступеней он еще раз (о, неистребимость надежды!) обернулся на площадь, просиял и бегом ринулся

навстречу. Девушка невольно привстала на скамье, всем сердцем поняв его порыв. Но она увидела только грузовик, какие-то ящики на нем, четырех краснофлотцев и вспотевшего флотского доктора, с которым лейтенант вступил в оживленную беседу, пока краснофлотцы быстро и ловко спускали ящики на асфальт.

Беседа (которую девушка не могла слышать) пошла о медицине вообще и о самом докторе «с его дурацкими клистирами» в частности. Неужели доктор не мог сообразить, что пока он возился со своими «банками-склянками», подул этот паршивый ветер и теперь придется подымать шлюпки на порядочной волне? Неужели ему непонятно, что до съемки с якоря осталось меньше двух часов? Почему, наконец, он не позвонил с вокзала о задержке?.. Доктор, вытирая пот, оправдывался, что на вокзале никакого ветра не было, что в накладной оказалась ошибка, что телефон решительно ни при чем, ибо до линкора сорок минут ходу, а времени осталось больше полутора часов, и что лейтенант, очевидно, не успел развить в себе основных качеств командира — выдержки и спокойствия. Ящики тем временем были погружены на баркас, доктор и лейтенант во взаимном неудовольствии прошли мимо девушки вниз, мотор на катере загрохотал и пустил из-под кормы синюю струйку, на баркасе поставили флаг, сразу же вытянувшийся в тугую цветистую плоскость, и катер, отделившись от пристани, дернул тяжелый баркас и повел его в бухту.

И хотя ветерок, лирически названный влюбленными «чудесным», все свежел и уже в самой бухте появились барашки, но лейтенант заметно успокоился. Самое неприятное осталось на пристани.

Приказание было точное: принять в шлюпочной мастерской баркас № 2, погрузить доктора с аппаратурой рентгеновского кабинета и отваливать на корабль, не опаздывая к походу. Но доктор проковырялся с приемкой все утро, подул ветер, все неожиданно осложнилось, и впервые за свою недолгую командирскую службу лейтенант Тимошин вынуждался к поступку чисто командирского свойства: решать самому,— и одному! — и решать правильно.

Сперва он решил ждать ровно до трех, накинув необходимое время на погрузку, на переход по волне и на подъем катера и баркаса на палубу. Но уже без четверти три ему показалось, что погрузить «клистиры» на

баркас — минутное дело и что можно подождать до четверти четвертого.

В три часа, размышляя о том, как он появится на линкоре без доктора, он почти услышал уничтожающую интонацию помощника командира: «Так, по-вашему, у нас две шлюпки подымают полчаса?» — и доктор тотчас получил амнистию еще на двадцать минут.

Но подошел и новый срок, и лейтенант встал лицом к лицу с основным вопросом: оставить корабль на весь поход без врача (старший был в командировке) или задержать съемку с якоря, согласованную с действиями других кораблей эскадры? Вопрос был настолько грозен, что он малодушно кинулся к телефону, чтобы убедить дежурного по штабу флота запросить линкор по радио: ждать или отваливать?

Но пока в трубке щелкало и клохтало, он представил себе, как встретят на корабле такую паническую радиограмму, и ему стало неопровержимо ясно, что уменьшать ход на волне, пожалуй, не придется и что в запасе времени он перехватил. Он повесил трубку, решив подождать «ровно до четырех», и вышел на пристань в состоянии, близком к отчаянию: если доктор не появится в четыре, все равно придется решать самому, и тогда будет поздно спасаться даже ценой радиопозора. С горечью признавшись себе, что из него никогда не выйдет настоящего командира, он зашагал по пристани, отлично понимая, что и «ровно в четыре» он не отвалит, ибо основной вопрос — ждать или не ждать? — так им и не решен.

Но теперь, когда катер, покачиваясь, бойко шел из бухты, лейтенант повеселел. Взглянув на часы, он с удивлением обнаружил у себя в запасе, сверх всех накидок на волну и на ветер, еще лишние полчаса (которые он, хитря с самим собою, набавил просто так, для верности), и тогда он успокоился окончательно. Даже сизая туча, которая стремительно и низко надвигалась к морю от гор, заставляя темнеть воду в бухте, не смогла испортить его настроение, и он весело болтал с краснофлотцами. Доктор же, наоборот, примолк, чувствуя, что, если бы в накладной не оказалось ошибки, путешествие, и точно, было бы спокойнее. Доктор плавал первый год и морю не особенно доверял.

На рейде волна оказалась еще крупнее. Гребни рассыпáлись белой пеной по неприветливой темной воде.

Ветер дул с берега, холодный и резкий, срывая порой брызги и захлестывая их в катер. Когда, пройдя мыс, повернули к видневшемуся вдали линкору, волна круто повалила катер на правый борт и потом начала швырять его с боку на бок. Лейтенант оборвал разговор и встал рядом со старшиной у штурвала. Ветер и волна, бившие в левый борт, явно сносили катер в море, и баркас начал время от времени сильно дергать корму буксиром. Но и это по сравнению с переживаниями на пристани казалось пустяками: тут, по крайней мере, было известно, что делать.

— Потравить буксир! — крикнул он на корму и, с удовольствием убедившись, что на длинном буксире баркас перестал дергать катер, повернулся к штурвалу.— Еще лево... Вот так и держите, на крайний эсминец!

Он спрыгнул вниз и, присев на корточки, ловко закурил, охватив спичку ладонями, и потом посмотрел на доктора, героически мокнувшего под брызгами на наветренном борту.

— Коли бы не ваши клистиры, давно бы дома были,— сказал он ядовито и потом добродушно прибавил: — Да чего вы там мокнете? Идите сюда.

Доктор отрицательно мотнул головой. При каждом размахе катера сердце его замирало, и он упирался ногами в палубу, откидываясь к борту, как бы стараясь выпрямить этим катер. Тот валился больше на правый борт, и доктору казалось неблагоразумным перегружать собою подветренный борт, где и так сидели краснофлотцы и куда вдобавок сел и сам лейтенант. Удивительная беспечность у этих молодых командиров! «Клистиры»! Он неприязненно посмотрел на Тимошина. Подумаешь, морской волк! Небось на пристани растерялся, а тут бодрится... И чего он суется с приказаниями? Нет, брат, Тюлина не тебе учить. Тюлин четвертый год на катерах ходит, не в такую волну выбирался... Вот опять вскочил! Разве можно в такую погоду по катеру прыгать?

Тимошин опять встал рядом со старшиной и, сморщившись, взглянул против ветра на сизую тучу, уже нагонявшую катер. Потом снял колпак с компаса, заглянул в него и крикнул старшине:

— Править по компасу, курс триста!

— Есть курс триста,— ответил Тюлин, и доктору показалось, что ответил с усмешкой. Оно и понятно: ка-

кой там компас, когда линкор — вот он, как на ладошке, и ходу до него полчаса. Вот расслужился, юнец!

Тимошин опять соскочил вниз и повернулся к доктору.

— Ух, и ливень будет! — сказал он почти с удовольствием.— Промокнут ваши клистиры, и ящики не спасут. Брезента небось не взяли?

Доктор хотел было вконец обозлиться за «клистиры», но, вспомнив, что о брезенте он и впрямь утром забыл, потому что жара была собачья, смолчал.

— Ладно,— милостиво сказал Тимошин и закричал во весь голос:— На баркасе! Ящики прикройте! Снять чехол с рангоута, чехлом и парусами прикрыть!

— Есть прикрыть,— долетел с баркаса голос старшины, и краснофлотцы в баркасе зашевелились. Доктор, осторожно приподнявшись и крепко держась рукой за борт, увидел, как вздулась в их руках девственно-белая парусина. Внезапно она стала темной. За воротник потекли холодные струйки, все кругом заревело, и баркас исчез из глаз.

Это налетел шквал с плотным косым дождем. Китель на Тимошине стал тоже темным, золотые нашивки как бы потускнели. Он нахлобучил фуражку и повернулся лицом к линкору. Впереди встала сизая мгла, и дальше второй волны ничего не было видно. Тюлин, легши грудью на штурвал, всматривался в компас, то и дело обтирая лицо рукавом, а лейтенант, сделав ладони трубочкой, прикрыл ими глаза, разглядывая кипенье воды впереди. Потом он откинулся назад:

— Товарищ Корнев, пройдите на бак впередсмотрящим! Осторожнее, смоет!

Корнев, аккуратно завязав ленточки бескозырки вокруг шеи, пошел на нос, цепко хватаясь за поручни. Доктор, весь съежившись под ливнем, проклинал себя. Дернуло его самому отправиться за грузом! Проветриться захотел, изволите видеть! Но кто же знал, что такая буря будет? Он достал платок, свернул его жгутом, заложил за воротник и застыл в несчастной позе. Еще минут пять катер качался в сизой мгле шквала, потом с бака донесся голос Корнева:

— Справа по носу пре́дмет!

— Лево на борт,— тотчас ответил Тимошин.

Катер рыскнул влево, волна подняла его нос, и корма глубоко ушла в воду. Ведра полтора воды плеснуло в

корму, ноги доктора мгновенно промокли, и он выглянул за борт: «пре́дметом» в этой мгле мог быть и желанный линкор. Дождь больно хлестнул ему в глаза, впереди была все та же косая водяная пелена, а Тимошин вдруг очень громко и тревожно скомандовал:

— Стоп!

Ровный рокот мотора внезапно оборвался, Тимошин и Тюлин переглянулись, и доктор догадался, что произошло что-то неладное. Краснофлотцы тоже, очевидно, это поняли, потому что свесили головы за борт, разглядывая что-то на воде. Тимошин, нагнувшись, открыл люк машинного кожуха и заглянул туда. Минуту он переговаривался с мотористом, потом выпрямился и достал папиросу. Закурить ему не удалось, фокус с ладонями что-то не выходил, и он выкинул мокрую папиросу за борт.

— Намотали, Тюлин,— коротко сказал он, достал еще одну папиросу и спрятал ее обратно.

Только теперь из начавшихся переговоров доктор понял, что произошло. Шторм сорвал сети, поставленные рыбаками под берегом, и унес их в море. «Предмет», оказавшийся буйком, был обнаружен внезапно у самого катера, и, когда Тимошин скомандовал «стоп», винт уже остановился сам, намотав на себя сети.

Катер опять стал бортом к волне и изменил качку. И хотя размахи ее не увеличились, но она показалась доктору опаснее прежней: катер мотался на волне беспомощно и жалко, и доктор вдруг со страхом понял, что каждый удар волны относит их в море. Он беспокойно оглянулся. Ливень уменьшился, баркас опять стал виден, но линкора и кораблей сквозь частую сетку дождя найти ему не удалось. Он взглянул на Тимошина. Тот стоял в раздумье, расставив ноги и качаясь с катером.

— Может, задним ходом размотаем, товарищ лейтенант? — спросил Тюлин.

Тимошин покачал головой и обернулся, оглядывая краснофлотцев. И, словно поняв его взгляд, один из них снял фуражку и, зажав ее между коленями, потянул с себя форменку. Тимошин дождался, когда лицо его показалось из-под вздувшейся материи, и спросил, как о самой обыкновенной вещи:

— А как ныряете, товарищ Фомин?

— Подходяще,— ответил тот и скинул брюки.

Тимошин поискал глазами:

— Конец приготовить и нож!

Фомина обвязали тонким концом. Тюлин хозяйственно привязал к его голой руке и нож. Фомин стал на борт и, дождавшись, когда катер положило, нырнул.

— Враз не срезать,— сказал другой краснофлотец, Паньков, и, сев на банку, начал деловито снимать сапоги. Он успел снять оба и стащил уже брюки, когда с другого борта показалась рука с ножом. Фомина вытащили.

— Холодная? — спросил Паньков.

Фомин взглянул на него, тяжело дыша. На голом мокром его плече шла широкая кровавая полоса.

— Об обшивку бьет, не поранься... А вода ничего,— сказал он, обтирая плечо.— Сеть не режь, режь верхнюю подбору... И грузик какой возьми, наверх сильно тащит.

Лейтенант подозвал Тюлина, и они втроем посовещались. Потом Тюлин хитрым узлом привязал к ноге Панькова полупудовую балластину, взял конец в руки, а Тимошин вынул часы.

— Отдать якорь! — засмеялся Фомин, когда, подняв обе руки вверх, Паньков бухнулся в воду.

Тимошин с часами в руках стоял у борта. Когда прошла минута, он взмахнул рукой. Тюлин рывком дернул конец. Паньков выскочил из воды, как пробка, и Тюлин вытащил освобожденную от него балластину. Фомин подошел к борту.

— Срезал? Или еще лезть?

— Срежешь ее, черта! — сказал Паньков и потянулся за брюками.— Смоленая она.

Тюлин присвистнул, и все посмотрели на лейтенанта, доктор тоже, хотя он и не совсем понимал, почему эту «подбору», оказавшуюся смоленой, нельзя просто снять с винта. Но одно было ясно: катер запутался в сетях, и его несет вместе с ними в море, а шторм не собирается стихать и с кораблей их не видят. Этого было достаточно, чтобы представить себе, где застанет их следующее утро (если оно вообще их застанет). Он оттянул от тела промокшие брюки и вдруг обозлился: разве можно было доверять катер в такую погоду только что выпущенному из училища лейтенанту? Опытный командир не напоролся бы на сети, настоящий командир и сейчас что-нибудь бы придумал, стал бы на якорь, что ли... В раздражении доктор забыл, что «такую погоду», собственно, устроил он сам своей задержкой, что в сизой мгле шквала наско-

чить на сети, болтающиеся далеко от берега, мог и самый опытный командир и что под катером была глубина, которой не достал бы якорь.

— Ну, товарищ лейтенант, чего теперь делать будем? — спросил Тюлин.

«Чего делать?» Второй раз сегодня служба требовала, чтобы Тимошин оправдал свои командирские нашивки. На этот раз дело шло не о самолюбии, а о более серьезных вещах — о катере, баркасе, рентгене и о людях.

Лейтенант стоял спиной к краснофлотцам, бесцельно смотря в серую мглу дождя. Повернуться он не мог, боялся, что на его лице все прочтут растерянность. Он вдруг поймал себя на том, что думает совсем не о людях, которые ждут от него, комсомольца и лейтенанта Красного флота, решительности, спокойствия и уменья, а о том, как глупо все это получилось. Конечно, надо было отваливать, не дожидаясь доктора. Надо было на пять секунд раньше догадаться, что этот буек означает сети... Он испугался этих бесполезных мыслей: надо б ы л о... Что надо с е й ч а с?..

Волна вдруг сильно накренила катер, а буксир, переползший к борту, не дал катеру вовремя встать. Вода опять хлынула в корму, и Тимошин услышал высокий вскрик доктора:

— Что же делать? Давайте что-нибудь делать, тонем!

В этом крике была явная паника, и Тимошина точно подкинуло. Он резко повернулся, столкнулся взглядом с доктором, и тот испугался еще больше: во взгляде Тимошина доктор прочел растерянность. И тут же лейтенант понял, что выдал себя с головой. Нестерпимый стыд поднялся в нем жгучей волной. Глаза его сузились, и, с отвращением посмотрев на прыгающие губы доктора, он грубо крикнул:

— Краснофлотец ранен, а вы сидите! Перевязать краснофлотца!

Резкий его тон отрезвил доктора. Лейтенант оглянул остальных, боясь встретить еще в ком-нибудь страх. Все опять подняли на него глаза. В них было такое спокойное ожидание приказаний, что он невольно обернулся: нет ли за ним командира? Но сзади были только вздыбленное море, серая пелена дождя и баркас.

А командиром, на которого все смотрели, был он сам.

Баркас плавно и мерно покачивался сзади, показывая то борт, то палубу. Ящики стояли в нем, прикрытые на-

мокшей парусиной. Тимошин посмотрел на них с неожиданным любопытством. Некоторое время он разглядывал их, соображая, потом присел на корточки, достал папиросу и ловко закурил от первой же спички, прикрывая ее ладонями.

— Товарищ Паньков,— сказал он весело,— придется еще разок нырнуть. Тащите-ка эту сволочь на борт, обрубим... Зубило есть?

Сеть была вытащена на катер. Толстый смоленый трос, твердый и негибкий, держал ячейки сети, и доктор понял, почему его нельзя было ни перерезать, ни размотать с винта. Ударами зубила отрубили оба конца. Буек стало медленно относить. Катер был освобожден от тяжелого груза сетей, но винт по-прежнему оставался в плену у обрывка троса, и доктор недоумевающе посмотрел вокруг: что же изменилось?

— Подтянуть баркас! — скомандовал Тимошин.— Товарищ старшина, останетесь с прислугой на катере. Возьмем вас на буксир, понятно? Остальные — в баркас! Живее, бьет!..

Серая туша баркаса была уже рядом с бортом. Она нависала над ним на волне, готовясь его стукнуть, но вдруг оседала вниз, и катер сам норовил ударить баркас. Прыгать пришлось с умом. Наконец оттолкнулись, и баркас начало относить ветром. Тимошин встал на корме баркаса.

— Штормовое вооружение ставить! Одну фокмачту в средний степс, понятно? — сказал он и, дождавшись, пока разобрались в рангоуте и в снастях, скомандовал: — Рангоут ставить! Куда вы ванты потащили, Паньков! Мало под парусами ходили? Сюда! Так! Завернуть здесь вот...

Тимошина точно подменили. Он лазил по баркасу, помогая, показывая, что надо делать, шутил, подгонял и нетерпеливо посматривал на волну. Мачта была поставлена, паруса разобраны, он вернулся на корму, взялся за румпель и, вдруг став серьезным, крикнул:

— На фалах!..

Он изогнулся, всматриваясь в волну, и, улучив момент, закончил команду:

— Паруса поднять!

Парус, подхваченный ветром, резко надулся, захлопал над головами, баркас лег на бок и рванулся вперед. Лейтенант следил за буксиром. Буксир быстро натягивался,

и в тот момент, когда он готов был рвануть баркас всей тяжестью неподвижного еще катера, Тимошин двинул рулем. Баркас стал против ветра, дернулся, потеряв ход, и потом, осторожно уваливаясь под ветер, стал плавно забирать ход, таща за собой катер.

— Теперь пойдет — хоть песни пой,— сказал Тимошин и поудобнее сел на банке.— На шкотах, не зевать! На руках держать, а то и перекинет... На баке, вперед смотреть!

— Есть смотреть! — донесся веселый голос Корнева.

Баркас под штормовым вооружением шел в полный бакштаг — самый выгодный и безопасный ветер в шторм. Волна шипя, кренила его так, что захватывало дух, но верная и сильная шлюпка, выпрямляясь, летела вперед. Мутная пелена дождя уходила в море. Лейтенант взглянул на часы и удивился: прошло всего полчаса — те самые полчаса, которые он утаил от самого себя в мучительных колебаниях на пристани. Он вспомнил это и усмехнулся.

— Справа по носу пре́дмет! — крикнул с бака Корнев, и доктор опять привстал: что еще могло быть?

Но Корнев весело поправился:

— Отставить пре́дмет: справа по носу линкор, товарищ лейтенант!

— Есть! — ответил тот и вдруг недовольно оглянулся.

«Эх!» — сказал он про себя и, встав во весь рост, крикнул:

— На катере! Флаг поставьте! Забыли?..

По правилам, флаг должен быть на буксируемой шлюпке, и подойти к линкору следовало в полном порядке.

1938

„Ответ врагу"



оклад заканчивался.

Бумаги одна за другой переходили с правой стороны раскрытой папки на левую, и каждый раз в низком свете настольной лампы сверкали нашивки на рукаве докладывавшего.

Он говорил негромко. Слушавший его флагман отвечал еще тише, и в паузах, когда он углублялся в чтение, покачивая над листами толстым, но очень остро отточенным синим карандашом, тишину кабинета нарушал лишь шелест перелистываемых страниц и сухой треск разворачиваемого чертежа или карты.

Если бы цифры, буквы, условные знаки чертежей могли звучать, в кабинете стоял бы грохот пневматических молотков, вой сверл, визг пил и басистое гудение турбин, а легкий треск чертежной бумаги звучал бы гулом тяжелых орудий и плотными взрывами мин: доклад имел темой вопросы строительства большого военно-морского флота.

Но бумаги и чертежи умели хранить тайну. Они, как и скрытые в них корабли и орудия, были молчаливы. До поры до времени...

— Ну, все? — спросил флагман.

Докладывавший взял синюю ученическую тетрадку, лежавшую в папке последней.

— Да вот, не знаю, товарищ флагман флота первого ранга...— сказал он и усмехнулся.— Письмо вам. Личное и совершенно секретно...

Флагман откинулся в кресле. Видимо, он очень устал, веки его набрякли, и лицо осунулось. Он крепко потер ладонью коротко остриженный затылок и потом с силой провел ею по всему лицу от левой скулы к правому виску, забирая в ладонь щеки и нос. Очевидно, это его освежило, потому что, когда он открыл лицо, глаза его смотрели на докладывающего весело и хитро.

— А! — сказал он оживленно.— Это что, про могучий снаряд?.. Ну, ну, давайте!

Он поудобнее сел, потянулся за папиросой и раскрыл тетрадь.

На клетчатой бумаге старательным почерком было выведено крупно:

Могучий снаряд «Ответ врагу»

Проект тов. Патковского Миши, пионера Зайсанского отряда имени Ворошилова, ученика 5-го класса, 12 лет, сына пограничника энского отряда.

Внизу стоял адрес школы и приписка: «Обязательно прошу ответ».

Вторую страницу занимала так же тщательно переписанная цитата из речи Председателя Совнаркома на сессии Верховного Совета и внизу — опять тревожная приписка: «Обязательно, очень прошу ответ по адресу! Потому что я выдумал это все сам, оттого что теперь все мы должны помогать, потому что нашей стране нужен могучий военно-морской флот».

На третьей — автор приступал к изложению. Сперва он сообщал данные о себе. Он жил в городе Зайсане, в Восточном Казахстане, у самой китайской границы, и признавался, что моря никогда не видел, но что читал о нем книги и что старший брат Васи, лучшего его приятеля, три года назад вернулся со службы на Балтийском флоте и много рассказывал о кораблях.

Затем излагались причины, заставившие автора «много задуматься над обороной СССР»:

«Я знаю, какое могучее будущее ждет меня потом в моей жизни, ведь я пионер, потом буду комсомольцем, потом членом партии. Тогда наш Казахстан расцветет, будет кругом железная дорога и разработки гор, так как

у нас есть свинец, медь, каменный уголь и др. Тогда наш Зайсан будет быстро расти, как растение, которое поливают. Я не хочу сказать, что наш Зайсан сейчас плохой, нет — он хороший, и я всегда буду его защищать, тем более рядом граница. Но дело в том, что у вас в центре жизнь кипит, как в самоваре вода, а, наоборот, наша жизнь тиха, как в пруду вода. Но нет! Это ненадолго, скоро и наш Зайсан будет могучей столицей Восточного Казахстана, тем более рядом граница, и пусть угнетенные китайцы скорей увидят наши небоскребы, наше метро, и Дворец юных пионеров, и могучие колхозы вокруг и пусть скорей сделают все это у себя. И нам надо защищать наш могучий город, но у нас китайцы мирные и бедные, и в Зайсане войны не будет, а главная война будет на море, и вот что я придумал для нашего военно-морского флота.

Васин брат нам рассказывал, что он читал, будто фашисты выдумали могучий снаряд под названием «Человек-торпеда», и что туда ложат человека, и он управляет торпедой, и подгоняет ее к самому кораблю, и метко целится без промаха, потому что ведь он сам с этой торпедой вместе. Потом взрывает корабль навовсе. И, конечно, сам притом тоже взрывается навовсе, потому что он сам лежит в этой торпеде, где порох. И что будто у фашистов найдутся смельчаки, которых будут ложить в эти торпеды, они будут целить в наши корабли и взрывать их, и сами, конечно, тоже взрываться вместе.

И мы тогда заспорили, что у нас такие герои тоже есть, и даже сколько угодно, и что и Вася, и я, и все пионеры нашего отряда тоже не испугаются лечь в такую торпеду, а потом мы пошли в класс и не доспорили. Но потом я много задумался и сказал Васе, что я в торпеду не лягу. А когда он начал тюкать и говорить «трус», я преспокойно сказал, что это одни глупости и что пусть фашисты умирают, а нам надо не умирать, а побеждать, чтобы самому быть целым и строить дальше освобождение трудящихся. А так умереть вовсе не фокус, это всякий дурак сумеет, и никакого геройства тут нет, и эти фашисты — дураки и просто задаются, а лучше выдумать не могут. И я сказал, что обязательно выдумаю, и уже начал думать, а потом забыл, потому что получил одно «плохо» по русскому и стал заниматься, и о войне некогда было. А потом, когда изучали в отряде сессию Верховного Совета, я вспомнил обратно и стал думать.

Теперь расскажу, что придумал, а вы, товарищ начальник, обязательно дайте ответ, верно я придумал или нет, может, ошибся, но я думаю — верно.

Надо такие торпеды обязательно делать и у нас. И чтоб они были могучие и взрывали корабль навовсе с одного разу. Туда надо положить очень много пороху и сделать две машины — одну в торпеде, ну, про эту вы знаете, а другую — ту, что не знаете: сзади торпеды — там, где лежит человек, как я нарисовал. И пусть она ходит быстро, быстрей, чем сейчас, быстрей всех.

И тогда он в этой торпеде быстро подойдет к кораблю и будет целить, как тот фашист, потому что он ведь тоже с торпедой вместе. А вот потом, когда будет совсем-совсем рядом и уж наверное попадет,— тогда пусть нажмет, где у меня нарисована кнопка. Тогда он от торпеды отцепится и в маленькой лодке, которая была сзади торпеды со второй машиной, пусть быстро поворачивает обратно и быстро едет к своим, чтоб его не задавило, когда корабль начнет падать. И тогда он опять берет вторую торпеду, прицепляет ее, как у меня нарисовано, и опять идет на врага. И так и далее. Дурак фашист раз взорвет и взорвется сам, а наш герой еще лучше научится, как взорвать другой корабль.

Обязательно дайте ответ, что надо еще придумать.

Извините, что плохо нарисовал, пусть инженеры срисуют, как надо, и пришлют мне, я проверю,— но и так все понятно. Главное, что человек отцепляется, чтобы не умирать, а побеждать, вот это — герой!

И я назвал этот могучий снаряд «Ответ врагу». Пусть так и называется, когда выстроите. Чтоб они знали, что мы все равно лучше их придумаем, и пусть не задаются...»

Конец тетради занимали рисунки и чертежи могучего снаряда. Флагман внимательно рассматривал их, и ждавший его улыбки собеседник так ее и не дождался. Флагман наконец поднял глаза, и собеседник увидел в них мягкую ласку и волнение.

— «Надо не умирать, а побеждать!..» — повторил вслух флагман, бережно закрывая тетрадь.— Удивительные у нас ребята растут!..

Он встал и подошел к книжным шкафам, на которых стояли модели кораблей. Подставив стул, он снял модель торпедного катера и, вернувшись к столу, протянул ее докладывавшему.

— Отправьте-ка это Мише... А письмо ему я сам напишу.

Письмо и посылка всколыхнула весь Зайсан.

Флагман писал Мише, что проект его замечательный, но что, к сожалению, он уже осуществлен с небольшими техническими изменениями и называется торпедным катером, модель и описание которого прилагаются. И еще писал флагман, что он приказал напечатать Мишино письмо в газете, потому что Миша очень хорошо ответил фашистам, и что действительно героизм не в том, чтобы взрываться вместе с торпедой, а чтобы уметь и вовремя отцепиться, и все-таки победить.

В конверт была вложена еще отдельная записка:

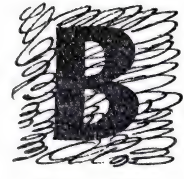
«Кстати, надо говорить не «ложат», а «кладут», «не «ляжу», а «лягу».

— Ну и что ж! — сказал Миша, весь красный от стыда, волнения и счастья, вертя в руках модель.— Катер так катер... Я не обязан все знать! А я еще придумаю. Я все равно фашистов перепридумаю!

1938

Третье поколение
(из фронтовых записей)

1


В январе 1940 года над Балтикой вновь прозвучали слова, от которых веет славой девятнадцатого года,— «матросская рота». Старая боевая слава балтийских матросов революции ожившей легендой встала над страной — непоколебимая, непреклонная и гневная, какой она была в незабываемые годы гражданской войны. Через двадцать лет третье поколение балтийцев, подхватив героическую эстафету, подняло эту старую славу на новую высоту, озарило ее новыми подвигами во имя революции, во имя родины.

И если б могли встать из холодной балтийской воды отцы и братья наши, моряки-балтийцы, погибшие здесь в лютой неравной борьбе с флотом и армиями интервентов, и если б глянули они на наши корабли и самолеты, на наши подлодки и береговые орудия, на нашу молодежь и на героев наших — «Эх, и славное выросло племя! — сказали бы они.— Хорошие сыны повырастали!..» И еще подивились бы они, как ходят подлодки наши сквозь лед и под лед, как летают самолеты наши сквозь облака и над облаками, как стреляют орудия наши сквозь броню и под броню [1]. И узнали б старики свой веселый боевой

---

[1] Буквально, ибо наши орудия порой стреляли под броню укреплений, засыпая амбразуры дотов подброшенной взрывами землей, чтобы сделать их «слепыми».

дух, балтийский победный дух, могучий и неукротимый,— узнали б и в делах Балтийского флота, и в шутках его моряков, и в стремительности атак, и в беззаветности героизма, и в непреклонной воле к победе.

Это название — «матросская рота» — не вошло ни в приказы, ни в сводки. Оно родилось само собой в заснеженных лесах на берегу Финского залива, где в лютой стуже бок о бок с частями Красной Армии балтийские краснофлотцы прогрызали линию Маннергейма. Как в дни гражданской войны, когда на призыв Ленина Балтика мгновенно выставила первый экспедиционный отряд в девять тысяч матросов, так и теперь Краснознаменный Балтийский флот послал на берег своих бойцов, оказавшихся под угрозой «безработицы», поскольку Финский залив замерз до самого Балтийского моря. Это была флотская молодежь, в огромном большинстве своем комсомольцы — ученики флотских школ, едва начавшие службу, артиллеристы береговой обороны, краснофлотцы с кораблей, скованных льдом, краснофлотцы кронштадтских фортов, сделавших свое дело в первые дни войны и потом силой событий очутившихся в глубоком тылу. «Матросской ротой» в этом отряде прозвали лыжников-краснофлотцев.

Морозная ночь. Недвижно и таинственно стоит густая чаша высоких елей, и лишь по тому, как она обрывается, будто срезанная ножом, понятно, что здесь берег окончился и начался лед. Берег и лед неразличимо завалены глубоким, по пояс, снегом, и белая его пелена уходит в бесконечность, в белесую неверную мглу ущербной луны. В таинственном этом мерцании бесшумно и быстро проносятся белые тени. Они похожи на привидения, и только по жаркому дыханию, слышному, когда тени эти проходят вплотную мимо тебя, угадываешь под белыми халатами молодые разгоряченные тела.

Это «матросская рота» пошла на лед. Куда? Может быть, в обход на десятки километров, в тыл островной белофинской батарее; может быть, в смелый рейд по глубоким тылам; может быть, в разведку в такие же густые таинственные леса, где стреляет каждое дерево и взрывается каждый пень; может быть, в дерзкую лобовую атаку прибрежных укреплений... Везде побывали

наши балтийские лыжники, и везде наносили они врагу чувствительные удары.

«Матросскую роту» водил по льдам капитан Лосяков. Голос его, простуженный в пятисуточном лежании на льду, отказал, и для передачи команд пришлось держать при себе одного из лыжников в качестве «усилителя». Он водил их тогда, когда простреленная левая рука повисла на перевязи, а обмороженное лицо исчезло под бинтами, водил и тогда, когда получил вторую рану. Боевым его другом и верным помощником был батальонный комиссар Богданов. Не раз военком доказывал свои командирские качества и личное мужество, и не раз капитан Лосяков поручал комиссару серьезные боевые задания, посылая с ним половину отряда в разведку, в обход, в бой.

Это был закон балтийского отряда: комиссар и политрук — замена командира в бою. И второй закон: коммунист и комсомолец, береги в бою своего командира.

Вот как выполнялись эти два закона.

Небольшая группа краснофлотцев-лыжников, бывшая на разведке в тылу врага, оказалась в труднейшем положении. Внезапно вспыхнувший прожектор и ливень ружейно-пулеметного огня, хлынувший из засады, отделили эту группу от остального отряда, и она попала в окружение сильнейшего противника. Командир отделения Морозов сразу же был ранен. Тогда команду принял на себя политрук Николай Доброскоков. Он сумел вывести краснофлотцев из огня и повел на прорыв. В жестоком рукопашном бою, пробиваясь сквозь чащу леса, сквозь превосходящие силы врага, уходили к своим лыжники.

Среди них отлично дрался Александр Посконкин, молодой комсомолец, начавший флотскую службу всего четыре месяца назад. Уже шестерых белофиннов уложили в снег его меткие пули и гранаты, когда внезапно в неверном свете луны он заметил на снегу перекатывающуюся груду тел: это белофинн «вручную» душил Морозова, придавив его всем своим телом, и не давал тому вытащить прижатый им наган. Стрелять было нельзя — можно было попасть в своего командира. Под градом пуль, летевших из чащи, Посконкин ринулся на помощь к командиру. Изловчившись, он сбросил с него финна

ударом штыка, подхватил Морозова к себе на плечи и, отстреливаясь, вынес его из боя. Он пронес его на себе по льду девять километров до берега, сдал на перевязочный пункт, поправил лыжи и помчался к отряду...

Стремительные и выносливые лыжники-краснофлотцы были той боевой частью, которую можно было послать куда угодно — в шестидесятикилометровый марш на острова, во внезапный налет на фланг, на выручку и поддержку атакующим укрепления частям. Но они же умели, если надо, сутками лежать на льду.

Это было в середине февраля. Мороз окончательно распоясался, и тридцать градусов ниже нуля считались без малого оттепелью. Балтийский отряд брал береговые противодесантные укрепления. Они были расположены на горе, в лесу — не видные под снегом и ветвями броневые и бетонные доты. Лес перед ними был полон снайперов, гнездившихся на деревьях в меховых спальных мешках и на выбор бивших по любой цели, показавшейся на снежном пляже и на льду перед берегом. Балтийцы залегли в торосах, в четырехстах метрах от берега. Пять суток провели они на льду, прячась за торосами. Достаточно было приподнять над льдиной шлем, чтобы в него щелкнула пуля снайпера или короткой точной очередью хлестнул пулемет из амбразуры дота. Четыреста метров ровного льда, засыпанного снегом, были непроходимы. Но краснофлотцы преодолели это страшное голое пространство и ворвались в укрепления.

Для этого они прибегли к способу, получившему название «подснежного плаванья».

Днем балтийцы лежали за торосами, изредка развлекаясь охотой за снайперами. Кто-нибудь поднимал над торосами шлем или высовывал на мгновение руку — в ледяной барьер тотчас ударяла снайперская пуля, а соседи присматривались, с какого дерева бьет очередная «кукушка». Тогда подозрительное дерево прошивали пулеметом, и порой ветви его приходили в движение, обсыпая снег, и вниз тяжело падало тело. Других занятий днем в «ледяном сидении» не было.

Ночью же торосы оживали. С тыла по льду приходили в отряд друзья-балтийцы. Они привозили на санках, на спаренных лыжах цинки с патронами, термосы с горячим флотским борщом, родную газету «Боевая балтийская», отпечатанную тут же в лесу на хитром агрегате из грузовика, фанеры и типографской машины (которую самоот-

верженно вертел сам редактор, заменяя мотор). Потом, к заходу луны, краснофлотцы пускались в опасный путь по открытому пространству, где, кроме снега, не было никакого прикрытия от пуль.

Им помогала точная стрельба балтийских артиллеристов. Далекая батарея клала снаряды в доты и перед ними прошивала шрапнелью прибрежный лес, усеянный снайперами. Но ни один снаряд не падал в заветное пространство в четыреста метров между торосами и берегом, оставляя дорогу для наступления. За этим следил молодой лейтенант, «полпред» артиллерии на льду: за много километров от своей батареи он корректировал ее огонь, пользуясь услугами радиста Андреева, притащившего в торосы трофейную финскую переносную станцию.

Веря в точность балтийской артиллерии, краснофлотцы по одному отправлялись в «подснежное плаванье», вплотную к разрывам наших снарядов. Они оставляли ненужные им теперь лыжи, вырывали в снегу перед торосами подобие снежной ванны, ложились в нее и, прижавшись подбородком к груди, опустив голову, начинали сверлить надетым на нее стальным шлемом ход в снежной стене. Медленно, метр за метром, они ползли в снегу, как кроты, скрываясь от тех белофинских стрелков, которых не отогнала от амбразур артиллерия. Так они проползали открытое пространство, добирались до берега и там окапывались, зарываясь в снег и в землю.

На четвертые сутки белофинны, очевидно, поняли этот маневр. Они решили рассчитаться с балтийским отрядом. На помощь осажденным укреплениям пришла тяжелая артиллерия острова Биорке. Она открыла огонь.

Первый десятидюймовый снаряд разорвался метрах в двухстах от торосов, где засели балтийцы. Черная вода проступила в образовавшемся озерке...

Одно дело — быть под обстрелом тяжелыми снарядами на земле и совсем другое — на льду. Черное озерко убедительно доказывало эту разницу. А радист Андреев, молодой краснофлотец, до сих пор считавшийся отважным и спокойным бойцом, внезапно сдал, потеряв «политико-моральное состояние». Он, видимо, забыл про свои коды и шифры и закричал тонким, пронзительным, полным ужаса голосом прямо в микрофон:

— Товарищ лейтенант! Нас нащупало Биорке... Накрытие... бьют прямо по отряду!.. Передайте на Красную Горку, пусть стреляет по Биорке, а то нам капут!..

Новый взрыв заглушил его слова. Второй снаряд упал там же, в отдалении от балтийцев, и даже ни одного осколка не просвистело над торосами, но Андреев продолжал панически требовать в микрофон, чтобы огонь Биорке подавили, ибо «второй снаряд разорвался в самой середине отряда...».

К Андрееву подползли комсомольцы, возмущенные и яростные. Они готовы были вырвать у него из рук микрофон, но Андреев, прикрыв микрофон ладонью, сказал неожиданно спокойным, нормальным голосом:

— Не хватай, дура! Они же меня слушают...

И снова он продолжал разводить панику в эфире, зорко следя за падением белофинских тяжелых снарядов вдали от торосов.

Станция была, как сказано, трофейная, с определенной длиной волны, и не раз Андрееву приходилось перебраниваться на этой волне с белофиннами. Расчет его оказался верным: белофинны на Биорке, подслушав «ценную информацию» со льда, усилили огонь. Десятки огромных снарядов с упорством, достойным лучшего применения, долбили лед вдали от отряда. Скоро там образовалось целое озеро...

Проморочив так врага порядочное время и заставив его потратить впустую достаточное количество снарядов, Андреев прекратил свою «корректировку». Прекратился и обстрел ни в чем не повинного льда. Видимо, на батарее решили, что отряд в торосах уничтожен полностью.

А ночью лыжники своим «подснежным плаваньем» окончательно перебрались на берег и ринулись в решительную атаку.

На другом, далеком участке фронта действовал еще один балтийский береговой отряд. Задача была неотложная: переменить позицию батареи, форсировав реку. Быстрая финская река не дала льду окрепнуть — он выдерживал людей, но не мог бы выдержать орудий. Кроме того, даже лютый мороз, не дававший людям вздохнуть полной грудью, не смог сковать быстрину реки на ее середине — и там бежала темная, стылая и стремительная

вода. Ближайший же мост, в тридцати километрах отсюда, был взорван.

На лед вышли краснофлотцы. Ночью, в мороз, на пронизывающем ветру они ломами, топорами и пешнями начали рубить лед и поднимать его глыбы, обжигающие руки. Трое провалились под лед. Их вытащили, обогрели и зачислили в больные. Но скоро «больные» опять появились на льду, вгрызаясь в него с удесятеренной энергией. К середине ночи придумали рационализацию: лед разметили на участки и, вместе того чтобы дробить его в куски, стали вырубать большие квадраты, которые подпихивали под кромку льда, предоставляя быстрому течению реки доканчивать работу. Но ледяная вода и при этом способе, сильно ускорившем дело, все же продолжала обливать и ноги и руки. Люди коченели на ветру, шинели их смерзались в негнущуюся жесть, но никто не оставлял работы до самого рассвета. Две ночи подряд провели краснофлотцы в ледяной воде, пока не вырубили широкого канала, длиной больше полукилометра. Тогда орудия и тракторы погрузили на баржу и, облепив с обеих сторон, повели ее «вручную» в это небывалое плавание.

Морские орудия вспомнили кое-что из опыта гражданской войны. Где надо — их устанавливали на немыслимые «плавучие средства», добиваясь возможности подойти с ними по малым глубинам к самому берегу, во фланг белофиннам, чтобы точной морской стрельбой выгнать врага из прибрежных укреплений. Где надо — орудия появлялись на железнодорожных платформах, и из окна паровозной будки, всматриваясь в путь, выглядывал краснофлотец, и ветер трепал его ленточки не хуже, чем на мостике. Где надо — их перевозили на резиновых понтонах, надутых мощным дыханием краснофлотских легких, перевозили в шторм через проливы между островами, удивляясь сами своей балтийской выдумке, перехитрившей пролив, слишком мелкий для любого корабля или баржи.

В одной из таких перевозок тяжелых орудий на понтонах у самого берега произошла незадача: понтон, нагруженный броневыми плитами орудийных оснований, выпустил воздух, ударившись на волне об острый камень, и тяжелые плиты скользнули в холодную декабрьскую воду. Тотчас за ними прыгнули «охотники». Две плиты были сразу обнаружены и вытащены на остров. Третья же пропала... А остров ждал морских батарей, а корабли

требовали скорее обеспечить им новую базу, защитить ее огнем орудий, а водолазов в этом пустынном и отдаленном пункте не было, а доставлять сюда новую плиту — значило терять несколько драгоценных суток...

И поэтому поочередно бродили краснофлотцы у берега по горло в ледяной воде, пытаясь отыскать плиту на стук. Они брали с собой длинную палку и простукивали ею дно, нащупывая гладкую поверхность плиты. Часто такой поверхностью оказывался плоский камень — и все начиналось сначала. Наконец опять спасла балтийская выдумка. Помощник командира батареи приспособил для поисков сильный магнит из некоего прибора, бывшего под рукой. Он подвесил его на веревочку, крякнул и полез в воду. Несколько раз он лазал в воду, проходя заранее рассчитанными курсами и пробуя опускать магнит на дно: прилипнет или нет? Магнит в конце концов прилип, и за плитой ринулся в воду весь состав батареи. Через несколько часов упрямое орудие дало первый выстрел.

Если прибавить к этому, что на острове не было еще никакого жилья, что краснофлотцы и командиры новой береговой батареи жили пока что в палатках, полы которых невозможно было закрепить на голой скале, и ветер продувал палатки как хотел,— поразишься героической настойчивости и выдержке балтийцев и поймешь, с каким восторгом справляли артиллеристы боевое крещение этого орудия...

Толстая броневая плита передней стенки дота вся в глубоких трещинах, ямках, бороздах. Из развороченного бетона, окружающего плиту, торчат массивные прутья арматуры, перепутанные, как кишки. Угол амбразуры отколот снарядом. Свежим металлическим блеском отсвечивает деформированая сталь, и от угла амбразуры до края плиты ползет трещина: броня не выдержала и лопнула под точным огнем балтийских моряков.

Это чудовищное сооружение из полутораметрового бетона и полуметровой брони, эту броневую башню, как бы снятую с линейного корабля и врытую в землю, белофинны считали неуязвимой.

Несколько лет строилась эта мощная оборонительная позиция из двух бронированных дотов, которые правильнее было бы назвать фортами. Искусство и опыт лучших европейских инженеров были вложены в создание этого

продуманного ансамбля укреплений, которому могут позавидовать первоклассные укрепленные районы, в постройку этой крепости, защищенной взаимодействием соседних фортов, траншей, снайперских точек. Потом сюда привели отборных, обученных шюцкоровцев, показали им эту броню и бетон, семиметровые рвы и мины, гранитные противотанковые надолбы, подземные ходы и траншеи, замаскированные места противотанковых орудий, снайперские точки на соснах, десять рядов проволоки, погреба, доверху набитые боеприпасами. «Вот,— сказали им,— крепость, которая измотает любую живую силу, отразит любую атаку, выдержит любой снаряд. Она неприступна. Вы защищены здесь от бомб и снарядов, от пуль и гранат. Ваше дело — удобно и спокойно, на выбор, как в тире, бить из этих амбразур по атакующим...»

Здесь действительно можно было продержаться любое время. Осколки самых крупных снарядов, разрывавшихся у самой стенки дота, скользили по броне, не причиняя вреда. Даже прямое попадание тяжелого снаряда могло лишь потрясти эту чудовищную скорлупу, отколоть кусок бетона, не более. Но прямое попадание артиллерии, стреляющей издалека,— случайность, один шанс из тысячи.

Увидев своими глазами эту мощную позицию, капитан балтийских артиллеристов Шуру-Бура все это отлично понял. Его подразделение только что прибыло сюда, капитан сразу же пошел сам в разведку — поколдовать на местности, как бы почувствительнее укусить этот невиданный дот, задерживавший наступление балтийцев. В лесу было тихо, но стоило капитану подползти к опушке, как тотчас начинали свистать пули, отмечая рядом с головой легким снежным дымком свое стремительное появление. Все было пристреляно — каждая прогалинка, каждый проход между толстыми соснами... Капитан пополз дальше. Он искал подходящее место, где бы поближе установить наблюдательный пункт, но тут, под пулями, ему пришла в голову совсем другая мысль. Он внимательно осмотрел лес... И смелый план родился.

Когда стемнело, подразделение открыло огонь по вражеским дотам. В лесу, по узенькой тропе, трактор под этот грохот тащил к намеченному капитаном месту тяжелое орудие. Оно застревало в снегу, оно сползало в сугробы, и краснофлотцы подтаскивали его на руках. В то же время другие валили в лесу деревья, вырубая к опушке

узкую просеку длиной в сто метров, рыли на будущей позиции ровик для укрытия расчета, подпиливали стоящие на опушке сосны. К рассвету все было готово, включительно до окопика на переднем краю леса для наблюдателя. Им был сам капитан.

Наступил рассвет. В невнятной его мгле белофинны сквозь глубокие и узкие щели в полуметровой броне увидели привычную и изученную кромку леса, снежную поляну перед ним, на которой можно заметить малейшее шевеление на снегу и прекратить его короткой и точной очередью пулемета. Скоро начался артиллерийский обстрел — предвестник атаки. Снаряды падали у брони, засыпая ее снегом и землей. Сейчас из леса поползут беззащитные человеческие фигурки, которые так удобно брать на прицел сквозь надежную броню... Тем удобнее, что советский артогонь, мешающий этому, должен прекратиться из опасения поразить своих же бойцов...

Но в лесу внезапно, как театральный занавес, упали передние сосны, и в распахнувшейся просеке неожиданно и невероятно близко, в четырехстах метрах (для артиллерии — вплотную!), показалось тяжелое орудие, уставив на дот свое широкое и страшное жерло... И вся ярость пулеметного и ружейного огня из всех амбразур дота направилась на просеку, на людей у орудия, видных без бинокля, простым глазом.

Капитан Шуру-Бура нетерпеливо оглянулся из своего окопика на орудие... Огонь! Почему нет огня?! Первый, самый важный момент был упущен, орудие уже в пулеметном ливне, и стрелять будет трудно...

И тут он увидел, что наводчик Гармоза, оставив орудие, быстро ползет к опушке под градом пуль, свистящих вдоль просеки. Добрых пятьдесят метров он прополз навстречу смерти, добираясь до кустика, прикрытого пушистым снегом... Зачем?..

Когда деревья упали и Гармоза прильнул глазом к прицелу, чтобы прямой наводкой навести орудие точно на переднюю стенку открывшегося в просеке дота, он увидел в поле прицела этот маленький кустик. Кустик маячил на скрещении нитей, закрывая собой цель.

Переставлять тяжелое орудие под яростным пулеметным огнем врага было невозможно. Стрелять без точной наводки — значило свести на нет весь тщательно подготовленный обстрел. И молодой балтиец, комсомолец Ми-

хаил Гармоза схватил топорик и кинулся к кустику, навстречу ливню пуль. Он добрался до кустика, срубил его, быстро прополз обратно и, разгоряченный, задыхающийся, прильнул к прицелу...

Первый же снаряд Гармозы ударил прямо в амбразуру. Огонь и горячие газы метнулись в дот. Белофинны отскочили от амбразур, ринулись во второй, подземный этаж, где они привыкли отсиживаться от артиллерийского обстрела.

Но это не был обычный обстрел. Удар за ударом потрясал все сооружение. Снаряды били в броню один за другим с поражающей, страшной, неумолимой настойчивостью. И хотя они оставляли в этой непроницаемой броне лишь царапины и вмятины, человеческий организм, спрятанный за массивами стали и бетона, не смог сопротивляться этому потрясающему методическому напору. Все наполнилось горячим дымом... И белофинны не выдержали. Они забыли о длинном подземном ходе, предусмотрительно сделанном строителями и выводившем в лес, они открыли задние двери крепости и выскочили наружу — в разрывы снарядов, в пулеметный огонь...

Сила балтийской прямой наводки преодолела силу броневой крепости. Мощный бронированный дот, сооружение чудовищное и неуязвимое, замолчал навсегда, открывая дорогу рванувшимся в атаку балтийцам.

Слава о балтийских отрядах, действовавших со льда против береговых укреплений, о способности появляться там, где их никак не ждали, об их настойчивых и дерзких атаках перелетела и через линию фронта.

Когда в марте отряды краснофлотцев-лыжников, совершив стремительный бросок в шхеры через десятки километров льда, ударили много западнее Выборга, белофинская и заграничная пресса подняла крик. Писали о дерзком глубоком ударе в тыл, о прямой угрозе Гельсингфорсу. Белофинское командование, очевидно, встревожилось не на шутку: оно сняло с выборгского фронта две дивизии и бросило их против балтийцев. Четверо суток белофинские войска атаковали свои же собственные укрепления, где засели балтийские краснофлотцы, атаковали днем и ночью, беспрерывно — до самого исторического полдня 13 марта, когда горнисты возвестили по всему фронту отбой военных действий и победу Красной Армии и Военно-Морского Флота. И лишь тогда выясни-

лось, что в одном из дотов сдерживали натиск целого полка всего-навсего одиннадцать балтийских моряков...

Так дралось на земле и на льду третье поколение Краснознаменного Балтийского флота, возрождая боевую славу балтийских матросских отрядов гражданской войны.



Над ровным полем аэродрома свистит ветер. Он взметает сухую пелену снега, швыряет в лицо колючую его пыль, обжигает глаза нестерпимым морозом, не дает вздохнуть. Металл, если коснуться его без перчаток, мгновенно прилипает к рукам. Но у самолетов в темноте копошатся люди. Это авиатехники готовят машины в полет.

О работе техников часто забывают писать — люди они земные, нелетающие, и, кажется, негде им проявить геройство и мужество. А между тем сколько раз в бою и на высоте поминали их добрым словом летчики, когда капризная, хитрая и нежная летающая машина безотказно работает в воздухе в любых условиях температуры, летного режима и высоты, когда простреленный в девяноста местах самолет к утру оказывается вновь способен к вылету! И каким уменьем, знанием, терпением и выносливостью обладали балтийские авиатехники, чтобы на земле предусмотреть то, что в воздухе может обернуться катастрофой или поражением!

И вот они копаются у машин ночь напролет, сбрасывают на морозе полушубки, чтобы в одном комбинезоне залезть на полтора часа в хвост, где что-то не заладилось и где надо приложить умелую руку. Ветер, пошевеливая на земле самолеты, насквозь пронизывает тело, кожа слезает с пальцев, обожженная стылым металлом, небо уже бледнеет вялым зимним рассветом, а техники упрямо и упорно продолжают готовить машины: ветер разгонит облака, и погода, несомненно, станет летной.

Понятие «летная погода» приобрело в эту зиму на Балтике совершенно особый смысл. Мороз, на высоте доходящий до пятидесяти градусов ниже нуля, когда сам металлический организм самолета оказывался менее выносливым, чем человеческий, считался «летной погодой». Густая облачность, сопровождавшая самолеты долгие часы пути к объекту атаки и прижимавшая их над целью

на сто — двести метров, тоже считалась «летной погодой», и даже удачной: можно было появиться над целью внезапно из облаков, избегнув неминуемого обстрела зенитками. Ветер, швыряющий самолет в жестокой болтанке, угрожающий ударить его о землю при посадке или при налете, тоже носил название «летной погоды» и расценивался как некоторое удобство, гарантирующее отсутствие в воздухе вражеских истребителей. Балтика не баловала летчиков погодой: они летали в любой мороз, ветер и облачность, летали слепым полетом до самого места атаки, летали ниже деревьев, летали на огромной высоте, обмораживая себе не только руки, но брови и веки, обдуваемые сквозь щели очков диким встречным ветром холодной высоты. Создалась новая формула, определяющая летную погоду: «Когда летают лишь черти да советские летчики!..»

Эта формула принадлежит Герою Советского Союза майору Губанову. И он оправдывал ее в течение всех ста пяти дней боевых действий. Не было дня, когда бы он не поднял в воздух свое соединение, вылетая иногда по два, по три раза. Он летал и в снежную бурю, и в мороз, летал в облаках, снижался над зенитными батареями до пяти — десяти метров, расстреливая прислугу в упор, пролетал в лесу над железнодорожной колеей, громя эшелоны поездов.

И однажды в плотном морозном тумане, лежавшем над всем заливом, он сумел найти и утопить вражеский ледокол, выбравший эту явно нелетную погоду, чтобы подвезти боеприпасы батарее...

Изменчива и коварна погода над студеными водами зимней Балтики. И даже в те редкие дни, когда облака поднимались над аэродромом, возвращая небу голубизну и ясную прозрачность, даже и тогда где-нибудь над морем прозрачный воздух мог уплотниться в густые облака.

На боевом маршруте, вдали от базы, самолеты эскадрильи Героя Советского Союза майора Крохалева попали в низкую облачность. Над самой водой, не выше семиэтажного дома, нависла серая, мутная стена. Она не остановила боевого полета крохалевцев,— эскадрилья врезалась в нее, не меняя скорости и строя. Соседнее звено то и дело исчезало из глаз, серая плотная мгла скрыла и воду и небо. Увидеть теперь что-либо впереди можно бы-

ло лишь на расстоянии десяти — двенадцати секунд полета.

Однако и этих немногих секунд оказалось достаточно, чтобы балтийские летчики сумели провести неожиданный маневр и внезапный бой.

Внизу, на серой воде, вдруг мелькнул корабль. Звено старшего лейтенанта Гуреева мгновенным броском перешло в атаку. Набрать высоту, необходимую для сбрасывания бомб, было некогда: транспорт вновь исчез бы под спасительным покровом облаков, прикрываясь которым он и рассчитывал доставить белофиннам боеприпасы. Решать нужно было немедленно. И решение не опоздало: звено сбросило бомбы, что называется, «себе под хвост»...

Грохочущий гул, столбы воды и обломков... Сильный удар взрывной волны, усиленной, очевидно, особыми свойствами груза самого транспорта... Самолеты подбросило, накренило, швырнуло вниз, к воде. Как верткие и послушные истребители, выровнялись у самой воды огромные скоростные бомбардировщики и опять вошли в мутно-серую мглу облачности, сверхъестественным чутьем балтийских летчиков угадав свое место в строю эскадрильи.

Есть такой летный термин: боевой курс. Вот что означают эти два коротких слова.

Позади — несколько часов напряженного внимания, постоянной готовности отразить атаку истребителей, поиска ориентиров, мгновенно появляющихся и исчезающих в окнах облаков, тревожного подсчета бензина (летали так далеко, что иногда возвращались на базу с сухим баком)... Трудный, долгий полет к месту атаки подходит к концу. Устал весь экипаж — и летчик, и штурман, и стрелок-радист. Застыло тело, несмотря на греющую электроткань комбинезона, устали глаза, плохо слушаются закоченевшие руки. Но вдали появляется объект атаки — и сразу все забыто! Обостряются все ощущения, напрягаются нервы. Сейчас — боевой курс!..

Небо перед эскадрильей прорастает разноцветными букетами. Багровые, черные, желтые, белые, темно-зеленые, они беззвучно распускают в небе свои фантастические цветы круглыми пушистыми шапками, располагаясь друг над другом в три, четыре, а порой и в шесть слоев.

Это — разрывы зенитной артиллерии, ураган осколков и крупных шрапнельных пуль, ливень кусков металла, каждый из которых несет смерть человеку, пожар — самолету, поломку — рулям. Эта плотная завеса огня встает перед эскадрильей — и эскадрилья врезается в нее.

К разноцветным букетам шрапнели добавляется зеленое кружево трассирующих пуль. Ловя самолеты, светящиеся их струи пересекают небо длинными лентами, запутанными и переплетенными, как ленты серпантина. В каждой такой струе — непрерывный поток крупнокалиберных пуль: зажигательная, бронебойная, простая и разрывная мчатся друг за другом вслед светящейся, которая и отмечает в небе направление всей этой смертоносной струи.

Некоторое время самолеты могут еще маневрировать, сбивая расчеты батарей и пулеметчиков. Они внезапно «пухнут» в небо или снижаются к самой земле. Они меняют скорости в невероятных диапазонах. Они стремительно и круто разворачиваются. Летчики показывают чудеса управления, лавируя по всем трем измерениям.

Но подходит критический момент, когда самолет должен прекратить маневрирование и прямо, как по ниточке, идти на цель. Это и есть боевой курс.

Перед летчиком вдруг начинают вспыхивать лампочки — красная, зеленая, белая. Это штурман увидел цель и наводит на нее самолет.

Сам штурман висит впереди летчика в своей прозрачной кабине, вынесенной между моторами. За тонкими ее бортами, как в уютной комнате, он производит сложнейшие математические расчеты, для чего, как известно, нужна элементарная тишина, а не эта беспокойная обстановка. Потом, в базе, он вынет из алюминиевой стойки, в трех сантиметрах над головой, сплющенную пулю или посчитает, сколько дырок оказалось в целлулоиде. Сейчас ему не до этого.

Он ищет между цветными букетами и лентами чуть заметную точку цели и устанавливает самолет на боевом курсе, нажимая кнопки ламп: красная — чуть влево, зеленая — вправо, белая — так держать. Играя на кнопках одной рукой, сжимая другой ручку бомбосбрасывателя, штурман под пулями и осколками складывает в голове ветер, скорость, высоту и десятки других цифр, рассчи-

тывает доли секунды, чтобы с предельной точностью обрушить на врага разнообразные свистящие бомбы. А иногда он, астроном и математик, вынужден мгновенно переменить специальность и вместо точных аэронавигационных приборов взять в руки рычаги пулемета и поливать свинцом истребитель, подвернувшийся по носу. Его спокойствие и уменье определяет собой успех атаки и время пребывания на боевом курсе.

А время это — из тех, где секунда тянется год.

Летчик прекратил уже спасительное маневрирование и послушно ведет самолет, поглядывая на вспыхивающие лампочки штурмана. Самолет идет теперь точно по прямой. Минуту-полторы он представляет собой отличную цель для зенитных орудий и пулеметов, и разрывы вспыхивают теперь совсем рядом с ним. Но он пойдет так, в этом кипенье металла, непреклонный, упрямый, не отклоняющийся от боевого курса, пока не сбросит бомбы точно в цель или пока его самого не собьет снаряд, лопнувший у крыла... Пули, светясь, пронизывают корпус и плоскости самолета, прозрачную кабинку штурмана, но самолет выдерживает боевой курс...

Бомбы сброшены. Казалось бы, можно крутым виражом или пикированием уйти из металлического облака, в котором шел на боевом курсе самолет. Но у балтийских летчиков находились еще какие-то запасы сверхчеловеческой выдержки: они продолжали идти боевым курсом еще полминуты-минуту, чтобы удостоверить фотоснимком точность падения своих бомб — «привести квитанцию»...

Однажды на таком боевом курсе, вдали от базы, Герой Советского Союза майор Крохалев почувствовал, что ему обожгло плечо. Сперва он подумал, что ранен. Но нестерпимый жар продолжал жечь спину. Тогда он понял, что на нем горит меховой комбинезон, запылавший от зажигательной пули или, может быть, от короткого замыкания перебитых проводов термоткани. Продолжая неуклонно вести самолет боевым курсом по сигналам штурмана, Крохалев с силой прижался плечом к спинке сиденья, пытаясь плечом притушить огонь. Но мех горел, и жгучая боль не ослабевала.

Майор Крохалев не сошел с боевого курса. Он вывел самолет на цель, он выдержал с горящим плечом и время фотосъемки и только тогда заложил немыслимый вираж, уходя от снарядов и пуль, от страшной боли, грызущей ему спину. Тогда ветер, ворвавшийся на повороте, раздул

тлеющий на плече мех в пламя, и Крохалев вспыхнул весь.

Страшен пожар на самолете, но можно ли вообразить себе горящего летчика? Остаться в кабине — значило поджечь собою весь самолет; прыгнуть вниз — значило превратиться в живой факел, подвешенный к парашюту...

Крохалев нашел выход. Не оставляя управления самолетом, он по частям сорвал с себя горящий комбинезон, выбросил его куски за борт и повел самолет в одном белье. Здесь, на высоте, было около пятидесяти градусов ниже нуля. Почти голый, с черным обугленным плечом, прогоревшим до лопатки, он вел самолет два с лишним часа, довел и посадил его на родном аэродроме.

На боевом курсе был подстрелен самолет Героя Советского Союза майора Ракова — того самого Ракова, о котором ходили легенды. Он бомбил самые отдаленные объекты, он любил появляться над ними из-за леса, со стороны глубокого тыла, и самое имя его вошло в лозунг балтийских летчиков: «Будем гада всякого бомбить не хуже Ракова».

На одном правом моторе Ракову не удалось на этот раз вывести свой самолет на цель с той точностью, к которой он привык. Остальные самолеты сбросили на объект свои бомбы и тогда увидели, что командир эскадрильи делает медленный левый разворот обратно к цели. С одним мотором, на высоте трехсот метров, настойчивый и аккуратный летчик все же выполнил задание: сбросил бомбы и только тогда повернул к базе. Эскадрилья пристроилась к своему командиру.

В этом полете проявилось еще одно качество балтийских летчиков — забота о друге.

По пониженной скорости и по тому, как он упорно набирает высоту, летчики догадались, что с командирским самолетом что-то неладно. Эскадрилья тоже сбавила скорость, и самолеты пошли вплотную, рядом с командиром, как бы поддерживая раненого сокола своими крыльями. Раков приказал по радио возвращаться на базу без него. С видимой неохотой эскадрилья прибавила ход, но два самолета первого — командирского — звена остались. Они по-прежнему шли на малой скорости, следя за командирским самолетом, готовые помочь ему отбиваться от истребителей или, в случае чего, сесть вместе с ним на вражескую территорию, чтобы спасти экипаж. Летчики

думали о своем командире, а командир думал о них: если они потянутся с ним на этой скорости, то все неприятности посадки на базе в темноте будут грозить не одному, а трем самолетам. И Раков вновь приказал идти вперед.

Но самолеты шли рядом, как пришитые. Тогда, первый раз в жизни, майор Раков обратился в бегство: он выбрал подходящее облако и нырнул в него, чтобы этим заставить друзей потерять его и волей-неволей прибавить ход и возвращаться на базу.

Однако расчеты его не оправдались. Когда уже в сумерках, планируя к базе с четырех тысяч метров (где самолет обледенел, но зато набрал запас высоты, чтобы дотянуть до базы), Раков выскочил из облаков, он увидел под собой те же два упрямых самолета. Рассчитав его курс и ход, они продолжали ползти на малой скорости, посматривая на облака, не покажется ли из них командирский самолет, идущий на вынужденную посадку в море, на лед или в руки врага...

Высокое и благородное чувство боевой дружбы, готовность балтийских летчиков к самопожертвованию во имя спасения товарища ярче всего сказались в прекрасном поступке Героя Советского Союза старшего лейтенанта Радуса.

Дравшийся рядом с ним истребитель был сбит, но летчик все же сумел благополучно посадить раненую машину на небольшой площадке в торосах, рядом с расположением белофинских войск. Радус ринулся за ним. Он отогнал пулеметным огнем белофиннов, спешивших к торосам, он ухитрился посадить свой самолет на этом тесном пространстве, поджег подбитый истребитель, поднял в воздух раненого летчика и долетел с ним до базы...

В яростном неравном бою со стаей истребителей над укрепленным районом противника бомбардировщик получил тяжелые повреждения. Внезапно атакованный превосходящими силами, он сумел уйти от первой атаки труднейшим для тяжелого самолета маневром — переворотом. Он сумел уничтожить одного из врагов, сумел сбить пламя загоревшейся плоскости скольжением на крыло, сумел вырваться из кольца атакующих даже тогда, когда отказал простреленный левый мотор. Но когда

на него навалились со всех сторон подоспевшие истребители и когда на третьей атаке на нем вспыхнули бензиновые баки — самолет превратился в костер. Но все-таки пули продолжали лететь из этого клуба дыма и пламени, недавно называвшегося самолетом. Это беспрерывно и метко бил по врагам раненый стрелок-радист Белогуров.

Штурман, старший лейтенант Харламов, горел в своей передней кабине: вражеская пуля, попав в револьвер, спасший ему жизнь, зажгла на нем комбинезон.

Летчик лейтенант Пинчук продолжал вести горящий самолет к своим берегам. Он вел, ничего не видя, чутьем, ибо дым и огонь заполнили всю его кабину.

Вышел из строя и второй мотор. Бомбардировщик пошел на снижение, на территорию врага. Белофинские истребители отстали: участь горящего самолета казалась им решенной.

Но самолет, пылающий, лишенный моторов, все же тянул к своим берегам: еще живы были в нем балтийские летчики и еще сохранился между ними телефон. Летчик Пинчук заменил свои обожженные глаза здоровыми глазами штурмана Харламова. Полуослепший, задыхающийся в дыму, он, слушая в телефон команды горящего в своей кабине штурмана, брал на себя или опускал ручку, нажимал педали, пока пылающий самолет был еще способен скользить по воздуху...

Так два человека слились в одного — и вместе они осторожно и аккуратно посадили летящий костер на лед Финского залива.

Пламя, сбиваемое в полете ветром, тотчас забушевало вовсю. Они выскочили на лед все трое — раненый Белогуров, полуслепой Пинчук и уцелевший больше других Харламов... Все трое — объятые пламенем горящей на них меховой одежды.

Потушились снегом.

Тогда сказался мороз. Белогуров в пылу боя сорвал с себя шлем, мешавший ему стрелять,— и левое ухо его стало белым. Пришлось заняться обратной операцией — согревать оттиранием ухо обугленного человека.

Потом пустились бегом к своему берегу. Бегом не потому, что он был так близко, а потому, что в обрывках одежды было холодно. И только теперь выяснилось, что Белогуров ранен: на бегу он прихрамывал. Друзья сели

в снег, ножом распороли сапог, ножом вытащили из ноги пулю. Потом опять побежали.

Дорогу к своим им показали случайно пролетевшие над ними наши «ястребки». Теперь начал отставать Пинчук. Обожженный и полуослепший, он шел, пока в нем были силы, и наконец молча рухнул в снег, потеряв сознание. Друзья привели его в чувство, и Харламов, поддерживая обоих — раненого и обожженного, повел их дальше.

Через несколько часов возле них на лед сели наши самолеты, присланные «ястребками». Но выскочившие из них балтийские летчики с изумлением увидели направленные на них дула трех наганов.

Трое героев опустили их только тогда, когда несомненно убедились в том, что перед ними советские летчики.

— Мало ли что у вас на плоскостях звезды,— пояснил в свое оправдание Пинчук,— белофинны и не на такие штуки пускаются...

Так дралось в воздухе третье поколение Краснознаменного Балтийского флота — балтийские соколы, достойные потомки балтийских матросов времен гражданской войны.

3

Труден и опасен для плаванья Финский залив.

Если ровная его ширь, в которой берега теряются вдали, а порой вовсе исчезают, и кажется иному настоящим морем, где кораблю — везде дорога, то моряки, а штурмана в особенности, под предательской этой гладью видят бесчисленные опасности. Запутанные и сложные фарватеры прихотливо вьются между подводными скалами, между банками и рифами — незримыми продолжениями береговых мысов и раскиданных по заливу островов.

Двести лет промеряли гидрографы это капризное дно, наносили на карту найденные мели, но карты Финского залива пестрят названиями кораблей, давших свои имена новым банкам и рифам, которые они «открыли» своими боками в тех местах, где промер не обнаруживал никакого повышения дна. Это «сахарные головы» — вздымающиеся со дна огромные конические скалы, по скатам которых скользил грузик лота, промеряющего глубину.

Нет в этом заливе ни одного места, где корабль мог бы нацелиться на приметную гору или на маяк и подойти к берегу прямым курсом: изумляя человека, незнакомого с Финским заливом, корабль будет крутить по гладкой воде, следуя к берегу по извилистому и трудному фарватеру между рифами и мелями. Порой и в самой середине залива корабль неожиданно ворочает под прямым углом, чтобы обойти банку, словно нарочно поставленную кем-то на морском пути.

И если прибавить к этому постоянные туманы, вечно плохую видимость, течения, внезапно и разнообразно относящие корабль в зависимости от дувшего вчера ветра, низкие плоские берега, не дающие возможности ориентироваться по ним издали, то Финский залив по справедливости можно назвать академией штурманов и командиров.

Огромные линейные корабли Балтийского флота, которым этот тесный залив — что слону ванна, ходят здесь ночью и в туман, ходят в узкостях, как в широком океане, полными ходами проводят и без того сложное маневрирование, усложненное навигационными условиями. Стремительные крейсера бесстрашно носятся между банками, миноносцы лазают в немыслимые дыры, подлодки особым, «шестым», штурманским чувством угадывают встающую по курсу скалу или каменную подводную гору и знают в глубинах Финского залива одним им известные тайные проходы между скал.

В ночь перед первой боевой операцией Краснознаменного Балтийского флота повалил снег. Крупными мокрыми хлопьями он падал на корабли и в черную воду, совершенно уничтожив видимость. Нельзя было рассчитывать ни на один ориентир у трудного узкого прохода между скалами, который в просторечье именовался «собачьей дырой». А путь отряда лежал именно здесь, и надо было провести за собой транспорты с войсками — огромные, глубоко сидящие и незнакомые с этим военным проходом. Снег валил плотной стеной, корабли, собравшиеся на отдаленном рейде, почти не видели друг друга.

Но все же ночью в назначенное время миноносцы снялись с якорей, помигали транспортам сквозь снег сигналами: «Давай, мол, Вася, поехали!» — и повели их за собой в неразличимую белую тьму.

Плаванье в таких условиях напоминает слепой полет: оно ведется только по приборам да по особому штурман-

скому чутью. Корабли шли в снежной пурге вплотную, друг за другом, точно обходя опасности. Точность требовалась особая, ибо малейшая ошибка в счислении могла навести огромные транспорты на камни и сорвать этим всю операцию.

Бледный декабрьский рассвет не принес с собой никаких изменений. Он лишь осветил собой снежный плотный занавес, скрывающий не только все ориентиры, но даже и идущий сзади корабль. У «собачьей дыры» головной миноносец призадумался: приходилось становиться на якорь, войти в таких условиях в проход было страшновато даже балтийским штурманам. Потом он резко повернул на север и повел за собой всю колонну другим проходом, еще более сложным и запутанным, изобилующим поворотами, но угрожающим не камнями, как «собачья дыра», а песчаными мелями: все же легче...

Точное искусство балтийских штурманов вывело этим проходом всю колонну на широкий плес.

Здесь подул ветер, развеял пургу, и под низкими, набухшими снегом облаками в неясной мгле декабрьского утра поднялись из серой стылой воды могучие пологие горбы.

Это был Гогланд.

Поросшая сосной гигантская скала поднята над водой прихотливым дном Финского залива на самой его середине. И нет кораблям иного пути, как только мимо нее.

Мимо хмурых этих скал проходили петровские галеры, ведя за собой пленные шведские корабли от мыса Гангеудд, места первой победы Балтийского флота, двести двадцать пять лет тому назад. Этот остров, вставший поперек залива, видел и смелую шхуну «Надежда», на которой адмирал Крузенштерн впервые пронес вокруг света русский флаг, видел и парусные корабли, уходившие под осень на три-четыре года в «дальний вояж», в кругосветное плаванье, и самый сильный в мире корабль своего времени — первый русский броненосец «Петр Великий». Здесь, на Гогланде, в начале этого века впервые в истории была установлена радиосвязь скромным преподавателем Кронштадтской электроминной школы Александром Поповым. В такие же декабрьские холодные дни шли мимо Гогланда русские крейсера и миноносцы, шли

в смелые операции, в суровые зимние походы империалистической войны. Видел Гогланд и то, как пробивались в тяжелых льдах эти же корабли, подлодки и миноносцы, сворачивая себе минами форштевни, вручную откачивая холодную воду, бьющую в пропоротые льдом борта, как шли они в Кронштадт, спасая боевую силу молодой Советской республики от протянувшихся уже к ней в Гельсингфорсе рук интервентов. Видел он и то, как те же балтийские корабли, голодные, истрепанные войной, выгнали из Финского залива эту международную эскадру, защищая колыбель революции — красный Питер.

Но в течение последних двадцати лет каменный свидетель истории Балтийского флота и вековой друг его — Гогланд был обречен на роль врага и соглядатая. Чужие глаза жадно вглядывались с его скал в проходившие мимо советские военные корабли, чужие руки фотографировали их вплотную, ибо нет в Финском заливе иного пути кораблям, как только мимо этого острова, лежащего посредине залива.

В это декабрьское утро врагам некогда было фотографировать и разглядывать с Гогланда силуэты приближающихся кораблей.

В утренней дымке блеснули в море зеленым пламенем первые залпы — и очистительный огонь стал выжигать с благородных древних скал ползучую паршу агентов и шпионов. На катерах и шлюпках, на мелкосидящих вспомогательных судах ринулся на берег первый бросок десанта, и сразу вслед за ним подошли транспорты с войсками. Они стояли у берега, деловито и спокойно выгружая войска, орудия, продовольствие, боевой груз; а вокруг них плотным гудящим роем большими ходами носились сторожевые корабли, сплошняком, без пропусков, проутюживая море острыми своими таранами и время от времени вздымая из воды черные могучие столбы взрывов глубинных бомб. В этом кольце охраны транспорты могли продолжать свое дело спокойно. Отряд за отрядом высаживался на берег, и скоро на вышке наблюдательного поста вспыхнул огненным комочком и развернулся по ветру советский флаг.

Советский флаг на Гогланде!.. Чтобы полностью оценить это, надо вспомнить то, что переживал долгие двадцать лет Краснознаменный Балтийский флот, верный морской страж Ленинграда и родины. Если Кронштадт — ключ к Ленинграду, то Гогланд — ключ к Кронштадту.

Над всеми возможными местами учебы, тренировки, испытаний кораблей, над самыми базами Балтийского флота нависал Гогланд и примыкающие к нему острова — Большой Тютерс, Малый Тютерс, Сескар, Лавенсаари. Они вытянулись по продольной оси Финского залива зловещим кабелем, один конец которого упирался в Кронштадт, а другой прямым проводом вел в кабинеты того иностранного штаба, который в данный момент наиболее интересовался Балтийским флотом и который поэтому дороже других платил хозяевам островов, белофинской военной правящей клике. Все, что делал в своих базах Балтийский флот, могло быть известно врагам. И недаром острова эти до краев были переполнены агентами разведок, шпионами, диверсантами, ожидавшими ночи потемнее, чтобы в рыбачьей лайбе переправиться в Советский Союз. Целые комплекты разнообразной советской одежды, пачки чистых паспортных бланков, альбомы фотографий советских военных кораблей, снятых на любых курсовых углах (ценное пособие для торпедной атаки и для артиллерийского огня!), были найдены нами на этих островах...

Какая выдержка, какая осторожность и скрытность нужны были Балтийскому флоту, как умело нужно было ему проводить ученья, стрельбы, пробы новых кораблей, испытания нового оружия, чтобы до времени не обнаружить всего этого пристальным взорам островов, служивших биноклями врагу! Нигде, ни в одной стране мира, вторая столица ее не расположена на дистанции орудийного выстрела от границы, и нигде в мире флот, вынужденный ее защищать, не заперт в узком коридоре прибрежной воды, который насквозь просматривается (а если нужно — и простреливается!) с цепи островов.

И если вспомнить все это, если подумать, что в течение всех этих двадцати лет Балтийский флот был ежеминутно готов вести неслыханную морскую войну в заливе, девять десятых которого были чужими водами, наполненными до краев базами и батареями возможного врага,— станет понятным, с каким чувством увидели мы советский флаг на Гогланде, на всей цепи островов — на Большом и Малом Тютерсах, на Сескаре, на Лавенсаари. Будто камень свалился с души: кончились трудные, тревожные годы, годы стиснутых маневрирований, годы ожидания ударов в спину буквально из-за угла, с любого из

островов, насильственно врезанных в ближнюю систему обороны великого города, в самое тело нашего моря...

С этим же чувством и кронштадтские форты громили железнодорожные пути, бронепоезда, батареи и штабы нависшего над ними северного берега. Вся цепь этих фортов, протянутая по заливу от Кронштадта до Ленинграда, сам остров Котлин и южный берег в восемь часов утра 30 ноября одновременно выдохнули из жерл своих орудий огненный вздох снарядов. Это был вздох облегчения: кончились тревожные годы...

Ураган металла понесся на северный берег, сметая сопротивление, расчищая дорогу Красной Армии. А ведь могло быть и наоборот: такой же ураган металла мог обрушиться на Ленинград, на его заводы и вузы, мог обрушиться с северного берега, с плацдарма интервенции, тщательно и умно подготовляемого все эти годы...

И с тем же чувством огромного облегчения канонерские лодки Балтийского флота подходили вплотную к северному берегу, выискивая с моря в лесу батареи врага, обстреливающие Красную Армию. Канлодки стреляли по семнадцать часов подряд, отгоняя полевые батареи, уничтожая живую силу, разрушая прибрежные укрепления.

Линейные корабли вступили в неравное состязание с тяжелыми батареями острова Биорке. Артиллерийская дуэль корабля и береговой батареи представляет все выгоды для батареи: корабль стреляет с ходу и с волны — батарея с неподвижной точки; корабль виден в море как на ладони — батарея замаскирована в лесу; корабль имеет множество уязвимых точек — батарея облита полутораметровым бетоном. В империалистическую войну могучие линейные корабли британского флота ряд месяцев долбили дарданелльские батареи, потеряв при этом несколько кораблей.

Но биоркские батареи мешали продвижению Красной Армии. И Балтийский флот вышел в этот неравный поединок.

Батареи не отвечали на огонь, не желая открывать свое точное место. Тогда миноносцы и лидеры стали играть с ними, как пикадоры с быком: они ежедневно ходили под берег, сбавляли ход, подходили вплотную... И белофинны наконец не выдержали. Цель представлялась слишком заманчивой. Грянули тяжелые орудия, огромные снаряды ударили в воду у самого борта лиде-

ра. Он мгновенным прыжком ушел из-под обстрела и опять сбавил ход. Новый залп — и та же опасная игра. Она была нужна: с других миноносцев штурмана и артиллеристы пеленговали вспышки в лесу, наносили места батарей на карте. И тогда в море опять вышли линейные корабли и обрушили на батареи ливень металла...

Зима надвигалась. Кронштадтскую гавань затянуло льдом. Но все же по ночам в ней то и дело гасли синие лампочки, освещающие сходню на берег, и из темноты доносились мелодичный перезвон машинного телеграфа, рокот якорной цепи, вдохи пара, негромкие команды. Потом молодой лед, тоненько звеня и шипя, лез на стенку, урчала вода под винтами — и очередной миноносец снимался со швартовов, за ним другой, и гавань пустела.

Миноносцы выходили в море — на обстрел берегов, на поиски спрятавшегося в шхерах флота противника, на охоту за подводными лодками. В заливе их встречал шторм, стремительная качка, пронизывающий ветер, брызги, а порой и целые потоки ледяной воды на палубе. Боевая смена краснофлотцев иногда была вынуждена сменяться каждые четверть часа...

Миноносцы возвращались на базу седыми, в сплошном ледяном футляре, в белом кружеве на мачтах, на поручнях, на мостике: волны и брызги замерзали, превращая корабль в глыбу льда. Его скалывали, освобождали мостик, орудия, пост сбрасывания глубинных бомб — и все-таки ходили до тех пор, пока толстый ледяной покров не закрыл выходов в восточную часть Финского залива.

В западной его части миноносцы и крейсера передовых наших баз — Таллина, Балтийского порта, Либавы — действовали еще в январе, в самые жестокие морозы, пока небывалая по суровости зима не заморозила не только Финский залив, но и Балтийское море.

И до самой последней возможности совершали из этих передовых баз свои героические походы балтийские подводные лодки.

Враг рассчитывал на Ботнический залив. Этот огромный бассейн отгорожен от Балтики плотной стеной мелких, близких друг к другу Аландских островов, как естественной преградой. Узкие проходы между ними легко забросать минами, и тогда вся Ботника станет закрытым

озером, по которому можно безопасно перевозить боевые грузы, продовольствие и войсковые подкрепления, на которые рассчитывала белофинская военная клика, начиная войну с Советским Союзом.

И мины были поставлены.

Советский Союз объявил всю прибрежную часть Ботники, прилегающую к Финляндии, зоной блокады. Подлодки получили приказ осуществить эту блокаду. И они пошли на прорыв минного заграждения в мелких и узких проходах между островами, защищенными огнем береговых батарей.

Еще не время рассказывать о том, как был совершен этот прорыв. Подлодки ползали по дну, попадали в подводные гроты, застревали между скалами, буквально на брюхе переползали отмели, царапали бортами стальные минрепы, которые держат на якорях мины, проводили часы и сутки рядом со смертью, консервированной в этих огромных шарах, а сверху их засыпали глубинными бомбами катера — охотники за подлодками, бомбили самолеты, швыряли снаряды батареи...

Но все-таки балтийские подводники нашли нужные им проходы, вырвались в Ботнику и деловито приступили к «регулированию движения» в этой недоступной, казалось бы, части моря.

Трудность этого заключалась еще в том, что подстерегать вражеские транспорты и военные корабли наши лодки могли только в зоне блокады. Они держались у берегов, высматривая идущий к ним корабль, и порой преследование чрезвычайно осложнялось. Однажды Герой Советского Союза капитан-лейтенант Вершинин увидел большой транспорт. Он атаковал его, но первое повреждение не замедлило хода этого гиганта, он пошел к берегу. Лодка кинулась за ним, лавируя между льдинами. Транспорт явно уходил. Вершинин упрямо гнался за ним. Транспорт вошел в фиорд — лодка за ним, в узкость, в огонь береговых батарей. Транспорт вошел в порт — лодка за ним. Транспорт вошел в гавань, подал швартовы на стенку, он уже считал себя дома,— но краснознаменная лодка Щ-311 настигла его и там и выпустила в него торпеду... Четыре дня спустя наши летчики еще видели, как пылал костром у самой стенки огромный транспорт, продолжая пускать в небо разнообразные фейерверки привезенных им боезапасов, так и не достигших цели.

Но лед надвигался и на Ботнику. Подлодки были вынуждены действовать в невероятно трудных условиях. Каждое всплытие угрожало возможной встречей со льдом, поломкой перископа, что для лодки означает гибельную слепоту. Балтийские подводники оставались в Ботнике до самых крайних сроков. Так, краснознаменная подлодка Щ-324, державшая блокаду берегов в Ботнике, оказалась в ловушке; выход из Ботники в Балтийское море покрылся льдом. Балтийская «щука» нырнула под лед. Долгие часы она шла под ледяным потолком, без всякой возможности всплыть. Но командир лодки Герой Советского Союза Анатолий Коняев уверенно вел ее к чистой воде и всплыл далеко от преследователей, готовый снова атаковать очередной транспорт с военным грузом.

Подводные лодки Балтийского флота появлялись там, где их никто не мог ожидать,— во внутренних шхерах, в закрытых фиордах, проползали и проходили через такие места, которых нет ни в лоции, ни на карте. Здесь, в шхерах, прятались от Балтийского флота корабли врага, постоянно меняя место в путаных и скрытых коридорах между островами. Подлодки искали врага день за днем.

Одна из маленьких лодок в этих поисках чуть не попала заживо в могилу.

«Малютка» пошла в шхеры. Сначала все было хорошо, если не считать жестокого январского мороза, пурги, отсутствия видимости на походе. Потом, погрузившись, «малютка» вошла в шхеры, где никогда не бывали еще наши корабли. Все было неизвестно, и путь пришлось искать ощупью. Капитан-лейтенант Сазонов дал лодке дифферент на нос, то есть погрузил водяным балластом ее нос ниже кормы и приподнял этим винты. Лодка пошла теперь, как собака по следу, опустив нос и внюхиваясь в дно. Это предохраняло ее от опасности врезаться всем дном в грунт и поломать винты.

Миновали уже много поворотов по путаному, едва угадываемому фарватеру. Потом заскрежетало — сперва в носу, потом по бортам. Застопорили, прислушались, поняли: лодка вошла в подводный грот. «Как в гараж»,— острили потом краснофлотцы. Выбрались задним ходом из этого «гаража», медленно поползли дальше. Опущенный нос лодки действовал, как лот,— натыкался на препятствия, и командир либо обходил их ощупью,

либо, если нужно, подвсплывал и перелезал через отмель.

При одном из таких переползаний отмель оказалась настолько мелкой, что рубка вылезла из воды. Тотчас рядом с лодкой раздался взрыв. Перекат охранялся береговой батареей... Повернуть и обойти отмель не давало все повышающееся дно. Оставалось только дать задний ход до замеченной неподалеку глубины и отлежаться.

Так и сделали. Лодка легла на грунт на глубине всего двадцати метров. Где-то впереди рвались снаряды, обстреливающие отмель. Здесь было тихо. Но было утро, и приходилось ждать темноты, чтобы все же пройти через это мелкое, обнажающее корпус лодки место.

Обстрел прекратился. Жизнь в лодке пошла своим чередом. Кок накормил подводников горячими котлетами, краснофлотцы попытались выспаться, хотя в лодке было и сыро и холодно. Но на каком-то часу у центрального поста гулко раздался удар.

Звук был незнакомый. Не так рвется рядом глубинная бомба или мина, не так разрывается и снаряд. Может быть, удар тараном? Подсчитали глубину: это мог быть только глубоко сидящий корабль, но откуда он мог взяться на этом мелком фарватере?

Удар повторился, на этот раз в носу. И за ним все чаще посыпались удары разной силы, в разных местах, порой скрежет по корпусу.

Все это было загадкой. Удары продолжались.

Наконец командир понял. Очевидно, наверху развело сильную волну. Лодка лежала в канаве фарватера, и волна, колеблющая на бровках фарватера камни, сбрасывала их вниз, на лодку. Они падали по одному или целой осыпью, тогда лодка дрожала, как от ряда залпов. Камни заваливали лодку в канаве фарватера.

Надо было всплыть. Но куда? Под огонь батареи?

Дело пошло на выдержку. Камни гремели по корпусу, балтийцы посматривали на подволок и на борта — и высиживали. Изредка командир продувал цистерны, слегка подвсплывая. Тогда по корпусу скрежетали навалившиеся уже на палубу камни, лодка стряхивала их с себя и снова ложилась на грунт.

До темноты пролежали подводники в этой неожиданной могиле, в которой камни никак не могли засыпать

встряхивающуюся от них лодку. Ночью всплыли, перелезли через отмель и выполнили задание.

Так дрались на воде и под водой балтийские моряки, третье поколение Балтийского флота, возрождая боевую славу орлиного племени матросов девятнадцатого года.

1939—1940

Все нормально



де-то в центре материка уменьшилось атмосферное давление, и с холодных просторов Арктики туда потекли огромные массы воздуха, настуженного вечным льдом. Отбрасываемые вращением Земли, они, плавно меняя направление, передвигались с севера по широкой дуге, все ускоряя движение.

И это называлось ветром.

В плоской равнине тундр он вздымал в небо снежную пыль, крутя ее и сливая в белесую пелену, гасившую вечные звезды полярной ночи. Южнее, в лесах, он выл в голых сучьях и свистел в ветвях, сгибая тонкие молодые сосны и обламывая могучим елям их зеленые многопалые лапы. Он валил навзничь деревья, которые, утратив гибкость молодости и стойкую силу зрелости, самонадеянно подставляли его ярости широкую свою грудь. Вывороченные из земли их корни вздымали к небу бесполезную жалобу узловатых одряхлевших рук, и новые массы холодного воздуха пролетали над ними, вырываясь в узкий простор замерзших озер, похожих более на реки, нарезанные кусками,— длинных финских озер, стиснутых скалами. По этим ледяным коридорам, проложенным в лесах с севера на юг, Арктика мчала стылый свой воздух к морю. Здесь, в путаном кружеве прибрежных шхер, ветер

собирал в одно невидимое грозное целое его разрозненные отряды.

Ровной стеной быстро передвигающегося холодного воздуха Арктика проносилась над Балтийским морем, и серая недвижная его вода, готовая вот-вот загустеть и обратиться в зеленоватые льдины, заколебалась. Вначале вздохи воды были плавны и спокойны. Но едва образовался первый ровный холм первой волны, воздух, мчавшийся над нею, тотчас изуродовал ее безупречную форму. Он сдвинул вершину волны вперед, он удлинил ее подошву и образовал гребень. И когда новая волна подняла свой выгнутый горб, она стала уже выше, круче и злее. Так начался шторм.

Это был жестокий январский шторм — дикое бешенство ледяной воды.

Густая и тяжелая, налитая недвижным холодом замерзания, вода, приведенная ветром в движение, была страшна. Она шевелила теперь тяжелые валы, больше похожие на ртуть,— тусклые, плотные, нерасщепимые. Обрушивая гребень, она не шипела белой пеной захваченного воздуха: гребень волны падал целиком, как лист какого-то странного металла, гнущегося от собственной тяжести, и удары этой тяжелой, вязкой массы несли в себе огромную силу разрушения.

Шторм продолжался не первые сутки, но уже тогда, когда он был еще девяти баллов, корабли не рисковали выходить из портов, а те, кого он застал в море, торопились уйти под прикрытие берега. В то утро, когда шторм достиг предельной силы, далеко от земли внезапно всплыла подводная лодка — единственный корабль на всем пространстве Балтийского моря, от льдов Ботники до южных берегов.

Это была маленькая подводная лодка из тех, которым краснофлотцы дали нежное и ласковое имя «малютка». Среди водяных гор она была бесконечно мала, так мала, что в момент всплытия целиком спряталась в гребне волны. Гребень упал — и она вылупилась из волны, как цыпленок из яйца. В следующий же момент, потеряв под левым бортом опору рухнувшего гребня, она легла на борт в смертельном крене, скользнула в провал между валами, залилась новой волной и исчезла. Эта волна, ударившая ей в борт и увеличившая крен, вероятно, ее перевернула, потому что долгое время лодки не было видно.

Но потом в тусклой ртути воды опять блеснул крепкий, упрямый металл рубки. Теперь он распорол волну вдоль, от гребня к подошве, и яростная мощь воды встретила не борт, а узкие обтекаемые образования носовой части. Волна смогла теперь лишь задержать ход лодки и облить ее холодной плотной водой, накрыв и палубу и рубку. Но едва последние струи, журча, скатились с мостика, как откинулась крышка люка и из него вышел (вернее, выполз) человек. Он поспешно закрыл за собой люк, выпрямился и остался с глазу на глаз с взбесившимся Балтийским морем.

Прежде всего он осмотрел горизонт. На изрытой холмами зубчатой линии его не было ни одного дымка, ни одной мачты. Тогда человек снял пробку переговорной трубы и сказал несколько слов внутрь лодки. Лодка ответила легким поворотом вразрез новой волне, и та прокатилась вдоль палубы, хлестнув только несколько студеных струй на крышу рубки и на человека. Он поежился, опустил на затылок верх кожаной, подбитой мехом ушанки, снова нагнулся к переговорной трубе и открыл входной люк.

Тогда из отводной трубы позади рубки с легкими, рокочущими взрывами потянул синий дымок, мгновенно срываемый ветром. Это означало, что внутри лодки заработали дизеля. Это означало, что в голодные аккумуляторы, отдавшие всю свою силу за долгое подводное плаванье, побежал спасительный ток, накапливая в них с каждой минутой электроэнергию, боевую мощь, без которой подводная лодка превращается в бесполезный и неудобный надводный корабль. Это означало победу.

И, может быть, поэтому человек на мостике подошел к крошечной мачте и поднял на ней флаг. Флаг был маленький, мокрый и красная звезда на нем почти потеряла цвет. Но это был боевой флаг страны, пославшей лодку в трудный и опасный поход, и это был единственный флаг на всем пространстве Балтийского моря, развеваемый жестоким январским штормом, загнавшим большие корабли в гавани. Его не мог видеть никто, кроме самого командира. Но, вероятно, именно ему было важнее всего видеть над собой этот флаг в те долгие часы, которые он собирался провести здесь один, сберегая лодку от стихии и от возможного врага.

Командир прижался к обвесу рубки, стараясь найти место посуше около входного люка, готовый захлопнуть

его, в случае если волна накатит на рубку, или исчезнуть в нем, в случае если в пустынном море внезапно появится корабль.

Лодка шла на север, навстречу шторму. Именно такой шторм был лучшим союзником: там, в далеком проходе, куда направлялась лодка, он загнал уже в гавань все противолодочные катера и миноносцы. Кроме того, появление лодки, пересекшей море в такой шторм, наверняка будет неожиданным и невероятным для врага, укрывшегося в своем логовище... Значит, нужно торопиться к этому проходу, пока в море бушует шторм.

И лодка шла упрямо на север, глубоко под гигантскими валами шторма, пока ей хватало энергии аккумуляторов. Но когда ей понадобилось всплыть — союзник обернулся врагом.

Всплывать в такой шторм — это все равно что с завязанными глазами пытаться вскочить на бешеную лошадь: в последний момент всплытия лодка теряет остойчивость, и любая волна может ее прикончить. Всплывая в шторм, надо угадать так, чтобы всплыть вразрез волне, чего рассчитать под водой невозможно.

Так и случилось при первой попытке всплыть. Ухватившись за скобу люка, чтобы, едва в иллюминаторе рубки забрезжит дневной свет, открыть его, как можно скорее выскочить наверх и развернуть лодку против волны, командир всей тяжестью тела внезапно лег на отвесные ступеньки трапа.

Почувствовав, что крен смертелен, командир покрылся горячим потом. Вися на повалившемся вместе с лодкой трапе, командир увидел между ступней огромных своих валенок странно изменившееся лицо трюмного и крикнул ему необходимые слова команды. Возможно, что тот не успел еще осознать сказанное, но руки трюмного сами собой уже потянулись к рычагам кингстонов и клапанов, и резкий удар воды, принятой в цистерны правого борта, выпрямил лодку. Командир упал в центральный пост, успев крикнуть: «Право на борт!»

Лодка уходила в глубину, оправляясь от страшного удара волны. Трюмный вытер тыльной стороной ладони пот, лившийся по лбу, и только тогда командир понял, что и ему самому невероятно жарко. Но скинуть лишнюю одежду не имело смысла: надо было развернуть лодку против волны, направление которой стало известно ценой этих секунд, и снова всплывать.

Поэтому, выйдя наверх, командир в первые минуты не чувствовал ни леденящего ветра, ни холодных струй. Он осторожно изменял курс, стремясь на север, насколько это позволяло направление волны, пока наконец одна из них не прокатилась по всей лодке, накрыв рубку. Он прихлопнул ногой люк, ухватился за поручни и, переждав, пока холодная волна прошла над ним, снова открыл люк: дизелям, работавшим внутри, надо было дышать.

Вода, ударяя в лодку, накатывала на орудие, на рубку, на перископ и на человека тонкие свои слои, и блестящие струи медленно и лениво замерзали, скатываясь по металлу лодки и по назатыльнику шапки на спину длинного пальто. Густея, как застывающий клей, они покрывали металл и человека в его кожаной одежде тонким, незаметным пока слоем льда.

Командир заметил это не скоро. Все его внимание было устремлено на встающие на носу валы. Надо было вести лодку так, чтобы отыскать среди этих водяных гор курс, наиболее близкий к северному. Но волны, сталкиваясь между собой, нарушали правильный ритм и направление, и порой одна из них (которую почему-то зовут «девятым валом») нависала сбоку над лодкой своим странно гнущимся гребнем. Тогда командир спасал лодку и самого себя: лодку — уменьшая ход и ворочая вразрез волне, себя — ныряя под навес рубки. Одновременно он наступал валенком на крышку люка и прихлопывал ее, чтобы внутрь лодки не вкатывалась вода. Волна обрушивала свой гребень на лодку, перекатываясь через крышу рубки, и секунду-две командир находился в водяном гроте. Потом вода уходила к корме, с крыши рубки ему на спину проливался ледяной душ, он снимал валенок с люка, и крышка его опять откидывалась пружинами, давая воздуху дорогу к дизелям.

Это было монотонным занятием, совсем непохожим на острую напряженность боевой атаки. Но это и было атакой, началом ее: проскользнуть через проход было выгоднее всего именно в такой шторм и прийти туда надо было во всей мощи, с полным зарядом электроэнергии. И он упрямо держал курс на север, ловя направление очередной волны.

Иногда волна оказывалась короче, чем он ожидал. Тогда лодка сотрясалась от могучего удара, и порой сквозь рев воды доносился треск: это ломалась стойка

поручней или лист палубного настила. Но волна уходила, и успокоительный рокот дизелей докладывал, что все идет нормально.

Время измерялось для него теперь не минутами и часами, а плотностью электролита в аккумуляторах. Он спрашивал в переговорную трубу, как идет зарядка и много ли набралось в лодку воды.

Теперь командир все больше чувствовал холод. Особенно мерзли мокрые ноги. Он начал быстрый и яростный шаг на месте. Валенки хлюпали по воде, плещущейся по мостику, тело слегка согревалось, но ногам не становилось теплее. Командир снова спросил через переговорную трубу, как идет зарядка. Внизу к трубе подошел комиссар. Выяснилось, что придется стоять наверху еще столько же. Комиссар предложил сменить его или прислать штурмана. Командир ответил, что волна очень подлая и уходить он никак не хочет. Тогда комиссар спросил про холод. Он ответил кратко и выразительно. Комиссар немного помолчал, потом спросил, как уши. Командир поднял руку к шапке и с удивлением заметил, что шапка и воротник смерзлись в ледяной колпак. В это мгновение как раз навалилась откуда-то сбоку такая волна, что командир крикнул вниз: «Право на борт!», заткнул свистком переговорную трубу, чтобы комиссару в ухо не полилась вода, и прихлопнул валенком люк.

Когда волна прошла, командир заметил, что она значительно изменила направление. Он сверился по компасу. Волна заходила к востоку. Он упрямо повернул лодку туда, куда стремился: на север. Но волна стала бить в борт и так валять лодку, что он пошел опять вразрез волне. Шторм уводил от цели похода, переупрямить его можно было только в спокойной глубине, а для этого не хватало еще электроэнергии. Он свистнул в трубу, чтобы вызвать комиссара. Штурман ему сообщил, что комиссар занят: режет на куски свое одеяло. Командир тревожно спросил, здоров ли он, и штурман ответил, что вполне и даже весел. Командир собрался выругаться, но к трубе уже подошел комиссар и попросил на минутку всунуть в люк любую ногу, когда на мостике не будет воды.

Из люка обманчивым теплом тянул запах горелого масла дизелей. Командир почувствовал, как с ноги снимают валенок и носок, как чьи-то сильные руки растира-

ют застывшие пальцы чем-то обжигающим. Потом ногу закутали в сухое и шершавое, натянули на нее чей-то тесный валенок и попросили другую.

В сухих валенках шторм показался не таким уж страшным. Командир в ледяном колпаке шапки, отлично сохраняющем уши от ветра, всматривался в волны. Они все больше заходили к востоку, вынуждая лодку менять свой упрямый курс. Лодка же странно преобразилась. Орудие под рубкой еще сохраняло свою форму, но увеличилось, как будто на него сверх парусинового натянули еще какой-то плотный и блестящий чехол. Поломанные стойки поручней, причудливо изогнутой волной, уже нарастили широкие ледяные грибы. С рубки свешивались огромные сосульки, а перископ стал вдвое толще. Даже флаг перестал развеваться над головой командира: он стоял на негнущихся замороженных фалах, как лист погнутой жести, но под мутной глазурью льда все еще мерцала в углу красная звезда. Все это надо было понимать так, что вода, не давая лодке окончить зарядку, опять загоняла ее на глубину. Только там, где на сорок градусов теплее, лед мог постепенно растаять и облегчить лодку от ледяного опасного груза. Но для этого нужно было прекратить зарядку, необходимую для атаки.

И командир продолжал вести лодку вразрез волне, тревожно присматриваясь, как подымается ее отягченный льдом нос, и с горечью наблюдая, как уводит его от цели вынужденный курс. Если бы не это, все было бы нормально, ибо основная проблема была решена: через каждые десять — пятнадцать минут переговорная труба тоненько свистела, и веселый голос снизу кричал: «Товарищ старший лейтенант, поджарили!» — и потом застывшие ноги приятно охватывались теплом. Это было горячее комиссарское одеяло, вернее — куски его. Их сушили над электрической печкой, балансируя с ней на стремительной качке, чтобы не вызвать пожара. Другие краснофлотцы так же возились с валенками: один, цепко расставив ноги, держал в руках электрическую печку, второй — валенки над ней, и распаренный их запах был единственным теплом в сыром и холодном воздухе лодки. Она и внутри была вся в воде, потому что через люк, открытый для работы дизелей, волна то и дело вкатывала в центральный пост холодные свои струи, как ни старался командир вовремя прихлопнуть люк. Ноги у всех в лодке закоченели, но самым важным и нужным были сейчас

командирские ноги, и для них работали обе печки. Валенки все же не успевали просыхать и охватывали просунутые в люк ноги влажным горячим компрессом, который остывал как раз к тому времени, когда начинала дымиться над печкой вторая пара, и тогда веселый голос опять кричал наверх: «Товарищ старший лейтенант, горяченьких, с пылу, с жару!»

Но вскоре командир в ответ на этот веселый голос попросил выслать спирту, и побольше. Штурман послал ему большую рюмку, но командир потребовал целый стакан. Штурман ответил «есть», но изумился.

Когда же аккумуляторы вдоволь напились живительной электрической силы и можно было опять уходить из шторма в спокойные глубины, пришла очередь изумиться и комиссару. Командир ответил, что погружаться он не будет и что сейчас ворочает прямо на север в проход. Комиссар, встревожившись, спросил, здоров ли он, и командир ответил, что вполне и даже весел, что тут совершенно тепло и выдумка с печками — замечательная, только жалко одеяла, и что он просит прислать еще стакан спирту, а лучше — всю бутылку. Комиссар сердито сказал, что довольно и что он выйдет наверх сам. Он заткнул свистком трубу и, натыкаясь на качающиеся борта, пошел к трапу, хотя переговорная труба отчаянно свистела ему вслед.

На трапе его встретил холодный душ, и потом долго пришлось дожидаться, пока командир откроет люк,— волна только что перекатилась через мостик. Потом он вышел и увидел море, шторм и командира. Красное его лицо, выглядывавшее из ледяного колпака шапки, улыбалось, и он показывал на волны и на компас.

Где-то в глубине материка переместился центр низкого давления, и холодные массы арктического воздуха, мчавшиеся над Балтикой, переменили направление, увлекая за собой волны. Теперь получилось так, что, если лодка повернет на север, они будут бить ей справа в корму, раскачивая самой спокойной и безопасной в шторм качкой, а ветер прибавит к ее ходу верных два-три узла. Погружаться не имело смысла, дойти до цели вернее и скорее было в надводном положении. Все было понятно, кроме одного, и комиссар хотел спросить про это, но, взглянув на перископ, смолчал: драгоценный стеклянный его глаз был освобожден ото льда, готовый к мгновенному погружению, и ветер, дувший с кормы, заметно при-

бавляя ход лодке, доносил от стекла свежий и тонкий запах спирта.

— Так, значит, тут у тебя все нормально,— сказал комиссар, берясь за крышку люка.— Мы сейчас тебе сюда кофейку горячего расстараемся.

«Малютка» шла вперед, тяжело раскачиваясь обледеневшим корпусом, и орудие перед рубкой, превратившееся в небольшого слона, уткнувшегося хоботом в палубу, ныряло в волну и с плеском вздымалось из нее. Лодка была похожа на айсберг, но она шла на север, она шла на север!..

1940

Крошка



огда в отряд прибыло пополнение в шесть лошадей, присланных из Кронштадтского порта, капитан Розе окончательно расстроился.

Три месяца назад, при формировании этого балтийского берегового отряда, капитан Розе, читавший в Школе оружия курс двигателей внутреннего сгорания, никак не мог предполагать, что превратится из техника в хозяйственника. Пока он занимался автотранспортом — все было привычно и понятно. Но когда пришли на фронт и отряд продолжал расти, когда завернули эти необыкновенные морозы и целый подземный городок вырос в заснеженном лесу — как-то само собой получилось, что именно на капитана Розе свалились все хозяйственные заботы. Командир отряда, бывший балтийский матрос, в свое время повоевавший «на сухом пути» — под Царицыном и под Перекопом,— все чаще и чаще поручал ему разные снабженческие дела и, наконец, однажды вечером вызвал его в землянку и жестоко распушил за невкусный борщ. Капитан Розе изумился, но, решив, что комбригу виднее, кто за что должен отвечать, побежал к походным кухням и тотчас собрал коков на совет: что делать, чтобы картошка не мерзла и не гадила борща? И когда в очередном приказе было уже прямо сказано: «Начальнику тыла капитану Розе обеспечить...» — капитан философски

решил, что кому-нибудь в отряде надо же быть этим начальником.

Но лошади вывели его из себя. Все-таки между автотранспортом и картошкой была какая-то логическая связь: картошку привозили на его машинах — значит, он должен был не только довезти эту картошку до лагеря, но, так сказать, довести ее и до бойца, то есть сберечь от порчи, сварить и раздать, для чего нужно было позаботиться и о дровах, и о соли, и о мастерстве коков. Но лошади?!

Было ясное морозное утро. Из землянок тянулся легкий дымок, и снег, нависший на ветвях, таял и капал, сразу же превращаясь в лед. У гаража, образованного парусиновым обвесом меж елей, стояли возле машин шесть загадочных существ, заиндевевших и мохнатых.

— Нет, вы подумайте, так на мою голову еще и лошади! — восклицал капитан Розе.— Ну что мне лошади и что я им? Может быть, кто-нибудь покажет, куда в них наливать горючее? И где я построю им гараж? Они же лопнут на этом проклятом морозе; это же не машины, чтобы из них выпускать на ночь воду!..

Тут стоявший впереди огромный серый битюг вкусно фыркнул и ткнулся носом в карман капитанского полушубка.

— Нет, вы посмотрите, оно уже хочет кушать! — в отчаянии воскликнул капитан и, достав из кармана горбушку, протянул битюгу, который и зажевал ее с видимым удовольствием.— Ну чем я буду тебя кормить, дорогая крошка?.. Вы не знаете случайно, товарищ Андреев, они консервы кушают? Или, может быть, как-нибудь проживут на одном хлебе?..

В шуточном отчаянии капитана сквозило, однако, серьезное беспокойство. Лошади были голодные, усталые от долгого перехода по снегам, и, как ни велико было отвращение техника к этому виду транспорта, надо было все же немедленно «поставить их в человеческие условия», как выразился капитан Розе. А для этого надо было найти людей, которые понимали бы толк в этих чуждых флоту и технике существах. И когда в ответ на призыв капитана вперед вышел комсомолец Савкин, один из лучших учеников в Школе оружия, готовившийся стать штурманским электриком, капитан Розе облегченно вздохнул и пошел с докладом к комбригу, не удержавшись, впрочем, от совета Савкину обращаться с битюгом осторожно,

«чтобы не устроить где-либо в нем короткого замыкания...».

Комбриг лежал в своей землянке больной. На его стареющем, но еще крепком теле было уже тринадцать ран, полученных в гражданской войне и в амурских боях 1929 года. Теперь к ним прибавилась четырнадцатая. Она, правда, совсем затянулась, но нога плохо работала, и комбрига опять лихорадило. Поэтому капитан Розе снова отложил давно намеченный крупный разговор о том, что он — техник и преподаватель двигателей внутреннего сгорания — не может, не умеет, наконец, просто не хочет быть «начальником тыла» и что он просит поручить ему командование приданными отряду танками. Он ограничился докладом о прибывших лошадях и о Савкине, которого просил утвердить в должности «флагманского конюха», дав ему в помощь пять краснофлотцев «такого же лошадиного склада мыслей», и добился своими шутками того, что комбриг повеселел и выпил горячего чая. Потом, плотно укутав больного, он вышел из землянки, строго приказав часовому со всеми вопросами посылать к нему и не беспокоить комбрига.

Так штурманский электрик Савкин стал «флагманским конюхом» балтийского отряда.

В лесу выросла конюшня, сложенная из тонких елей, на которые набросали ветви. В аккуратных стойлах появились фанерные дощечки с надписями: «Линкор», «Торпеда», «Мина», «Компас», «Ураган». Так по-флотски окрестил Савкин безыменных друзей. И только над огромным серым битюгом висело мирное слово «Крошка»— в память первого знакомства капитана Розе с лошадьми.

Крошка стал любимцем Савкина. Быстро отъевшись на овсе (для которого «флагманский конюх» с боями вырывал у капитана Розе место в очередной машине), могучий серый конь стал гладким, веселым и не отказывался ни от какой работы. А работы хватало. «Лошадиный дивизион» принял на себя и подвоз снарядов на передовые батареи, где машины вязли в снегу, и доставку бойцам на передний край позиции горячего борща в двухведерных термосах, бережно привозил из боев раненых, волоком тащил по снегу лес для новых землянок, и даже както сам капитан Розе, прикрывая смущение шутками, поручил Савкину вызволить из заноса грузовик, застрявший в лесу,— и шесть нормальных лошадиных сил дружно сдвинули с места тяжелую машину вместе со всеми ее

пятьюдесятью условными лошадьми, замерзшими в ее моторе.

Пошептавшись однажды с разведчиками-лыжниками, Савкин заложил Крошку в розвальни и затрусил в лес. Два дня Крошка таскал неведомо откуда бревна, доски, двери и кирпичи, и скоро в отряде появилась настоящая баня. Это был домик лесника, каким-то чудом уцелевший от поджогов. Его распилили на месте. Крошка перевез на себе весь сруб, и баня распахнула перед балтийцами свои горячие желанные двери. Честь париться первыми была предоставлена капитаном Розе «флагманскому конюху» и лыжникам, отыскавшим домик. Они принесли в баню больного комбрига, и тогда состоялось торжественное открытие «Дворца культуры». В бане же комбриг пригласил Савкина и лыжников к себе в землянку пить чай, и там за столом Савкин внес еще одно предложение по лошадиной части.

В десяти километрах по льду от берега выдавался в море мыс — правый фланг укрепленной финской позиции. Перед ним в торосах залегли балтийцы. Уже третий день они лежали на льду, прячась в торосах от меткого огня снайперов, которыми кишел весь прибрежный лес и которые не давали возможности перебраться на берег по открытому голому льду. Третий день балтийцы были без горячего супа, потому что лыжники могли по ночам приносить им лишь маленькие термосы с какао, заботливо сваренным капитаном Розе. Савкин предложил попытаться доставить им суп, а заодно и запас патронов, которых Крошка сможет взять любое количество.

Комбриг внимательно посмотрел на Савкина, разглядывая его. Ладный и крепкий юноша с простым веснушчатым лицом, несколько смущаясь, продолжал говорить. Оказывается, он все уже подсчитал и прикинул: луна заходит в начале ночи, стало быть, до рассвета он поспеет к торосам. Там он положит Крошку за большую льдину, чтобы его не пристукнул снайпер, переждет день и ночью вернется. А что до того, что на льду нет санной дороги, то Крошка дорогой не интересуется, вывезет и по брюхо в снегу любой воз...

Комбриг смотрел на Савкина, и перед ним вставали давние дни, когда в сугробах Донбасса балтийские моряки так же за кружкой чая спокойно обсуждали боевой день. Юноша-комсомолец, молодой краснофлотец, чем-то напоминал тех, прежних... В повадках его, в жестах и в

разговоре не было и тени крутого матросского нрава. Глаза, еще по-юношески ясные, были совсем другими, чем усталые и гневные глаза тех людей, которые прошли тяжелую царскую службу, пережили четыре года войны и вновь по своей охоте ринулись под пули и снаряды в неведомые флоту степи и леса. И самый тон его, сдержанный и спокойный, ничуть не был похож на соленый и резкий разговор старых балтийцев.

Но в нем жило то, что в академии называлось «волей к победе» и что сам комбриг называл «боевым упорством», «балтийским упрямством» или — по-давнему, по-матросскому,— «марсофлотством».

Собственно, ничего особенного Савкин не предлагал. Ну, какое геройство было в том, чтобы подвезти на лошади по льду термосы с супом и цинки с патронами? Но, вглядевшись в его глаза, где сидело это самое «марсофлотство», комбриг понял, что суп — это только разведка, что Савкин задумал другое, о чем пока не говорит, и что этот юноша — из тех, кто найдет выход из любого положения, кто пойдет сам и поведет за собой людей куда угодно.

— Ну, вези борщ, балтиец,— сказал он, называя его словом, которое у него означало высшую похвалу.— Вези, вези... я тебя насквозь вижу!.. Адъютант, начальнику тыла сказать, чтобы борщ мировой был!

И ночью Савкин выехал с борщом на лед. Десять лыжников сопровождали розвальни. Савкин направлял Крошку по их лыжням, как бы стараясь расширить полозьями эту узкую дорогу, но Крошка то и дело проваливался в снег по брюхо.

Невнятная, неясная мгла висела над заливом, белое марево снега и луны. Где-то далеко ухали залпы, порой в небе, шурша, пролетал над головой снаряд. Потом луна зашла, и к этому времени Крошка задымился, тяжело поводя боками. Савкин дал ему передохнуть, лыжники разобрали по рукам концы, которыми прихвачены были к розвальням термосы, цинки с патронами и тюк с газетами, подкинутый начальником тыла, и впряглись в сани, помогая Крошке. Уже светало, когда из снега донесся окрик:

— Пропуск?

Это был секрет перед торосами...

Через сутки Савкин вернулся, привезя трех тяжело раненных снайперскими пулями. Он тотчас же прошел к

комбригу, и тот понял, что не ошибся: борщ был только разведкой — разведкой пути и силы Крошки. Настоящее дело начиналось теперь.

Ночью с берега на лед съезжала тройка. В корню был Крошка, в пристяжке — сильный Линкор и выносливая Торпеда. В розвальнях было, очевидно, что-то потяжелее, чем борщ, потому что полозья, несмотря на дважды прокатанную Крошкой колею, вязли в снегу, и вся тройка задымилась далеко до того места, где в первую ночь остановился Крошка. Но Савкин на этот раз не щадил коней, понукая их, дергал вожжи, и тяжелый воз все ближе и ближе подходил к торосам.

Там его ждали. Неслышно и быстро распаковали воз. Тускло блеснула в рассветной мгле сталь. Тупое рыльце орудия хитро выглянуло из рогожи.

Орудие появилось на льду, перед самым лесом,— орудие, которого враг не мог ожидать!

Его собрали, лежа за льдинами, потому что снайперы, еще не видя в неясной мгле цели, но услышав возню, не давали приподыматься над торосами. Савкин заботливо повалил за льдину сперва Крошку, потом и остальных двух коней. Торпеда заупрямилась, и Савкин возился с ней, негромко приговаривая: «Ложись же, дура, подстрелят», когда рядом с ним рявкнул звонкий орудийный выстрел, потом другой, третий... Торпеда испуганно взметнулась и встала во весь рост, но стрелять по ней уже было некому...

В прибрежном лесу, кишевшем на каждом дереве снайперами,— этим тайным, скрытым, невидимым врагом,— теперь свистела между ветвей шрапнель прямой наводки. Орудие, привезенное Савкиным, в упор било по лесу. Шрапнель стряхивала с елей пласты снега, подсекала суки, сшибала, как яблоки, закутанных в белое людей с автоматами.

— Один! — крикнул Савкин, забыв про Торпеду.— Еще один! Третий!..

В трехстах метрах от торосов падали на снег под сосны неподвижные фигуры.

В лес, освобожденный от снайперов, кинулись балтийцы. Они перепрыгивали через торосы, бросались в снег и ползли к берегу, достичь которого не могли все эти четверо суток. Уже слышны были взрывы ручных гранат — бойцы добрались до проволоки; уже яростно загремели пулеметы дотов, лишенных передовой своей охраны —

снайперов. Савкин схватил винтовку, лежавшую возле раненого, и кинулся было на лед, но, вспомнив, крякнул и вернулся к коням.

— Вставай, Крошка, поехали обратно, такая уж у нас работа — и повоевать нельзя!..

Он подобрал четырех раненых, мягко уложил их в санях на солому, где только что лежало орудие, сейчас осыпавшее шрапнелью окопы перед дотами, и поехал к отряду.

Розовый и морозный вставал над замерзшим морем рассвет. Сразу же у торосов Савкин встретил на льду первую группу лыжников-краснофлотцев, подальше вторую, за ней третью — и так до самого своего берега он ехал, как по людной улице. Уже показалось солнце, веселые и ясные его лучи освещали разгоряченные и серьезные лица друзей, и по коротким их возгласам Савкин понял, что отряд вышел на лед еще задолго до первого выстрела орудия, доставленного им в торосы. Видно, крепко поверил комбриг в выдумку своего «флагманского конюха», что бросил вслед за ним балтийскую силу, чтобы использовать прорыв правого фланга и ударить в тыл этим мрачным, скрытым в земле вражеским дотам. Видимо, понял это и враг, потому что все чаще вставали на льду тяжелые черные столбы разрывов крупных снарядов, и на чистой пелене снега темными озерками сияла вода. Но балтийцы все шли и шли, мерно и неостановимо, и над их головами, шурша и воя, неслись туда, за торосы, наши снаряды, расчищая им путь в тыл и фланг врага...

Через три дня весь балтийский лагерь со своими лазаретами, кухнями, гаражами и машинами снялся с якоря, чтобы продвинуться вперед. «Лошадиному дивизиону» снова пришлось жарко, а Крошка и Савкин приказом капитана Розе были откомандированы в распоряжение комбрига, который все еще не мог ходить. То и дело в лесу раздавалась странная команда: «Флагманский катер к трапу!» — и Савкин, лихо развернувшись меж сосен, подавал «катер», то есть розвальни, заботливо устланные полушубками. Комбрига переносили в сани, и Крошка пробирался по тропам или целине к переднему краю.

Однажды «флагманский катер» возвращался с переднего края. В этот день было очередное передвижение лагеря. Лесная дорога была сплошь забита машинами и людьми, возами и танками. Саперы спешно строили

мост через оборонительный ров перед разбитой и уничтоженной линией дотов, и весь огромный караван тыла вытянулся по дороге. Комбриг приказал проехать к строящемуся мосту.

Дорога, черная и накатанная, здесь обрывалась, и на белом снегу виднелись лишь следы краснофлотцев-минеров. Савкин придержал Крошку. Впереди медленно шли краснофлотцы, держа в руках легкие бамбуковые палки и водя ими перед собой. Могло показаться, что они удят в снегу рыбу. Гибкие палки размеренно описывали в воздухе широкие полукруги, и время от времени кто-либо из краснофлотцев становился на колени и осторожно разгребал руками белую пушистую пелену снега. Через минуту в руках его блестела медная маленькая трубка. Это был запал мины, теперь обезвреженной, и тогда из-под снега доставали круглую металлическую коробку, в которой была законсервирована смерть.

Вся дорога была минирована. Мины были хитрые: они были способны выдержать тяжесть человеческой ноги, но обязательно взрывались под тяжестью танка или машины.

Крошка нетерпеливо фыркал, ожидая, когда люди с удочками двинутся вперед, и охотно шел вслед за ними. Комбриг дал указания и приказал ехать обратно.

Колонна танков и грузовиков уже шла навстречу, медленно подминая пушистый снег, в котором зияли черные ямы от вынутых мин. У большой сосны комбриг остановил свой «катер», и Крошка уткнулся мордой во встречный танк.

Солнце празднично освещало заснеженный тихий лес, где-то плотно и бодро гудели орудия, и казалось странным, что три-четыре дня назад здесь на каждом шагу подстерегала смерть. Она таилась везде — в минах, в амбразурах дотов, теперь разрушенных и немых, на каждом дереве. Сейчас здесь кипела жизнь, раздавались громкие голоса, шутки, смех — и одно нетерпеливое стремление вперед и все вперед, к новой линии дотов, к новым трудным и славным победам увлекало всю массу людей. Но краснофлотцы с удочками еще не окончили работы, впереди могли еще лежать под снегом, тайно и коварно, металлические ящики со смертью — и комбриг задержал колонну. Приподнявшись в санях, он крикнул, чтобы нашли начальника тыла, и Савкин из разговора комбрига с командиром танка понял, что ка-

питану Розе сильно попадет за то, что он выслал с удочками мало людей.

Капитан Розе скоро появился. Он ехал на велосипеде, изумляя всех (и, вероятно, самого себя) таким странным способом передвижения по снегу. Это был подобранный им на дороге велосипед, ободранный и погнутый, без шин и покрышек, но отлично пробиравшийся по накатанной колее и сохранявший начальнику тыла немало времени в его бесконечном мотанье вдоль колонны. Крошка покосился на велосипед, фыркнул и рванулся вправо, высоко взметнув передние ноги. Савкин, невольно засмеявшись, натянул вожжи, но внезапно плотный и тяжкий звук ударил ему в уши, черный столб встал перед глазами, горячий удар сбросил его в сани прямо на комбрига, и, когда выдохнув из легких ядовитый сладкий дым, он открыл глаза, Крошки перед ним не было.

Рядом на дороге ничком лежал капитан Розе, сброшенный с велосипеда, комбриг ворочался в санях под Савкиным, но стонов его тот не слышал, потому что в ушах гудело и выло. Савкин соскочил с саней, потряс головой и, убедившись, что все в порядке, поправил на полушубках комбрига. Тогда и капитан Розе поднял голову, не понимая, что произошло. Командир танка протирал глаза, засыпанные землей. Все были целы, кроме Крошки.

Оглядевшись, Савкин увидел на снегу шагах в тридцати распластанную серую шкуру огромного битюга. Она лежала, отбросив в сторону пышный хвост, и было похоже, что мастер своего дела тщательно освежевывал коня, выделывая шкуру. Все остальное, что составляло крупный и могучий организм коня, висело на ветвях сосен и елей, подброшенное силой взрыва. Так рвались эти мины — все вверх и ничего в стороны.

К месту взрыва бежали саперы. Комбриг, морщась и потирая ногу, растревоженную падением Савкина, укоризненно смотрел на них.

— Что ж, прошляпили, рыболовы? — сказал он недовольно.— Товарищ капитан, что же у вас так?

Капитан Розе опять, как и с борщом, почувствовал себя виноватым. Война снова меняла его специальность, и теперь приходилось думать об удочках и минах. Он нагнулся над ямой, поковырял ее и потом поднял голову.

— Они ни при чем, товарищ комбриг,— сказал он, показывая обломок доски.— Мина не металлическая. А на дерево наши удочки еще не обучены... Надо все сначала думать...

Была ли это очередная хитрость врага или у финнов уже кончился запас мин, аккуратно заделанных в металлические коробки, и они вынуждены были прибегнуть к кустарной выделке, но мина действительно была в деревянном ящике. И первым обнаружил это Крошка.

Колонна задержалась. Капитан Розе, командиры и краснофлотцы-минеры стояли у развороченных оглобель, из которых вылетело на сосны тело Крошки, и между ними пошел серьезный разговор о деревянных минах и о том, как их находить. Савкин плохо слышал, в ушах у него все еще гудело, и он смотрел в сторону, туда, где на снегу лежала распластанная шкура Крошки. Потом он вздохнул и пошел разыскивать Торпеду, чтобы отремонтировать «флагманский катер», лишенный своего могучего двигателя. Он нашел Торпеду за шестым грузовиком и начал убирать из розвальней поклажу.

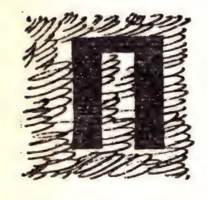
— Спасибо Крошке! — сказал Андреев, хозяин Торпеды.— Боевой был коняга!

— Боевой,— ответил Савкин, и тяжелая военная грусть легла на его сердце, как будто он потерял в бою испытанного и верного боевого друга.

Колонна медленно двинулась. Краснофлотцы-минеры второй раз проходили перед ней дорогу, очищая ее от новых, невиданных мин, обнаруженных Крошкой — флагманским конем берегового балтийского отряда.

1940

Грузинские сказки



Последние пять суток в лодке почти не спали.

Северный шторм, как в трубу, дул в этот стиснутый скалами длинный залив. Вздыбленные им волны растревожили холодную воду до самых тайных глубин, и лодке никак не удавалось лечь на грунт, чтобы людям можно было поесть горячего и поспать: лодку постукивало о камни или попросту вышвыривало на поверхность мощной глубинной волной.

Наверху же лодку ждал мороз. Все, что выступало над водой,— мостик, рубку, орудия,— он облеплял льдом. Лодка получала ненужную ей добавочную плавучесть, и никакими силами нельзя было бы загнать ее под воду в случае неожиданной встречи с врагом или приближения к береговым батареям. Тогда краснофлотцы выползали на ледяную скорлупу и, обвязавшись, скалывали ее топорами и ломами, сами сбиваемые с ног нестерпимо холодной водой,— и лодка вновь погружалась.

И когда наконец оказались на этом спокойном курсе и коку удалось сварить борщ и кофе, командир приказал спать всем, кроме боевой смены. В центральном посту осталось лишь несколько человек.

Лодка шла на небольшой глубине ровно и спокойно, даже не покачиваясь. Успокоительно жужжал гирокомпас, мирно чикали указатели рулей, по-домашнему пахло

недавним обедом, и казалось, что это — обычный учебный поход. Только холод и сырость, въевшиеся в борта и в одежду за долгие дни блокады, да карта на штурманском столе, где выразительными крестиками помечены места потопленных лодкой транспортов с боеприпасами, напоминали о том, что́ было до этого похода.

Лодка держалась в заливе до последней возможности. Уже прихватило берега плотным береговым припаем и пора было уходить в базу. Но оставались еще топливо, снаряды и торпеды, и лодка продолжала стеречь морскую дорогу к врагу. Это не было ни упрямством, ни рекордсменством — это было военной необходимостью.

Ботника была одним из важных путей снабжения врага снарядами, оружием, боеприпасами. Ботника была как поддувало горящей печи: прикрыть его — и свернется, а может быть, замрет на фронте огонь, лишенный своей взрывчатой пищи, и тысячи человеческих жизней будут сохранены для труда и счастья. И то, что у одного из крестиков на карте стояло позавчерашнее число, доказывало, что лодка задержалась здесь не зря: враг, уверенный, что советские подводники, не выдержав зимних штормов, уже сняли блокаду, попытался подвезти боеприпасы. Но у самого входа в ледяной фарватер оба транспорта трескучим фейерверком взлетели к низким снеговым облакам, и огненные столбы взрыва показали, что советские подлодки еще здесь.

Но дальше оставаться в Ботнике было нельзя: небывало суровая зима могла сковать льдом проходы между островами, и тогда залив стал бы ловушкой или могилой. И сразу после атаки командир проложил курс на юг, торопясь к проливу, пока шторм, разбивая льдины, не давал единственному выходу в море закрыться льдом.

К рассвету лодка подошла к проливу. Командир был наверху один. Охрипший его голос передал по трубе в центральный пост пеленги на мысы и уцелевший маяк. Штурман нанес место на карте, чтобы начать от него слепую подводную прокладку, но командир почему-то долго не спускался вниз. Наконец на трапе показались его ноги, он задраил выходной люк и скомандовал погружение.

Лодка ушла на небольшую глубину, скрываясь от батарей, стерегущих пролив, и скоро, очевидно, оказалась между островами, потому что качка постепенно

стихла, и началось это блаженное безмятежное плавание, по случаю которого командир распорядился об отдыхе и даже штурмана отослал спать. Командир спокойно поглядывал на счетчики лага, на часы, на карту, негромкой командой менял курсы, строго держась найденного в свое время безопасного фарватера, и всем в центральном посту казалось, что все идет нормально. Только боцман Вязнов, испытанный горизонтальный рулевой, приметил, что капитан-лейтенант нынче что-то не в себе: он то и дело шагал циркулем по карте, подолгу стоял над ней, перелистывая лоцию. Потом вынул из стола целый ворох метеорологических телеграмм, опять читал лоцию, проводил на карте много южнее выхода из залива кривые странные линии, смотрел на них, что-то прикидывая, и наконец, резко отодвинув в сторону толстый том лоции, недовольно буркнул:

— А что мне, легче, что раз в сто лет...

Боцман поднял на него глаза, но командир строго приказал ему точнее держать глубину и снова наклонился над картой.

Все это не походило на его обычную спокойную приветливость. Но в конце концов он, видимо, что-то решил, потому что убрал и лоцию и сводки, вычистил резинкой карту, и, сделав на курсе пометку далеко впереди, плотно запахнул реглан и сел на разножку вздремнуть.

Мало-помалу лодка начала оживать — и самый усталый человек когда-нибудь да выспится. Подводники просыпались, сами не веря себе, что этот спокойный курс еще не кончился. Началось всеобщее бритье — из того расчета, что после всплытия вновь будет валять до самой базы. Пришел кок и спросил разрешения давать завтрак (хотя по часам это никак не могло так называться). По лодке потянуло вкусным запахом — на этот раз какао. Выпив свою чашку, капитан-лейтенант послал за помощником, приказал ему идти намеченными курсами, ни в коем случае не всплывая, и разбудить его за полчаса до намеченной по карте точки.

Но когда он вновь пришел в центральный пост, было видно, что сон никак его не освежил. Казалось, он вовсе не спал — командир осунулся, почернел, и глаза его были воспалены. Он обменялся короткими словами с помощником, отпустил его и снова присел на свою разножку.

На горизонтальных рулях снова нес вахту боцман Вязнов, и с ним стояла вся лучшая смена: трюмные, электрики, вертикальный рулевой — все были отличниками и коммунистами. Капитан-лейтенант подолгу задерживал на них взгляд, как бы оценивая каждого заново. В лодке стали утихать голоса, все, кто мог, снова прилегли поспать, пользуясь спокойным плаваньем, и почти никто не проходил больше через центральный пост, но капитан-лейтенант вдруг негромко сказал:

— Задрайте двери, чтоб не ходили тут...

И когда последний барашек водонепроницаемых дверей был довернут до места, он так же негромко приказал:

— Товарищ боцман, всплывайте на перископную глубину. Полегоньку.

Электрик тотчас взялся за рубильник, чтобы поднять из шахты перископ, как полагается это при всплытии, но командир остановил его жестом, глядя на глубомер. Вязнов осторожно переложил рули, лодка поднялась носом, глубомер медленно повел стрелку влево. Но когда она переползла через цифру, означающую, что перископ (если бы он был поднят над рубкой) мог бы уже видеть горизонт,— лодка качнулась, будто рубка наткнулась на какое-то препятствие, мешающее ей выглянуть из воды, и глухой шум донесся сверху.

— Так,— сказал капитан-лейтенант,— продуть среднюю.

Трюмный открыл воздух, меж бортов заурчала вода, вытесняемая из цистерны, но стрелка глубомера замерла на том же делении, а палуба вдруг покосилась под ногами. Капитан-лейтенант махнул рукой, и трюмный, не спускавший с него глаз, заиграл своими рычагами и штурвальчиками. Лодка, вновь приняв воды, пошла вниз, медленно выпрямляясь на ровный киль.

— Давайте на прежнюю глубину,— сказал командир и обвел глазами всех, кто был в центральном посту.— Все понятно? Ну и молчок.

Все было понятно: то, что мешало лодке всплыть, не было отдельной льдиной, которая могла бы соскользнуть с рубки. Крен лодки, упершейся рубкой в лед, означал, что это было ледяным покровом.

Все в центральном посту молчали. Капитан-лейтенант склонился над картой, шагая циркулем вперед по курсу. Он наметил новую точку впереди и повернулся:

— Товарищ боцман, вызовите смену, а со своей пока отдохните. Через три часа попробуем еще разок. Где-нибудь да кончится... В лодке лишнего не болтать, незачем остальным беспокоиться. Понятно?.. Отдраить двери.

Вахта сменилась, спокойное плаванье продолжалось, и никто, кроме ушедшей спать смены, не догадывался, что отсутствие качки объяснялось тем, что все это время лодка шла под сплошным ледяным потолком.

В том месте, где капитан-лейтенант, пройдя замерзший пролив, попытался всплыть, Балтийское море не замерзало ни разу за сто лет, и он никак не мог рассчитывать на это коварство природы. Когда на рассвете лодка подходила к проливу и когда вместо черной бушующей воды командир увидел гладкую белую пелену, он понял, что пролив все-таки замерз, несмотря на шторм. Тогда он вынужден был нырнуть под лед, пройти под ним пролив, чтобы вынырнуть далеко в море, там, где огромные, непрестанно движущиеся водяные горы замерзнуть, конечно, не могли.

И лодка ушла под лед, южная кромка которого была неизвестно где, но где-то, несомненно, должна была быть.

Должна... но была ли?

Место, которое капитан-лейтенант назначил себе для первой попытки всплыть, было на десять миль южнее той самой крайней линии ледяного покрова, какую лоция Балтийского моря указывала в качестве единственного за сто лет события. Эти десять миль были поправкой на нынешнюю зиму. И все же оказалось, что и здесь, где даже в тот исторический год была чистая, незамерзшая вода, теперь был настоящий лед...

В подводной лодке, как нигде, надо уметь владеть своим воображением. Стоило на секунду дать ему волю, как на карте тотчас нарастали две белые полосы. Они закрывали собой черные цифры глубин, двигаясь навстречу друг другу от северного и южного берегов. Они сходились бесшумно, и где-то под ними металась обреченная лодка...

Надо было упорно думать, где могла быть чистая вода. Она должна была быть. Она не могла не быть.

Искать указаний на это в лоции было бесполезно. Старушка, как и полагается старожилам, уже честно призналась, что такого не запомнила за сто лет. Спрашивать у других — означало только покушаться на их спо-

койствие. Оставалось сидеть на разножке, ждать еще три часа и снова пробовать всплыть.

Но когда через три часа пришел боцман Вязнов со своей сменой, оказалось, что о ледяном потолке, нависшем над лодкой, как крышка длинного гроба, думают не только капитан-лейтенант и те, кто был свидетелем попытки всплыть. Подводникам стал ясен и крен, и странный шум над головой, и капитан-лейтенант понял взгляды, которые кидали на него краснофлотцы, проходя через центральный пост.

Капитан-лейтенант прижал губы к трубе, проведенной по всем отсекам, коротко объяснил всей команде, в чем дело, и дал знак к всплытию.

Теперь, пытаясь выбраться из-подо льда, лодка яростно кидалась снизу на его плотную броню. Она царапала его рубкой с полного хода. Застопорив машины, подкрадывалась к нему по вертикали, чтобы отчаянным усилием, продувая все цистерны, приподнять гигантский ледяной покров Балтийского моря. Люди на своих боевых местах покрывались потом, как будто это они сами — своими плечами — пытались взломать нависший над ними потолок.

Но ледяной покров пробить не удалось. И лодка ушла на глубину, как уходит от плотного беспощадного стекла аквариума быстрая, но мягкая рыба.

На глубине капитан-лейтенант приказал замерить плотность батарей. Энергия была на исходе. Теперь ее не хватило бы и на то, чтобы вернуться в залив, туда, где была еще чистая вода. Он наклонился над картой, прикидывая господствующие ветры, глубины, течения, потом резко изменил курс к западу, в сторону от базы, и вышел из центрального поста.

В отсеках шла нормальная походная жизнь. Подводники держали себя спокойно, даже шутили, но капитан-лейтенант то и дело ловил пристальный взгляд, немой вопрос, обращенный к нему. Все имеет пределы — и выдержка и мужество. Испытание было слишком длительным.

Тогда он прошел в каюту, взял книжку, вернулся с ней в центральный пост и углубился в чтение.

Он читал сосредоточенно, иногда усмехаясь и переворачивая страницы, чтобы перечесть понравившееся место. И краснофлотцы, проходя, словно по своим делам, через центральный пост, видели: сидит капитан-лейте-

нант и читает, как будто лодка самым будничным образом идет в чистой воде. Значит, по балтийской поговорке, все было нормально. Зачем же волноваться и гадать, где кончится лед, если командир сидит и, усмехаясь, читает книжку?

И только боцман Вязнов увидел то, чего не заметил никто. Когда командир поднял глаза на часы, боцман поймал однажды его взгляд. И такое подметил боцман в усталых, воспаленных глазах капитан-лейтенанта, что дрогнуло в нем сердце и циферблат глубомера на миг заволокся радужной пленкой. Колено боцмана касалось колена командира — разножки их стояли близко,— и боцман, хотя ему было неудобно, и нога затекла, и очень хотелось ее вытянуть, не мог оторвать свое колено от холодного командирского реглана: будто какая-то струя воли, спокойствия, решимости шла от этого незначащего прикосновения.

В поставленный самому себе срок капитан-лейтенант закрыл книгу и встал. Опять прогремели звонки к всплытию. Опять лодка пошла вверх, продувая цистерны, и опять раздался проклятый удар рубки о лед. Но стрелка глубомера, задержавшись на миг, резко пошла влево, достигла нуля, и лодка закачалась.

Подняли перископ. Стеклянный его глаз показал битые льдины, плавающие вокруг. Волна раскачивала лодку все сильнее. Капитан-лейтенант, не отрываясь, смотрел в перископ (так нашедший в степи воду припадает к ней жадным ртом), и тоненький белый лучик дневного света играл на красноватом белке его правого глаза. Потом он повернул голову, и все увидели прежнего командира.

— Штурман, пометьте-ка там в лоции, сто двенадцатая страница: кромка льда в северной части Балтийского моря может достигать широты — место снимите с карты... Дизеля к зарядке!

Он поднялся по трапу, с трудом открыл выходной люк, и веселые мелкие льдинки обдали его звенящим душем. Свежий морозный воздух хлынул в рубку, волна накренила лодку, и с разножки на палубу скользнула книга.

Боцман Вязнов бережно поднял ее и положил рядом с лоцией. Это были «Грузинские сказки».

1941

Топовый узел

1



ощный» нес незаметную службу: вечно заваленный до самой трубы бочками, тюками, ящиками, он ходил с разными поручениями в Ленинград, на форты, в Ораниенбаум, перетаскивал баржи и шаланды, глубокой осенью настойчиво пробивался во льду, задорно наскакивая на льдины своим высоким и острым форштевнем. Порой он пыхтел на рейде, разворачивая огромную махину линкора, для чего, однако, ему требовалась помощь «Могучего» и «Сильного», ибо мощность «Мощного» заключалась главным образом в его названии: это был обыкновенный портовый буксир полуледокольного типа, невзрачный и трудолюбивый работяга на все руки.

Тем не менее Григорий Прохорыч, бессменный его капитан, всерьез обиделся, когда портовые маляры к началу кампании замазали гордое слово «Мощный» и вывели на бортах невыразительные знаки «КП-16», что значило «буксир № 16 Кронштадтского порта». В виде протеста Григорий Прохорыч, выпросив у маляров той же краски, собственноручно подновил надпись «Мощный» на всех четырех спасательных кругах и на пожарных ведрах.

— Капе, капе..., что за капе, да еще шестнадцатый? Корабль имя должен иметь, а не номер,— жаловался он за вечерним чаем дружку своему, машинисту Дроздову,

которого величал «старшим механиком». Оба они, старые балтийские моряки, служили на «Мощном» по вольному найму, служили плотно и устойчиво добрый десяток лет, оба были приземисты, суровы и в свободное время гоняли чаи в количестве непостижимом.

— Так разве ж это корабль? — отвечал тот, с хрустом надкусывая сахар.— На кораблях мы с тобой, Григорий Прохорыч, свое отплавали... Бандура это, а не корабль...

Здесь опять начинался горячий спор, имевший многолетнюю давность. Дроздов, человек склада трезвого и иронического, любил подразнить капитана, который считал свой буксир кораблем, наводил на нем военный порядок и воспитывал в почтении к чистой палубе молодежь, в особенности Ваську Жилина, занозистого кронштадтского паренька, а от своего «старшего механика» беспощадно требовал, чтобы «Мощный» не дымил, как паровоз, а ходил без дыма, как и полагается военному кораблю.

Перемена названия огорчила Григория Прохорыча гораздо больше, чем мог предполагать это Дроздов. Если «Могучий», «Сильный» и прочие буксиры-близнецы, волей порта превращенные в номерные КП, были для других капитанов только местом довольно беспокойной службы, то для него «Мощный» был к о р а б л е м. А в понятие «корабль» Григорий Прохорыч за тридцать с лишком лет своей флотской службы привык вкладывать огромное содержание.

Но добиваться, что именно означает для него корабль, было бы так же бесполезно и жестоко, как требовать от матери точных разъяснений, что́ представляет для нее ее ребенок и на основании каких именно данных она страстно верит в то, что сын ее — лучше, красивее, виднее других.

Корабль был для него смыслом и содержанием жизни. Пожалуй, этой общей фразой вернее всего будет передать все то, что заставляло его рисковать порой здоровьем, отдавать кораблю все силы и чувства, двадцать лет подряд вскакивать задолго до побудки и осматривать палубу, шлюпки и краску, соображая, с чего начать дневные работы, чтобы корабль был всегда нарядным, подтянутым, чистым и великолепным,— ибо двадцать лет подряд Григорий Прохорыч был боцманом: на крейсерах, потом на учебных кораблях и, наконец, на линкоре.

При этих переходах с корабля на корабль он испытывал всегда одну и ту же смену чувств.

Сперва это была острая горечь расставания с командой, с которой он сжился и вместе с которой терял друзей и учеников, оставляя в них часть самого себя; со знакомой палубой, где каждый уголок был для него историей; со шлюпками, в быстрый ход и в ослепительную белизну весел которых было вложено так много его боцманского труда. Эту горечь расставания сменяло неодобрительное недоверие к новому кораблю и его команде: все было непривычно, все выглядело иначе, люди все незнакомые, ни на кого нельзя положиться, и везде требовался свой глаз — и стопора якорного каната захватывали звенья не по-человечески, и шпиль заедал, и шлюпки были какими-то неуклюжими, как рыбачьи лодки.

Но силой великого понятия «свой корабль» все вскоре чудесно преображалось: и стопора оказывались самыми надежными, и шлюпки самыми изящными и быстрыми на всем флоте, и в команде обнаруживался какой-либо самый лучший на все корабли плотник или маляр, и опять знакомой гордостью билось сердце при взгляде со стенки или с катера на этот новый, недавно еще чужой, корабль. А прежний — смутным и дорогим видением отходил в глубины чувства и памяти, жил там непререкаемым примером всего самого лучшего, быстрого и толкового: «А вот у нас на «Богатыре» выстрела́ [1] в полминуты заваливали, и какие выстрела́!» И боцманская дудка давала тяге талей и брасов богатырский темп, и огромные бревна, взмахнув одновременно, как длинные узкие крылья, за полминуты плотно прижимались к высоким бортам «Океана» совершенно так же, как и на «Богатыре». И только при встрече в море или стоя рядом в гавани с прежним своим кораблем, Григорий Прохорыч ревниво всматривался в него, ища знакомые и милые сердцу черты и по привычке вглядываясь, плотно ли занайтовлены шлюпки и не висят ли из-под чехлов концы.

Привязанность Григория Прохорыча к военному кораблю, к его налаженности, порядку, силе и чистоте легче всего было бы объяснить чувством местного патрио-

[1] Выстрел — горизонтальное бревно, отваливаемое перпендикулярно к борту корабля для привязи шлюпок.

тизма. Но удивительно было то, что за годы службы все эти корабли, каждому из которых он отдавал частичку своего сердца, неразличимо смешивались в одно общее понятие — корабль.

Именно это понятие заставило его вместе с шестью такими же старыми балтийскими матросами бросить в Гельсингфорсе надежную и родную палубу крейсера и с малым чемоданом, в котором лежали хлеб, консервы и кой-какой инструмент, кинуться на миноносец «Пронзительный»; на том почти не было команды, а к городу подходили немецкие войска, и флот должен был немедленно уходить сквозь тяжелые льды в Кронштадт, чтобы не оставить военные корабли под сомнительной защитой бумажных пунктов мирного договора. «Пронзительный» стоял в самом городе, в Южной гавани. Он прижался к стенке, и все четыре его орудия встали на нем дыбом, как шерсть на маленьком, но отважном щенке, готовом ринуться в схватку, не обещающую ему ничего доброго,— горячие головы оставшихся на нем матросов не задумались бы дать залп по белофинским или немецким отрядам, если только они посмеют коснуться красного флага, трепетавшего на кормовом флагштоке беспомощного корабля.

Матросы с крейсера, среди которых один был членом Центробалта, разъяснили морякам «Пронзительного», что стрелять нельзя, потому что все-таки мир, а вот уходить надо во что бы то ни стало. А стало это во многое: людей на миноносце было раз-два — и обчелся, машины устали от трехлетних дозоров и штормов, из командного состава не покинул корабля один только бывший минный офицер. Тем не менее «Пронзительный» принял за ночь уголь, подправил неполадки в машине и котлах и в тот самый день, когда на эспланаде, упиравшейся в гавань, защелкали уже выстрелы немцев, отдал швартовы и ушел в лед.

Четырнадцать суток он пробивался в ледяных полях, ловчась попасть в извилистую щель, оставленную во льду прошедшими перед ним кораблями. Два дня удалось отдохнуть: его подобрал на буксир транспорт. Но на третий они обогнали застрявшего во льду «Внимательного», у которого начисто был своротен на сторону его длинный таран и обломаны оба винта. «Пронзительный» уступил ему свое место на буксире и пошел опять пробиваться сам. Льдины порой сжимались, и тогда сла-

бенький корпус миноносца трещал, зажатый огромным ледяным полем, которому раздавить корабль представляло столько же трудности, сколько створке ворот хрустнуть костями цыпленка. Прохорыч кидался в трюм, клал там ладонь на вздрагивающую сталь обшивки — и под ней явственно ощущался холодный и тяжкий напор льда. Разбили шлюпки — все дерево на корабле ушло на подкрепы шпангоутов, в отчаянии выбирались задним ходом из предательской холодной щели, неумолимо зажимавшей борта, и однажды обломали себе на этом правый винт. Пошли под одним, хромая,— но все же шли и шли, шли вперед, в родимый Кронштадт. Возле Гогланда острая льдина все-таки пропорола борт в правой машине, и четверо суток Прохорыч провел по колени в ледяной воде, откачивая на смену с другими воду, все прибывающую в зазорах спешно сооруженного им пластыря. С тех пор и въелся в него тот отчаянный ревматизм, от которого он криком кричал перед непогодой и который не давал с прежней живостью носиться по палубе того корабля, где он был боцманом.

Все это было сделано во имя маленького чужого ему корабля, на котором он даже не плавал, и поэтому вернее было бы говорить не о любви к кораблю, а о любви к флоту. Но Григорий Прохорыч никогда не вдавался в глубокий анализ своих чувств и служил флоту попросту — так, как умел и как чувствовал.

Ревматизм и привел его на «Мощный». Лет десять тому назад, после торжественного подъема флага в день Октябрьской годовщины, командир и комиссар линкора перед фронтом всей команды поздравили его с двадцатипятилетием службы на Балтийском флоте и вручили золотые часы с надписью. Потом комиссар в каюте повел речь о том, что если ему понатужиться и сдать кое-какие экзамены, то его переведут в средний комсостав и сделают на линкоре вторым помощником командира. Перспектива эта не на шутку испугала Григория Прохорыча, да и годы давали себя знать вместе с ревматизмом. Он признался комиссару, что последнее время думает не о повышении, а об уходе на покой (потому что служить по-настоящему ему уже трудновато), но что не одну ночь он проворочался без сна перед страшным призраком безделья на берегу. Набравшись духу, он попросил себе спокойного места на маленьком корабле, где полегче, но

только не на берегу, где с непривычки ему долго не протянуть.

Так он стал капитаном «Мощного» и с первого же дня завел на нем настоящие флотские порядки: нормальную приборочку с драйкой палубы и чисткой железа и медяшки, форму одежды, воинскую дисциплину, которой не очень охотно подчинялся вольнонаемный экипаж, и даже добился того, что по утрам с подъемом флага весь его «комсостав», то есть «старший механик» и боцман, ходивший у него в чине «старшего помощника», рапортовал ему о том, что на вспомогательном корабле «Мощный» особых происшествий не случилось.

В порту подсмеивались над чудачествами старика, не сумев разобраться в их истинной высокой природе, но вскоре с удивлением заметили, что на «Мощном» и старенькие машины реже ломаются, и на палубу приятно ступить, и все поручения выполняются точно и быстро, и что в любое время суток «Мощного» можно выслать куда угодно, потому что капитан всегда на корабле, а команда уволена в город с таким расчетом, чтобы с остальными можно было немедленно развести пары и выйти из гавани. Правда, на «Мощном» не раз сменялся весь личный состав, набираемый из кронштадтской вольницы, пока не подобрались на нем люди, в той или иной степени разделяющие взгляды Григория Прохорыча на флотскую службу, под каким бы флагом она ни протекала — под синим портовым или под военным.

И хотя он все же нашел для самолюбия лазейку, разъяснив Дроздову, что подводные лодки тоже называются номерами — С-1, Щ-315, и поэтому в конце концов в наименовании КП-16 особой обиды нет, но буквы и цифры эти он употреблял только в документах, а на палубе и в порту упорно продолжал называть КП-16 «Мощным».

Через полтора месяца после этого события «Мощный» возвращался в Кронштадт, сдав далекой батарее провизию, газеты, снаряды, новый патефон и приняв пустую тару. Осенний день выдался тихий и солнечный, и Прохорыч позволил себе спуститься в каюту — погонять чаек. Но на шестом стакане в светлый люк просунулась с верхней палубы голова Дроздова:

— Эй, капитан, живыми ногами наверх! Полюбуйся-ка!

В голосе его было такое ехидство, что Прохорыч встревоженно вылетел на палубу — и ахнул.

Контркурсом с «Мощным» расходился невиданный, великолепный корабль. Стремительный, низкий, гудящий сильными вентиляторами, ладный и стройный, он мчал на себе по морю длинные стволы орудий, широкогорлые торпедные аппараты, точные разлапистые дальномеры, хитрые радиоприборы — всю эту военную мощь, экономно и умно расположенную над сильными машинами и котлами. Безупречные обводы его корпуса разрезали сверкающую воду, а за кормой, словно прилипнув, стоял пенистый бурун, доказывающий ту огромную быстроту, с которой летела по воде эта отлитая в металл воля к победе.

И Григорий Прохорыч, любуясь новым красавцем, вступившим в строй, наставительно подмигнул Дроздову:

— Учись, механик: идет, что торпеда, а дым где?

И точно, над низкими трубами миноносца чуть дрожал прозрачный горячий воздух: вся горючесть нефти была поглощена его котлами без остатка. Но Дроздов ядовито кивнул на него.

— Ты не на трубы смотри... Грамотный?

Григорий Прохорыч взглянул и насупился: острым морским взглядом он отчетливо разобрал на корме надпись «Мощный». Васька Жилин, дождавшись этого, откровенно захохотал, но тут же осекся, ибо Григорий Прохорыч повернулся к нему грознее тучи:

— Вахтенный! Почему не салютуешь? Устава не знаешь?..

Васька тотчас прыгнул к мачте и поспешно приспустил флаг, а Прохорыч скомандовал «смирно», приложив ладонь к старой своей боцманской фуражке, и замер так недвижной статуей: невысокий, плотный, седеющий балтийский моряк с обветренным коричневым лицом.

И было в этой его неподвижности что-то такое торжественное, что притих и смешливый Васька, перестал улыбаться и Дроздов, подтянулись и остальные «вольнонаемные», вылезшие на палубу глянуть из-за ящиков и бочек на чудесное видение свежей, юной силы Балтийского флота. В тишине слышался лишь торопливый и трудолюбивый стукоток поршней одного «Мощного» и ровный могучий гул турбин и вентиляторов другого.

На гафеле миноносца дрогнул распластанный ходом новенький флаг — белый с синей полосой, с красной звездой и советским гербом. Он приспустился на миг, отвечая поклону старенького синего портового флага, и вновь взлетел на гафель.

Миноносец промчал мимо, и тогда пологая бесшумная волна, рожденная бешеным вращением его винтов, добежала до буксира и легко, без усилия, повалила его на борт. По палубе загремели ящики, Васька кинулся к покатившейся к фальшборту бочке, а к ногам Григория Прохорыча, громыхая, подлетело сбитое ящиком пожарное ведро.

Этим внезапным авралом смыло всю торжественность, и Григорий Прохорыч, поймав ведро, дал волю своему языку, забыв сам свои требования соблюдать военно-морской устав. И только когда бочки и ящики были словлены и надежно принайтовлены к палубе, он заметил в руках ведро, которым, оказывается, размахивал. Он повесил ведро на место, взглянул на надпись на нем и пошел вниз, коротко кивнув Ваське:

— Перекрасить!

Так бывший «Мощный» окончательно стал скромным КП-16. Но теперь, распекая за опоздание с берега или за неполадки на корабле, Григорий Прохорыч неизменно заканчивал свой громовой фитиль словами:

— Нет в тебе гордости настоящей за корабль... Какой из тебя балтиец выйдет? Ты припомни, облом, кому мы свое имя передали?..

И медяшка на КП-16 сияла не хуже, чем на самом «Мощном», на палубе и в машине держалась совершенно военная чистота, и даже Дроздов ухитрялся сводить пышный султан дыма, обычно колыхавшийся над трубой, до тоненькой серой струйки.



В холодный ноябрьский вечер КП-16 входил в Кронштадтскую гавань. Она была погружена во мрак, как и весь город, и темные силуэты насторожившихся кораблей едва угадывались у стенки. Пронзительный штормовой ветер свистел в древних деревьях Петровского парка, и порой сеть голых их ветвей отчетливо проступала на бледном голубом фоне: это прожектор с далекого фор-

та просматривал небо и море. Все эти дни корабль не знал отдыха, время было тревожное, и Григорий Прохорыч даже не нажимал на чистоту — команда и так недосыпала и забыла о береге.

Едва подошли к стенке, из темноты долетел голос нарядчика:

— Григорий Прохорыч, вас командир порта экстренно требует!

И Прохорыч, как был в рабочей робе, спрыгнул на стенку. Он вернулся часа через два, торжественный и серьезный, собрал команду в кубрике и сообщил, что КП-16 получает боевое задание и что он сам и «старший механик», как младшие командиры запаса, остаются на корабле, прочей же вольнонаемной команде надлежит утром получить в управлении порта расчет, поскольку их заменят краснофлотцами.

Тогда встал взволнованный Васька Жилин и объявил, что он с корабля никак не уйдет, пусть уводят силой, и что Григорий Прохорыч, видно, за это время совсем замотался, потому что не догадался сказать командиру порта, что они никакие не «вольнонаемные», а советские люди и балтийские моряки, и что довольно стыдно в первый день войны сдавать боевой корабль дяде, а самим припухать в Кронштадте, развозя капусту, которую, слава богу, достаточно повозили. За ним то же говорили и другие, даже кочегар Максутов, который прежде ловчился от всякой работы по старой малярии, и Григорий Прохорыч тотчас же пошел опять к командиру порта, забежав на этот раз домой и сменив китель на тот, который он не надевал уже десять лет,— с тремя узенькими золотыми нашивками на рукавах.

Так началась боевая служба КП-16. Трех человек, в том числе и Максутова, командир порта все-таки списал, и на их место пришли запасники. На баке появился пулемет, в рубке — крохотная радиостанция, и вечером следующего дня КП-16 был уже в далекой бухте, где сосредоточились корабли десантного отряда, а ночью он стоял в охранении, и Васька Жилин первым встал на вахту к пулемету и ракетам.

Два дня КП-16 мотался там, перевозя на корабли людей, оружие, продовольствие, воду в анкерках, снаряды, бегая по рейду с поручениями командира отряда, который держал флаг на миноносце «Мощный».

На третий день с утра у Григория Прохорыча заныли ноги, а к полудню, и точно, повалил густой снег. Он падал мокрыми крупными хлопьями на корабли и в черную воду, совершенно уничтожив видимость. КП-16 застрял у борта «Мощного».

Григорий Прохорыч оставался на мостике, любуясь кораблем, на горячих трубах которого хлопья снега мгновенно превращались в воду, медленно стекавшую струйками по безупречной серо-голубой краске. Тут его окликнул с борта молодой капитан второго ранга. Это был командир всего отряда, но Григорий Прохорыч узнал в нем веселого курсанта Колю Курковского, которого двенадцать лет назад он посвящал в тайны морской практики и который никак почему-то не мог осилить топового узла, пока Григорий Прохорыч, осердясь, не заставил его вязать этот узел при себе сорок раз подряд и не добился того, что пальцы Курковского сами находили переплетения этого нехитрого, на боцманский взгляд, сооружения. Курковский позвал Григория Прохорыча попить чайку, и тот, стараясь казаться по-прежнему молодцеватым, с трудом перекинул больные ноги через поручни и тотчас же почувствовал ими глухую непрерывную дрожь всего корпуса «Мощного»: вполне готовый к походу и к бою, прогретый корабль, сотрясаемый работой сотен механизмов, дрожал всем телом, как сильная и быстрая гончая, почуявшая след.

В коридоре под полубаком пахло живым теплом чистого корабля — немного паром, чуть краской, свежим духом смоленого мата, разостланного у горловин погребов, и горьким боевым запахом артиллерийского масла, которым поблескивали на диво надраенные медные лотки элеваторов, уходящие в подволок. В кают-компании ярко горел свет, было уютно и мирно, негромко играло радио, как будто отряд и не собирался ночью выходить в операцию, и только карта, лежавшая на боковом столике у дивана, напоминала об этом. Лишь за четвертым стаканом Курковский отвлекся от воспоминаний о курсантстве, о линкоре, о топовом узле, которого ему в жизни не забыть, и, как будто ни к чему, спросил, какая у Григория Прохорыча команда — не сдрейфит ли, если что? Тот ответил, что команда хотя вольнонаемная, но подходящая и положиться на нее вполне можно. Тогда Курковский подвел его к карте, указал на узкий проход, именуемый в просторечье «со-

бачьей дырой», через который придется пройти отряду (так как второй проход к месту высадки лежит между вражескими островами), и сказал, что ввиду такой погоды КП-16 получает боевое задание. Надо засветло подойти к потушенному по случаю войны бакану у «собачьей дыры», стать на якорь у камней и по радио с «Мощного» включить на баке огонь, направив его в сторону приближающегося отряда. По этому огню пройдут «собачью дыру» все корабли и транспорты с войсками, после чего КП-16 — не позднее трех ноль-ноль — должен будет следовать за отрядом для перевозки десанта на берег, что произойдет в десять ноль-ноль.

Тут же он приказал одному из лейтенантов взять с собой карту и радиокод и перебраться на КП-16 в помощь его капитану (он так и сказал «в помощь», что очень польстило Григорию Прохорычу). Курковский еще раз подтвердил, что радио можно пользоваться только для приема и что у транспорта надо быть без запоздания.

Григорий Прохорыч поспешно вышел, чтобы распорядиться, и к сумеркам маленький буксир один-одинешенек подошел к «собачьей дыре» и стал возле бакана на якорь. К ночи снег повалил невозможно: сплошная белая стена заволокла все вокруг. Григорий Прохорыч выразил опасение, что условного огня с кораблей не увидят, но помочь было нечем. Ждали радио. Скоро из рубки принесли листок, лейтенант поколдовал над ним с кодом, бормоча: «Петя... Ваня... Леша...», и потом сообщил, что отряд все-таки снялся с якоря. Томительно проходило ожидание второго радио — о включении огня.

Снег все плотнее валил сверху, мостик дважды пришлось пролопатить — так хлюпала на нем вода. К полночи Григорий Прохорыч решил, что операция отложена из-за невозможности пробиться через этот снег и что отряд вернулся. На это лейтенант удивленно повернул к нему голову, вытирая мокрый снег, надоедно набивавшийся за воротник, и спросил его, неужели он серьезно думает, что приказ может быть не выполнен. Он спросил это таким тоном, что Прохорыч почувствовал уважение к этому мальчику и тотчас пошел сам проверить, хорошо ли включается огонь.

Но радио все же не было, и лейтенант начал нервничать. Ему стало казаться, что радист этого маленького буксира проморгал, что вернее было взять с собой крас-

нофлотца, потому что отряд наверняка уже идет мимо где-нибудь в этой мокрой неразберихе снега, так как «собачью дыру» он должен был пройти не позднее двух часов. Операция никак не могла быть отложена — это было не в характере Курковского, и не этому учил своих командиров капитан второго ранга; следовательно, оставалось только думать, что радио проморгали. Он нагнулся с мостика и крикнул Григорию Прохорычу, чтобы огонь на всякий случай включили. Яркий луч света ударил в темноту и осветил медленное и непрерывное падение кружащихся хлопьев. Вероятно, уже с пятидесяти метров этот луч можно было только угадать по слабому сиянью белесого снега; и, значит, отряд проходил где-то в снегу, мимо камней, без всякой помощи ориентира.

Все эти тревоги и сомнения лейтенант переваривал в себе, а Григорий Прохорыч спокойно выжидал. Впрочем, тон, которым лейтенант сообщил ему свое мнение о приказе, вселил в него непоколебимую уверенность, что операция не отложена и что отряд нашел какой-то непонятный способ пробраться через «собачью дыру» и без условного огня. Поэтому, прождав до трех часов, когда по приказу КП-16 должен был сняться с якоря и идти к месту высадки, Григорий Прохорыч скомандовал: «Пошел брашпиль!», и тягучий перезвон якорной цепи завел на баке песню похода.

Лейтенант сказал было, что следовало бы остаться до получения распоряжения, но Григорий Прохорыч мягко, но настойчиво напомнил ему, что его прислали на корабль «в помощь» и что решение он выносит сам как командир корабля: отмены приказа не было, новых распоряжений не поступало, назначенный срок истек — следовательно, надо действовать по плану, ничего не дожидаясь, потому что командир отряда запретил пользоваться радио и вряд ли будет сам загружать эфир подтверждением уже данного приказа. Корабли, конечно, уже каким-то чудом прошли «собачью дыру», и опаздывать к месту высадки не годится. Если же от операции вообще отказались из-за погоды (какой мысли он лично не может допустить), то, не увидев на плесе кораблей, он вернется на рейд.

События показали, что уверенность в том, что отряд, несмотря на эту совершенно непроходимую погоду, все-таки выполнил приказ,— уверенность, которую лейте-

нант сам же вселил в Григория Прохорыча и в которой под давлением обстоятельств поколебался,— оказалась правильной. Когда впереди под низкими, набухшими снегом облаками выросли из серой воды могучие горбы острова, справа в неясной мгле декабрьского утра Григорий Прохорыч увидел корабли и транспорты. Они шли из того прохода, который лежал мимо вражеских островов: видимо, Курковский решил воспользоваться плотной снеговой завесой и провел весь отряд там, избежав необходимости рисковать узким и опасным путем мимо «собачьей дыры», и привел отряд к месту в точно назначенный срок.

— Учись, штурман,— сказал Григорий Прохорыч Жилину, которого он уже год приспосабливал к штурманскому делу.— Учись, как военные корабли ходят. Молиться на них надо!.. Клади курс на отряд!

Миноносцы рванулись вперед. Зеленые вспышки залпов блеснули в утренней дымке. Транспорты остановились, и целый рой маленьких катеров, буксиров, баркасов облепил их высокие важные борта, а вокруг них закружили сторожевые суда, высматривая, нет ли где подлодки. КП-16 с полного хода подошел к назначенному ему транспорту, и тотчас же на палубу, как горох, посыпались оттуда краснофлотцы с винтовками, гранатами и пулеметами. Лейтенант с «Мощного» выскочил на транспорт, отыскивая свою группу десантников, а на мостик КП-16 взбежал другой лейтенант, еще моложе, и, поправляя на поясе гранату, сказал счастливым и задорным тоном:

— Отваливайте, товарищ командир отделения, курс к пристани!

Григорий Прохорыч удивленно оглянулся, ища, кому он так говорит, но, вспомнив про свои нашивки, улыбнулся:

— Есть, товарищ лейтенант!

КП-16 полным ходом пошел к берегу. Мимо, накренившись на повороте, промчался «Мощный», и за кормой его, рыча, встал из воды черный могучий столб взрыва, потом другой и третий. Очевидно, заметили подлодку. Взрывы глубинных бомб сотрясали воду так, что вздрагивал весь корпус КП-16, острые тараны миноносцев и сторожевиков, носившихся вокруг транспорта широкими кругами, утюжили воду, целая стая катеров шла с десантом к берегу, и сотни глаз смотрели, не появится

ли из воды тычок перископа. Но больше его не видели.

Берег приближался. КП-16 обгонял катера, баркасы, буксиры, переполненные десантниками. Лейтенант всматривался в берег, поднимая бинокль, и, когда он опускал его и оглядывался на обгоняемые суда, такое нетерпение горело в его глазах, что Григорий Прохорыч нагнулся к переговорной трубе и крикнул в машину:

— Дроздов, самый полный! Не капусту везешь!

КП-16 еще прибавил ход и с такой легкостью стал нажимать ушедшие вперед КП-12 и КП-14, что Григорий Прохорыч изумился: оба были ходоками неплохими, в особенности двенадцатый, бывший «Сильный». Но, нагнав его, он понял, что тот шел малым ходом. С мостика отчаянно махал фуражкой капитан и что-то кричал. Уменьшив ход и вслушавшись, Григорий Прохорыч понял, что у пристани накиданы мины и что идти к ней опасно.

— Взорвался кто, что ли? Никого ж там еще нет! — крикнул Григорий Прохорыч.

— Пущай вперед катера идут, обождем тут, Григорий Прохорыч, óпасно!..

К задержавшимся буксирам подошел еще один и тоже уменьшил ход. Григорий Прохорыч неодобрительно покосился на него и повернулся к лейтенанту:

— Как, товарищ лейтенант, ночевать тут будем или на риск пойдем?

В голосе его была откровенная насмешка, но лейтенант огорченно подтвердил, что в приказе, и точно, говорилось о возможных минах, наваленных у пристани, и что именно поэтому в первый бросок назначены мелкосидящие катера, а буксиры должны подойти к ней во вторую очередь. Однако рассудительность, с какой он это говорил, никак не вязалась с тем нетерпеливым взглядом, которым он впился в далекую пристань, и Григорий Прохорыч отлично понял его состояние.

Он внимательно его выслушал, вежливо кивая головой и одновременно зорко оглядывая бухту, потом наклонился к переговорной трубе и скомандовал:

— Самый полный вперед!

Лейтенант изумленно взглянул на него, но Григорий Прохорыч, хитро подмигнув ему, указал вправо от пристани. Там, в глубине бухты, серел песчаный пляж, и

вряд ли на острове было такое количество мин, чтобы засыпать ими всю бухту.

— Как, товарищ лейтенант,— так же хитро спросил Григорий Прохорыч,— годится такое местечко? В приказе ничего о нем не упомянуто, а к пристани мы и не сунемся... Только придется морякам малость покупаться.

Лейтенант одобрительно кивнул головой и перегнулся через поручни:

— Приготовиться в воду! Гранаты и винтовки беречь!

Описав крутую дугу и поливая берег пулеметами, КП-16 влетел в бухту и направился к пляжу. Ровной мирной гладью стояла там вода, и под тускло-серебряной ее поверхностью ничего нельзя было угадать. Лейтенант подумал было о том, что надо бы убрать с бака людей,— если буксир стукнется о мину, так, конечно, носом,— но, поняв, что и на корме не будет легче, приготовился к прыжку, высоко подняв гранату и пистолет. Григорий Прохорыч отстранил от штурвала рулевого и стал к рулю сам, зорко и спокойно всматриваясь в бухточку, как будто подходил к угольной стенке в Средней гавани. И только сжатые челюсти да ставшие серьезными глаза указывали на некоторую необычность этого подхода к берегу.

Мягкий толчок шатнул всех на палубе. Зашуршал под носом песок, забурлил винт на заднем ходу — и всплеск за всплеском подняли брызги на палубу: краснофлотцы вслед за лейтенантом прыгали в холодную воду и по грудь в ней бежали на берег.

Григорий Прохорыч легко снял с мели освобожденный от людей буксир, развернулся и пошел за новым отрядом. Навстречу ему к пляжу летел осмелевший «Сильный», за ним еще два буксира, и краснофлотцы на них уже поднимали над головами винтовки, готовясь последовать примеру первого броска.

— Эх ты, балтиец! — крикнул капитану «Сильного» Григорий Прохорыч, а Васька Жилин у штурманского столика немедленно прибавил обидное, но хлесткое словечко. Прохорыч неодобрительно повернулся к нему.

— Товарищ Жилин, в бою ведите себя спокойно,— сказал он, в первый раз, пожалуй, называя Ваську на «вы».

3

Остров стал своим. КП-16 приходил теперь сюда в прежней своей роли — с бочками, с ящиками, с патефонами и снарядами, как будто и не было того декабрьского утра, когда он показал здесь дорогу десанту. Так как на острове появлялся только он, то бойцы гарнизона, радостно встречавшие его у пристани, на третьем же рейсе от избытка чувств переделали КП-16 в ласковое словечко «Капеша», иногда распространяя его в «Капитошу» или в почтительного «Капитона Ивановича». Как это ни странно, новое имя, в котором сказалась вся привязанность вооруженных островитян к верному им кораблю, опять вызвало протест Григория Прохорыча. Услышав это фамильярное наименование от Жилина, он строго его оборвал, впрочем обращаясь на «вы», так как, почувствовав себя на военной службе, он четко разделял теперь отношения служебные и внеслужебные:

— Бросьте вы это слово, товарищ штурман (Жилин уже плотно ходил в штурманах). У корабля есть свое имя, установленное приказом, и нечего его перековеркивать, тем более что оно уже вошло в историю.

Под историей Григорий Прохорыч подразумевал вырезку из газеты «Красный Балтийский флот», где в корреспонденции с десантного отряда был описан первый бросок и отмечена боевая инициатива командира КП-16. Жилин тоже хранил эту вырезку, впрочем, с другими, более практическими целями: в короткие часы пребывания в Кронштадте, забегая к некоей Зиночке, он гордо вытаскивал эту вырезку и снова начинал рассказывать свой первый и единственный пока боевой эпизод, добавляя с таинственным видом, что она вновь кой-чего услышит о «Капеше» через газету, тогда уж обязательно будет упомянуто и его имя.

Но рейсы на остров шли обычным порядком, случая показать свои боевые качества «Капеше» больше не представлялось, и Жилин беспрерывно вздыхал, нагнувшись над картой в своем штурманском столе:

— Эх, и жизнь наша капешная!.. Люди воюют, а нам все капуста... Нет тебе счастья, Василий Жилин! С такими темпами до Героя Советского Союза, пожалуй, не дойдешь!..

Григория Прохорыча речи эти сильно возмущали. Облокотившись о поручни и пошевеливая в валенках

пальцами (ибо с каждым рейсом на остров дело все ближе подходило к настоящей зиме), Григорий Прохорыч длительно поучал Жилина, доказывая ему, что на флоте, как и на корабле, каждому предмету определено свое место и что пресловутая капуста есть тоже вид боевого снаряжения и доставлять ее на далекий остров — занятие совершенно боевое и самое подходящее для КП-16. И тут же с гордостью и не без ехидства добавлял, что небось КП четырнадцатого или двенадцатого на остров не шлют, потому что доверить боевую капусту кораблям, которые шарахаются в сторону от каждой льдины, никто себе не позволит.

А льдины действительно встречались им в заливе все чаще и крупнее. По берегам уже образовался легкий припай, и каждый шторм откусывал от его ровной зеленовато-белой пелены порядочные куски и пускал их в залив на разводку, а у берега мороз и спокойная вода безостановочно пополняли убыль. Одинокие же льдины, попав в залив, не растворялись в его воде, а, наоборот, неся достаточный запас холода, сами при случае примораживали к себе обливающую их воду и тоже безостановочно росли, превращаясь в ровные поля. Иногда шторм, не разобравшись в задании природы, разламывал и эти плавучие поля, но мороз методически исправлял его ошибку — и новое поле, смерзшееся из льдин, снова медлительно плыло по заливу, отыскивая, к чему бы приткнуться и слиться в еще большее.

КП-16 действительно не шарахался от льдин: оценив опытным взглядом возраст и толщину льда, Григорий Прохорыч в большинстве случаев шел прямо на поле. Корабль вздрагивал от удара, вползал на лед своим подрезанным ледокольным тараном, с каждым сантиметром втаскивая все большую тяжесть корпуса,— и лед, не выдержав, подламывался, разбивался в медленно переворачивающиеся куски, показывая в их изломе ослепительное сверкание кристаллов, и, увлекаемый работой винта, тянулся к корме. Порой по льдине от первого же удара тарана пробегала извилистой судорогой трещина, и тогда поле распадалось на две части, между которыми, раздвигая их бортами, свободно и без шума проходил КП-16. Впрочем, иногда — а с каждым походом все чаще и чаще — Григорий Прохорыч, всмотревшись в лед, молча показывал рулевому направление и уступал льдине доро-

гу, предпочитая разумный обход противника ненужной лобовой атаке.

Но вскоре этот маневр стал просто правилом плавания: лед явно закреплял позиции. Уже заняты были им Невская дельта, Маркизова лужа, почти все кронштадтское горло залива, и с флангов его передовые части тянулись по южному и северному берегам, занимая бухты и заливчики, чтобы оттуда со штормом высылать ледяные поля в самый залив, на широкие его плесы. Только в Кронштадтской гавани и на входном фарватере по створу маяков воде кое-как удавалось сохранять полужидкое состояние: там стояла холодная каша перековерканных, бесформенных обломков, смерзнуться которым в сплошной покров никак не давали беспрестанно проходившие здесь корабли и ледоколы. Под их ударами лед звенел, рычал и терся о борта, но дробился — и мстил только тем, что, когда его оставляли в покое, смерзался самым подлым способом: хаотическими комками, напоминающими вспаханное поле, ломать которые было порой труднее, чем ровный покров. Но его все-таки ломали, потому что война продолжалась, и корабли прорывались по фарватеру до кромки льда, чтобы выскочить на не замерзшие еще плесы. И вслед за ними, пользуясь свежим проходом, проскакивал до кромки и КП-16, чтобы, обходя встречные поля или врезаясь в них, упрямо пробираться к своему острову.

Так же пошел однажды КП-16 и в начале января вслед за эскадрой, выходившей в операцию. Он пробился на рейд, выждал там, когда линкор, пошевелившись своим огромным телом, легко разломал смерзшийся лед фарватера, и тогда пристроился у него за кормой, свободно пробираясь по его широкому следу.

Синяя прозрачность позднего январского рассвета отступала на запад, как бы теснимая туда линкором, а за кормой все выше и шире вставало просторное розовое зарево зимней зари, непрестанно усиливаясь, и огни створных маяков с какой-то особой, праздничной яркостью вспыхивали в морозном воздухе — беззвучно и остро. Григорий Прохорыч стоял на мостике, забыв о холоде, и неотрывно смотрел на медленно расширяющееся по небу полымя, на давно знакомый контур города — водокачку, краны, трубу Морского завода, могучий купол собора, на тонкие иглы мачт в гавани,— и удивительное чувство легкости, бодрости и в то же

время неизъяснимой грусти все сильнее овладевало им.

Он любил этот тихий предутренний час, к которому привык, долгие годы вставая до побудки,— час, когда корабль еще спит и в открытые люки видны еще синие ночные лампы; когда на светлеющем небе все резче проступают тонкие черты такелажа и мачт и краска надстроек приобретает свой суровый военный цвет; когда не хочется громко говорить, потому что даже шлюпки на выстрела́х, беспокойно бившиеся всю ночь, присмирели и чуть тянут иногда шкентеля, как бы проверяя, всё ли они еще на привязи. Но зимние рассветы были для него зрелищем непривычным — они заставали его в суете флотского дня, начавшегося в темноте, и тишины не получалось.

Теперь он смотрел на алое морозное небо как будто впервые и вдруг подумал, что прожил все-таки очень много лет и что видеть эти плавные, но неудержимые начала дня ему остается недолго. Мысль эта со всей ясностью встала в его голове, и он даже хотел рассердиться на нее — с чего это? Но непонятная свежая грусть все еще владела им, и он продолжал смотреть на уходящий в алый горизонт черный контур Кронштадта, пока удар о лед не заставил его обернуться. Оказалось, линкор уже далеко ушел вперед, и ледяная каша опять упрямо набилась в проход. Он взглянул на Кронштадт, как бы прощаясь с ним, и повернулся по курсу — к западу.

Но и там уже небо посветлело, полегчало и поднялось — и скоро стало прозрачно-голубым. День, по всем признакам, обещал быть морозным, но тихим, хотя знакомая ноющая боль в ногах говорила другое: будет шторм.

И точно: у кромки лед уже д ы ш а л.

Это было поразительное зрелище: ровное ледяное поле медленно и беззвучно выгибалось, силясь в точности повторить очертания пришедшей с моря волны, приподымающей снизу его упругий покров. Лед не ломался и не давал трещин — здесь он был еще мягок и гибок, как кости маленького ребенка. Он только прогибался, и странная пологая волна колыхала его, затухая по мере приближения к более плотному льду.

И снова Григорий Прохорыч, вместо того чтобы озабоченно думать, какая ждет его за кромкой волна,

смотрел на это мерное дыхание льда, и та же неизъяснимая и легкая грусть опять заставила его притихнуть. Так дышащий лед он видел за всю свою жизнь три-четыре раза — и неизвестно, увидит ли еще. И, опять поймав себя на этой мысли, он уже и в самом деле рассердился, обозвал себя старым дураком и пошел присмотреть за тем, что делается на корабле.

Он спустился с мостика, сам проверил, как закреплен груз, особо тщательно осмотрел крепления ящиков со снарядами, предупредил в машине, что в море шторм, и приказал загодя прикрыть люки — и потом поднялся на мостик.

Там в его отсутствие Жилин, пользуясь правами «штурмана», со вкусом покрикивал рулевому: «Точнее на румбе!», «Вправо не ходить!» — и прочие команды, безопасные для дела, но показывающие командирскую власть. Взглянув на это сияющее лицо, Григорий Прохорыч наконец понял, с чего это нынче лезут в голову всякие загробные рыданья.

Причиной всему был проклятый ревматизм. Вернувшись из последнего похода, когда КП-16 обливало со всех сторон и на мостике не было сухого места даже в рубке, где волна, бесцеремонно распахивая двери, прокатывалась выше колен, Григорий Прохорыч слег. Впервые за всю службу по вызову командира порта он пошел не сам, а послал Жилина как помощника. Тот был этим больше перепуган, чем польщен, и, вернувшись, трижды вспотел, прежде чем убедился, что передал все приказания в точности. Но Григорию Прохорычу вдруг померещилось, что там, в знакомом кабинете, где важно тикают какие-то немыслимые часы времен парусного флота, с десятком стрелок, показывающих что угодно — от числа месяца до цены на пеньку и смолу,— неминуемо шел разговор о нем, о его болезни, о том, что старику пора бы на покой, раз уж не может приходить сам, а посылает помощника. Григорий Прохорыч, проклиная ноги, встал через силу и все-таки явился к командиру порта (как бы за дополнительными приказаниями), и хотя тот ни слова не сказал о том, чего боялся Прохорыч, но тревожный осадок все-таки остался, и отсюда и пошли эти мысли о старости.

Кромка льда, вздымаясь все выше и колышась все чаще, постепенно перешла в битый лед. Здесь гуляла уже настоящая волна, только одетая гибкой ледяной

кольчугой, не дающей гребню вставать пеной и брызгами. А впереди темное утреннее море уже белело барашками, и скоро первая волна подняла КП-16 на дыбы, обдала его холодными брызгами — и веселое плаванье началось.

Мокрый до клотика мачты, КП-16 упорно лез на волну. Сперва она била по курсу, с веста, потом к вечеру шторм зашел на юг, и маленький буксир стало валять бортовой качкой нестерпимо. Но шторм мало беспокоил Григория Прохорыча: корабль держался отлично и был к тому привычен, команда тоже не первый раз видела такое — шторм был как шторм. Он думал о другом, с тревогой посматривая на юг, то и дело протирая стекла бинокля: оттуда как будто двигалось большое ледяное поле наперерез курсу. Вероятно, шторм оборвал его связи с берегом и теперь гнал на север. Это, несомненно, был серьезный береговой лед, вступить в борьбу с которым Григорий Прохорыч не имел никакой охоты: застрять в такой шторм в ледяном поле — означало носиться с ним по воле ветра, а ветер как раз дул на север, к вражеским берегам.

Пораздумав, он приказал Жилину взять бинокль, лезть на мачту и, пока светло, посмотреть оттуда, где виднеется южный край этого поля. Жилин охотно скинул полушубок и в одном ватнике цепко полез на мачту, раскачиваясь вместе с нею. Вися под клотиком и лихо держась одной рукой, он поднял другой к глазам бинокль, всмотрелся и потом биноклем же указал направление. Григорий Прохорыч сверился с картой. Догадка его оказалась правильной: пока КП-16 дойдет до поля, оно, вероятно, отойдет от отмели, мешающей обойти его с юга. Он изменил курс, вошел в битый лед, тащившийся за льдиной, как растрепанный хвост, и подмигнул Жилину, который к тому времени, распаренный, вылез из кочегарки, куда опрометью кинулся прямо с мачты, ибо там его препорядочно стегануло ветром и брызгами.

— Маневр, штурман! Обштопаем льдину, как миленькую, а то неизвестно, куда она затащит... Ишь прет на норд — к ночи, пожалуй, в гости к шюцкорам придет! Факт!

Жилин весело отозвался — в битом льду корабль меньше качало, поле обманули, на мачте он показал класс, и было о чем порассказать на берегу. Григорий Прохорыч оставил его на мостике за себя, приказав идти

только в битом льду и никак не приближаться к коварному полю, и спустился вниз обогреться чаем. Однако не успел Васька всласть накомандоваться рулем — ибо теперь командовать приходилось уже всерьез,— как Григорий Прохорыч появился на мостике взволнованный и тревожный, и первый его вопрос был совершенно неожиданный:

— Что, Мальков — коммунист?

Мальков был тот самый рулевой, что стоял сейчас на вахте. Григорий Прохорыч не очень интересовался партийной принадлежностью своей команды и то, что Жилин — комсомолец, знал главным образом потому, что тот иногда отпрашивался на комсомольское собрание. Жилин недоумевающе посмотрел на командира.

— Коммунист.

Он решил, что Мальков сделал какую-то оплошность, потому что одним из самых сильных доводов Григория Прохорыча при внушении был упрек: «И еще в партии состоишь!..» Но Григорий Прохорыч озабоченно сказал, обращаясь к нему по-прежнему на «ты»:

— Пройди, сынок, по кораблю, подсмени беспартийными, а всех коммунистов и комсомольцев зови сюда. И живо давай!

Когда весь партийно-комсомольский состав маленького корабля в лице трех кочегаров, радиста Клепикова, двух машинистов, Дроздова, Жилина и Малькова собрался в рубке, Григорий Прохорыч, оторвавшись от карты, коротко объявил, что он принял боевое решение и просит коммунистов и комсомольцев показать образцы самоотверженной работы и увлечь этим команду, потому что дело нешуточное.

Оглянув всех, он прочел радиограмму, принятую Клепиковым по флоту в числе прочих. В ней сообщалось по коду, что эсминец «Мощный» сорван с якорей льдом, выбраться не может и просит помощи ледокола. К этому Григорий Прохорыч добавил, что, судя по координатам, «Мощный» как раз в том ледяном поле, которое они обходят по южной кромке, и что поле это с порядочной скоростью несет к северному берегу, под обстрел батарей, и что время не терпит.

Решение же его такое: войти в лед, пробиться к «Мощному» и вывести его изо льда. Дело рисковое, потому что можно застрять и самим, но ждать ледокола тоже нечего, так как неизвестно, где очутится «Мощ-

ный» к его приходу, а КП-16 довольно близко от него, корабль сам по себе крепкий и со льдом управиться может, если поработать на совесть и не дрейфить. Затем он сделал ряд распоряжений и закончил приказом немедленно перегрузить все снаряды на бак с целью утяжелить нос, чтобы лучше ломать лед и чтобы в случае затора иметь возможность перенести их на корму и этим поднять нос.

Уже темнело, когда КП-16, разбежавшись в битом льду, с силой сделал первый удар в ледяное поле. Оно уступило неожиданно охотно, и добрый час корабль пробивался почти легко. Но потом началось мученье с переноской балласта. Тяжелые ящики со снарядами переносили на корму, нос облегчался, и КП-16 сползал с упрямой льдины задним ходом. Ящики снова перетаскивали на бак. Люди садились на них, устало опустив руки, буксир разбегался, ударялся в льдину и либо отламывал ее, либо люди вставали с ящиков и снова тащили их на корму.

Это была очень тяжелая, утомительная, но благодарная работа: КП-16 все глубже вгрызался в ледяное поле. Клепиков уже передал на «Мощный» с грехом пополам набранную по коду радиограмму: «Идем на помощь с зюйд-оста, включите огонь», и Григорий Прохорыч, остававшийся на мостике один на штурвале (так как и Жилин и Мальков помогали таскать «балласт»), вглядывался на север, но ночь все была темна, и ветер выл в снастях, и ему было одиноко, тревожно и тоскливо.

Огня он так и не увидал: его увидал с ящиков Жилин и диким голосом заорал:

— Вижу!

Он взбежал на мостик, задыхающийся, измученный, но ликующий, и показал на слабый синий огонек. Григорий Прохорыч медленно и глубоко вздохнул, нагнулся в темноте к переговорной трубе и сказал в нее хриплым и дрожащим голосом:

— В машине... Видим... Голубчики, навались...

То ли навалились в машине, то ли лед стал слабее, но синий огонек быстро приближался, и перетащить ящики пришлось только еще один раз. Через час Григорий Прохорыч, моргая от яркого света, стоял в знакомой кают-компании, и Курковский крепко обнимал его. Быстро посоветовались.

Капитан второго ранга предложил Григорию Прохорычу обколоть «Мощного» с бортов, чтобы тот мог развернуться длинным своим телом по направлению к каналу, после чего КП-16 поведет миноносец за собой на юг. Григорий Прохорыч, смотря на карту, покачал головой.

— Не годится это,— сказал он в раздумье,— я вас только задерживать буду. Сами хорошо пойдете, канал сжимать не должно, он по ветру вышел. Коли б я поперек шел, тогда точно, обязательно бы зажало. А тут — войдете в канал и верных двенадцать узлов дадите, только следите, чтоб в целину не врезаться. Уходить вам надо, эвон куда занесло...

И он показал на кружочек, отмеченный на карте последним определением. Берег с батареями был действительно угрожающе близко.

— Да вы о нас не беспокойтесь,— добавил он, видя, что Курковский колеблется.— Выкарабкаемся. Да и вряд ли они на нас будут снаряды тратить.

Он помялся и потом негромко сказал:

— Человечка у нас одного возьмите... Ногу повредил ящиком... Так в случае чего...

Он не договорил, и капитан второго ранга внимательно посмотрел ему в глаза. Военным своим сердцем он угадал недосказанное и, молча наклонившись, крепко поцеловал Григория Прохорыча в седые колючие усы.

— Так,— сказал он строгим тоном, вдруг застыдившись своего порыва.— Значит, в случае чего, добирайтесь сюда,— он показал на карте выступающий мыс там, где кронштадтское горло расширялось к северному берегу.— Тут наше расположение, понятно?

— Понятно,— так же строго сказал Григорий Прохорыч.

— Буду вас все время слушать на вашей волне. В случае чего дадите... ну, какое-нибудь условное слово, чтоб легче запомнить...

— Топовый узел,— сказал Григорий Прохорыч, улыбаясь.— Помните, вы всё его вязать не могли?.. Ну, счастливо...

Они еще раз обнялись, и Григорий Прохорыч вышел. В теплой кают-компании он забыл о том, что делается на палубе, и ледяной плотный порыв ветра, едва не сбивший с ног, очень его удивил. Но тотчас же он перелез

к себе на мостик, и КП-16 двинулся вдоль борта эсминца. Курковский, дождавшись, когда, обколов лед вокруг эсминца, КП-16 поравнялся с мостиком уже с другого борта, дал ход. «Мощный» зашевелился во льду и пошел вслед за КП-16. Тот описывал медленную широкую дугу, но и в нее «Мощный» с трудом вмещал свое длинное узкое тело. Наконец он попал в сделанный ранее канал. КП-16 сбавил ход, пропустил мимо себя «Мощного» и тот, легко раздвигая острым своим форштевнем разбитые буксиром льдины, быстро пошел к югу. Григорий Прохорыч оказался прав: только в трех-четырех местах ледяное поле сжало края рваной раны, прорезанной крепким корпусом КП-16, но и здесь «Мощный», как игла, протискивался своим узким телом между краями цельного льда.

Через четыре часа он вышел на чистую воду. Но Курковский без всяких признаков радости смотрел на нее: ледокол, в ответ на его радиограмму с просьбой немедленно идти на помощь к КП-16, ответил, что занят выводом двух эсминцев, также дрейфующих в ледяном поле, и что из Кронштадта давно вышел второй ледокол, но и его послали к другим миноносцам... Очевидно, в море творилось что-то небывалое и ледоколам было работы по горло.

Действительно, шторм достиг предельной силы. Огромные ледяные поля, целые равнины, казалось бы намертво прикованные к берегу, теперь быстро шли поперек залива на север, натыкаясь друг на друга, налезая краями и нагромождая ими торосы, прижимая другие поля в узкостях с чудовищной силой, срывая их и увлекая за собой или перед собой. И вся эта огромная масса льда, ринувшаяся с юга, давила на то поле, где пробивался КП-16, далеко отставший от более сильного машинами миноносца.

Но и тому приходилось очень трудно. Встречный шторм окатывал палубу и мостик, обмерз весь такелаж, мачты, орудия, надстройки, то и дело краснофлотцы в ледяной воде обкалывали корабль. Тяжело зарываясь носом, «Мощный» шел на юг, но внезапно резко менял курс и, опасно ложась на стремительной бортовой качке, обходил надвигающееся ледяное поле, грозившее снова зажать его холодным крепким объятием. В этой борьбе с взбесившимся заливом Курковский не замечал, как проходило время. Было около семнадцати часов, когда

на мостик принесли радиограмму с позывными командира дивизиона.

С трудом шевеля закоченевшими пальцами, Курковский взял ее и пошел в рубку. Там он положил ее на стол, неловко расправив, прочел — и командир «Мощного» с изумлением увидел, как он внезапно опустился на диван. Он заглянул в бланк.

Там стоял короткий открытый текст:

«Шестнадцать пятнадцать топовый узел курс Стирсудден КП-16».



Когда к рассвету КП-16 уже подходил к краю ледяного поля и ему удалось определиться, оказалось, что, несмотря на беспрерывное продвижение вперед, он был сейчас даже севернее того места, где вызволял «Мощного»: поле несло на север с большей скоростью, чем он пробирался по нему на юг. Теперь КП-16 был в глубине большой бухты, глубоко вдававшейся в северный берег.

Но все же с огромными усилиями корабль выскочил изо льда, и Жилин, закоченевший, черный и мокрый, опять закричал тем же диким голосом, которым он оповестил о «Мощном»:

— Вода!!

КП-16 весело завертел винтом, но уже через час ему пришлось изменить курс: с юга ползло новое поле. Он повернул на восток, изо всех сил торопясь проскочить это поле, пока оно еще не сомкнулось с береговым припаем, входившим в бухту от ее восточного берега. Десятки глаз смотрели с палубы крохотного корабля на полосу черной воды, неуклонно уменьшавшуюся в размерах. Скоро стало ясно, что в этом страшном состязании верх возьмет лед: его несло штормом к северу скорее, чем продвигался к востоку корабль.

Поняв это, Григорий Прохорыч резко скомандовал «лево на борт» и ринулся на запад, рассчитывая, что не может же поле быть такой ширины, чтобы закрыть собой весь выход из бухты, и что между западным береговым припаем и надвигающимся полем обязательно окажется проход — пусть в секторе обстрела батарей. Дроздов, оценив положение, спустился в машину, и никогда еще КП-16 не развивал такого хода.

Но черная полоса воды между западным берегом и полем все уменьшалась. И вновь стало ясно, что и здесь обе ледяные равнины сомкнулись. Но было ясно еще и то, что, закрыв собой выход из бухты, это поле, обламывая края себе или береговому льду и выпирая на него торосами, продолжало вдвигаться в бухту, как ящик письменного стола. А это означало, что его вдавливает в бухту чудовищная сила подвижки всего наличного в заливе льда.

Тогда Григорий Прохорыч, еще раз определив место и поняв, что до предела дальности батарей осталось не больше трех миль, повернул на юг и врезался в поле.

Первая же попытка доказала, что пробиться через него было совершенно невозможно: судя по толщине и крепости, это был самый ранний лед, вынесенный, может быть, из самых глубин Копорской губы. Это был лед родной страны, лед, по которому недавно еще ходили советские буера, бегали на коньках колхозные мальчишки, шуршали лыжами пограничники в ночном дозоре... Здесь, оторванный от родных берегов, он был враждебен. Вжимаясь в бухту, он оттеснял КП-16 на север, и новый пеленг на мыс показал, что до снарядов осталось меньше двух миль.

Григорий Прохорыч поднял голову от карты, и Жилин испугался: лицо старика осунулось и похудело, оно было багрово-красным от мороза и ветра, седые усы спутаны, глаза ввалились и блестели беспокойным огнем. Он оглядывался кругом, как затравленный зверь, но слева, впереди и справа был лед, а за кормой — батарея. Он наклонился к переговорной трубе и хрипло скомандовал:

— Самый полный вперед!

КП-16 разбежался в чистой воде, ударил в лед, всполз на него носом и долго стоял так, бешено работая винтом, пока Григорий Прохорыч не сказал неожиданно спокойным голосом:

— Стоп всё. Дроздов, на мостик!

Он снял свою старенькую меховую шапку, вытер лоб и сел на диванчик в рубке, как будто окончил трудную работу и собрался как следует отдохнуть. Так его и застал Дроздов.

Приказания его были точны и кратки.

Жилину: изготовить пулемет на случай, если шюцкоры полезут по льду. Дроздову: приготовиться открыть

кингстоны, не забыв в горячке стравить пар, чтоб котел не взорвался, потому что после войны ЭПРОН все равно корабль поднимет. Обоим: разъяснить команде, что в случае чего сойдем на лед и будем пробиваться к Стирсуддену. Пока есть время, всем просушить в кочегарке одежду и валенки, собрать продукты и все ручное оружие. Разбить на две партии, одну поведет Жилин, вторую — Дроздов. Не забыть компасы, их как раз два. Пулемет тащить с собой, сочинить салазки — может, придется отбиваться. Передать эту телеграмму радисту, время пусть проставит сам в последний момент. Всё.

И пока на корабле молча и без суеты готовили все это, Григорий Прохорыч сидел в рубке, растирая колени. Коснуться их было очень больно, а ходить — еще больнее. Хотелось лечь и закрыть их потеплее. Но надо было вставать, ковылять к компасу, брать пеленг на мыс и потом поторапливать со сборами: поле неуклонно несло к батареям. Дроздов принес чьи-то высушенные уже валенки и полушубок, заставил Григория Прохорыча снять свои и унес их сушиться. На момент ногам стало легче, но, когда он встал и прошел к компасу, боль стала невыносимой. Новый пеленг показал, что КП-16 уже снесло до предела огня батарей.

Он записал в вахтенный журнал пеленг, посмотрел на северный берег, низко и хищно притаившийся в синей дымке леса, и негромко сказал:

— Ну, чего чикаетесь? Наверняк хотите бить?

И как будто в ответ на это далеко на берегу сверкнул желтый огонь, небо раскололось с противным треском, и метрах в двухстах от КП-16 по воде запрыгали белые невысокие фонтанчики.

— Шрапнель,— сказал сам себе Григорий Прохорыч и крикнул вниз: — Команде покинуть корабль, рассыпаться по льду до конца обстрела!

Второй воющий треск заглушил его слова, и снова шрапнель легла в том же месте. Третьего залпа долго не было — очевидно, на батарее сообразили, что незачем тратить снаряды, когда цель приближается. Григорий Прохорыч снял компас, взял его под мышку, постоял в рубке, обводя глазами ее и мостик, и после, тяжело ступая, пошел к трапу и, с трудом двигая ногами, ступил с корабля на лед.

— Ну, товарищ Дроздов, действуй,— сказал он и отвернулся.

Небо за кораблем пламенело огромным заревом штормового заката, но в тревожном и ярком его полыме он не отыскал той легкой, спокойной прозрачности, которая вчера утром наполнила его сердце удивительной тишиной. Он повернулся совсем спиной к кораблю и стал смотреть в сторону Кронштадта. Там небо синело глубоко и спокойно.

Один за другим поднялись из снега моряки КП-16 лицом к своему командиру и своему кораблю. Штормовой ветер распластывал на гафеле синий портовый флаг, на фоне заката он казался почти черным. На дымовой трубе хлопнул клапан, и с сильным, почти гудящим звуком пар белым султаном поднялся в небо. Все молчали. Пар, постепенно слабея, снижал свой пышный султан и потом прекратился с каким-то жалобным стоном, и по трубе крупными горячими слезами потекли его оседающие струйки.

В тишине, сквозь свист ветра, донесся металлический стук открываемого люка. Из машины поспешно вышел Дроздов, зачем-то аккуратно задраил за собой люк, опять лязгнув металлом, постоял возле него, потом, отчаянно махнув рукой, молча перепрыгнул через фальшборт и отошел к безмолвной группе людей.

Они долго ждали. Но КП-16 продолжал выситься надо льдом, только корма села ниже обычного. Похоже было, что он отказывается тонуть.

Мальков не выдержал.

— Что же он? — сказал он негромко, как у постели умирающего.— Дроздов, ты все кингстоны открыл?

— Видишь, лед держит,— так же негромко ответил Дроздов.

Снова молчали. Потом раздался резкий треск льда, и льдина под бортами КП-16 откололась, давая ему дорогу. Он быстро и прямо пошел под воду, держась на ровном киле. Люди не то ахнули, не то вздохнули, и Григорий Прохорыч резко обернулся. Он сорвал с себя шапку и сделал два шага к кораблю. Дроздов придержал его за локоть.

— Ну, ну... Прохорыч...— сказал он ласково.

Жилин всхлипнул и, тоже сорвав шапку, крикнул высоким неестественным голосом:

— Боевому кораблю Краснознаменного Балтийского КП шестнадцать — ура, товарищи!

Крик его как бы вывел всех из оцепенения. Громкое

«ура» раскатилось по льду и замолкло только тогда, когда холодная тревожная вода, отливающая багровым отблеском заката, сомкнулась над стареньким синим портовым флагом.

— Шрапнель, ложись! — крикнул вдруг Григорий Прохорыч, заметив на берегу знакомую желтую вспышку. Все упали. Опять треснуло над головой небо и завизжало вокруг. И Григорий Прохорыч тоже повалился боком в снег.

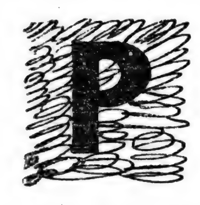
Батарея дала четыре залпа. Ранило троих. Надо было немедленно уходить. Жилин впрягся в салазки, на которые успели поставить пулемет, и повез их к Григорию Прохорычу.

— Мальков, помогай,— сказал он по пути.— Старик наш вовсе обезножел, не дойдет... Повезем все по очереди.

Они подтащили пулемет к Григорию Прохорычу, но тот не отозвался. Его повернули: он был убит шрапнельной пулей в лоб, пережив свой корабль на две с половиной минуты.

1940

Своевременно или несколько позже



ешающий участок боя был на крайнем правом фланге, там, где, ворча, кипела большая кастрюля.

В этом бою с ожившей камбузной утварью, которая ползала, прыгала и металась по плите, норовя выкинуть все свое содержимое на палубу, Алексею Сухову, коку-призовику подлодки Щ-000, удалось одержать ряд немалых побед. Тесто и фарш, по природе своей лишенные маневренных способностей, уже томились в горячем плену духовки, превращаясь в румяные пирожки. Грудой поверженных тел громоздились на противне готовые котлеты. И даже зловредная кастрюлька с соусом, носившаяся, как маленький торпедный катер, по всей плите, была ловко загнана в угол и прижата огромным чайником, могучую броню которого она теперь таранила яростно, но тщетно...

И только большая кастрюля не сдавалась.

Плотно вставленная в свое гнездо на плите, она в точности повторяла за лодкой то беспорядочное перемещение воды, которое называется качкой, и плескавшийся в ней кипяток бушевал совсем так, как и море за бортами подлодки. Сталкиваясь и взвихриваясь, маленькие и горячие волны били в стенки кастрюли, и стоило лишь приподнять крышку, как яростный всплеск обжигал пальцы и добрая половина содержимого кастрюли ока-

зывалась на плите. Сухов с проклятьем отскакивал, белый пар, шипя, заволакивал тесный камбуз и, вырвавшись из двери, сразу же оседал на переборке блестящими каплями,— из центрального поста тяжелой холодной волной тянул морозный воздух. Там было очень холодно: лодка, шедшая под дизелями, дышала через открытый люк.

Но еще холоднее было на мостике. Стылая декабрьская Балтика расшумелась вовсю, не видные во тьме волны швыряли лодку без всякой пощады и системы, и ледяной ветер порой срывал гребень с высокого вала и хлестал им из мрака по сигнальщику и по командиру. Мгновенно захватывало дух, и тогда капитан-лейтенант приседал и крякал, а сигнальщик молча обтирал лицо замерзшей перчаткой.

Поход был внезапен. Лодка недавно вернулась из тяжелой и длительной боевой операции, и ей был обещан заслуженный отдых. Уже готовились к встрече Нового года, уже прикупили к пайку мандарины, конфеты, отборные консервы, утром началось повальное глаженье брюк, но все это было прервано приказом. Надо было немедленно выйти в далекий район.

И вот уже целый день лодка шла по зимнему штормовому морю, и часы показывали двенадцатый час ночи, и в тесном камбузе призовой кок Алексей Сухов сочинял мировой новогодний ужин.

Гвоздем ужина должен был быть задуманный Суховым компот с выразительным названием: «А все-таки Новый год!» Основой его были мандарины, которые в спешке сборов захватили с собой на лодку почему-то все командиры и краснофлотцы. Мандаринов оказалось столько, что расправиться с ними можно было только при помощи компота. И вот лежали они в миске, борясь своим тонким и свежим ароматом с душным запахом теплого масла и горючего, наполнявшим лодку, и добровольные помощники уже принесли тщательно срезанную тонким пластом розовую их кожу, а проклятую кастрюлю никак нельзя было открыть.

Сухов нервничал, поглядывая на часы.

Сгрудившиеся у двери «помощнички» с притворным участием давали советы один ехиднее другого: кто предлагал налить в кастрюлю масла, основываясь на его свойстве укрощать бушующие волны, кто изобретал сложную механическую кастрюлю с сеткой, которая

якобы удержит всплески, а кто попросту советовал оставить кипяток только на донышке, ввалить в кастрюлю мандарины, посолить, поперчить, протушить — и подавать под названием «штормовая запеканка».

Разъяренный Сухов захлопнул дверь и в раздумье стал перед кастрюлей, болтаясь вместе с ней и с лодкой. Так его застал капитан-лейтенант, спустившийся с мостика погреться.

— Ну-ка горяченького, товарищ Сухов,— сказал он, разматывая обледеневший шарф.— Как у вас дела?

— Плохо, товарищ капитан-лейтенант,— хмуро ответил кок, ловко взрезая булку и всовывая в нее сочную, истекающую маслом котлету. Он положил ее на тарелку и потом налил в кружку ароматного крепкого кофе. Командир торопливо отхлебнул два глотка и с радостью почувствовал, как тепло входит в его промерзшее тело.

— С чем плохо? — спросил он, потянувшись к тарелке.

Сухов, вздохнув, собрался было признаться, что плохо с компотом, как вдруг лодку резко швырнуло и накренило, миска с мандаринами поползла к краю стола, и Сухов едва успел ее подхватить. Тарелка, как снаряд, вылетела из-за миски и со звоном разбилась на палубе, а кофе в командирских руках наполовину выплеснулся из кружки, облив кожанку.

— Так,— сказал капитан-лейтенант, с огорчением глядя на погибшую котлету.— Вижу, что плохо. Удивительно, как это вы кофе ухитрились сварить. Как же мы столы накроем?

Он допил остатки и протянул кружку за добавкой.

— Отставить Новый год,— сказал он решительно.— Этак у вас весь кофе выплеснет. Раздавайте сейчас ужин, товарищ кок, пусть едят по способности. А вам еще придется поработать. Новый год все-таки встретим... своевременно или несколько позже... Утром встретим — понятно?

— Понятно, товарищ капитан-лейтенант,— ответил Сухов, повеселев.

С самом деле, все было понятно. С рассветом лодка, опасаясь быть обнаруженной противником, все равно должна будет уйти на глубину. А глубина в шторм — самое милое дело: не мотает, не качает, можно и стол накрыть как следует, и тост сказать. А самое главное —

этим неожиданным переносом Нового года была спасена честь призовика-кока: на глубине не только компот можно сделать... Сухов хитро посмотрел на проклятую кастрюлю и выключил ток.

Кофе уже выпили «по способности», то есть полулежа или скрючившись, зажавшись между стойками, и котлеты были уже уничтожены, когда репродуктор наполнил лодку родным и знакомым шумом Красной площади. Командир спустился в центральный пост, где была переговорная труба, проведенная во все отсеки.

Шум площади прорезался звучным перезвоном курантов, потом гулко ударили часы Кремлевской башни. А через открытый люк доносились тяжкие удары волн и свист ветра. Мокрый и обледеневший капитан-лейтенант выждал последний удар часов и потом сказал в переговорную трубу:

— Второй боевой смене заступить! С Новым годом, товарищи краснофлотцы, командиры и политработники, с новыми боями за Родину.

Он помолчал и потом добавил:

— Объявляю приказ по лодке: ввиду особых условий перенести встречу Нового года с ноля на девять ноль-ноль первого января. Части снабжения обеспечить нормальную встречу, личному составу побриться.

Он потрогал подбородок, подумал, но снова поднялся на мостик, в мокрый и морозный мрак. Там он вынул свисток из переговорной трубы, приложил ухо к ее холодному зеву и, вздрагивая от ледяных брызг, долго слушал, как в лодке победно и могуче звучит «Интернационал».

Мутная мгла рассвета отделила наконец воду от неба. Оно проявилось нежно светлеющей на востоке полосой, и скоро серые тусклые волны обозначили свои горбы и провалы. Вода показалась еще холоднее и ветер — пронзительнее. Не раз сменялись на мостике сигнальщики, не раз выходил помощник подсменить командира, и наконец капитан-лейтенант скомандовал: «К погружению!»

К этому времени Сухов сбил из сгущенных сливок некоторое подобие крема. И едва лодка, покачавшись последними замирающими размахами, твердо установилась на спокойном подводном курсе, он зарядил упрямую кастрюлю мандаринами и принялся за «скульп-

туру». На выпеченном за ночь торте появилась маленькая подлодка из крема — точная копия родной «щуки»— и новогодняя надпись. И когда озабоченный помощник командира, пахнущий одеколоном, в чистом воротничке, заглянул в камбуз — у Сухова было все готово.

В носовом отсеке тесно, но уютно, накрыли стол, и помощник пошел будить капитан-лейтенанта, прилегшего на часок отдохнуть. Тогда у стола появились врач и Сухов. Хитро улыбаясь, они несли настоящее шампанское вместо штатного подводного портвейна: это был заботливый подарок порта лодке, уходившей в море под Новый год. Сухов поставил бутылки, взял в руки поварешку и большую кастрюлю и приготовился отбить по знаку штурмана двенадцать мерных ударов, а политрук занес мембрану патефона над диском «Интернационала»...

В восемь часов пятьдесят восемь минут в отсек вошел капитан-лейтенант, свежий, выбритый, праздничный, скомандовал «вольно» и протянул руку к серебряному горлышку красивой бутылки. Звонкий веселый хлопок пробки готов был раскатиться по лодке... Но вдруг извне грохнул тяжелый глухой удар. Лодка покачнулась. Две лампочки потухли. Тревожным прерывистым воем залились резкие звонки — и смолкли. Тишину нарушил быстрый топот ног, короткие команды, с металлическим стуком захлопнулись водонепроницаемые двери, и в лодке все замерло. Только жужжали моторы да звучно щелкали указатели рулей. Лодка заметно наклонилась носом, жужжанье моторов усилилось — направляемая рулем, она полным ходом шла на глубину, резко меняя курс.

Ударил второй взрыв, лодка содрогнулась, два стакана, звеня, упали с праздничного стола. В черном провале переговорной трубы раздался спокойный голос капитан-лейтенанта:

— Глубинные бомбы. В отсеках осмотреться!

Осмотрелись: корпус выдержал, швы нигде не пропускали.

«Щука» быстро уходила на предельную глубину. Потом моторы сбавили обороты, чуть ощутимо качнул лодку мягкий толчок, моторы стихли, и лодка легла на грунт.

Все слабее, все дальше звучали взрывы. Видимо, гидрофоны противника потеряли замолчавшую лодку,

и враг швырялся теперь бомбами лишь для очистки совести. Но молчание и тишина в лодке не нарушались.

Акустик последовательно докладывал, что шум винтов удаляется, что он едва слышен, что гидрофоны не слышат ничего. Тогда капитан-лейтенант скомандовал:

— Боевой тревоге отбой. Личному составу собраться в носовом отсеке. Говорить вполголоса. Будем встречать Новый год, пока есть время.

И в носовом отсеке собрались все, кого боевая служба не задержала у механизмов. Шампанское открывали с такой осторожностью, будто разоружали боевую мину,— медленно вытаскивая пробки, чтоб не наделать шума: противник мог быть и над головой. Благородное советское вино празднично шипело, вздымаясь легкими веселыми пузырьками. Капитан-лейтенант поднял свой стакан.

— Товарищи, боевые друзья! — сказал он тихо и обвел глазами краснофлотцев и командиров.

Они стояли перед ним плотной живой стеной — спокойные и веселые люди, как будто эта необычайная встреча Нового года происходила не на дне моря под пристальным и чутким слухом врага.

Особым — военным — блеском сверкало вокруг них сложное и могучее подводное оружие, выстроенное новым поколением советских людей. Торжественную тишину нарушало только тиканье часов над торпедными аппаратами. Капитан-лейтенант взглянул на стрелки и вдруг широко улыбнулся.

— Своевременно или несколько позже,— сказал он.— Одиннадцать часов тридцать семь минут. Докатился и до нас Новый год... Велика наша Родина, товарищи! Самому земному шару нужно вращаться девять часов, чтобы огромная наша Советская страна вся вступила в новый год своих побед... Будет время, когда ему понадобится для этого не девять часов, а круглые сутки. Потому что каждый наш год — это ступень к братству народов всего земного шара...

Он остановился в раздумье и снова посмотрел на часы.

— Несуразное время, и точно... Девять раз встречали Новый год сегодня в Советском Союзе, начиная с Тихого океана и кончая родной Балтикой, а вот нам привелось встречать его в десятый. И кто знает, товарищи, как приведется нам встречать Новый год через пять, че-

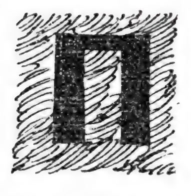
рез десять лет? По какому поясу? На каком новом меридиане? С какой новой страной, с каким новым народом будем мы встречать Новый год, если будем так же крепко беречь Родину нашу, где для всего человечества зреет и крепнет счастье? За мужество, за верность партии, за Родину, за победу над врагом!

— Ура!..— вполголоса ответили краснофлотцы, и тотчас где-то около торпедных аппаратов возник «Интернационал».

Его пели чуть слышно, потому что вода могла передать звук в растопыренные сторожкие уши вражеских гидрофонов там, наверху. Но этот сдержанный голос боевого коллектива звучал единой могучей волей балтийских подводников, звучал как клятва в верности Родине, верности до последнего вздоха.

1941

Ночь летнего солнцестояния



ора было спуститься поужинать, но старший лейтенант оставался на мостике, вглядываясь в дымчатый горизонт балтийской белой ночи.

Высокий светлый купол неба, где мягко смешивались нежные тона, легко и невесомо опирался на гладкую штилевую воду. Она светилась розовыми отблесками. Солнце, зайдя, пробиралось под самым горизонтом, готовое вновь подняться, и просторное бледное зарево стояло над морем, охватив всю северную часть неба. Только на юге сгущалась над берегом неясная фиолетовая дымка. Наступала самая короткая ночь в году, ночь на 22 июня.

Но для тральщика это была просто третья ночь беспокойного дозора.

Тральщик крейсировал в Финском заливе, обязанный все видеть и все замечать. Здесь проходила невидимая на воде линия границы, и все, что было к югу от нее, было запретно для чужих кораблей, самолетов, шлюпок и пловцов. Вода к северу от нее была «ничьей водой». Эта «ничья вода» была древней дорогой торговли и культуры, но она же была не менее древней дорогой войны. Поэтому и там надо было следить, не собирается ли кто-либо свернуть к советским берегам: морская дорога вела из Европы, в Европе полыхала война, а всякий большой пожар разбрасывает опасные искры.

Дозор выпал беспокойный. Две ночи подряд тральщик наблюдал необычайное оживление в западной части Финского залива. Один за другим шли там на юг большие транспорты. Высоко поднятые над водой борта показывали, что они идут пустыми, оставив где-то свой груз, но торопливость, с которой они уходили, была подозрительной. Тральщик нагонял их, подходил вплотную, и на каждом из них был виден на корме наспех замазанный порт приписки — Штеттин, Гамбург, а сверху немецких — грубо намалеванные финские названия кораблей. С мостиков смотрели беспокойные лица немецких капитанов, а над ними на гафеле торопливо поднимался финский флаг. Странный маскарад...

Все это заставляло насторожиться. Поэтому к ночи тральщик снова повернул на запад, поближе к «большой дороге», и старший лейтенант, рассматривая с мостика горизонт, интересовался вовсе не красками белой ночи, а силуэтами встречных кораблей.

Очевидно, он что-то увидел, потому что, не отрывая глаз от бинокля, нащупал ручки машинного телеграфа и передвинул их на «самый полный». Тральщик в ответ задрожал всем своим небольшим, но ладно сбитым телом, и под форштевнем, шипя, встал высокий пенистый бурун.

— Право на борт,— сказал Новиков, не повышая голоса. На мостике все было рядом — компас, рулевой, штурманский столик с картами. И только два сигнальщика, сидевшие на разножках у рогатых стереотруб, были далеко друг от друга: они были на самых краях мостика, раскинувшегося над палубой от борта до борта,— два широко расставленных глаза корабля, охватывающие весь горизонт. Старший лейтенант наклонился над компасом, взял по нему направление на далекий транспорт и проложил этот пеленг на карте. Он наметил точку встречи и назвал рулевому новый курс.

На мостик поднялся старший политрук Костин — резкое увеличение хода вызвало его наверх, оторвав от позднего вечернего чая (который вернее было бы назвать ночным). Он тоже поднял бинокль к глазам и всмотрелся.

— Непонятный курс,— сказал он потом.— Идет прямо на берег... Куда это он целится? В бухту?

Он обернулся к командиру, но, увидев, что тот, шевеля губами, шагнул от компаса к штурманскому сто-

лику, замолчал. Не следует задавать вопросы человеку, который несет в голове пеленги: бормоча цифры, тот посмотрит на вас отсутствующим взглядом, еще пытаясь удержать в голове четвертушки градусов, потом отчаянно махнет рукой и скажет: «Ну вот... забыл...» — и вам будет неприятность. Поэтому старший политрук дождался, пока цифры не превратились в тонкие линии на карте, и тогда наклонился над маленьким кружком — местом тральщика в море. Командир провел на западе еще одну линию — курс замеченного транспорта. Она уперлась в восточный проход мимо банки с длинным названием — Эбатрудус-матала.

— Вот куда он идет. Понятно? — сказал он и выразительно взглянул на политрука.

Проход был в «ничьей воде». Он лежал далеко в стороне от большой дороги в Балтику, и транспорту, если он не терпит бедствия, решительно нечего было тут делать. На проход этот, узкий и длинный, был кратчайшим путем из прибрежной советской бухты в Финский залив. Второй выход из нее вел далеко на запад, в Балтику. Старший политрук понимающе кивнул головой и посмотрел на счетчик оборотов (стрелки их дрожали у предельной цифры), потом опять поднял бинокль.

— Пустой,— сказал он, вглядываясь,— наверное, опять из этих, перекрашенный... Продали они их финнам, что ли? И какого черта ему идти этим проходом, это же ему много дальше? — Он посмотрел на карту.— «Матала» — банка, а «Эбатрудус»? Знакомое что-то слово, и какая-то пакость... Забыл...

Старший политрук учился говорить по-эстонски и тренировался на всем: на вывесках, на встречных лайбах, на газетах и названиях маяков и банок. Он еще пошептал это слово, как бы подкидывая его на языке и беря на вкус, и неожиданно закончил:

— Надо догнать, командир. Ряженый. От него всего жди.

— Догоним,— ответил старший лейтенант. Он вновь взял пеленг на далекий силуэт и подправил курс.

Тральщик полным ходом шел к точке встречи. Легкий ветер, рожденный скоростью, шевелил на мостике ленточки на бескозырках сигнальщиков. Один из них не отрываясь смотрел на транспорт, второй, с левого борта, медленно обводил своей рогатой трубой гори-

зонт. На мостике молчали, выжидая сближения с транспортом. Потом старший политрук огорченно вздохнул.

— Нет, не вспомнить,— сказал он и достал потрепанный карманный словарик. Он полистал его (на мостике было совершенно светло) и радостно докончил: — Говорил я, что пакость! «Вероломство», вот что! Банка Вероломная, или Предательская, как хочешь.

— Никак не хочу,— сердито ответил командир, и оба опять замолчали, вглядываясь в транспорт. В бинокль он уже был виден в подробностях — большой и высокий. Гребной винт, взбивая пену, крутился близко от поверхности воды, как это бывает у незагруженного корабля. Транспорт упорно шел к проходу. Через час он мог быть там.

— Слева на траверзе три подводные лодки! Восемьдесят кабельтовых,— вдруг громко сказал сигнальщик на левом крыле.

Командир и политрук одновременно повернулись и вскинули бинокли. Много правее розового зарева низко на воде виднелись три узкие высокие рубки. Люди, очевидно, были в позиционном положении. Но сигнальщик торопливо поправился:

— Финские катера, товарищ старший лейтенант.— И добавил, оправдываясь: — Рубки очень похожие, а палуба низкая... Три шюцкоровских катера, курс зюйд.

Старший лейтенант пригнулся к компасу и быстро перешел к карте. Он прикинул на ней место катеров и задумался, постукивая карандашом по ладони. Старший политрук молчал: не надо мешать командиру принимать решение. Но, стоя рядом с командиром, Костин тоже оценивал обстановку и думал, как бы он сам поступил на его месте.

Обстановка была сложной: слева — военные катера чужой страны шли на юг к невидимой линии границы, справа — торговый транспорт, перекрашенный и под чужим флагом, шел к важному проходу в «ничьей воде». Тральщик мог повернуть или вправо, или влево, проследить одновременно действия подозрительных гостей он не мог. Давать радио о помощи было бесполезно, даже самолет запоздал бы к месту происшествия. Оставалось решать, куда важнее идти: к катерам или к транспорту?

Но катера были военные, и катера явно шли в наши территориальные воды. Следовательно, нужно было

гнаться именно за ними, а не за торговым кораблем в нейтральных водах. Додумав, Костин выжидательно посмотрел на командира.

Очевидно, и тот пришел к такому же решению, потому что скомандовал:

— Лево на борт, обратный курс... Держать на катера! Видите их?

— Вижу, товарищ старший лейтенант,— ответил рулевой, пригибаясь к штурвалу, как будто это помогало ему рассмотреть катера. Они были очень далеко, за дистанцией залпа, и для простого глаза казались низкими черточками на воде.

Тральщик, кренясь, круто покатился влево, а командир, смотря в бинокль, стал с той же скоростью поворачиваться вправо, не выпуская из глаз транспорт. Даже когда тральщик закончил поворот и пошел на катера, командир продолжал стоять к ним спиной.

— Не нравится мне этот транспортюга,— сказал он негромко, и в голосе его Костин уловил тревожные нотки.— Уж больно кстати катера подгадали, что-то вроде совместных действий... Как они там — не поворачивают?

— Идут к границе, далеко еще,— ответил Костин.— Думаешь, старый трюк откалывают?

— Обязательно,— сказал старший лейтенант.— Вот увидишь, сейчас повернут — и начнется петрушка... Плюнуть бы на них и жать полным ходом к транспорту... Да, черт его, как угадаешь?..

Трюк, о котором говорил Костин, был действительно уже устаревшим. Недели три назад сторожевой корабль так же ходил в дозоре и так же заметил два шюцкоровских катера, идущих к нашим берегам. Сторожевик пошел к сближению, и катера тотчас повернули вдоль линии границы. Но едва сторожевик, убедившись в этом, попробовал вернуться к своему району, катера опять пошли на юг, к нашим водам, вынуждая его гнаться за ними. Так, непереходя запретной линии, а только угрожая этим, катера оттянули сторожевик далеко на восток, а на западе меж тем проскочила к берегу шлюпка... Правда, привезенного ею гостя немедленно же словили пограничники, но задачу свою катера выполнили.

Обстановка и в этом случае была похожей: транспорт зачем-то пробирался в проход у Эбатрудус-матала, и катера явно отвлекали внимание дозорного тральщика. Некоторое время они шли еще прежним курсом к гра-

нице; потом, убедившись, что они обнаружены и что тральщик повернул на них, катера легли курсом ост и пошли вдоль границы.

— Так, все нормально,— сказал старший лейтенант, когда сигнальщик доложил об этом повороте.— Что же, проверим... Лево на борт, обратный курс!

Тральщик снова повернулся к транспорту. Тот уже был близко от прохода, и, чтобы тральщику застать его там, нужно было решиться теперь же прекратить преследование катеров и идти прямо к банке Эбатрудус. Старший лейтенант прикинул циркулем расстояние до прохода и поднял голову.

— Эбатрудус, Эбатрудус...— сказал он в раздумье, покачивая в пальцах циркуль.— Так, говоришь — Вероломная?

— Или Предательская, как хочешь,— повторил Костин.

— Это что в лоб, что по лбу... Название подходящее... Только что ему там делать? Шпионов на таких бандурах возить — дело мертвое... Хотя, впрочем, из-за борта на резиновой шлюпке спустить — и здравствуйте...

— А черт его знает,— медленно сказал Костин.— Ему и затопиться недолго. Потом скажет — извините, что так вышло, ах-ах, авария, нам самим неприятно, сплошные убытки, а дело сделано...

Война полыхала в Европе, а Европа была совсем близко. Перекрашенный корабль под чужим флагом мог и точно выкинуть любую пакость. А проход был узок, и транспорт, затонувший в нем как бы случайно, мог надолго закупорить для советских военных кораблей удобный стратегический выход. Догадка Костина была близка к правде, и за транспортом надо было глядеть в оба...

— Товарищ старший лейтенант, катера повернули на зюйд,— снова доложил сигнальщик.

Все разыгрывалось как по нотам: теперь тральщик вынуждался вновь идти к катерам, те снова отвернут на восток вдоль границы — и все начнется сначала. А тем временем перекрашенный транспорт выполнит ту диверсию, для которой, как вполне был убежден старший лейтенант, он и шел в проход.

Уверенность в том, что транспорт имеет особую тайную цель, была так сильна, что старший лейтенант твердо решил идти к угрожаемому проходу, не обращая более внимания на демонстративное поведение катеров.

Он сказал об этом Костину, добавив, что катера вряд ли рискнут на глазах у советского дозорного корабля войти в наши воды. Надо тотчас дать радио в штаб с извещением о появлении катеров, а самим следить за транспортом.

Радио дали, и тральщик продолжал идти к проходу у банки Эбатрудус. Маневрирование, к которому вынудили его катера, несколько изменило положение: теперь точка встречи с транспортом могла быть у самого прохода, а не перед ним. Но все же старший лейтенант надеялся, что, видя возле себя советский военный корабль, транспорт не осмелится ни затопиться, ни спустить шлюпку с диверсантами, ни принять на борт возвращающегося шпиона.

Однако и решив бросить катера, он то и дело оглядывался, следя за ними. Они упорно продолжали идти на юг. Направление на них показывало, что они все еще не дошли до запретной линии границы. Наконец, проложив очередной пеленг, старший лейтенант сказал:

— Дальше им некуда. Через три минуты повернут.

Но прошло и три минуты, и пять, а катера все еще продолжали идти курсом зюйд. Старший лейтенант тревожно наклонился над компасом: они были уже на милю южнее границы, и не заметить этого на катерах, конечно, не могли. Но они продолжали идти в кильватер головному, не уменьшая хода, и курс их нагло и открыто — на глазах у дозорного корабля — вел к советской воде, к советским берегам.

По всем инструкциям дозорной службы тральщик был теперь обязан преследовать катера. Но ясно было, что катера и транспорт действуют совместно, решая одну задачу. Откровенный и наглый переход границы должен был заставить тральщик все-таки кинуться за ними, бросив транспорт в проходе у банки Эбатрудус. Что он мог там сделать — было еще непонятно, но оба, и командир и политрук, были убеждены, что все дело сводилось к нему. Надо было быть возле него, чтобы помешать ему сделать то неизвестное, но опасное, что угадывалось, прощупывалось, чувствовалось в его настойчивом и странном стремлении к проходу.

Транспорт был уже хорошо виден. И тогда на гафеле его поднялся большой флаг.

— Товарищ старший лейтенант, транспорт поднял

германский торговый флаг,— тотчас доложил сигнальщик с правого борта, и командир вскинул бинокль.

Это был флаг дружественного государства, связанного с Советским Союзом пактом о ненападении, договорами и соглашениями. Торговый корабль этого дружественного государства шел в нейтральной воде, там, где он имел право ходить, как ему угодно. Он шел пустой, без груза, осматривать на нем было нечего, и задержать его для осмотра или предложить ему переменить в «ничьей воде» курс означало бы вызвать дипломатический конфликт. Отчетливо видный в ровном рассеянном свете белой ночи, льющемся со всех сторон высокого неба, флаг дружественной державы, поднятый на транспорте, резко менял обстановку. Оставалось одно: повернуть к военным кораблям, нарушившим границу.

Но старший лейтенант медлил.

Он продолжал смотреть на флаг, не опуская бинокля, и глаз его Костину не было видно — руки открывали только нижнюю часть лица. Губы командира дважды выразительно сжались, потом раскрылись, как будто он хотел что-то сказать, но вновь сомкнулись, и на щеке выскочил желвак: он плотно стиснул челюсти. Долгую минуту, которая Костину показалась часом, командир молчал. Потом он опустил бинокль и повернул лицо к своему заместителю — и тот поразился перемене, которая произошла в нем за эту минуту.

— Война,— сказал старший лейтенант негромко, не то вопросительно, не то утверждающе.

Над Европой полыхал пожар войны, ветер истории качнул языки пламени к Финскому заливу, сухой и грозный его жар вмиг иссушил это живое, почти мальчишеское лицо. Он стянул молодую кожу глубокой складкой у бровей, отнял у глаз их влажный юношеский блеск, сухими сделал полные губы. В такие минуты военные люди, как бы молоды они ни были, сразу становятся взрослыми.

Это веселое простое лицо молодого советского человека, привычное лицо командира и друга, было новым и незнакомым. Новыми были эта складка на лбу, крепко сжатые челюсти, странная бледность розовых щек,— или так играла на них белая ночь? — незнакомым был серьезный, какой-то слишком взрослый взгляд веселого и жизнерадостного командира, которого больше хотелось называть Колей, чем товарищем Новиковым или,

как полагается по службе, «товарищ старший лейтенант». И сразу тихая белая ночь, нежные краски воды и неба, последняя ночь привычного, надоевшего дозора, далекая база с друзьями, с семьей, театром и обычной воскресной поездкой за город — все исчезло, стерлось, заволоклось горячим и тревожным дыханием войны.

Транспорт надо было остановить или заставить отвернуть от прохода. Но он имел право не подчиниться сигналу. Тогда следовало дать по нему предупредительный выстрел. Этот выстрел мог быть первым из миллионов других.

— Отсалютовать флагом! — скомандовал старший лейтенант.— Лево на борт!

Он наклонился над картой и быстрым движением проложил курс на северо-восток — к катерам.

— Не уйдут,— сказал он Костину.— Мы их отрежем.

Транспорт, продолжая держать на гафеле флаг, уходил к банке Эбатрудус. Старший лейтенант проводил его долгим выразительным взглядом и потом надавил кнопку. Резкий звонок боевой тревоги прозвучал в тишине белой ночи. Тральщик увеличил ход, орудия его зашевелились.

Спокойно плыла над морем белая тихая ночь. Это была самая короткая ночь в году — ночь летнего солнцестояния. В эту ночь черные тяжелые бомбовозы уже несли по легкому, высокому и светлому небу большие бомбы, чтобы скинуть их на города Советской страны, мирно отдыхающие под воскресенье. В эту ночь фашистские танки уже шли к границе в военный поход на Советский Союз. В эту ночь фашизм рвал договоры и пакты, совершая никого уже не изумляющее новое предательство. В эту ночь — самую короткую ночь в году — история человечества вступала в новый период, который потом будут называть периодом восстановления прав человека на земном шаре, загаженном страшной, мрачной силой фашизма.

Катера заметили поворот советского тральщика. Они тотчас повернули на север и полным ходом стали уходить из территориальных вод, стараясь как можно скорее уйти на «ничью воду», где советский корабль уже не сможет их обстреливать.

На мостике тральщика была боевая тишина. Ровно гудели вентиляторы, низко рычало в дымовой трубе горячее бесцветное дыхание топок. И только один голос

звучал в этой тишине — дальномерщик каждые полминуты называл расстояние до катеров. Оно медленно, но неуклонно уменьшалось, но было еще слишком далеко для верного залпа. Носовое орудие, задрав до самого мостика ствол, пошевеливало им в стороны, как бы нюхая в воздухе след уходящих катеров.

Это была погоня — напряжение всех механизмов, молчаливое выжидание залпа, умный точный выигрыш на каждом градусе курса. Катера не могли полностью использовать свое превосходство в скорости: не рассчитав маневра, они слишком далеко спустились за линию границы. Теперь справа им мешали островки, и оставалось только уходить от островков под углом к курсу тральщика, а это означало, что раньше, чем они выйдут на «ничью воду», они сблизятся с тральщиком на дистанцию его артиллерийского залпа.

Видимо, на катерах поняли всю опасность этого сближения, потому что под кормой головного вырос белый бурун и остальные стали заметно отставать. Потом и у них за кормой показалась пышная пена — катера дали предельный ход. Его не могло надолго хватить, и весь вопрос был теперь в том, успеют ли они выскочить за невидимую роковую линию или до этого сблизятся с тральщиком.

Старший лейтенант, казалось, совсем забыл о транспорте. Теперь им владело одно стремление — догнать и атаковать катера, пока они находятся еще в наших водах. Он дважды до отказа передвинул рукоятки машинного телеграфа, и, очевидно, этот сигнал, требующий от людей и механизмов невозможного, был понят: тральщик дал ход, которого он до сих пор не знал. Дистанция снова начала уменьшаться.

Но все же она уменьшалась слишком медленно. Катера все ближе подходили к заветной грани. Через пять-шесть минут они будут на нейтральной воде, и пограничный конфликт опять перерастет в дипломатический, угрожающий войной. Не пойманный — не вор: уничтоженные в советских водах катера считались бы бандитами, уничтоженные в «ничьей воде» — они были бы военными кораблями, на которые напал первый советский военный корабль.

Старший лейтенант быстро перешел к карте, хотя она вся была у него в голове. Он наклонился над столом, но сбоку ему протянул листок шифровальщик.

— Товарищ старший лейтенант, экстренное радио по флоту.

— Старшему политруку дайте,— сказал он нетерпеливо.

Сейчас ему было не до телеграммы, даже если в ней сообщалось о вылете самолетов: катера уже были у «ничьей воды»... Нужно было немедленно выдумать что-то, что помогло бы их поймать. Он всматривался в карту, требуя от нее ответа, хотя отлично знал, что другого маневрирования не придумаешь. Если бы граница была хоть на две-три мили севернее!.. Тогда катера были бы вынуждены сами еще отклонить курс в сторону тральщика — острова прижали бы их на запад — и вошли бы в сферу его действительного огня. Но граница была там, где она была, и ничего нельзя было сделать...

— Уйдут,— сказал старший лейтенант сквозь зубы и с отчаянием повернулся к Костину.

Он хотел сказать ему, что попался на удочку, медля возле транспорта, что катера успели сделать свое дело у берегов и теперь безнаказанно уходят, но старший политрук молча протянул ему бланк радиограммы. Командир прочел, поднял на него глаза, снова прочел бланк, потом бережно сложил его вчетверо и спрятал в боковой карман кителя.

— Товарищ старший политрук,— сказал он официально,— объявите на мостике и по боевым постам. Первая задача — катера.

Солнце уже встало над морем, и вся таинственная невнятность белой ночи давно исчезла. Трезвая и ясная бежала за бортами вода, ясно и прозрачно было голубое небо. Блестела на мостике краска, и ярко трепетали на быстром ходу цветные флажки флюгарки. Начинался день, первый день войны, и в мыслях, во всем существе была та же ясность, трезвость и прозрачность.

Все стало на свое место: враг есть враг, и никакие дипломатические сложности, никакие условные линии границ, которых не видно на море, не стесняли более действий тральщика. Радиограмма была короткой. В ней сообщалось о нападении гитлеровской Германии на наши города и приказывалось атаковать противника при встрече.

Огромное спокойствие овладело Новиковым. Как будто лопнул где-то внутри давний старый нарыв, мучивший

и беспокоивший, стеснявший движение и мысль. Ему показалось, что эта белая невнятная ночь, транспорт, катера, неизвестность, что делать и за кем гнаться, были давным-давно, несколько лет назад. Он даже удивился, как это мог он так мучиться и колебаться. Теперь он неторопливо подошел к компасу, удобно пристроился к нему и стал ожидать терпеливо и спокойно, когда катера сделают вынужденный поворот и сами приблизятся к его курсу. Впереди было много воды, ясность и победа.

Так его и застал старший политрук, когда вернулся на мостик. Он сообщил, что краснофлотцы приняли сообщение именно так, как он и ожидал: спокойно, почти не удивляясь, не разменивая ненависть к врагу на крик и угрозы. Краснофлотцы просили передать командиру, что к бою с врагом Родины, революции и человечества они готовы.

— Про катера сказал? — спросил старший лейтенант.

— Про катера я не говорил,— негромко сказал Костин и наклонился к нему.— Ты малость погорячился, Николай Иванович. Ничего с ними не изменилось: Финляндия пока с нами не воюет. Она, может, только наших снарядов и ждет, чтобы поднять крик на весь мир.

Он сказал это мягко и осторожно. Так говорят другу о неожиданно постигшей его беде, так опытный врач сообщает больному о перемене к худшему. Он слишком хорошо знал своего командира (и просто Колю Новикова), чтобы не понимать, каким ударом будет для него это сообщение.

Старший лейтенант продолжал стоять у компаса в той же спокойной позе. Только карандаш в его руках, с которым он отошел сюда от карты,— карандаш, которым был проложен беспощадный курс, отрезающий катерам выход,— внезапно хрустнул. Ровный голос дальномерщика продолжал отсчитывать дистанцию. Она была близка к дистанции огня, еще пять минут — и можно было открывать огонь. Тральщик, дрожа, мчался вперед, носовое орудие по-прежнему нюхало след врага, но весь план боя рухнул.

Старший лейтенант поднял руку и выбросил обломки карандаша за борт. Потом он повернул пеленгатор на катера и прильнул к нему глазом. Сбоку Костин увидел этот пристальный, немигающий взгляд — и снова поразился: второй раз за эти немногие часы веселый молодой командир повзрослел еще на несколько лет.

— Ясно. Ушли. Право на борт, трал к постановке изготовить,— скомандовал старший лейтенант и поднял голову от пеленгатора. Он посмотрел на Костина, и где-то в глубине глаз тот на миг увидел прежний взгляд Коли Новикова, горячего, неукротимого парня, выдумщика и упрямца, человека смелых, но слишком быстрых поступков.

— Эх, и прижал бы я их к островкам, и раскатал бы как миленьких! — протянул он, покачивая сжатым кулаком.— Ведь что обидно, Кузьмич: на них те же немцы сидят, это как факт, все же теперь ясно... Да, я понимаю,— остановил он Костина,— я все понимаю... Предлагаю перейти к очередным делам. Пойдем посмотрим, что там эта гадюка наделала..

Он дал телеграфом уменьшение хода и повел Костина к карте.

Через полтора часа тральщик с заведенными фортралами подходил к проходу у банки Эбатрудус. Здесь не было никого — транспорт «дружественной державы» давно ушел в Балтику западным дальним проходом, и нагнать его не было возможности.

Был совершенный штиль, зеленая вода лежала ровно и гладко, и рябь не затуманивала ее прозрачной глубины. В ней отчетливо были видны красные буйки фортрала — они плыли над водой, как плотные, упитанные дельфины, изредка резвясь и вскидываясь к поверхности, но тотчас увлекаемые на нужную глубину оттяжками и рулями. Прочные тросы, проведенные к ним с форштевня, защищали тральщик от встречи с миной. Раздвигая перед собой воду, водоросли и минрепы, тральщик осторожно вошел в проход.

И в самом узком месте прохода из правого трала всплыла подсеченная им мина.

Освобожденная от удерживавшего ее на глубине минрепа, перебитого тралом, она с легким всплеском выскочила из воды и осталась на поверхности — первая мина новой большой войны. Финский залив, вдоволь наглотавшийся мин за годы первой мировой и гражданской войн, вновь почувствовал их надоедливый металлический вкус. И может быть, поэтому он так охотно и быстро выплюнул эту первую мину, едва трос, удерживавший ее в зеленой глубине, встретился с советским очистительным тралом. Она медленно кружилась на неподвижной воде, показывая свои длинные рожки — обна-

женные нервы, не терпящие прикосновения,— огромная черная круглая смерть.

Ее уничтожили, как гадюку, меткой пулеметной очередью. Зашипев, как гадюка, она медленно погрузилась и пошла на дно, выпустив темный дым из мерзкого своего существа. Пули, не вызывая взрыва, продырявили ее корпус — командир решил утопить ее без шума, чтобы не привлекать внимания.

Но вторая подняла этот нежелательный шум: правый трал неудачно задел ее рожок, и столб воды, дыма и металла встал рядом с тральщиком. Страшное сотрясение всего корпуса выбило из зажимов рубильники, в кочегарке и в машине потух свет. Рулевой повернул голову к старшему лейтенанту и, стараясь не повышать голоса, доложил, что рулевое управление вышло из строя, и потом отряхнулся от воды, упавшей с неба на мостик прохладным, свежим душем. Через минуту на мостике зазвонил телефон, из машины сообщили, что все нормально и что рубильник теперь зажат намертво, все должно работать — и руль, и приборы, и свет.

Тогда новый столб воды встал с левого борта, новый звуковой удар потряс людей — и второй красный упитанный дельфин всплыл рядом с бортом. Тральщик остался без фортралов.

Старший лейтенант застопорил машину.

Было неизвестно, на какую глубину поставил мины транспорт, так оправдавший название банки Эбатрудус. Предательское заграждение, выставленное торговым кораблем без объявления войны, несомненно, было рассчитано и на мелкосидящий тральщик, гнавшийся за транспортом. Поэтому продвижение вперед без фортрала было опасным. Заводить новые буйки, здесь, на заграждении, было бессмысленно: трал начинал работать при определенной скорости хода, а развивать эту скорость на минах было нельзя. Уйти задним ходом тоже нельзя было: струя винтов сама подтащила бы к корпусу тральщика покачивающиеся под водой мины.

Старший лейтенант в раздумье смотрел в воду. Спокойная и неподвижная, она была прозрачна. Он поднял голову и взглянул на Костина:

— Я думаю, проползем, если с умом взяться? Не ночевать же тут.

— Попробуем,— ответил Костин, поглядывая в во-

ду.— Все равно до самой смерти ничего особенного не будет.

Командир наклонился с мостика и объявил краснофлотцам, что надо делать.

Приготовились к худшему — достали спасательные средства, вывалили за борт шлюпки. На баке, по бортам, на корме встали наблюдатели. Дали воде совершенно успокоиться и восстановить свою прозрачность. И тогда старший лейтенант дал малый ход — несколько оборотов винтов — и тотчас застопорил машины.

Медленно, как бы ощупью, тральщик двинулся вперед. Напряженная, строгая тишина стояла на мостике, на палубе, в машине, в кочегарке. И в этой тишине раздался возглас наблюдателя с бака:

— Мина слева в пяти метрах, тянет под корабль!

Новиков и Костин перегнулись с левого крыла мостика.

Мина и точно была видна. Она стояла на небольшой глубине, дожидаясь прохода тральщика. И как ни медленно и ни осторожно он шел, увлекаемая им масса воды заставила мину дрогнуть на минрепе, качнуться и двинуться к борту тральщика.

Неторопливо поворачиваясь и как бы целясь своими рогами в борт, она подходила ближе.

Но этим рогам был нужен удар определенной силы — иначе мины рвались бы сами от удара волны, от наскочившей на них сдуру крупной рыбы. И на этом был построен весь расчет старшего лейтенанта: пройти медленно, по инерции, может быть и касаясь мин и их рогов, но касаясь осторожно, без удара.

И тральщик медленно шел вперед, и еще медленнее текло время. Страшной эстафетой — страшной в своей деловитости и спокойствии — шла вдоль борта к корме перекличка наблюдателей:

— Мина слева в трех метрах. Уходит под корабль.

— Мина у борта, плохо видно.

— Ушла под корабль у машинного отделения.

Томительно и грозно наступила большая пауза. Мина шла под дном корабля. Она шла медленно, вероятно поворачиваясь и царапая днище. Возможно, что колпаки не сомнутся. Но возможно и другое. Сделать больше ничего нельзя, надо ждать.

И на тральщике ждали. Краснофлотцы смотрели вниз: те, кто стоял на палубе,— в воду, те, кто был

внутри корабля,— на железный настил. И только двое, подняв головы, смотрели на небо: это были два сигнальщика, искавшие в голубой яркой высоте черную точку. Старший лейтенант был убежден, что вот-вот должен появиться фашистский самолет — транспорт наверняка сообщил по радио о преследовании его тральщиком.

О мине под днищем никаких сведений больше не поступало. Зато с бака опять раздался спокойный голос боцмана:

— Товарищ старший лейтенант, вторая. Справа в шести метрах.

— Докладывайте, как проходит,— сказал старший лейтенант, всматриваясь. С мостика она еще не была видна.

— На месте стоит, товарищ старший лейтенант. То есть мы стоим, хода нет.

— Так,— сказал старший лейтенант и повернулся к Костину.— Интересно, где первая? Может быть, уже под винтами... Рискнуть, что ли?

— На Волге шестами отпихиваются, а тут глубоко,— ответил тот.— Хочешь не хочешь, а крутануть винтами придется. Давай, благословясь.

Старший лейтенант передвинул ручки телеграфа, поймав себя на том, что старается сделать это осторожно, как будто от этого зависела сила удара винтов. В машине старшина-машинист переглянулся с инженером, и оба опять невольно посмотрели себе под ноги. Потом старшина приоткрыл стопорный клапан, и винты дали несколько оборотов. Стрелка телеграфа опять прыгнула на «стоп», и пар перекрыли.

Тральщик получил чуть заметный ход. Тогда сразу раздалось два одновременных возгласа:

— Вышла из-под днища на правом борту, всплывает!

— Справа мина проходит хорошо!

А с бака вперебивку раздался тонкий тенорок боцмана:

— Товарищ старший лейтенант, третья слева, в трех метрах, тянет под корабль!

— Спички у тебя есть, Николай Иванович? — вдруг спросил Костин.

Старший лейтенант покосился на него неодобрительно: никогда не курил, а тут... Он достал спички и нехотя протянул ему. Старший политрук аккуратно вынул две спички и положил их на стекло компаса.

— Две прошло,— пояснил он.— Запутаешься с ними, так вернее будет.

Командир засмеялся, и Костин увидел, что перед ним прежний Новиков — жизнерадостный, веселый, молодой. Глаза его блестели прежним озорным блеском, и тяжелая непривычная складка на лбу разошлась.

— А ведь вылезем, Кузьмич! Смотри, как ладно идет!

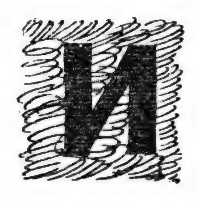
— Ты сплюнь,— посоветовал ему Костин.— Не кажи «гоп», пока не перескочишь... Неужто всю коробку на компас выложу? О четвертой докладывают.

Но коробки хватило. Через двадцать три минуты тральщик очутился на чистой воде, и Костин бережно собрал со стекла двенадцать спичек.

Тральщик весело развернулся на чистой воде, завел тралы и снова пошел на заграждение, освобождая от мин важный для флота проход у банки Эбатрудус. Солнце подымалось к зениту, наступал полдень первого дня войны и первого за последние полгода дня, который был короче предыдущего. Солнце повернуло на осень. Впереди были холодные дни, дожди, сырость, мрак — зима, ожидающая фашистские полчища. Впереди был бесславный конец начатой ими в этот день гибельной войны.

1941

Голубой шарф

стребители пошли на посадку. Над кабиной одного из них длинным вымпелом развевался голубой шарф. И мне вспомнились читанные в юности рыцарские романы. Так мчался в бой закованный в броню витязь, и тонкий, легкий шарф, повязанный на руке, вскинувшей меч, нес навстречу смерти или победе заветные цвета дамы сердца. Я усмехнулся этому романтическому видению. Шарф был как шарф: все летчики прикрывают шею скользящим шелком, чтобы не натереть ее до крови о воротник кителя или реглана. Очевидно, этому летчику пришлось порядком повертеть в бою головой.

Так оно и оказалось. Возвращаясь со штурмовки, звено было атаковано «мессершмиттами». Они были со всех сторон — и шарф на шее майора, командира эскадрильи, размотался. Майору удалось одного подбить, но в результате он уверен не был,— пришлось кинуться на выручку к Азарианцу. Гоняясь за вторым, майор обнаружил новый вражеский аэродром и теперь предложил командиру полка завтра же в рассветной мгле разгромить на нем немцев.

Самолеты поставили в надежные укрытия (здесь, под Одессой, аэродром был совсем рядом с фронтом), и мы пошли к блиндажу. Смеясь, я сказал майору о витязе и прекрасной даме. Он поднял на меня глаза, еще воспаленные ветром высот и боем, и улыбнулся. Теперь,

без шлема, лицо его, окруженное голубой пеной шарфа, показалось мне старше. Майору было, вероятно, за сорок.

За ужином говорили о последнем бое, и летчики подтвердили, что «мессер», подбитый майором, честно закопался в землю. Потом вспомнили размотавшийся шарф, и посыпались шутки.

— Он тебя когда-нибудь из кабины вытянет, как парашют,— сказал полковник.— И куда тебе целый отрез?

— Удобно,— ответил майор.— В нем голова, как в подшипнике, вращается.

— А Миронов у тебя с каким-то чулком летает. Разорви ты свой шарф пополам.

— Клятву не порвешь, товарищ полковник,— сказал майор полушутя-полусерьезно.— Я уж как-нибудь булавками подкалывать буду.

— Это ж амулет, товарищ полковник,— рассмеялся Миронов.— Майор с ним и спит, и воюет, и в баню ходит, надо ж понимать: старый летчик...

Вылет был назначен на пять утра, и летчики стали укладываться спать. Я лег рядом с майором. Устраиваясь, он и в самом деле бережно свернул шарф и подложил его под щеку.

На столе горела лампа, и порой пламя ее высоко вскидывалось из стекла, а за фанерной обшивкой землянки, шурша, осыпался песок: по аэродрому били из тяжелых орудий. Летчики, привыкнув к этой колыбельной, мирно спали, и кто-то могуче храпел, заглушая порой разрывы снарядов.

Шарф щекотал мне лицо. Казалось, от него исходил нежный, чуть уловимый аромат,— и воображение мое заработало. От шарфа тянуло юностью, тонкими девическими плечами, и показалось несомненным, что амулет этот дан летчику девушкой, полюбившей мужество и отвагу, врезанные в спокойных чертах его лица, как в мраморе.

Я приподнялся на локте. Майор дремал. Спокойное, усталое его лицо никак не лезло в придуманный мной сюжет. Это было нехитрое лицо воина, честного труженика авиации, вернувшегося из запаса в строй, и вряд ли оно могло внушить самой романтической девушке такое чувство. Вернее было другое. Я вспомнил, как за ужином он мельком сказал, что при переводе в этот полк

ему удалось заехать домой, где он никого не застал: город был под угрозой, и все уехали.

Я представил себе, как он вошел в брошенную квартиру, где все знакомо, все напоминает о близких сердцу людях, где все — стыло и пусто, все кинуто в горьком беспорядке торопливых сборов и где призраками стоят лишь воспоминания — о мирной жизни, о надеждах, о родной ласке и тепле, которых не найдешь или найдешь не скоро... Я увидел, как стоит он посредине комнаты, оглядывая ее, как сжимаются его губы, как, быть может, слезы ярости и тоски набегают на глаза и как молча он берет в руки первую попавшуюся вещь: голубой шарф, воздушно-легкий призрак былого.

Может быть, у меня родилось бы еще несколько вариантов, но майор пошевелился и открыл глаза.

— Вот ведь, черт, храпит,— сказал он, увидев, что я не сплю.— Хуже стрельбы, ей-богу... Силен...

Храпел Азарианц, утомленный боем. Порой, рявкнув с особой силой, он замолкал, как бы с удивлением прислушиваясь к самому себе. Но рвался рядом снаряд, Азарианц во сне отвечал ему рычанием потревоженного огромного зверя — и вся музыка начиналась сначала.

— Нет, не заснуть,— со вздохом сказал майор.— Покурим?

Мы закурили, и скоро потекла та негромкая беседа — голова к голове,— когда ни залпы, ни разрывы, ни храп соседа не мешают разобрать взволнованных слов.

В боях и в вечной к ним готовности военным людям некогда разговаривать друг с другом о своих чувствах. И чувства их, как жемчуг, оседают в душе сгустком плотным и драгоценным. Но сердце живет, и тоскует, и жаждет открыть не высказанные никому свои тайны. И вот в тихой беседе с гостем, случайным человеком, готовым слушать всю ночь,— в такой ли землянке под грохот снарядов, в окопе ли в ночь перед наступлением, в каюте ли идущего в бой корабля,— военные сердца раскрываются доверчиво и желанно. И такое увидишь порой в прекрасной их глубине, что и сам воин, и подвиги его освещаются новым светом. И завеса над тайной рождения отваги приподымается, и в меру познания своего ты понимаешь, что такое ненависть к врагу.

Мои романтические догадки оказались беднее, чем правда жизни и войны. Все было проще, страшнее и значительнее.

В начале войны майор дрался на Балтике. Придя из запаса, он был сразу назначен на охрану небольшого эстонского города. Город этот жил еще старыми представлениями о немцах, и никто в нем не верил всерьез, что они бомбят мирные города. Поэтому на чудесном его пляже с утра до вечера копошились голые тела, и сверху казалось, что море выплеснуло на песок розовато-желтую пену. Майор, барражируя над городом, охранял его отдых и его детей, ища в небе врага. Небо было синим и глубоким, море — теплым и ласковым, песок — горячим и золотым.

Это случилось в воскресенье 29 июня. Он увидел «юнкерс» слева над морем и ринулся к нему. Майору не повезло: фашистский стрелок пробил ему бак, и пришлось идти вниз. «Юнкерс» ускользнул, и майор увидел, как в городе встали черные грибы разрывов. Маленькие аккуратные домики тотчас задымились.

«Юнкерс» повернул к морю, спикировал на пляж — и розово-желтая пена человеческих тел хлынула в море. Из всех своих пулеметов он бил по голым детям, женщинам и подросткам. Они спасались в море, как будто вода могла прикрыть их от пуль. Они ныряли в нее, стараясь стать невидимыми. Но «юнкерс» сделал второй заход — и человеческая волна выплеснулась из моря и хлынула под защиту цветистых зонтов, палаток, навесов, оседая на песке крупными недвижными каплями.

Не помня себя от бешенства, майор бесполезно стрелял по черной удаляющейся точке. Мотор его наконец стал. Он опомнился.

Сесть теперь можно было только на пляж. Майор повел туда подбитую машину, но весь пляж был в трупах детей и женщин. Недвижимые, страшные в предельной беззащитности обнаженного человеческого тела, они лежали на песке. Наконец он нашел на краю пляжа место, свободное от них.

Он выскочил из кабины, шатаясь. Кровавый туман плыл в его глазах. Ничего не видя, ничего не понимая, он шел как потерянный, не зная куда, пока не споткнулся. Взглянув под ноги, он отпрянул.

Перед ним лежала обнаженная девушка, склонив на плечо голову. Солнце золотило ее нежную кожу и легкой тенью отмечало неразвившуюся грудь. Ниже груди кровавый тонкий поясок опускался к левому бедру — след быстрых, острых пуль, пронизавших насквозь жи-

вот. В откинутой руке был зажат легкий голубой шарф — единственная ее броня и защита, которой она пыталась прикрыться от пуль на бегу.

Он поднял его, осторожно разжав еще теплые тонкие пальцы. И так, держа этот шарф и смотря на пляж, усеянный детскими, девичьими и женскими телами, он дал себе молчаливую клятву.

Он не сказал мне ее. Но каждый, в ком бьется человеческое сердце, найдет ей слова, запоминающиеся на всю жизнь.

— Я сплю с ним, чтобы и во сне не забыть о ненависти,— сказал майор, приподымаясь.

Он развернул шарф. Пышная его бахрома была как бы обгрызена. Я вгляделся. Это были узлы: кисти бахромы были сплетены в змейки или связаны морскими кнопами — аккуратными плотными шариками. Кнопов было шесть, змеек — восемь. Продолжая говорить, майор начал плести новую змейку.

— Сегодняшний «мессер»,— сказал он без улыбки,— а кнопы — это бомбардировщики. Только вы нашим не рассказывайте, на смех подымут, вот, скажут, нашел майор игрушки...

Он помолчал, деловито сплетая шелковые нити, потом поднял голову. Лицо его меня поразило.

— Какие тут игрушки,— сказал он глухо.— Пока я все эти кисточки не заплету, все у меня перед глазами тот пляж будет... Не прошляпь я тогда с тем «юнкерсом»... Ну ладно, что в Москве нового?..

В пять ноль-ноль полк в полном составе вылетел на штормовку найденного майором аэродрома. Самолеты один за другим поднялись в темноту, и было удивительно, как сумели они там выстроиться за ведущим «ястребком», где был майор.

Часа через полтора самолеты так же один за другим садились на поле. Летчики, разгоряченные стремительным налетом, собирались в кучки, обмениваясь рассказами. Все сошло как нельзя лучше: майор точно вывел весь полк бреющим полетом из-за леска прямо на аэродром. Немцы не успели дать и залпа. В рассветной мгле все запылало, стало рваться, рушиться, гибнуть. Подняться не сумел ни один самолет. Вторым и третьим заходами только добивали уцелевшие машины. Всего насчитали девять бомбардировщиков и восемь истребителей.

Майора еще не было. Наконец показался и его самолет. Он шел опять с длинным вымпелом над кабиной и, видимо, без горючего. Майор кое-как дотянул до поля и сел. Мы побежали к нему. Голубой шарф свисал за борт кабины, и на нем алели пятна крови.

— Товарищ полковник,— сказал майор, не шевелясь.— Кажется, меня надо вынимать. Пустяки, в плечо... и в ноге что-то.

Пока бежали с носилками, он доложил полковнику, что после первого захода увидел на западе пять «мессеров» и пошел к ним навстречу (поскольку над аэродромом «все шло нормально») и все время отгонял их атаками, чтобы не дать помешать разгрому.

Тут его положили на носилки, и я заметил его встревоженный взгляд. Я поднял с земли шарф. Он протянул к нему здоровую руку.

Мы поцеловались.

— Теперь на всю поправку работы хватит,— сказал я ему негромко,— еще девять кнопов и восемь змеек.

Он улыбнулся мне, как ребенку, не знающему правил игры.

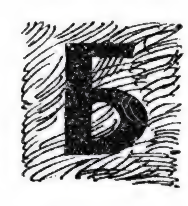
— Нет, то не мои... Это ребята били. Я одну змейку сплету: одного-то из тех пяти я все ж таки стукнул...

Носилки качнулись — и он вышел на время из боев, витязь-мститель, покрытый голубым шарфом, залитым его кровью, чистой и горячей, как и его ненависть.

1942

„Черная туча"

(из фронтовых записей)



ой ушел вперед.

Он гремел теперь далеко в степи, и сюда доносилось лишь приглушенное ворчание разрывающихся мин и снарядов. Над опустевшими окопами, вырытыми в агротехнической посадке вдоль ровной аллеи, легкий ветерок чуть шевелил деревья, вернее — огрызки деревьев.

Тонкие их стволы были срезаны, расщеплены или белели ранами сорванной коры, ветви — надломлены, обгрызены, посечены. Листья, пробитые и надорванные, преждевременно пожелтели. Изуродованная зелень молчаливо свидетельствовала о том, что́ вытерпели люди, укрывшиеся под ней в неглубоких своих окопах. Две недели свистел в этой рощице металлический вихрь, две недели рвались здесь мины, снаряды, авиабомбы, густыми роями летели пули — и когда-то высокие и пышные акации превратились в низкий общипанный кустарник.

Две недели бились здесь черноморские моряки, сошедшие с кораблей для смертного боя с фашизмом.

Это были два батальона Первого морского полка. В начале осады Одессы его сформировал и повел в бой командир Одесского военного порта полковник Осипов, старый моряк, матрос с «Рюрика» и «Гангута», который в гражданской войне бился в Первом кронштадтском экспедиционном отряде и командовал матросским отрядом

на Волге. Новый полк в первом же бою отбросил румын от ближних подступов к городу и захватил эту посадку у колхоза Ильичевка. Она была очень важна: во-первых, она закрывала врагу подход к высоте, выгодной для обстрела Одессы; во-вторых, отсюда в свое время, с прибытием подкреплений, командование рассчитывало начать новый удар.

Это отлично понимали и осаждающие. На два батальона моряков, державших посадку, румыны бросили целую дивизию — два пехотных и один артиллерийский полк. Посадка оказалась в фактическом окружении: спереди, сзади, слева и справа были румыны, и только высокая кукуруза, протянувшаяся к железнодорожному полотну, где оборонялась остальная часть полка, была единственной дорогой, по которой ночами подтаскивали морякам цинки с патронами, мины, пищу и воду. И по этой же кукурузе не раз пробирался к своим бойцам полковник Осипов, чтобы осмотреть позицию, распорядиться насчет отражения очередной атаки и, кстати, побеседовать по душам.

— Окружением маленьких пугают,— говорил он своим глуховатым негромким голосом, пережидая разрывы мин и снарядов.— Поглядите, как вы тут ладно устроились: посадочка-то ваша углом идет. Полезут румыны с тыла, внутрь угла попадут: будете их с двух сторон бить. Справа навалятся — левая посадка фланговым огнем их положит. Слева сунутся — правая так же будет во фланг косить. Ну, а если черт их понесет на самый уголок, тут у вас полная мощь огня, понятно?.. За такую посадку денежки платить можно. Ваше дело — не зевать, высматривать, откуда полезли. Крепче держитесь, товарищи, по-флотски держитесь!.. Скоро эту посадочку оставим, вперед пойдем. Не на мертвый же якорь тут стали!

И моряки держались. Ежедневными атаками враг пытался сломить их сопротивление. Две недели подряд одна за другой накатывались волны атакующих румын (в иную атаку до восьми волн) — и разбивались о твердость и мужество краснофлотцев, как о скалу.

Грудами трупов, наваленных друг на друга, эти волны так и застыли у окопов неопровержимым доказательством краснофлотского мужества и стойкости. Пули, остановившие их на бегу, были у них во лбу, в сердце, в груди — точные, прицельные пули спокойного морского

огня. Убитые лежали без оружия: оно попало в руки моряков, и солдаты, лежавшие сверху недвижной этой груды, были повалены пулями из румынских же автоматов и пулеметов, принесенных сюда накануне теми, кто лежал внизу.

Только полсотни шагов отделяло убитых от посадки. Так учил своих бойцов полковник Осипов:

— Не нервничай, ближе подпускай. Они в атаке орут, поливают из автоматов, на психику берут, вон как вчера шагали — в восемь рядов, с музыкой и иконами: нам, мол, все нипочем!.. А вы их тоже на психику берите: топай, мол, топай, а я обожду, когда у тебя гайки начнут отдаваться... Молчите и поджидайте. Пусть на предыдущих ораторов полюбуются: тоже на мораль действует, экое кладбище навалено!.. Вот когда так подойдут, что их карточки рассмотришь, когда глаза их увидишь, а в них страх,— тогда и бей в лоб. Веселее будет: одного повалишь, десять сами назад побегут...

И сидели моряки под срезанными начисто ветками, часами выдерживая бешеный минометный и артиллерийский огонь, предвестник атаки, сидели и под диким ливнем автоматического огня наступающих румын. Сидели, «не нервничая», молча давая атакующим дойти до груды трупов и понять, что тут — смертный рубеж, которого не перейти, что так же, как сегодня, шли на эту посадку вчера, и позавчера, и неделю назад другие роты и батальоны. И небритые лица румын, уже перекошенные страхом подневольной атаки, впрямь искажались ужасом перед грозным молчанием морских окопов, таящим смерть, перед выдержкой и мужеством «черных комиссаров».

«Черные комиссары», «черная туча», «черные дьяволы» — так прозвали румыны краснофлотцев морских полков. Моряки пошли с кораблей в бой в чем были — в черных брюках и бушлатах, в черных бескозырках. Такими они и запомнились румынам при первых встречах, когда, подпустив их вплотную к окопам, моряки встретили их яростным и точным огнем, когда, словно вой шторма, пронеслись по полю и свист, и крик, и издевательское улюлюкание, когда черные высокие фигуры замелькали в зелени посадки в бешеной контратаке и нельзя было ни автоматами, ни пулеметами остановить их неудержимый бег, когда внезапной угрозой вставали над желтой кукурузой черные бескозырки и могучие

руки в черных рукавах бушлата заносили над грудью острый и быстрый штык...

С первых этих встреч многое изменилось во внешнем виде морской пехоты: краснофлотцев переодели в защитную форму. Но часто, взлетая на бруствер окопа, словно на трап по тревоге, быстрым морским прыжком, моряки вытаскивали откуда-то из-за пазухи флотскую бескозырку, и черные фуражки опять мелькали в кукурузе наводящим ужас видением «черной тучи» — нетерпеливой, грозной силы, устремленной лишь к одному: разбить и уничтожить врага.

Такими запомнили моряков румыны. Нам же, кто видел и помнит прежние бои за революцию, знакомо и это мелькание бескозырок в зелени кустов, знакомы и ленточки, развевающиеся в атаке. Как будто вставали из боевых своих братских могил матросы, дравшиеся и в степи, и в лесу, и на конях, и на бронепоездах, везде, куда посылали их революционный народ и партия; как будто воскресло орлиное племя матросов революции: тот же дух, то же боевое упорство, натиск и смелость, то же презрение к смерти, веселость в бою и ненависть к врагам. Пусть эти, новые, моложе, пусть за плечами у них нет долгих лет царской службы, школы ярости и гнева, но это — одно племя, одна кровь, одна мужественная семья моряков, какие бы имена кораблей ни сверкали на их ленточках и с какого бы моря ни сошли они на сушу бить врага — с Черного ли, с Балтийского ли, с Тихого или с Ледовитого океанов.

На берегу они сохраняют в своих бригадах и полках ту же сплоченность и боевую дружбу, которая рождается только кораблем. Корабль, где люди живут, учатся, спят, бьются в бою и гибнут рядом — локоть к локтю, сердце с сердцем, необыкновенно сближает людей, связывает их прочной личной привязанностью и создает из них монолитный коллектив.

И это свойство моряков — быть в коллективе, гордиться именем своего батальона, как именем корабля,— сказывается и в окопе, и в атаке, и в разведке. Разные люди с разных кораблей сошлись в батальоне, но, глядишь, через недельку этот окоп или блиндаж напоминает кубрик. Уже появились ласково-грубоватые прозвища, уже летают свои, понятные только здесь шутки. Уже всем известно, что Васильев с «Червонной Украины» — спец по ночной разведке, а Петров с «Беспощад-

ного» — отличный снайпер, что старшина роты, комендор с «Ворошилова», человек очень горячий и что в атаке за ним надо присматривать и в случае чего выручать: того и гляди, полезет один против десяти и погибнет зря из-за своего характера. Уже все знают, что нет в полку лучшего минометчика, чем Иванов с тральщика — не тот Иванов из авиабригады, который пристрелил мотоциклиста и рванул дальше на его машине, и не тот Иванов с канлодки, что пошел ночью в кукурузу оправиться, а вернулся с двумя румынами: напоролся на разведчиков, одного стукнул по голове, другой же сам лапки кверху,— а тот Иванов, у которого усы и который играет на баяне...

И каждый из моряков с восхищением и почтительной завистью к отваге будет целый час рассказывать вам о своем полковнике, о его шутках, о его личных подвигах, о его легендарной машине, пробитой осколками и прошитой пулеметными очередями, на которой он подлетает к окопам, словно на катере к парадному трапу. С любовью, как о близком друге, расскажут вам моряки о военкоме полка Владимире Митракове, о том, как видели его всегда рядом с собой в самых опасных местах, как обучал он моряков стрельбе из трофейных автоматов, как пробирался он к окруженным подразделениям, неся с собой волю к победе, веселую шутку и дружеское, теплое слово, и как провожали его, раненного, в тыл, как ждут его обратно — всем полком — и какую встречу ему готовят.

Посидите с моряками вечерок в окопе — и вся жизнь нового коллектива, этого корабля на суше, встанет перед вами во всей ее суровой и веселой простоте, в шутках и подначках, в уважительных отзывах о храбрейших, в мужественной скорби по погибшим товарищам, и во всяком взводе увидите вы неразлучных друзей, из которых каждый отдаст жизнь за нового своего друга, «корешка» или «годка»...

И если в такой коллектив попадает молодой человек, не видевший ранее ни корабля, ни моря, он впитывает в себя этот мужественный дух, традиции и боевые навыки, эту присущую морякам гордость за свой корабль (или батальон) и желание сделать его лучшим, красивейшим, храбрейшим. Молодого человека смущает, что не может он, подобно товарищам, надеть в бой драгоценную ленточку с именем своего корабля, что в беседах

между атаками никак не назвать ему тех, с кем он плавал, кто командовал его кораблем, кто был на нем комиссаром. Но тем более хочется ему доказать этим особенным людям, понимающим друг друга с полуслова, полужеста, что и он достоин войти в их тесную и смелую семью. И он идет в бой впереди других, уходит в опасную разведку, кидается один на десяток врагов. Он хочет завоевать право не опускать глаз перед этими мужественными, простыми и веселыми друзьями-моряками.

Так получилось и с молодым севастопольским пареньком Юрием Меем. В Третий морской полк, формировавшийся в Севастополе, он пришел добровольцем, не служив еще на флоте. В конце сентября крейсер с десантом подошел ночью к Одессе; моряки в темноте погрузились на баркасы и погребли к берегу, в тыл румынам. Вместе с остальными Мей спрыгнул по грудь в холодную воду и так же, как остальные, не почувствовал холода (моряки потом говорили: «Холодная вода, понятно... Но очень тогда азартно было, не замечали...»). В темноте взвод его ворвался в прибрежную деревню, напоролся там на тяжелые орудия, перестрелял и переколол немецких артиллеристов. Так провел Мей ночь, день и еще ночь в яростном бою — в первом своем бою.

Удар десантного полка во фланг румынам в сочетании с лобовой атакой батальонов Первого морского полка (покинувших наконец для этого свою знаменитую посадку у Ильичевки) отбросил врагов на несколько километров. Моряки заняли новые позиции, расположившись в недавних румынских окопах, повернув их фронт к врагу. Напор моряков освободил Одессу и порт от обстрела тяжелой немецкой батареей. Орудия были отправлены в город, и каждую пушку провезли по улицам с выразительной надписью, выведенной белой краской на черном длинном стволе: «Она стреляла по Одессе, больше не будет».

Немецко-румынские фашисты решили вернуть потерянные ими выгодные позиции. Удар за ударом, атака за атакой, тысячи мин и снарядов посыпались на Третий полк. Враги пытались подавить его сопротивление количеством: утром 29 сентября на окопы, где был один третий батальон этого молодого полка, двинулось до полутора тысяч румын.

Автоматчики их еще в темноте подкрались к окопам на семьдесят метров и с началом атаки открыли огонь, держа моряков в земле и не давая поднять головы. Моряки, как обычно, подпустили атакующих поближе и скосили первую волну. Трое краснофлотцев — Димитриенко, Вчерашний и Лисьев — выскочили из окопов, закололи автоматчиков в кукурузе и их же оружием стали бить во фланг следующей цепи румын, пошедшей в атаку.

В окопе сперва не заметили, что вслед за этими тремя выскочил и Мей. Он залег с винтовкой в кукурузе, стреляя вдоль румынской цепи. На него, прячась за копнами, пошло до шестидесяти румын со станковым пулеметом. Мей поднялся во весь рост, швырнул две гранаты, отбил пулемет. Он быстро повернул его и погнал им все шесть десятков солдат назад. Увлекшись этим, Мей перетаскивал пулемет все дальше и дальше вперед, кося им откатывающихся румын... И хорошо, что командир роты заметил это и выслал к Мею еще семерых моряков, иначе он был бы отрезан от своих.

Так доброволец Юрий Мей вошел в боевую семью Третьего морского полка, и никто уже больше не спрашивал его с дружеской насмешкой, с какого он корабля и какой специальности, и представили мне его так: «который с чужим пулеметом в отдельном плаванье был»...

В этом же бою произошло то, что командир батальона старший лейтенант Торбан, смеясь, назвал «стихийной контратакой».

Батальон отражал одну атаку за другой. Сильный автоматный огонь сменялся минометным, потом снова надвигались цепи румын. Поднять людей в контратаку под этим огнем, прижимавшим к земле, Торбану казалось делом трудным, и он медлил, выжидая хоть какой-нибудь передышки. Но далеко от командного пункта, в девятой роте, командир отделения Вялов, пригибая голову под роем свистящих пуль, повернулся к командиру роты Степанову:

— А что, товарищ лейтенант, если самим на них кинуться?.. Прямо же терпения никакого нет, до чего хлещет... Может, ударить — драпанут?

И в огонь, которого, казалось бы, не могут выдержать человеческие нервы, выскочили из окопа во весь рост сразу трое: Вялов, Степанов и услышавший этот

разговор пулеметчик с канлодки Соболев. За ними, как один человек, тотчас кинулась вперед вся девятая рота. Увидев это, поднялась и соседняя — седьмая. За ней — первая. Боевой порыв шквалом поднял моряков и в соседнем, втором батальоне. «Черная туча» ринулась на атакующих румын и, спотыкаясь о вражеские трупы, наваленные перед окопами, покатилась неудержимой страшной лавиной. Румыны дрогнули и побежали назад...

— Ну и дали они ходу — узлов на тридцать! — рассказывал потом лейтенант Степанов, оживленно взмахивая веревочными вожжами (он взялся самолично доставить меня в соседний Первый морской полк на скрипучей мажаре, запряженной парой отбитых у румын коней).— Попрыгали сперва в свои окопы, а мы сбоку налетели, перекололи порядком, кто не поспел выскочить. Остальных гнали, гнали, восемь километров гнали, пока краснофлотцы не притомились... Тпру, черт!.. Извините, правый мотор отказал,— перебил он себя и спрыгнул с мажары, чтобы освободить заднюю ногу лошади от вожжи: лейтенант до зачисления в полк командовал торпедным катером.

Этот бой дал огромное количество трофеев: две тяжелые немецкие батареи, державшие порт и город под обстрелом, автоматы, пулеметы, винтовки, минометы, танки, зенитки... В новых окопах у каждого моряка Первого и Третьего полков рядом с родной трехлинейкой лежал теперь заработанный в бою автомат или пулемет, выставив из зелени посадки свой черный ствол и поджидая бывших хозяев. В Первом полку, куда привез меня Степанов, полковник Осипов как раз и уточнял количество трофеев.

— Да это я слышал, сколько вы сдали в трофейную комиссию. Вы мне скажите, сколько себе оставили? — добивался он от майора, командира первого батальона.

Майор конфузливо отводил глаза и убедительно прижимал руку к груди.

— Да самую малость, товарищ полковник, пустяки...

— Ну все-таки? Не отниму же я у вас!

— Как сказать... прошлый раз шестнадцать автоматов во второй батальон взяли?..

— Взял, потому что те только на минометы напоролись... Вам же три их миномета прислал. Ну, начистоту — сколько?

Майор томился. Полковник Осипов оглядел посадку. В зелени стояло штук тридцать трофейных ящиков с минами. Он открыл крышку первого. Но там вместо мин оказалась белая пышная курица, в другом — кролик. Он, моргая, смотрел на полковника, и тот рассмеялся. Рассмеялся и майор, а за ним засмеялись и краснофлотцы — пыльные, перемазанные землей (они подправляли румынские окопы).

— Румынское хозяйство,— пояснил майор.— Двенадцать кроликов, четырнадцать кур и один петух... Тоже прикажете в комиссию сдать, товарищ полковник?

За трофейной яичницей в бывшем офицерском блиндаже, когда разговор пошел неофициальный, майор наконец признался, что в батальоне насыщенность автоматным и пулеметным огнем, по его мнению, теперь достаточная и что штук двадцать можно передать молодому Третьему полку. Полковник Осипов усмехнулся.

— Ну, то-то... Только им не надо: они сами нам тридцать штук предлагают... Смотри, майор: морячки пришли что надо, как бы нашему полку не отстать...

Так показал себя в первом же восьмисуточном бою Третий морской полк, только что сформированный из краснофлотцев, впервые сошедших с кораблей в десант. В непривычной обстановке, не умея еще как надо применяться к местности, окапываться, вести разведку, держать связь, моряки показали образцы боевого напора, смелости и инициативы. Вперед, только вперед — вот лозунг, с которым они ринулись в бой.

И моряки шли вперед «черной тучей», сметающей сопротивление, сеющей ужас и панику, шли, сшибая мотоциклистов и мчась дальше на их же машинах, сшибая кавалеристов и громоздясь на трофейных коней. Дважды, трижды раненные, моряки не выходили из боя. Падали товарищи рядом — остальные шли вперед, горя местью, горя давней матросской яростью. К упавшим подползали санитары и под огнем вытаскивали раненых. Оставшиеся на ногах шли вперед, в неизвестные и непонятные рощицы, посадки, в заросли кукурузы, в сожженные и разграбленные деревни, шли, окруженные врагами, в самую гущу которых с фланга ворвалась с моря эта «черная туча»...

Так две ночи и день шел через расположение врага Третий морской полк, пока не вышел на соединение с

частями Приморской армии и с Первым морским полком полковника Осипова. Красноармейцы, увидев в кукурузе запыленные и обожженные боем черные фигуры, встретили их радостными криками: «Ура! Моряки!..»

С осиповцами встреча вышла более любопытной.

Трое разведчиков Третьего полка, пробираясь на второй день по кукурузе, заметили в ней шевеление. Они присмотрелись — и увидели шесть человек в камуфлированных плащ-палатках. Румынские автоматы торчали из-под вражеского этого одеяния. Разведчики шепотом посоветовались: шестеро, а может, там еще кто притаился?.. Но проверить надо, на то и разведка.

Моряки, наклонив штыки, выскочили из кукурузы и кинулись через прогалину во весь рост.

— Сдавайтесь, руманешти! Моряки идут!.. Матрозен, матрозен!..

Из кукурузы охотно выскочила фигура в румынской плащ-палатке. Она кинула автомат и раскрыла руки, как для объятья. Моряки на бегу переглянулись: сдается, факт!.. И вдруг «румын» закричал на русском языке:

— Славному Третьему морскому полку ура!

И кукуруза подхватила «ура», и из-за шуршащих стеблей выскочили еще люди в румынских плащах, и трудно было понять, кто кого «брал в плен», так переплелись дружеские объятия. Связь между двумя полками морской пехоты, разделенными врагом, была установлена.

Когда первый восторг встречи улегся, моряки Первого полка спросили:

— Чего же вы, орлы, на нас кинулись? Ох и напугали, вот напугали...

— А черт вас догадал так обрядиться,— недовольно сказали моряки Третьего полка.— Мы же вас вполне пострелять могли. Хорошо, что на штык вас решили взять, а то бы подырявили пулями...

— Да мы вас уже полчаса в кукурузе рассматриваем,— ответили «старички»-осиповцы.— Бушлатики, товарищи, поснимать придется. Война здесь другая... А что втроем в атаку кидаетесь — это по-нашему, по-осиповски. Значит — сдружимся.

И через несколько дней краснофлотцы Третьего морского полка научились и окапываться поглубже, и в разведку незаметно ходить, и прикрывать черную матрос-

скую робу защитной гимнастеркой или плащом. Одному не изменили новые бойцы: верности флотским традициям, идущим от «Потемкина», от штурма Зимнего дворца, от давних боев на Урале, Перекопе, Волге и Донбассе,— мужеству, напору, верности Родине, готовности быть всегда и всюду первыми.

И грозное слово «черная туча», родившееся в исторической обороне Одессы, где на каждого советского воина приходилось не менее шести врагов, пошло гулять по фронтам Отечественной войны всюду, где навстречу врагу появлялись яростные и гневные полки морской пехоты.

1941

Соловей



На фронте под Одессой работал отряд разведчиков-моряков. По ночам они пробирались в тыл румынам, проползая на животе между минными полями, переходя по грудь в воде осеннего лимана, забираясь на шлюпке далеко за линию фронта. Они снимали часовых ударом штыка или кинжала, забрасывали гранатами хаты со штабами, сидели под обстрелом своих же батарей, корректируя огонь,— неуловимые, смелые, быстрые, «черные дьяволы», «черные комиссары», как с ужасом звали их румыны.

Среди них был электрик с миноносца «Фрунзе», красивый и статный моряк с гордыми усиками, которого за эти усики и за любовь к кавалерийским штанам прозвали «гусаром». Галифе, армейские гимнастерки и пилотки были вызваны необходимостью: не очень-то ловко ползать по болотам в широких морских штанах и флотских ботинках. Разведчики изменили морской форме, но «морская душа» — полосатая тельняшка — свято сохранялась на теле и синела сквозь ворот неоспоримым доказательством принадлежности к флоту, и на пилотке под звездочкой гордо поблескивал якорек.

В жаркий пыльный день шестеро разведчиков шли через Одессу из бани. Пить хотелось нестерпимо. Но пить в городе хотелось всем, и у ларьков толпились очереди. Моряки со вздохом прошли три ларька, поглядывая на

часы. Стать в очередь у них не хватало времени. Внезапно им повезло: с неба раздался характерный жужжащий вой мины. Это было на краю города, куда мины порой залетали, и звук их — противный, ноющий, длинный — был хорошо знаком одесситам. Очередь распалась, люди побежали от ларька под защиту каменных стен домов.

Но мина не взорвалась. Она проныла свою скверную песню и бесследно пропала. Зато у освободившегося ларька, откуда привычный ко всему продавец так и не ушел, уже стоял «гусар» и с наслаждением тянул содовую воду, приглашая остальных моряков.

Оказалось, что «гусар» был одарен необыкновенной способностью к звукоподражанию. Из его розовых полных губ вылетали самые неожиданные звуки: свист снаряда, клохтанье курицы, визг пилы, вой мины, щелканье соловья, шипение гранаты, лай щенка, отдаленный гул самолета. И способности эти, едва они обнаружились, были немедленно обращены на пользу дела.

«Гусара» объявили «флагманским сигнальщиком», разработали целый код и понесли его на утверждение командиру. Клохтанье курицы означало, что у хаты замечен часовой, кряк утки — что часовых двое. Пулеметчик, замаскированный в кустах, вызывал жалобный посвист иволги. Место сбора ночью после налета на румын определялось долгим пением соловья, который с упоением артиста самозабвенно щелкал в кустах или у шлюпки.

Вечерами, когда разведчики отдыхали после опасного рейда, «гусар» устраивал в хате концерт. Моряки лежали на охапках сена, и он, закинув руки за голову, свистел.

В темной хате, где свежо и тонко пахло сеном, он свистел чисто и сильно, и верный, прозрачный его свист, которому аккомпанировали глухие, непрерывные гулы своих и чужих орудий и взрывов (постоянная симфония осажденной Одессы), звучал далекой мечтой о мирной, спокойной жизни, о ярком свете на улицах и в залах, о белых нарядных платьях и чистых руках, о забытом, утерянном спокойствии, уюте и доме. Моряки слушали молча, и, когда замирал последний, утончающийся и переходящий в хорошую, умную тишину звук, гигант-комендор тем глухим урчанием, которое иногда слышишь в могучей дымовой трубе линейного корабля, негромко басил:

— Ще давай... Гарно свистишь.

И моряки лежали на сене и думали о войне, судьбе

и победе и о том, что будет еще — непременно будет! — жизнь с такой же тишиной и с мечтательной песней. И орудия за стенами хаты извергали металл и крошили тех, кто ворвался в нашу мирную жизнь.

В очередном походе в румынский тыл «гусар» остался в шлюпке в камышах — охранять это единственное средство возвращения к своим и, как обычно, быть «флагманским сигнальщиком». Ночью моряки натворили дел в тылу, сняли два пулемета, взорвали хату с румынским штабом и к шести утра возвращались к шлюпке. Крадучись, они подходили к камышам. Одного несли на руках — его ранило разрывной пулей в бедро, двоих товарищей недосчитывались. В камышах все прилегли отдохнуть и стали слушать ночь, чтобы определить, где находится шлюпка.

В ночи пел соловей. Он щелкал и свистел, но трели его были затруднены и пение прерывисто. Порой он замолкал. Потом пение возобновлялось, но такая тоска и тревога были в нем, что моряки оставили тяжелое тело раненого под охраной и кинулись на свист соловья.

«Гусар» лежал в шлюпке навзничь. В темноте не было видно его лица, но грудь его была в липкой крови. Автомат валялся на дне, все диски были пусты. В камышах моряки наткнулись на трупы румын. Очевидно, они обнаружили днем шлюпку, и здесь был неравный бой.

«Гусар» не узнавал родных голосов. Он лежал на спине и хрипел тяжко и трудно. Потом он набирался сил, и тонкий свист вылетал из-под его усиков сквозь непослушные, холодеющие губы. Не видя, не сознавая, что те, кому он должен был дать спасительный сигнал, уже вернулись к шлюпке, он продолжал свистеть. Он свистел даже тогда, когда все сели в шлюпку и, осторожно опустив весла, пошли по тихому темному морю.

И соловей — птица кустов и деревьев — пел и щелкал над морем. В шлюпке молчали, и только иногда шумно и долго вздыхал огромный комендор, лежавший рядом с «гусаром». «Гусар» все свистел, замирая, отдыхая, трудно втягивая воздух. Он все свистел, и небо над морем стало розоветь, и щелканье соловья перешло в мелодию. Оборванная, изуродованная, как и его тело, она металась над светлеющим морем, и моряки, прислушиваясь к ней, гребли яростно и быстро.

1941

Парикмахер Леонард



то был волшебный мастер бритья и перманента, юный одесский Фигаро. Впервые я увидел его на одной из морских береговых батарей, куда он приезжал на трамвае (так в Одессе ездили на фронт). Он приезжал сюда три раза в неделю по наряду горсовета — живой подарок краснофлотцам, веселый праздник гигиены.

В кустах возле орудия номер два поставили зеркало и столик, батарейцы сгрудились вокруг, нетерпеливо дожидаясь очереди и заранее гладя подбородки. Пощелкивая ножницами, как кастаньетами, он пел, мурлыкал, острил, гибкие его пальцы играли блестящими инструментами, и порой, когда обе руки были заняты пульверизатором, он швырял гребенку на верхнюю губу и зажимал ее носом. Бритва так и летала в его ловких пальцах, угрожая носу или уху быстрыми взмахами,— и очередной клиент с опаской водил глазами по зеркалу, следя за ее сверкающим полетом. Но остроты и песни никак не мешали работе, и бритва скользила по щекам, обходя все возвышенности и Леонард сдергивал салфетку с видом фокусника.

— Гарантия на две недели, брюнетам на полторы! Кто следующий?

Сев на стул, я невольно залюбовался в зеркале его пальцами. Тонкие и гибкие, они нежно прощупывали пря-

ди волос, безошибочно отбирая то, что нужно снять. Каждый палец его, бледный и изящный, жил, казалось, своей осмысленной, умной жизнью, подхватывая кольцо ножниц, зажимая гребенку или выбивая трель на машинке, в неустанном движении, в веселой шаловливости, в постоянном следовании за песенкой, сопровождавшей работу.

Не удержавшись, я сказал:

— С такими пальцами и слухом вам бы на скрипке играть.

Он посмотрел на меня в зеркало и хитро подмигнул.

— Хорошая прическа — тоже небольшая соната. Скажете — нет?

Мы разговорились. Большие черные его глаза стали мечтательными. Он рассказывал о своем профессоре, который называет его «моложавым дарованием», о скрипке, о том, что, когда кончится война, он пойдет в техникум и бросит перманент, из-за которого его зовут Леонардом, хотя он просто Лев. Он говорил о музыке, о любимых своих вещах. Пальцы его, как бы вслушиваясь, перестали балаганить. Выразительные и беглые, они держали теперь гребенку цепко и властно, как гриф скрипки.

Приведя в порядок всех желающих, он достал скрипку, которую неизменно привозил с собой на батарею, и краснофлотцы вновь обступили его. Видимо, эти концерты после бритья стали на батарее традицией.

Южное осеннее солнце сияло на тугих молодых щеках, выбритых до блеска, просторное море манило к себе сквозь зелень кустов, и огромное тело орудия номер два, вытянув длинный хобот, молчаливо вслушивалось в певучие украинские песни, в жемчужную россыпь Сарасате, в мягкие вздохи мендельсоновского концерта. Леонард играл, смотря перед собой через орудие и кусты на море, вторя невидимому оркестру и изредка напоминая о нем звучным, верным голосом. И казалось, что он видит себя на большой эстраде, среди волнующегося леса смычков и воинственной меди труб. Очередной румынский снаряд, рванувшийся за кустами, оборвал концерт. Леонард со вздохом опустил скрипку.

— Опять пьяный литаврист уронил палку. Им нужен строгий дирижер. Скажете — нет?

Вторично я встретил Леонарда в госпитале. Он лежал, закрытый до подбородка одеялом, и черные влажные его глаза были грустны. Я узнал его и поздоро-

вался. Он кивнул мне и попытался пошутить. Шутка не вышла. В коридоре я спросил врача, что с ним.

Была тревога. Все из парикмахерской кинулись в убежище. Оно было под пятью этажами большого дома. Бомба упала на крышу, и дом, сложенный из одесского хрупкого известняка, рухнул. Убежище было завалено.

В нем была темнота и душный, набитый пылью воздух. Никого не убило, но люди кинулись искать выхода. Закричали женщины, заплакали дети. И тогда раздался звучный голос Леонарда:

— Тихо, ша! В чем дело? Ну, маленькая тревога «у-бе» — «уже бомбили»!.. Больше же ничего не будет... Тихо, я говорю! Я у отдушины, не мешайте мне держать связь с внешним миром!

В убежище притихли и успокоились. Леонард заговорил в отдушину, и все слышали, как он подозвал кого-то — видимо, из тех, кто кинулся к развалинам, назвал адрес дома («бывший адрес»,— сказал он), вызвал помощь и пожарных. Один у своей отдушины, не уступая никому этого командного пункта, он распоряжался, советовал, как лучше подобраться к нему. Он спрашивал, как идут раскопки, и передавал это в темноту.

Люди лежали спокойно и ждали. Хотелось пить — Леонард сказал, что уже ведут к отдушине шланг. Стало душно — он обещал воздух, ибо со своего места уже слышал удары мотыг и лопат. Он передавал в темноту время, узнавал его через отдушину, и всем казалось, что часы текут страшно медленно.

По его информации, прошло около шести часов. На самом деле раскопки заняли больше суток, и помощь пришла совсем не со стороны отдушины, в которую он говорил. Отдушины не было, как не было долгие часы ни пожарных, которые раскидывали камни где-то высоко на груде развалин, ни мотыг, ни лопат. Все это выдумал веселый парикмахер Леонард, чтобы остановить панику, успокоить гибнущих людей и вселить в них надежду.

Когда добрались до него, он лежал в глухом углу, и руки его были прижаты тяжелым камнем. Пальцы были размозжены. Кисти обеих рук пришлось отнять до запястья.

Первую неделю после ампутации он просил выключить радио, когда начиналась музыка. Потом он стал слушать ее спокойно, только закрывая глаза.

1941





накомство наше было необычным. В свежий октябрьский день, когда яркое одесское солнце обманчиво сияет на чистом небе, а ветер с севера гонит сухую пыль, разговаривать на воздухе было неуютно. Поэтому моряки-разведчики пригласили зайти в хату. Мужественные лица окружили меня — загорелые, обветренные и веселые. В самый разгар беседы вошли еще двое разведчиков.

Оба были одеты до мелочей одинаково: оба в новеньких кителях и защитных брюках, заправленных в щегольские сапоги, в кокетливых пилотках, и оба были обвешаны одинаковым числом ручных гранат, пистолетов, фонарей, запасных обойм. Но если на гигантской фигуре одного такой арсенал выглядел связкой мелких брелоков, то второго этот воинственный груз покрыл сплошной позвякивающей кольчугой: один из разведчиков был вдвое выше другого.

Видимо, мой любопытный взгляд смутил маленького разведчика. Нежные его щеки, еще налитые свежестью детства, зарделись, длинные ресницы дрогнули и опустились, прикрывая глаза.

— Воюешь? — сказал я, похлопывая его по щеке.— Не рано ли собрался? Сколько тебе лет-то?

— Восемнадцать,— ответил разведчик тонким голоском.

— Ну?.. Прибавляешь небось, чтоб не выгнали?

— Ей-богу, восемнадцать,— повторил разведчик, подняв на меня глаза. В них не было ни озорства, ни детского любопытства мальчика, мечтающего о приключениях войны. Внимательные и серьезные, они знали что-то свое и смотрели на меня смущенно и выжидающе.

— Ну, ладно, пусть восемнадцать,— сказал я, продолжая ласково трепать его по щеке.— Откуда ты появился, как тебя — Ваня, что ли?

— Та це ж дивчина, товариц письменник! — густым басом сказал гигант.— Татьяна с-под Беляевки.

Я отдернул руку, как от огня: одно дело трепать по щеке мальчишку, другое — взрослую девушку. И тогда за моей спиной грянул громкий взрыв хохота.

Моряки смеялись. Казалось, все звуки смеха собрались в эту хату, сотрясая ее, и откуда-то сверху их заглушал мощный басистый гул, рокочущий, как самолет: это под самым потолком низкой избы хохотал гигант, вошедший с девушкой. Он смеялся истово, медленно, гулко, чрезвычайно довольный недоразумением, посматривая вниз на меня, пока не рассмеялся и я.

— Не вы первый! — сказал гигант, отдышавшись.— Ее все за парня считают. А что, хлопцы, нехай она будет у нас Татьян — морской разведчик?

...Татьяна была дочерью колхозника из Беляевки, захваченной теперь румынами. Отец ее ушел в партизанский отряд; она бежала в город. Ей поручили вести моряков-разведчиков в родную деревню, и в этом первом трехсуточном походе по тылам врага и зародилась дружба. Девушка пришлась морякам по душе. Смелая, выносливая, осторожная и хитрая, она водила моряков по деревням и хуторам, где знала каждый тын, каждый кустик, прятала их по каменоломням, находила тайные колодцы и, наконец, когда путь, которым они прошли в тыл врага, был отрезан, вывела разведчиков к своим через лиман.

Первое время она ходила в разведку в цветистом платье, платочке и тапочках. Но днем платье демаскировало, а ночи стали холоднее, и моряки одели ее в то странное смешение армейской и флотской формы, в котором щеголяли сами, возрождая видения гражданской войны. Две противоположные силы — необходимость маскировки и страстное желание сохранить флотский

вид,— столкнувшись, породили эту необыкновенную форму.

Впрочем, тапочки у девушки остались: флотская ростовка обуви не предусматривала такого размера сапог.

В таком же тяжелом положении скоро оказался и Ефим Дырщ — гигант-комендор с «Парижской коммуны». Его ботинки сорок восьмого размера были вконец разбиты, и огромные его ноги были запрятаны в калоши, хитроумно прикрепленные к икрам армейскими обмотками. Накануне моего появления секретарь обкома партии, услышав об этом двойном бедствии, прислал громадные сапоги специального пошива, в которые, как в футляр, были вложены другие, крохотные,— и заодно два комплекта армейского обмундирования по росту. Ефим и «Татьян» теперь стали похожи, как линейный корабль и его модель, только очень хотелось уменьшить в нужном масштабе гранаты и пистолеты, подавлявшие маленькую фигурку девушки.

Они не были декорацией. Не раз Татьяна, поднявшись на цыпочки, швыряла в румынского пулеметчика гранату, и не одна пуля ее трофейного парабеллума нашла свою цель. Своим южным певучим говорком она рассказала мне, что́ видела в Беляевке перед побегом, и ясные ее глаза темнели, и голос срывался, и ненависть к врагу, вскипавшая в ней, заставляла забывать, что передо мной девушка, почти ребенок.

Она не любила говорить на эту тему. Чаще, забравшись на сено в буйный круг моряков, она шутила, пела веселые песни и частушки. В первые недели ее бойкий характер ввел кое-кого из разведчиков в заблуждение. Разбитной сигнальщик с «Сообразительного» — бывший киномеханик, районный сердцеед — первым начал атаку. Но в тот же вечер Ефим Дырщ отозвал его в сторону и показал огромный кулак.

— Оце бачив? — спросил он негромко.— Що она тебе — зажигалка или боец? Кого позоришь? Отряд позоришь... Щоб ты мне к такой дивчине подходил свято. Понятно? Повтори!

Но для других такого воздействия не требовалось. Буйная и веселая ватага моряков, каждую ночь играющая со смертью, несла девушку по войне в сильных своих и грубоватых пальцах бережно и нежно, как цветок, оберегая ее от пуль и осколков, от резких, соленых шуток, от обид и приставаний.

В этом, конечно, был элемент общей влюбленности в нее, если не сказать прямо — любви. Перед призраком смерти, которая, может быть, вот-вот его настигнет, человек ищет сердечного тепла. Холодно душе в постоянной близости к смерти, и она жадно тянется к дружбе, к любви и привязанности. Сколько крепких мужских объятий видел я в серьезный и сдержанный миг ухода в боевой полет, в море или в разведку. Я видел слезы на глазах отважных воинов, слезы прощания — гордую слабость высокой воинской души. Блеснув на ресницах, они не падают на палубу, на траву аэродрома, песок окопа: подавленные волей, они уходят в глаза и тяжелыми, раскаленными каплями падают в душу воина, сушат ее и ожесточают для смертного боя. Любовь переходит в ненависть к врагу, дружба — в ярость, нежность — в силу. Страшны военные слезы, и горе тем, кто их вызвал.

Ночью после беседы разведчики ушли в набег, а утром я увидел такие слезы: Татьяна не вернулась.

На линии фронта разведчики наткнулись на пулеметное гнездо, расположенное на вершине крутой скалы. Пулемет бил в ночь откуда-то сверху, и подобраться к нему сбоку было невозможно. Моряки полезли на скалу, приказав Татьяне дожидаться их внизу.

Видимо, пулеметчик распознал в темноте разведчиков, карабкающихся по скале: пули застучали по камням. Моряки прижались к скале, но пули щелкали все ближе — румын водил пулеметом по склону. Вдруг справа внизу ярко вспыхнул огонь. Ракета прорезала тьму, направляясь на вершину скалы, за ней вторая, третья. Моряки ахнули: ракетница была у Татьяны. Очевидно, девушка решила помочь друзьям испытанным способом — пуская румыну в глаза ракету за ракетой, чтобы ослепить его. Но это годилось только тогда, когда пулемет был близко и когда другие могли успеть подскочить к нему с гранатами. Сейчас Татьяна была обречена.

Словно вихрь поднял моряков на ноги. В рост они кинулись вверх по скале, торопясь придавить румына, пока он не нащупал Татьяну по ярким вспышкам ее ракет. Теперь все пули летели к ней, отыскивая того, кто сам выдавал себя во тьме. Ярость придала морякам силы, и через минуту румын хрипел со штыком в спине. Люди поползли вниз, поражаясь сами, как могли они в

горячке сюда забраться. Обыскали в темноте весь склон, но Татьяны нигде не было.

Бешеный огонь пулемета разбудил весь передний край. Поднялась беспорядочная стрельба, потом забухали орудия. Спрятаться на день здесь было негде — со скалы просматривалась вся местность. Где-то под скалой была каменоломня, но вход в нее могла отыскать только сама Татьяна. Начало светать, надо было уходить.

День прошел мучительно. Этой ночью Ефим Дырщ был в другой операции. Теперь он сидел, смотря перед собой в одну точку. Огромные руки его с хрустом сжимались, он обводил всех глазами и хрипло говорил:

— Яку дивчину загубили... Эх, моряки...

Потом он вставал и шел к капитану с очередным проектом вылазки и там сталкивался с другими, пришедшими с тем же. Солнце пошло к закату, когда, выйдя из хаты, я увидел Ефима одного в садике.

Он сидел, уткнув голову в колени, и громадное его тело беззвучно сотрясалось. Может быть, следовало оставить его одного: человеку иногда легче с самим собой. Но скорбь этого гиганта была страшна, и я подсел к нему.

Он поднял лицо. Плакал он некрасиво, по-ребячьи размазывая кулаком слезы и утирая нос. Он обрадовался мне как человеку, которому может высказать душу. Мешая украинскую речь с русской, находя нежные, необыкновенные слова, обнажая свою любовь — целомудренную, скромную, терпеливую, он говорил о Татьяне. Он вспоминал ее шутки, ее быстрый взгляд, ее голос — и передо мной, как раскрывающийся цветок, вставала Татьяна-девушка, так не похожая на «разведчика Татьяна» — нежная, женственная, обаятельная и робкая. И казалось непонятным, что это именно она приняла на себя ночью пулеметный огонь, помогая морякам добраться до вершины скалы.

Он хотел знать, что она жива и будет жить. Все, что он берег в себе, чтобы не нарушить боевой дружбы, теперь вылилось в страстной исповеди. Он ничего никогда не говорил Татьяне, «щоб не путать дивчине душу, нехай пока воюет», он нес свою любовь до победы, когда «Татьян» снова будет Таней. Но мечта била в нем горячим ключом, и он видел хату на Днепровщине, Татьяну в ней, и счастье, и лунные ночи в саду, и бешеный пляс на свадьбе...

Его позвал голос капитана. Ефим встал и пошел твердой походкой в хату.

В сумерки он с пятью разведчиками ушел к скале. Мы ждали его без сна.

Утром разведчики вернулись, принеся Татьяну. Оказалось, ее ранило в грудь, и она, теряя сознание, доползла до входа в каменоломню и там пролежала весь день. К вечеру она очнулась. У входа в глубоких сумерках копошились тени и слышался чужой говор. Она начала стрелять. Сколько времени она держала ход в штольню, она не знает. Она била по каждой тени, появлявшейся у входа. Патроны кончались. Она отложила один — для себя. Потом она услышала взрыв у входа и снова потеряла сознание.

Взрыв был первой гранатой Ефима Дырща. Пробираясь к скале, он услышал стрельбу и, обогнав остальных разведчиков, ринулся туда, ломая кусты, как медведь, в смелой и страшной ярости. Сверху по нему стал бить автоматчик. Ефим встал во весь рост, чтобы рассмотреть, что происходит под навесом скалы: там виднелся черный провал, вход в каменоломню, и возле него — три-четыре трупа и десяток живых румын, стрелявших в провал. Он метнул гранату, вторую, третью, размахнулся четвертой — и тут пули автоматчика раздробили ему левое бедро, впились в бок и в руку. Он упал и, медленно сползая к краю обрыва, схватился за траву.

Теперь, когда его принесли на носилках, в могучих его пальцах белел цветок, зажатый им в попытке удержаться на склоне.

Он поднял на меня мутнеющий взгляд:

— Колы помру, мовчите... Не треба ей говорить, не хай про то не чует... Живой буду, сам скажу.

Он закрыл глаза, и разведчики с трудом подняли носилки с тяжелым телом комендора с «Парижской коммуны».

1942

В лесу



з глубокого безразличного забытья стало смутно возникать неопределенное чувство тяжести в ногах. Оно беспокоило все сильнее, и наконец мышцы сократились тем бессознательным движением, которым спящий устраивается поудобнее. Но что-то помешало подогнуть ноги, и это дало в мозг тревожный сигнал. Первая, еще неясная мысль подсказала, что на ноги опять навалился Коля Ситин, сосед по нарам. Резким, уже сознательным движением попытался высвободить ноги. Тогда он почувствовал боль и открыл глаза.

Несколько мгновений он смотрел перед собой, щурясь от яркого света и пытаясь понять, почему он лежит на животе в снегу, придавленный елью, густые ветви которой образовали над ним шатер.

Сквозь остро пахнущую морозом и смолой зеленую хвою, нависшую у самого лица, ослепительно белел снег. Отягощенные им широкие лапы елей были неподвижны. Глубокую тишину зимнего леса нарушало чье-то прерывистое дыхание рядом.

Он прислушался. И, вдруг поняв, что так громко дышит он сам, тотчас широко раскрыл рот. Вместе с этой осторожностью разведчика окончательно проснулось сознание. Сразу вспомнив, где он и что с ним, он покрылся горячим потом. Сердце, сорвавшись, забилось гулко и

часто. Ни волевым напряжением, ни ровным дыханием нельзя уже было удержать его бешеный стук, наполнивший, казалось, весь лес. Тошнотная истома поднялась от ног, заливая все тело сонной, проклятой, бездеятельной вялостью. Это был страх, обыкновенный животный страх, отчаянный протест живого человеческого тела, внезапно увидевшего себя в ловушке, из которой выход один — в смерть.

Он попытался понять свое положение. Во враждебном лесу, беспощадно освещенном солнцем, он лежал совершенно один, почти безоружный, только с гранатой у пояса, лежал, прижатый елью. Она укрывала его от точной пули снайпера, но придавила, а может быть, и перебила ноги. Винтовка была вышиблена из рук тем тяжелым и горячим ударом, который выбросил его из густого ельника сюда, к подножью сосны, ударил о снег и погрузил в это забытье.

Ночью их было двое — сам Колобанов и беспокойный его сосед по землянке Коля Ситин. Ползком они подобрались сюда в белых халатах, бесшумные и осторожные, два друга, два удачливых краснофлотца, два лучших разведчика морского отряда. Вон в той заросли ельника они пролежали полчаса, а может быть, час, прежде чем выползти на открытый снег между ельником и колоннадой сосен. Они лежали и слушали лес. Опытное ухо различало далекий звяк оружия и шуршание там, за соснами, но здесь все было тихо.

Тогда Ситин надавил ему кисть руки два раза и, погодя, еще раз, что означало «иду вперед один», и выполз из ельника. Он исчез в трех шагах, ползя по снегу неясной тенью, медленно и беззвучно, как умел это делать только он. Но все же где-то рядом щелкнул негромкий и сухой снайперский выстрел, будто хрустнул под ногой сук, и опять в ночи встала глубокая лесная тишина. Колобанов подождал пять — десять минут, уверенный, что Коля вернется,— не раз после таких же выстрелов, бесполезных во мраке, они встречались целыми. Но Ситин не возвращался. Тогда он пополз вперед, чтобы помочь ему, если тот ранен, или убедиться, что он погиб. Но на четвертом метре опять, уже с другой стороны, близко щелкнул выстрел, у левого плеча взметнулся снег, и пришлось надолго замереть, выжидая, пока у невидимого снайпера не зарябит в глазах от пристального всматривания в темноту.

Но скоро кто-то дернул его за правый валенок: Ситин, «разведчик-невидимка», как прозвали его в отряде, оказался уже сзади. Колобанов отполз назад в ельник и прилег к другу. Жаркое дыхание того грело ему щеки, и можно было угадать, что он улыбается озорной возбужденной улыбкой охотника, напавшего на дичь. Без шепота, одним горячим дыханием Ситин сказал: «Полнó кукушек... давай по ельнику... пощупаем, что справа...» И тотчас гибкое его тело скользнуло в чащу. Колобанов пропустил его вперед и пополз, осторожно пригибая и отодвигая торчащие из снега ветки. Тут впереди встал огненный столб, тяжелый воздух опалил лицо. И, успев еще понять, что его несет неудержимой силой взрыва, Колобанов потерял сознание.

Теперь, очнувшись, он понял, что ночью его кинуло миной к этой сосне, в какую-то яму, и завалило елью, вырванной с корнем. Не шевелясь, он разглядывал сквозь ее хвою ельник, снег и деревья, отыскивая Колю. Потом он увидел на розовом снегу нечто страшное и закрыл глаза. Он был один. Теперь это было несомненно. И это был конец.

День едва начался. Разящий, беспощадный солнечный свет заливал лес, и на деревьях сидели снайперы, те, что охотились за ним ночью. Оставить яму было невозможно. Ждать ночи — на это не хватило бы тепла. Его и так мало оставалось в теле, намерзшемся за долгие часы забытья.

Солнце переползало по пышным елям, двигалось вокруг желтых смолистых стволов сосен. Все это было очень медленно. Лес молчал.

Он думал обо всем, кроме леса, тишины и света. Он представлял себе темную украинскую ночь, запах вишен, журчанье у запруды. Он вызывал в памяти всякую темноту, которую когда-либо знавал. Он думал только о темноте — любовной, боевой, усталой и сонно-ночной. Он ждал только темноты, когда можно будет выползти из-под ели. Изредка он открывал глаза и смотрел на освещенные колонны сосен.

Время потеряло смысл. Оно не двигалось, и темнота, казалось, никогда не могла наступить.

Отчаяние охватило его. Он нащупал гранату. Это было бы проще всего. Стоило сорвать кольцо, и он будет лежать спокойно, как Коля Ситин...

И не нужно будет считать удары сердца, искать, как

переместилась тень от сосны. Не нужно будет ждать, ждать и ждать, когда ждать было немыслимо.

Он посмотрел на розовый снег возле неподвижного тела и вдруг почувствовал у щеки жаркое дыхание друга, его беззвучный шепот, озорную улыбку и тут же подумал, что так, наверное, шептал Коля слова в чье-то девичье ухо, отодвигая дыханьем завитки волос. И снова страстная жажда жизни охватила его. Надо было жить, чтобы отомстить тем, кто навсегда остановил это жаркое дыханье. Мысль эта показалась ему важнее всего, и он напрягал мышцы, разогревая тело для схватки, мозг для выдумки, душу для ненависти.

Тишина леса внезапно разорвалась. Сухо и раскатисто треснул воздух, ветви елей зашевелились, снег пышными клоками упал вниз с нескольких ветвей. Снова и снова рвалось где-то вверху небо, и Колобанов понял, что это начался обстрел леса: наши орудия били шрапнелью над деревьями, спугивая снайперов. Лес ожил. Падали ветви, надсеченные горячим металлом. Рядом с визгом упал осколок. С шумом вылетели из ельника две черные птицы. Выскочила белка и юркнула в гущу ветвей, осыпав пушистые комья.

И тогда с недалекой сосны неуклюже и медленно, цепляясь за ветви, пополз вниз человек.

Он был в чужой, но знакомой одежде, закутанный, обвязанный, готовый к долгому морозу. Он спускался безоружный, оставив в ветвях автомат, из которого бил ночь по разведчикам. Жаркая волна пробежала по телу Колобанова и едва не подняла его из-под ели. Потом он передумал и осторожно потянулся за гранатой, не опасаясь раскрыть себя: теперь снайперу было не до шевеления ели — осколки свистели по лесу, и он сам торопился в укрытие. Колобанов вытянул ноги из-под ели, сжался в комок, готовый к прыжку, к броску гранаты и к быстрому бегу в ельник, но тут что-то тяжелое и теплое обрушилось на него.

Не понимая еще, что это, он ударил локтем назад, услышал стон и мгновенно перевернулся под навалившейся на него тяжестью.

Это был второй снайпер, тот, который сидел на сосне над Колобановым и теперь спустился в вырытую заранее яму у корней, спасаясь от шрапнели.

Схватка была короткой и страшной. Враг тянулся за кинжалом к поясу. Колобанов, придавливая ему руку,

искал оружия. Граната снова попалась ему под руку. Взмахнув ею, он ударил врага по голове, как молотком, несколько раз, пока тело того не ослабло.

Дрожа от гадливости, он вытащил у него из-за пояса кинжал и сделал то, чего требовала эта внезапная встреча в яме. Потом он поднял ветви ели, высунул голову и осмотрелся не таясь. Шрапнель продолжала визжать между ветвей, воздух рвался с треском, обстрел шел плотно и беспощадно. Он посмотрел на убитого врага, взглянул на сосну, примерился — и полез наверх.

Между ветвями он нашел логово «кукушки». Здесь висели повешенный на сук автомат, обоймы, мешок с продовольствием, бинокль, фляга — все, что нужно, чтобы просидеть на дереве до смены хотя бы трое суток. Шрапнель визжала и свистела в воздухе, и Колобанов в первый раз за все время раскрыл рот.

— Толково наши бьют,— сказал он громко.— Где ж им под таким огнем усидеть...

И он поудобнее устроился на ветвях, взял автомат и стал ждать, вжимая голову в плечи, когда над лесом с треском рвалась шрапнель.

Первой его добычей стал тот снайпер, которого он видел спускающимся в укрытие. Едва кончился обстрел, тот высунул голову из окопчика, как крыса, нюхающая воздух. Колобанов подвел мушку к подбородку, но передумал. Он дал ему взобраться по сосне до половины и тогда выстрелил в затылок. Снайпер опустил руки и грянулся в снег, и было похоже, что его подбила шрапнельная пуля.

Вторую добычу пришлось ждать долго. Лес был пуст, видимо, тут только и были эти два снайпера. Колобанов взял бинокль, осторожно повернулся и стал смотреть сквозь ветви назад. Солнце уже клонилось к закату, когда он увидел вдалеке фигуру офицера, вышедшего из-за стволов сосен. Колобанов прицелился и выстрелил в голову. Офицер упал. Тотчас выскочили еще двое и кинулись к нему. Они рухнули рядом.

Подошла темнота, и можно было уходить. Но Колобанов остался на сосне. Он ждал новой смены...

Она пришла, когда было совсем темно. Солдаты — четверо — шли уверенно и не остерегаясь. Возле упавшего снайпера они наклонились, переворачивая его и совещаясь. Один за другим все четверо упали: двое на первый труп, третий у сосны, куда он отскочил, четвертый на

снегу, рядом с телом Ситина, смутно черневшим в белесой темноте.

Теперь было ясно, что стрельба привлечет врагов. И скоро Колобанов увидел в темноте огоньки, вспыхивающие там и здесь. На сосну повели правильную осаду. Пули свистели рядом, сдирали кору на стволе, но ни одна пока не задела Колобанова. Переждав, он бесшумно и ловко спустился в яму.

Там он приготовил гранату, положил ее рядом с собой и высунул из ветвей автомат. Стрельба учащалась. Люди подходили ближе. Он искал во тьме, где появится смутный силуэт, но видел только огоньки. Снег падал на него вместе со срезанными ветвями: вершину сосны обстреливали часто и сильно. Он ждал.

Потом стрельба прекратилась — очевидно, враги подумали, что гнездо опустело. Послышались громкие голоса. К сосне пошли.

Колобанов поднял глаза, взглянул на небо. Звезды сияли на нем морозно и ярко. Он пододвинул гранату и положил ствол автомата на труп бывшего хозяина гнезда, как на бруствер окопа.

Но небо вновь раскололось, и вокруг завизжали осколки: наши вновь начали обстрел леса. Колобанов подвесил гранату к поясу, положив обоймы в карман, и, выставив вперед автомат, пополз к ельнику, обходя врагов, прижатых к снегу разрывами шрапнели.

1941

Невеста



те дни, когда в палате дежурила Люба, все мы были в отличном настроении. Ласковая и живая, она влетала в палату утром в мягких своих тапочках — неслышный, но видимый солнечный луч. Мороз еще пылал на ее щеках ярким холодным пламенем, смешливые, почти детские глаза блестели оживленно, и безногий майор с койки неизменно возглашал:

— «Девичьи лица ярче роз...» Любочка, выходит, дальше надо жить?

— Обязательно! — звонко отвечала она, дуя на замерзшие пальцы.

Заложив руки за спину, она прижималась к черной большой печке — белая тоненькая фигурка, деловитая серьезность которой была по-детски уютна и трогательна. Грея руки, она со скоростью тысячи слов в минуту болтала обо всем: об утренней сводке, о происшествиях с сырыми дровами, о том, что варится к обеду на кухне, о вчерашнем кино. И утихали постепенно стоны, и лица, сведенные судорогой боли, прояснялись, и надоевший, скучный больничный воздух палаты свежел, и легчало горе, и улыбались мысли.

Потом она прикладывала тоненькие пальцы к шее, проверяя, согрелись ли они, прямой носик ее озабоченно морщился, она оглядывала палату быстрым взором

хозяйки, соображающей, с чего начать день,— и подходила к койкам.

Она умела быстро и ласково делать все — вымыть голову, не уронив ни капли воды на подушку, поправить повязку, написать письмо тем, у кого не работали руки или глаза, вовремя уловить ухудшение и вызвать врача, цепко и страстно бороться за жизнь раненого в час опасности, утешить и успокоить того, кто, казалось, потерял покой, и погрузить его в тихий, облегчающий душу сон.

Мы все любили ее, а может быть — все были влюблены. Но ревности вход в нашу палату был запрещен. И если в свободную минуту Люба присаживалась к кому-либо из нас поиграть в подкидного дурака, все знали, что именно у него сегодня тяжело на сердце, тяжелее, чем у других.

В этот день я был по праву первым кандидатом на дурака. Ночь я не спал, нервничая по причинам, не относящимся к рассказу, и утром смог солгать ей лишь улыбкой, а не глазами, отвечая на приветствие. Удивительно, как эта юная женщина, почти девушка, чувствовала в чужой душе неладное. Она лишь мельком взглянула на меня, но, закончив обход, безошибочно подошла к моей койке с колодой в руках.

Однако игра не вышла. Нынче детские ее губы порой опускались в горькой складке, веселые глаза были печальны, и мне вдруг показалось, что ей много-много лет. Карты бесполезно остались лежать, темнея на белом одеяле десяткой пик, символом горя, и мы разговорились негромко и откровенно.

Ее муж, капитан-танкист, воин большой смелости, уже награжденный орденом, пропал без вести. Месяц она не могла отыскать его след. Долгий месяц эта женщина влетала к нам смеющимся солнечным лучом, а между тем душа в ней ныла и сердце сжималось, и по ночам она плакала в общежитии, стараясь не разбудить подруг.

Вчера она нашла давнего друга мужа, большого танкового начальника. Он взял ее руку и сказал:

— Люба, обманывать не буду. Павел остался в окружении. Прорвались все, он не вернулся.— Он не дал ей заплакать и сжал руку.— Спокойно, Люба. Он может вернуться. Понимаешь — надо ждать. Конечно, это большое искусство — ждать. Я обещаю тебе сказать, когда ждать будет больше не нужно.

Я смотрел на нее и искал в себе ту силу, которой была наделена эта женщина. Перед этим горем я забыл о своем, но слов — тех слов утешения и надежды, которые с такой великой щедростью она шептала всем нам,— я не мог найти в корявой, неловкой и себялюбивой мужской своей душе.

Застонал майор на крайней койке.

Люба вскочила и легким видением скользнула к нему. И вновь глаза ее стали прежними, и скорбь — своя скорбь — отступила перед чужой. И никто в палате не заметил, какое горе несут ее тонкие, почти детские плечи.

Вскоре меня перевели на время в другой госпиталь. Через две недели я вернулся в знакомую палату. Многих я уже не застал, появились новые раненые, и рядом с собой я увидел огромную куклу из бинтов.

Это был танкист, которому обожгло грудь и лицо. Все, что на человеческом лице может гореть, у него сгорело: волосы, брови, ресницы, сама кожа. В белой марле жутко и зловеще чернели выпуклые темные стекла огромных очков. Очки не пропускали никакого света, они лишь предохраняли чудом уцелевшие глазные яблоки от прикосновения бинта.

Пониже, хитро и искусно, было оставлено отверстие для рта. Отсюда невидимо исходила человеческая речь — живая речь, единственный проводник мыслей и чувств.

Танкист боролся с медленной своей и долгой болью. Перевязки были мучительны, но он хотел жить. Он очень хотел жить и снова драться в бою. Эта воля к жизни кипела в его неразборчивой речи, в косноязычии сожженных губ.

Он любил говорить. В темном и одиноком своем мире он жаждал общения с другими. Глухо и странно вылетали слова из недвижного клубка марли, и, научившись понимать эти раненые, подбитые слова, я слушал доблесть, ненависть и победу, слушал бой и касание смерти, слушал мечты и надежды, признания и исповедь — все, что может рассказывать другу двадцатидвухлетний человек, бегущий от призрака одиночества. Другу — ибо к ночи мы подружились той внезапной и крепкой дружбой, которая приходит в бою или в болезни.

Под утро я проснулся, когда было еще совсем темно. Тяжело дышала палата, порою стон прорезал это тревожное дыхание сильных мужских тел, поломанных боем. По тому, что на этот стон не двинулась неслышная бе-

лая тень, я понял, что дежурит не Люба. Вероятно, дежурила вторая сестра — Феня, некрасивая и немолодая женщина, которая быстро уставала и ночью часто засыпала на стуле у печки. Я встал, чтобы выйти покурить, и, услышав меня, танкист попросил пить (это звучало у него странно — как «шюить»). Боясь, что я сделаю ему больно, я хотел разбудить сестру.

— Не надо,— сказал он,— ничего...

Я осторожно налил между бинтами несколько глотков из поильника и, конечно, облил марлю. Смутившись, я извинился.

— Ничего,— повторил он и засмеялся, обозначая смех тихими перерывами дыхания.— Это только она умеет... Будто сам пьешь, губами...

— Кто она?

— Невеста.

И я услышал необыкновенную повесть любви.

Он говорил о женщине, которой не видел и видеть не мог. Он называл ее старым русским ласкательным словом «моя душенька». Так назвал он ее в первый же день, учуяв в ней особенную ласковость и душевность, и так продолжал звать, потому что сожженные его губы не позволяли ему выговорить ее имя. «Ну, конечно, Люба»,— подумал я. Это имя и в самом деле могло у него звучать нелепо: Люа, Люша...

Он говорил о ней с глубокой нежностью, гордостью и — странно сказать — страстью. Мечтая вслух, он угадывал ее лицо, глаза, улыбку, и я поразился этому провиденью любви. Понизив голос, он признался, что знает ее волосы, пушистые, легкие волосы, выбившиеся из-под косынки: однажды он тронул эту прядь, пытаясь слепыми пальцами помочь ей найти упавший на столик футляр термометра. Он говорил о ее руках — нежных, сильных, бережных руках, которые он часами держал в своих, рассказывая ей о себе, о своем детстве, о боях, о взрыве танка, о своем одиночестве и о страшной жизни урода, какая его ждет.

Он пересказал мне все ее утешения, все нежные слова надежды, всю веру в то, что он будет видеть, жить и снова драться в бою, и мне показалось, что я слышу голос самой Любы. Совсем шепотом он сказал мне, что завтра — решающий день: профессор обещал ему снять очки, и, возможно, он начнет видеть. Он не говорил об этом «душечке» — а вдруг он видеть не будет? Пусть она не

мучается. Не выйдет — не выйдет, он и так знает ее лицо. Оно прекрасно, нежно, он видит ее глаза и в них — любовь. И еще: она уговорила его на сложную операцию, которая вернет ему брови, ресницы, свежую розовую кожу. Он знает, какой болью он купит себе это новое лицо, но он пойдет на все ради своей невесты.

Да, невесты. Он повторил это слово с гордостью. Муж ее погиб на фронте совсем недавно, она одинока, как и он, и несчастна более, чем он: он потерял только лицо, а она — любимого человека. За долгие эти ночи они все узнали друг о друге, и любовь пришла в эту палату, где витала смерть, и жизнь, приведенная любовью, помогла ему переломить себя. Ведь он хотел застрелиться — ну, куда жить такому?..

— Она сказала: мне все равно, что будет с твоим лицом. Я тебя люблю, а не лицо, понимаешь...

И он заплакал. Я понял это потому, что грудь его, наполненная счастьем, сотрясалась и дыхание стало прерывистым.

Не мешая ему, я тихо прилег на койку, думая о Любе. Странная ее судьба поразила меня. Была ли это и впрямь любовь — необъяснимая любовь высокой женской души — или нежная жалость, которая порой так похожа на любовь? Или, может быть, разделенное горе, ужас потери, найденный призрак утраченного: танкист, герой, воин... Я дожидался утра, смены сестер, чтобы в одном взгляде Любы прочесть разгадку — в таких глазах все читалось легко. В этих мыслях я задремал.

Проснулся я поздно. По знакомым признакам палатного дня я понял, что сестры уже сменились, но Любы в палате не было. Я подошел к танкисту и спросил, как он себя чувствует.

— Чудесно,— ответил он.— Она пошла узнать о перевязке. Слушай, только ни слова ей о профессоре. Неужели сегодня я ее увижу?

По голосу я понял, что он улыбается.

— Она ведь красавица, ты же ее знаешь?

— Красавица, верно,— ответил я.

Он снова заговорил о том, как сегодня ее увидит. Вдруг он замолчал и притих, слушая шаги — легкие в тапочках, и было странно, что сквозь бинты, укутавшие голову, он различил их. Или это был слух любви?

— Она,— сказал он с глубокой нежностью.— Душенька моя...

Я обернулся. Но это подошла Феня, очевидно задержавшаяся после дежурства. Я хотел показать ему, что он ошибся.

— Здравствуйте, Фенечка,— сказал я.— Скоро там Люба справится?

— Здравствуйте, опять к нам? — спросила она.— Уехала Люба, мужа отыскала. Раненый...

И она подсела к танкисту.

— Родненький мой, Коленька,— сказала она ласково.— Набирайся сил... перевязка сейчас...

Он судорожно протянул руку, и тотчас эта рука воина, видевшего смерть и вздрогнувшего от предчувствия боли, попала в руки Фени: видно, перевязки были нестерпимы. Она покрыла ее другой рукой, и большое значительное молчание встало над ними. Она тихонько гладила его руку, перебирала пальцы, и в глазах ее, устремленных на черные очки, теплым медленным течением плыла любовь.

Я смотрел на лицо Фени — незапоминающееся лицо, которое мы видели ежедневно и скользили по нему равнодушным взглядом. Удивительная перемена в нем поразила меня. Немолодое, усталое — одухотворенное силой любви, оно было прекрасно, простое лицо русской женщины и матери, исполненное веры и грустной нежности. Потом в глазах ее появились слезы, она тихонько отвела голову, чтобы они не капнули на его руку. Но, почуяв это легкое движение, он встревожился.

— Душенька моя дорогая, что ты?

И — поразительная вещь — Феня заговорила оживленно и весело, ласково ободряя его, а слезы лились по ее лицу безостановочно и быстро — и глубокая скорбь исказила ее рот, из которого вылетали шуточные, веселые слова. Потом глаза ее перешли на дверь, и безнадежная молчаливая мука отразилась в них. Я проследил ее взгляд: в дверь вкатывали коляску, и я понял ее слезы. Это было предчувствие приближающейся боли.

Танкиста положили на коляску, и Феня пошла рядом, держа его руку. Я провожал их. У двери перевязочной она осталась. Силы ей изменили, она прислонилась к косяку и дала волю слезам. Я тронул ее плечо. Она подняла на меня глаза.

— Иван Савельич нынче сказал... Иван Савельич...

Она не могла говорить.

— Я знаю,— ответил я.— Ну что же раньше времени волноваться... Конечно, он будет видеть.

Она замотала головой, как от боли.

— Вот и увидит меня... Куда я ему такая... Что он обо мне выдумал, зачем выдумал?.. Красавица, красавица... Пустите меня! — вдруг почти крикнула она и прильнула ухом к двери перевязочной.

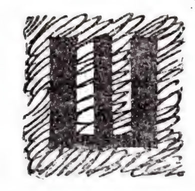
Там я услышал веселый голос Ивана Савельича:

— Хватит, хватит на первый раз, еще недельку в темноте проведете!

Феня побледнела страшной бледностью отчаяния и быстро пошла по коридору. Больше ее в госпитале никто не видел. Потом узнали, что она уехала на родину.

1941

Морская душа
(из фронтовых записей)



утливое и ласкательное это прозвище краснофлотской тельняшки, давно бытовавшее на флоте, приобрело в Великой Отечественной войне новый смысл, глубокий и героический.

В пыльных одесских окопах, в сосновом высоком лесу под Ленинградом, в снегах на подступах к Москве, в путаных зарослях севастопольского горного дубняка — везде видел я сквозь распахнутый как бы случайно ворот защитной шинели, ватника, полушубка или гимнастерки родные сине-белые полоски «морской души». Носить ее под любой формой, в которую оденет моряка война, стало неписаным законом, традицией. И, как всякая традиция, рожденная в боях, «морская душа» — полосатая тельняшка — означает многое.

Так уж повелось со времен гражданской войны, от орлиного племени матросов революции: когда на фронте нарастает опасная угроза, Красный флот шлет на сушу всех, кого может, и моряки встречают врага в самых тяжелых местах.

Их узнают на фронте по этим сине-белым полоскам, прикрывающим широкую грудь, где гневом и ненавистью горит гордая за флот душа моряка,— веселая и отважная краснофлотская душа, готовая к отчаянному порой поступку, незнакомая с паникой и унынием, чест-

ная и верная душа большевика, комсомольца, преданного сына Родины.

Морская душа — это решительность, находчивость, упрямая отвага и неколебимая стойкость. Это веселая удаль, презрение к смерти, давняя матросская ярость, лютая ненависть к врагу. Морская душа — это нелицемерная боевая дружба, готовность поддержать в бою товарища, спасти раненого, грудью защитить командира и комиссара.

Морская душа — это высокое самолюбие людей, стремящихся везде быть первыми и лучшими. Это удивительное обаяние веселого, уверенного в себе и удачливого человека, немножко любующегося собой, немножко пристрастного к эффектности, к блеску, к красному словцу. Ничего плохого в этом «немножко» нет. В этой приподнятости, в слегка нарочитом блеске — одна причина, хорошая и простая: гордость за свою ленточку, за имя своего корабля, гордость за слово «краснофлотец», овеянное славой легендарных подвигов матросов гражданской войны.

Морская душа — это огромная любовь к жизни. Трус не любит жизни: он только боится ее потерять. Трус не борется за свою жизнь: он только охраняет ее. Трус всегда пассивен — именно отсутствие действия и губит его жалкую, никому не нужную жизнь. Отважный, наоборот, любит жизнь страстно и действенно. Он борется за нее со всем мужеством, стойкостью и выдумкой человека, который отлично понимает, что лучший способ остаться в бою живым — это быть смелее, хитрее и быстрее врага.

Морская душа — это стремление к победе. Сила моряков неудержима, настойчива, целеустремленна. Поэтому-то враг и зовет моряков на суше «черной тучей», «черными дьяволами».

Если они идут в атаку — то с тем, чтобы опрокинуть врага во что бы то ни стало.

Если они в обороне — они держатся до последнего, изумляя врага немыслимой, непонятной ему стойкостью.

И когда моряки гибнут в бою, они гибнут так, что врагу становится страшно: моряк захватывает с собой в смерть столько врагов, сколько он видит перед собой.

В ней — в отважной, мужественной и гордой морской душе — один из источников победы.

ФЕДЯ С НАГАНОМ

В раскаленные дни штурма Севастополя из города приходили на фронт подкрепления. Краснофлотцы из порта и базы, юные добровольцы и пожилые рабочие, выздоровевшие (или сделавшие вид, что выздоровели) раненые — все, кто мог драться, вскакивали на грузовики и, промчавшись по горной дороге под тяжкими разрывами снарядов, прыгали в окопы.

В тот день в Третьем морском полку потеряли счет фашистским атакам. После пятой или шестой моряки сами кинулись в контратаку на высоту, откуда немцы били по полку фланговым огнем. В одной из траншей, поворачивая против фашистов их же замолкший и оставленный здесь пулемет, краснофлотцы нашли возле него тело советского бойца.

Он был в каске, в защитной гимнастерке. Но когда, в поисках документов, расстегнули ворот — под ним увидели знакомые сине-белые полоски флотской тельняшки. И молча сняли моряки бескозырки, обводя глазами место неравного боя.

Кругом валялись трупы фашистов — весь пулеметный расчет и те, кто, видимо, подбежал сюда на выручку. В груди унтер-офицера торчал немецкий штык. Откинутой рукой погибший моряк сжимал немецкую гранату. Вражеский автомат, все пули которого были выпущены в фашистов, лежал рядом. За пояс был заткнут пустой наган, аккуратно прикрепленный к кобуре ремешком.

И тогда кто-то негромко сказал:

— Это, верно, тот... Федя с наганом...

В Третьем полку он появился перед самой контратакой, и спутники запомнили его именно по этому нагану, вызвавшему в машине множество шуток. Прямо с грузовика он бросился в бой, догоняя моряков Третьего полка. В первые минуты его видели впереди: размахивая своим наганом, он что-то кричал, оборачиваясь, и молодое его лицо горело яростным восторгом атаки. Кто-то заметил потом, что в руках его появилась немецкая винтовка и что, наклонив ее штык вперед, он ринулся один, в рост, к пулеметному гнезду.

Теперь, найдя его здесь, возле отбитого им пулемета, среди десятка убитых фашистов, краснофлотцы поняли, что́ сделал в бою безвестный черноморский моряк, кото-

рый так и вошел в историю обороны Севастополя под именем «Федя с наганом».

Фамилии его не узнали: документы были неразличимо залиты кровью, лицо изуродовано выстрелом в упор.

О нем знали одно: он был моряком. Это рассказали сине-белые полоски тельняшки, под которыми кипела смелая и гневная морская душа, пока ярость и отвага не выплеснули ее из крепкого тела.

НЕОТПРАВЛЕННАЯ РАДИОГРАММА

Маленький катер, «морской охотник», попал в беду.

Он был послан для ночной операции к берегу, захваченному врагом. В пути его встретил шторм. Катер пробился сквозь снег, пургу и седые валы, вздыбленные жестоким ветром. Он обледенел — и сколол лед. Он набрал внутрь воды — и откачал ее. Но задание он выполнил.

Когда же он возвращался, ветер переменился и снова дул навстречу. Шторм заставил израсходовать лишнее горючее, а потом волна залилась в цистерну с бензином. Катер понесло к берегу, занятому врагом.

Дали радио с просьбой помочь — и замолчали, потому что мотор радиостанции работать на смеси бензина с водой отказался.

Катер умирал, как человек. Сперва у него отнялись ноги. Потом он онемел. Но слух его еще продолжал работать. И он слышал в эфире свои позывные, он принимал тревожные радио, где запрашивали его точное место,— потому что без точного места найти маленький катер в большом Черном море трудно.

Двое суток моряки слышали эти поиски, но ответить не могли.

На катере между тем шла жизнь. Командир его, старший лейтенант Попов, прежде всего разрешил проблему питания. Ветер мог перемениться — и тогда катеру предстояло дрейфовать на юг неделю, может, две. Попов приказал давать краснофлотцам сколько угодно сельдей и хлеба и не ограничивать потребление пресной воды, которой было много. Расчет его оправдался. Когда к вечеру он спрашивал, не пора ли варить обед, краснофлотцы, поглаживая налитые водой желудки, отвечали, что аппетита еще нет и консервы можно пока поберечь.

В кубрике, как на вахте, постоянно стояли по двое краснофлотцев, широко расставив ноги и держа в руках

ведро. Они старались держать его так, чтобы оно не болталось на качке. Еще один расчет командира оправдался: бензин в ведре, «выключенном из качки», отделялся от воды. Его осторожно сливали, вновь наполняли ведро смесью и вновь держали его на руках, дожидаясь, пока бензин отстоится. Так к концу вторых суток получили наконец порцию горючего для передачи одной короткой радиограммы.

Она была заготовлена Поповым в двух вариантах. Первый был одобрен комсомольским и партийным собранием катера и приготовлен на случай, если радио заработает в видимости вражеского берега:

«...числа... часов... минут вражеский берег виден в... милях тчк С каждой минутой он приближается тчк Выхода нет тчк Будем драться до последнего патрона в последний момент взорвемся тчк Умрем живыми врагу не сдадимся тчк Прощайте товарищи привет Родине тчк Командир военком команда катера 044».

Но ветер изменился, и катер стало относить от берега. Поэтому отправили второй вариант: свое точное место — и сообщение, что радио работает в последний раз и что катер надеется на помощь.

Она пришла своевременно.

ПОЕДИНОК

Группа моряков-добровольцев была сброшена ночью на парашютах за линию фронта под Одессой, чтобы во время атаки Третьего морского полка уничтожать связь врага, наводить панику и пробиваться на соединение со своими. Среди них был краснофлотец Петр Королев. Ему не повезло: висевший на нем мешок с автоматом, кусачками, гранатами и прочими необходимыми на земле предметами в момент прыжка с размаху ударил его в лицо. Королев потерял сознание.

Очнувшись, он обнаружил себя падающим в темной пустоте. Он успел выдернуть кольцо парашюта и снова впал в беспамятство до самой встречи с землей. Новый удар привел его в себя. Он понял, что лежит на земле, что лицо его разбито, кровь ручьем хлещет из носу и что вдобавок сильно болит нога, вывихнутая при падении. Он уничтожил, как полагается, парашют, хозяйственно сунув в карман два клина шелка, чтобы вытирать кровь, неостановимо струящуюся по лицу, распаковал свой

мешок, прислушался к стрельбе вокруг и пошел в нужном направлении.

Идти пришлось во весь рост — ползти не давала нога, а каждый наклон головы вызывал сильное кровотечение. Однако он все же сумел подобраться к вражеским окопам, перерезав по пути две-три линии связи, но к рассвету совершенно ослаб. Он присмотрел подходящую канавку, положил возле себя автомат и приготовленные к бою гранаты, но потеря крови снова лишила его сознания.

Очнулся он при ярком свете утра. Над канавкой стояли два фашиста — молодой и постарше, рассматривая его: очевидно, они решили, что перед ними труп. Королев схватил свой автомат, но диск его выпал. Молодой солдат, увидев его движение, закричал: «Матрозен» — и ринулся бежать, пожилой замахнулся винтовкой, чтобы приколоть некстати ожившего моряка. Королев ухватился за ствол и рывком дернул фашиста. Тот упал в канавку, и моряк подмял его под себя.

Началась страшная, неравная борьба обессилевшего от потери крови моряка со здоровым и сильным врагом. Королев нащупал на поясе нож, но приподняться, чтобы освободить ножны, не хватало сил. Тогда он схватил гранату (запал которой был уже вставлен) и стал бить солдата по голове. Но, видимо, мало было у моряка сил — удары эти никак не могли оглушить фашиста. Так бывает во сне, когда движения вязнут в томительной вялости кошмара. На четвертом ударе пальцы моряка разжались, и граната выпала. Фашист подхватил ее и со всей силой здорового человека ударил Королева по голове.

— У меня шарики в глазах запрыгали,— рассказывал потом Королев.— Только, знаете, как-то так вышло, что я не только с того не окосел, а напротив — даже очнулся... Такая меня злоба взяла — моей же гранатой меня же и по башке?.. Откуда силы взялись — я ка-ак психану на него: заорал что-то, ударил его по руке... Граната у него и выпала, я ее опять ухватил. А он уже на мне... Я снизу бью его по черепу, и развернуться неловко, и сил нет... А он перепугался, кричит так, что меня дрожь пробрала,— как заяц... Молочу его, а тут граната пришла в негодность: ручку свернул. А кулаком что сделаешь?.. Тут он чем-то меня огрел, я опять ничего не помню...

Придя в себя, Королев увидел, что солдат выскочил из канавки, захватив его пустой автомат и бросив свою

винтовку. Подобрав ее, Королев понял, почему тот не стрелял: она тоже оказалась без патронов. Тогда, приподнявшись, он кинул вслед солдату вторую гранату, откатившуюся в борьбе в угол канавки. Опять не хватило сил — граната разорвалась слишком далеко от солдата и слишком близко от Королева. Забыв о ноге, он побежал за солдатом: тот уносил оружие, без которого вернуться к своим было стыдно. Он догнал его и ударил прикладом его же винтовки по затылку. Солдат закричал и обернулся. Королев бросил винтовку и потянул к себе свой автомат — и опять началась неравная борьба сильного и здорового солдата, единственной слабостью которого были страх и неуверенность в победе, с шатающимся, обессилевшим моряком, страшным в своей упрямой настойчивости и желании победить.

Они тянули автомат друг к другу, смотря в глаза и ругаясь каждый на своем языке. Потом Королев заметил в глазах солдата радость и злобу. Повернув на мгновение голову, он увидел, что тот смотрит на скачущего к ним всадника. Солдат снял левую руку с автомата и призывно замахал ею всаднику. Королев тоже снял руку с автомата, вспомнив, что на поясе еще висит последняя граната. Он поднял ее над головой, решив дождаться всадника и тогда бросить гранату себе под ноги, чтобы взорвать и себя и обоих врагов.

— Стоим так и ждем. Я все на фашиста смотрю: думаю, не оглушил бы он меня свободной рукой... Тогда живым заберут, много ли мне было надо: дать раза — и в глазах вовсе потемнеет. А у него выражение лица вдруг изменилось — глаза выкатил, коробочку раскрыл и глядит мне через плечо. Я обернулся — всадник уж рядом... Гляжу — мать честная! — это ж Коровников из первого батальона! Скачет к нам на полном газу, и ленточки вьются. Бросил солдат мой автомат — и тикать! Коровников его с ходу одним выстрелом положил — и ко мне... А у меня и сил никаких нет: кончились...

Оказалось, что к утру один батальон Третьего морского полка уже вышел к этой высотке. В кустах нашли брошенную повозку с лошадьми (очевидно, двое фашистов, кинув повозку и отходя к своим, и наткнулись на Королева). Заняв вражескую позицию, батальон готовился продвигаться дальше.

И тут политрук батальона, осматривая местность в бинокль, увидел на высотке двух борющихся людей.

— Что за черт? — сказал он недоверчиво.— А ну-ка, гляньте в снайперский прицел, он посильнее: никак там морячок французской борьбой с фашистом занимается.

В прицел рассмотрели, что это был и точно моряк. Все подробности этой борьбы снайпер передавал любопытным, выжидая момент, когда можно будет безопасно для Королева выстрелить в солдата. Но политрук уже распорядился: Коровников вскочил на трофейную лошадь и весьма кстати прибыл на помощь Королеву.

СТРАШНОЕ ОРУЖИЕ

Бомбардировщик возвращался с боевого задания. В бою с «мессершмиттами» он израсходовал почти все патроны и оторвался от своей эскадрильи. Теперь он шел над Черным морем совершенно один во всем голубом и неприятно высоком небе.

Именно оттуда, с высоты, и свалился не него «мессершмитт-109».

Первым его увидел штурман Коваленко. Он пострелял, сколько мог, и замолчал. Стрелок-радист дал врагу подойти ближе и, тщательно целясь, выпустил свои последние патроны, потом доложил об этом летчику.

— Знаю,— ответил Попко.— Будем вертеться.

И самолет начал вертеться. Он уходил от светящейся трассы пуль как раз тогда, когда они готовы были впиться в самолет. Он пикировал и взмывал вверх. Он делал фигуры, невозможные для его типа. Пока что это помогало: он набрал только несколько безобидных пробоин в крылья.

Фашистский летчик, очевидно, понял, что самолет безоружен. Но, видимо, он слышал кое-что о советском таране и побаивался бомбардировщика. Вся игра свелась теперь к тому, что «мессершмитт» старался выйти в хвост на дистанцию бесспорно верной стрельбы.

Наконец ему это удалось. Стрелок-радист увидел самолет прямо за хвостом и невольно нажал гашетку. Но стрелять было нечем. Стрелять мог только враг. Это был конец.

Тут что-то замелькало вдоль фюзеляжа бомбардировщика. Белые странные цилиндры стремительно мчались к «мессершмитту». Они пролетали мимо него, они стучали по его крыльям, били в лоб. Они попадали в струю винта и разрывались невиданной, блистающей на солнце,

очень крупной и медленной шрапнелью. Один за другим вылетали из кабины штурмана эти фантастические снаряды.

«Мессершмитт» резко спикировал под хвост бомбардировщику, в одно мгновение потеряв выгодную позицию. Теперь уйти от него было легко, и скоро фашист отстал, видимо сберегая горючее для возвращения.

Радист передохнул и вытер со лба пот.

— Отвалил фриц,— доложил он летчику и любопытно спросил: — Чем это вы в него стреляли, товарищ капитан?

— Нечем нам тут стрелять,— ответил в трубке голос Попко.— Я и сам удивляюсь, с чего он отскочил?

Тогда в телефон ворвался голос штурмана Коваленко:

— Это я его отшил. Злость одолела,— ишь как подобрался, стервец!.. Черт его знает, думаю, а вдруг он их за какие-нибудь новые снаряды примет?

— Кого это — их? — не понял Попко.

— Листовки. Я же в него листовками швырялся, всю руку отмотал, пачки-то увесистые!..

И весь экипаж — летчик, радист и штурман — захохотал. Смеялся, кажется, и самолет. Во всяком случае, он потряхивал крыльями и шатался в воздухе, как шатается и трясет руками человек в припадке неудержимого хохота.

Потом, когда все отсмеялись, самолет выправился и степенно пошел к базе, совершенно один в чистом и очень приятном голубом высоком небе.

ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО

Передний склон высоты 127,5, расположенный у хутора Мекензи, обозначался загадочной фразой: «Где старшина второй статьи на танке катался».

В начале марта в одном из боев за Севастополь Третий морской полк перешел в контратаку на высоту 127,5. Атака поддерживалась танками и артиллерией Приморской армии. Высота была опоясана тремя ярусами немецких окопов и дзотов. Бой шел у нижнего яруса, артиллерия била по вершине, парализуя огонь фашистов, танки ползали вдоль склона, подавляя огневые точки противника.

Один из танков вышел из боя. На нем был тяжело ранен командир. Танк спустился со склона и остановился у санчасти. Не успели санитары вытащить из люка ране-

ного, как из кустов подошел к танку рослый моряк с повязкой на левой руке, видимо только что наложенной. Оценив обстановку и поняв, что танк без командира вынужден оставаться вне боя, он ловко забрался в танк.

— Давай прямо на высотку, не ночевать же тут,— сказал он водителю и, заметив его колебание, авторитетно добавил: — Давай, давай! Я — старшина второй статьи, сам катера водил, дело привычное... Полный вперед!..

Танк помчался на склон. Он переполз и первый и второй ярусы немецких окопов, взобрался на вершину и добрых двадцать минут танцевал там, крутясь, поливая из пулемета и пушки, давя фашистов гусеницами в их норах. Рядом вставали разрывы наших снарядов — артиллерия никак не предполагала появления нашего танка на вершине. Потом танк скатился с высоты так же стремительно, как взобрался туда, и покатил прямо к кустам, где сидели корректировщики артиллерии.

И тут старшина второй статьи изложил лейтенанту свою претензию.

— Товарищ лейтенант, нельзя ли батареям перенести огонь? Я бы там всех фашистов передавил, как клопов, а вы кроете, спасу нет. Сорвали мне операцию...

Но, узнав с огорчением, что его прогулка на вершину мешает заградительному огню, моряк смущенно выскочил из танка и сожалеюще похлопал ладонью по его броне.

— Жалко, товарищ лейтенант, хороша машина... Ну, извините, что поднапутал...

И, подкинув здоровой рукой немецкий автомат (с которым он так и путешествовал в танке), он исчез в кустах. Только о нем и узнали, что он «старшина второй статьи», да запомнили сине-белые полоски «морской души» — тельняшки, мелькнувшей в вырезе ватника, закопченного дымом и замазанного кровью.

Вечером мы пытались найти его среди бойцов, чтобы узнать, кто был этот решительный и отважный моряк, но военком полка, смеясь, покачал головой:

— Бесполезное занятие. Он небось теперь мучается, что не по тактике воевал, и ни за что не признается. А делов на вершинке наделал: танкисты рассказали, что одно пулеметное гнездо он с землей смешал — приказал на нем крутиться, а сам из люка высунулся и здоровой рукой из автомата кругом поливает... Морская душа, точно...

И МИНОМЕТ БИЛ...

В разведке под Севастополем трое краснофлотцев вышли на минометную фашистскую батарею. Они бросили в окоп несколько гранат и перестреляли разбегающихся фашистов. Батарея замолкла.

Казалось, можно было бы возвращаться — не каждый день бывает такая удача. Но миномет был цел, и рядом лежало несколько ящиков мин.

— А что, хлопцы,— раздумчиво сказал Абращук,— мабуть, трошки покидаемся по немцу?

Он взялся наводить, Колесник — подносить ящики с минами, а третий разведчик, армянин Хастян, встал к миномету заряжающим.

Немецкие мины полетели в немецкие траншеи, и все пошло хорошо. Наконец фашисты догадались, что по ним бьет их же собственный миномет. На троих моряков посыпались снаряды и мины.

Казалось бы, пора было подорвать миномет и оставить окоп. Но моряки заметили, что их батальон, воспользовавшись неожиданной поддержкой миномета, поднялся в атаку. Тогда они решили бить по немецким траншеям, пока хватит немецких мин.

И миномет бил по фашистам. Все ближе и все чаще рвались рядом с моряками немецкие снаряды. Разрывы стали обсыпать краснофлотцев землей, осколки — визжать над ухом. Колесник упал: его ранило в ноги. Перевязавшись, он ползком продолжал подтаскивать к Хастяну ящики с минами.

И миномет бил по фашистам, бил яростно и непрерывно. Снова в самом окопе грохнул снаряд. Хастяну оторвало кисть руки. Моряки перетянули ему руку бинтом, остановили кровь. Он встал, шатаясь, протянул здоровую руку за очередной миной, которую подал ему с земли подползший Колесник, и опустил ее в ствол.

И миномет бил по фашистам.

Он бил до тех пор, пока до окопа не добежали краснофлотцы, ринувшиеся в атаку.

Даже видавшие виды севастопольские бойцы ахнули при виде трех окровавленных моряков, методически и настойчиво посылавших неприятелю мину за миной: один — безногий, другой — безрукий, третий — неразличимо перемазанный кровью и землей.

Раненых тотчас понесли в тыл, а Абращук сказал:

— Эх, расстроили нашу компанию... Ну, становись к миномету желающие... Тут еще полный ящик, бей по левой траншее, а я вперед пойду!

Он подобрал немецкий автомат и бросился вслед за атакующими моряками.

«ПУШКА БЕЗ МУШКИ»

Как известно, на каждом корабле имеется своя достопримечательность, которой на нем гордятся и которой обязательно прихвастнут перед гостями. Это или особые грузовые стрелы неповторимых очертаний, напоминающие неуклюжий летательный аппарат и называющиеся поэтому «крыльями холопа», или необыкновенный штормовой коридор от носа до кормы, каким угощают вас на лидере «N», ручаясь, что по нему вы пройдете в любую погоду, не замочив подошв. Иной раз это скромный краснофлотец по первому году службы, оказывающийся чемпионом мира по плаванию, иногда, наоборот, замшелый, поросший седой травой корабельный плотник, служащий на флоте с нахимовских времен.

Морская часть на берегу во всем похожа на корабль. Поэтому в той бригаде морской пехоты, которой командовал под Севастополем полковник Жидилов, оказалась своя достопримечательность.

Это была «пушка без мушки».

О ней накопилось столько легенд, что нельзя уже было понять, где тут правда, где неистребимая флотская подначка, где уважительное восхищение и где просто зависть соседних морских частей, что не они выдумали это необыкновенное и примечательное оружие.

Кто-то уверял меня, что полковник взял эту пушку в Музее севастопольской обороны. Кто-то пошел дальше и утверждал, что «пушка без мушки» палила еще по Мамаю на Куликовом поле. Но, видимо вспомнив, что тогда еще не было огнестрельного оружия, спохватился и сказал, что исторически это не доказано, но то, что пушка эта завезена в Крым Потемкиным,— уж, конечно, неоспоримый факт.

О ней говорили еще, что она срастается по ночам сама, вроде сказочного дракона, который, будучи разрублен

на куски, терпеливо приклеивает к телу отделенные части организма, поругиваясь, что никак не может отыскать в темноте нужной детали — глаза или правой лапы. Впрочем, рассказы этого сорта родились из показаний пленных немцев: примерно так они говорили о какой-то «бессмертной пушке» под Итальянским кладбищем, которую они никак не могут уничтожить ни снарядами, ни минами.

Все это так меня заинтересовало, что специально для этого я выехал в бригаду, чтобы посмотреть «пушку без мушки» и собрать о ней точные сведения. Вот вполне проверенный материал об этой диковине, за правдивость которого я ручаюсь своей репутацией.

Где-то в Евпатории, не то в порту, не то на складе металлолома, полковник Жидилов еще осенью наткнулся на четыре орудия. Это были вполне приличные орудия — каждое на двух добротных колесах, каждое со стволом и даже с замком. Самым ценным их качеством, привлекшим внимание полковника, было то, что к ним прекрасно подошли 76-миллиметровые снаряды зениток, которых в бригаде было хоть пруд пруди. Недостатком же их была некоторая устарелость конструкции (образец 1900 года) и отсутствие прицелов.

Первая причина полковника не смутила. Как он утверждал, в войне годится всякое оружие, вопрос лишь в способе его применения. Раз к данным орудиям подходили снаряды и орудия могли стрелять — им и полагалось стрелять по врагу, а не ржаветь бесполезно на складе.

Вторая причина — отсутствие прицелов и решительная невозможность приспособить к этой древней постройке современные — также была им отведена. Полковник, выслушивая жалобы на капризы техники, обычно отвечал мудрой штурманской поговоркой: «Нет плохих инструментов, есть только плохие штурмана». И он тут же блестяще доказал, что для предполагаемого им применения этих орудий прицелы вовсе не нужны.

Одну из пушек выкатили на пустырь. Удивляясь перемене судьбы и покряхтывая лафетом, старушка развернулась и уставилась подслеповатым своим жерлом на подбитый бомбой грузовик метрах в двухстах от нее. Наводчик, обученный полковником, присел на корточки и, заглядывая в дуло, как в телескоп, начал командовать морякам, взявшимся за хобот лафета:

— Правей... Еще чуть правей... Теперь чуточку левей... Стоп!

Потом замок щелкнул, проглотив патрон, и старая пушка ахнула, сама поразившись своей прыти: грузовик подскочил и повалился набок.

Именно так все четыре «пушки без мушки» били впоследствии немецкие машины на шоссе возле Темишева. Их установили в укрытии для защиты отхода бригады, и они исправно повалили девять немецких грузовиков с пехотой, добавив разбегающимся фашистам хорошую порцию шрапнели прямой наводкой. Именно так они били по танкам, и так же работала под Итальянским кладбищем последняя «пушка без мушки». Три остальные погибли в боях, их пришлось оставить при переходе через горы, где тракторы были нужны для более современных орудий. Но четвертую полковник все же довез до Севастополя.

Здесь ей дали новую задачу: работать как кочующее орудие. Ее установили в двухстах — трехстах метрах от немецких окопов и, выбрав время, когда артиллерия начинала бить по неприятелю, добавляли под общий шум и свои снаряды. Маленькие, но злые, они точно ложились в траншеи, пока разъяренные фашисты не распознавали места «пушки без мушки». Тогда на нее сыпался ураган снарядов.

Ночью моряки откапывали свою «пушку без мушки» из завалившей ее земли, впрягались в нее и без лишнего шума перетаскивали на новое место, поближе к противнику, отрыв рядом надежное укрытие для себя. Немцы снова с изумлением получали на голову точные снаряды бессмертной пушки — и все начиналось сначала.

С гордостью представляя мне свою любимицу, бригадный комиссар Ехлаков подчеркнул:

— Золото, а не пушка! В нее немцы полторы сотни снарядов зараз кладут, а сделать ничего не могут. Расчет в блиндаже покуривает, а ей, голубушке, эта стрельба безопасна. Ты сам посуди: прицела нет, панорамы нет, ломких деталей нет, штурвальчиков разных нет. Есть ствол да колеса. А их только прямым попаданием разобьешь. Когда-то еще прямое будет, а на осколки она чихает с присвистом... Понятно?

В самом деле, все было понятно.

ПОДАРОК ВОЕНКОМА

Мы сидели в подвале разрушенной чайханы под Итальянским кладбищем, где было что-то вроде клуба для моряков третьего батальона, и снайпер Васильев показывал мне свою записную книжку. В ней стояли только цифры. Так, запись «14—9/1—2» означала, что четырнадцатого числа Васильев убил девять солдат и одного офицера и ранил двоих (кого именно — офицеров или солдат,— Васильев из самолюбия не помечал: промах, не очень чистая работа!). Он рассказывал мне, как сговаривается с минометчиками (они дают залп по траншее, а он бьет выбегающих оттуда фашистов), как выслеживает он тропинки, как выползает на свою позицию на откосе скалы,— и, говоря это, он все время с завистью косил взглядом в угол «клуба».

Там в полутьме играл баян, и военком бригады плясал. Это был его отдых.

Военком был удивительным человеком, сгустком энергии, пружиной, все время жаждущей развернуться и увлечь за собой других. Везде, куда бы он нынче меня ни приводил, я замечал оживление, неподдельную радость и в то же время некоторую опасливость — а не скажет ли, мол, сейчас военком знакомой и обидной фразы: «Заснули, орлы? Чего гитлеровцев не тревожите? Может, война кончилась, я нынче газету не читал?..»

И везде, где я его сегодня видел, он «тревожил немцев». Так, он нашел цель для минометчиков, дождался, пока они ее не накрыли, перетащил знаменитую «пушку без мушки» на новую позицию и не успокоился, пока она не вызвала на себя яростный, но бесполезный огонь («пускай враг боезапас тратит!»), снарядил разведчиков за «языком», отправил в тыл раненых и теперь, томясь безработицей, плясал.

— Сколько же у вас на счету? — спросил я Васильева.

— Я месяц раненый пролежал,— ответил он, как бы извиняясь.— Тридцать семь... То есть, собственно, тридцать пять: двоих мне бригадный комиссар от себя подарил.

И он рассказал, что вначале он стрелял из обыкновенной трехлинейки. Когда же он уложил десятого фашиста, военком, следивший за каждым снайпером, сам приполз к нему на скалу, чтобы торжественно вручить

ему снайперскую винтовку с телескопическим прицелом. Он полежал с ним рядом в его укрытии, рассматривая передний край гитлеровцев и отыскивая, где бы их вечером «потревожить». Но тут на тропинку вылезли два солдата, и военком не выдержал. Он молча взял у Васильева новую винтовку и пристрелил обоих подряд.

— Я, конечно, в свой счет их бы не поставил,— закончил Васильев.— Но военком приказал: «Бери, говорит, их себе. Во-первых, я просто не стерпел, во-вторых, винтовка не моя, а в-третьих, мне счет вести ни к чему, я им и счет потерял...»

И я вспомнил, какой счет имел бригадный комиссар Ехлаков.

В декабрьский штурм Севастополя командный пункт бригады вместе с военкомом оказался отрезанным. Командира бригады не было (раненный, он был увезен накануне), но военком спас и штаб, и всю бригаду. Он выслал ползком через фашистские цепи восемь отважнейших моряков-автоматчиков. Пункт уже забрасывали гранатами, когда эти восемь начали бить в спину наступающим, а военком с оставшимися у него моряками встретил врагов в лицо огнем и гранатами. «Кругом компункта все темно было от мундиров» — так рассказали мне моряки исход этого боя.

Баян замолк, и военком подошел к нам.

— Ну, наговорился, что ли? Время-то идет,— сказал он и стремительно пошел к выходу.

Ватник его был расстегнут, и сине-белые полосы тельняшки, с которой он не расставался с времен давней краснофлотской службы, извилистой линией волн вздымались над его широко дышащей грудью.

«МАТРОССКИЙ МАЙОР»

В тяжелых осенних боях под Перекопом небольшой красноармейской части пришлось влиться в соседний отряд морской пехоты. Командиром этого сводного отряда был немолодой уже майор, артиллерист береговой обороны. Красноармейцы любовно прозвали его «матросским майором». Он сразу расположил их к себе отвагой, спокойствием, веселым своим нравом и упрямой волей к победе.

«Матросский майор» перед атакой обычно поворачи-

вал морскую свою фуражку золотой эмблемой к затылку. Пояснял он это так:

— Две задачи. Первая: фашистские снайперы эмблемы не увидят, стало быть, не будут специально в меня целить. Вторая: войско мое, надо понимать, у меня сзади, я же впереди всех в атаку хожу. Вот оно и спокойно — эмблема сияет и показывает: тут, мол, командир, впереди... стало быть, все в порядке...— И он деловито добавлял: — Вот при отходе, ежели что случится, командир должен фуражку нормально носить. Бойцы назад обернутся, тут эмблема им и доложит: все, мол, в порядке, командир последним отходит.

Но однажды «матросский майор» был вынужден сам изменить этому своему правилу.

Сводный отряд попал в окружение. Кольцо врагов сжималось, оттесняя его к берегу. К ночи моряки и красноармейцы заняли последнюю позицию у самого моря, установили оборону и решили держаться здесь до конца.

К какому именно месту берега вышел отряд в многодневных боях на отходе, сказать было трудно. На карте путалось кружево заливчиков, лиманов, озер, бухт, на местности были одинаковые камыши, кусты да вода. Было ясно одно: впереди и с боков надвигался враг, сзади лежало море. Отступать было некуда.

Конца ожидали утром, когда гитлеровцы подтянут силы для уничтожения «черных дьяволов», попавшихся наконец в мешок. Пока все было тихо, стрельба прекратилась. В ночи шумел ветер, светила луна. Черное море поблескивало сквозь камыши и кусты широкой и вольной дорогой к Севастополю, бесполезной для отряда.

Просторная даль тянула к себе взоры, и бойцы отряда молча посматривали на море. Но если красноармейцы с горечью и досадой отворачивались от него, негодуя на препятствие, кладущее конец боям и жизни, то моряки, прощаясь с морем, вглядывались в него с тоской и надеждой, все еще веря, что оно не выдаст и выручит.

Но в лунном серебряном море не было ни корабля, ни шлюпки.

«Матросский майор», обойдя охранение, прилег рядом с военкомом в камышах на плащ-палатке и тоже стал смотреть на Черное море. Вся его военная жизнь — с тех самых дней, когда в гражданской войне он вступил добровольцем-юношей в матросский отряд и ворвался с ним

в Крым по этому же узкому перешейку,— была связана с морем. Каждый день в течение двадцати лет он видел его в прицеле орудия, в дальномер, потом в командирский бинокль или в окно сквозь цветы, когда семье удавалось жить с ним вместе на очередной береговой батарее. И теперь мысль, что он видит море в последний раз, казалась ему дикой.

Военком, видимо, разгадал его чувство или, может быть, у него защемило сердце от лунного этого простора, неоглядно распахнувшегося над широким морем. Он шумно вздохнул и сказал:

— Да, брат... Хороша вода...

— Хороша,— сказал майор, и они опять надолго замолчали.

Обоим многое хотелось сказать друг другу в эту ночь, которая, как оба отлично понимали, была последней ночью в жизни. Слова сами возникали в душе, необыкновенные и яркие, похожие на стихи. Но произнести их было нельзя.

В них было только прошлое — и не было будущего. В них были далекие, дорогие сердцу люди — и не было места для тех, кто лежал рядом в камышах и верил, что эти два человека совещаются о том, как спасти отряд. Море, прекрасное и родное, вольной своей ширью звало к жизни, и нужно было найти путь к этой жизни. Но выхода не было — и такая нестерпимая жалость к себе подымалась в душе, что, если произнести блуждающие в ней слова вслух, голос мог дрогнуть и глаза заблестеть.

Поэтому оба говорили другое.

— Ветер нынче какой,— сказал военком.— В море шторм, верно.

— Наверное, шторм,— ответил майор.

И они опять замолчали. Потом майор приподнял голову и посмотрел на море с таким неожиданным и живым любопытством, что военком невольно приподнялся за ним и шепнул, не веря надежде:

— Корабль, что ли?

Майор повернул к нему лицо, и военком заметил в его глазах, освещенных луной, знакомую веселую хитрость.

— Военком,— сказал майор с неистребимой подначкой,— ты и вправду думаешь, что это море?

— А что ж, степь, что ли? — обиделся военком.— Конечно, море.

— Эх ты, морская душа! — покачал головой майор.— Моря от лужи не отличил!.. Кабы мы у моря сидели, тут такая бы волна ходила, будь здоров! Понятно?

— Ничего не понятно,— честно сказал военком.

— Ну, так поймешь. Фонарь у тебя еще живой?

Майор выдернул из-под себя плащ-палатку и накрыл ею с головой себя и военкома.

Когда командир пулеметного взвода подошел с докладом, что огневые точки готовы к бою, он увидел на песке странное четырехногое существо с огромной головой. Оно ворчало двумя голосами и шелестело бумагой. Потом оно засмеялось высоким заразительным смехом майора и басом военкома, подобрало ноги — и майор вскочил, пряча в планшет карту.

— Окопались? — спросил оживленно.— Вот и хорошо! Вытаскивайте обратно все пулеметы к воде...

Через час отряд осторожно, стараясь не плескаться, пробирался друг за другом по пояс в холодной воде, подняв над головами автоматы и оружие. Пулеметы несли на связанных винтовках, а пять оставались еще в кустах, охраняя отход, и возле них лежал военком.

Море, к которому немцы прижали отряд, оказалось лиманом, мелким и спокойным. Ветер распластывал над водой ленточки бескозырок, но по лиману бежали только короткие безобидные волны. Настоящее Черное море гремело и перекатывалось рядом, за низкой песчаной косой.

И хотя это было отходом, а не атакой, майор на этот раз шел впереди, повернув фуражку эмблемой назад. Эмблема блестела в лунных лучах, указывая путь отряду, и «матросский майор» нащупывал ногой дорогу к Севастополю, то и дело погружаясь в воду по горло — так же, как двадцать лет назад, когда он переходил Сиваш и когда впервые узнал, что не всякая широкая вода — море.

ПОСЛЕДНИЙ ДОКЛАД

С берега, вероятно, казалось, что на середине реки росла какая-то странная передвигающаяся рощица белоствольных деревьев. Светлые и зыбкие, возникающие из воды и медленно опадающие, они прорастали на пути маленького катера, и пышные, сверкающие водяной пылью их кроны осыпались металлическими плодами.

Это был ураганный минометный артиллерийский огонь с обоих берегов по узкости реки. Бронекатер, про-

биравшийся в этом лесу всплесков, метался вправо и влево.

Командир его был уже ранен. Он навалился всем телом на крышу рубки и смотрел только перед собой, угадывая по всплескам, где вырастет следующая смертоносная роща. Он командовал рулем, и каждая его команда спасала катер от прямого попадания. Чтобы проскочить узкость и спасти катер, надо было все время кидаться из стороны в сторону, сбивая пристрелку врага. И командир выкрикивал слова команды, и рулевой за его спиной повторял их, и катер рвался вперед, все вперед, беспрерывно меняя курс.

Но порой рощица светлых зыбких деревьев прорастала у самого катера, иногда сразу с обоих бортов. Это было накрытие. Тогда вода обдавала катер обильным душем, и вместе с водой на палубу падали осколки, грохоча и взвизгивая. После одного из таких накрытий рулевой не ответил на команду, и командир, подумав, что тот ранен или убит, хотел обернуться к нему. Но катер выполнил маневр, командир понял, что все по-прежнему в порядке, и продолжал командовать рулем. И хотя рулевой снова не повторял команды, катер послушно выполнял малейшее желание командира и мчался по реке зигзагами, лавируя между всплесками.

Наконец водяные рощи стали редеть. Только отдельные всплески преследовали катер. Потом и они остались за кормой, впереди распахнулся широкий и мирный плес. Катер выскочил из обстрела, и на реке встала тишина, показавшаяся командиру странной.

И в этой тишине он услышал за собой негромкий доклад:

— Товарищ командир... управляться не могу...

Он с трудом обернулся. Рулевой всем телом повис на штурвале. Лицо его было белым, без кровинки, глаза закрыты. Руки еще держали штурвал, и, когда он медленно пополз по нему, падая на палубу мостика, эти руки повернули штурвал. Катер резко метнулся к берегу.

Командир перехватил штурвал и крикнул с мостика, чтобы рулевому помогли.

Когда его подняли, он был мертв. Нога его была разворочена осколками, и вся палуба у штурвала была залита кровью.

Это было на бронекатере 034. Рулевым его был старшина второй статьи Щербаха, черноморский моряк.

НА СТАРЫХ СТЕНАХ

Эту старинную крепость знает всякий, кто бывал в Севастополе.

У самого выхода из бухты стоит на Северной стороне каменный форт, отвесно опуская свои высокие стены в лазоревую воду бухты. Почти сто лет тому назад он видел в прозрачной этой воде черные громады восьмидесятичетырехпушечных кораблей, затопленных поперек входа в бухту героями первой севастопольской обороны, и снятые с этих кораблей морские пушки били тогда по врагам из широких его амбразур.

Во второй севастопольской обороне правнуки нахимовских матросов снова подняли над старым фортом гордое знамя черноморской славы.

Форт был очень нужен врагу. Завладев им, фашисты могли окончательно прекратить всякую возможность прохода кораблей и катеров в море. Форт запирал выход из бухты, и немцы стремились овладеть им как можно скорее.

В последние трагические дни обороны Севастополя семьдесят четыре краснофлотца охраны водного района под командой капитана третьего ранга Евсеева и батальонного комиссара Кулинича дали героическому городу слово — держать форт и выход из бухты. Они поднялись на древние каменные стены с автоматами в руках. В первой же атаке немцев моряки уложили более пятидесяти их автоматчиков, заставив остальных отхлынуть.

Тогда фашисты бросили на форт большие силы. На старую крепость пошли танки. Сотни снарядов стали падать на гранитные стены. Эти стены умели когда-то выдерживать удары круглых бомб первой севастопольской осады, но острых и сильных современных снарядов они выдержать не могли.

Атака за атакой — с фронта и с флангов, танками и пехотой — одна за другой накатывались на форт, накатывались и разбивались, как волны. В промежутках между атаками на старый форт падали новые сотни снарядов.

Они пробивали в его стенах огромные бреши, они разбивали гранит, и высокое облако сухой каменной пыли подымалось столбом к синему крымскому небу. Но каждый раз, когда гитлеровцы с гиканьем и воплями победы устремлялись к стенам, из этого облака пыли стучали

очереди автоматов и пулеметов, и атака вновь захлебывалась.

Защитников форта было мало, и каждому приходилось драться за целую роту. На левом фланге стоял одинокий пулемет; возле него был только один моряк — комсомолец Компаниец. Шестьдесят немецких автоматчиков хлынули в образовавшийся после обстрела провал стены, рассчитывая ворваться с фланга. Компаниец одной длинной очередью повалил почти половину, и остальные откатились.

Обстрел, атаки, натиск танков продолжались три дня. Трое суток семьдесят четыре моряка противостояли огромным силам и технике врага. За широкими спинами моряков был выход из бухты, там должны были проходить корабли, и форт надо было держать. Надо...

И моряки держали форт трое суток, пока из бухты не вышли все корабли и катера, и ни одному фашисту не удалось пройти через развалины форта до прозрачной лазоревой воды.

Стены форта рушились, обвалы засыпали моряков. Они выползали из-под камней, отряхиваясь, и снова втискивались в щели между развалинами, выискивая цель для каждой своей пули. Раненные, они снова ползли на камни, с трудом таща за собой автомат, и снова били врага.

Раненым помогал военфельдшер Кусов. Он лежал с автоматом на разрушенной стене и стрелял по фашистам. Его окликали. Он откладывал автомат, перевязывал раненого и снова карабкался на стенку, чтобы отбивать атаку. Так он перевязывал и стрелял, стрелял и перевязывал, пока снаряд, ударивший рядом, не оборвал его мужественной жизни.

На воде, у стен форта, обращенных к городу, стояли шлюпки. Можно было сесть в них и оставить форт. Можно было уйти из этого ада, держаться в котором, казалось, не было уже возможности. Но это означало — отдать врагу выход из бухты. Это означало — отрезать путь тем, кто мог еще уйти из Севастополя.

И шлюпки стояли у стен форта в тихой прозрачной воде, прислушиваясь к разрывам снарядов, к долгой речи пулеметов. Они стояли и ждали, и мимо них проходили в море корабли и катера.

В конце второго дня боя из развалин вышли два моряка с носилками. ·На носилках лежал комсомолец

Грошов, радист, старшина второй статьи. Его откопали из-под стенки, поваленной очередным снарядом, и решили отправить на тот берег. Он лежал в обрывках одежды, и сквозь них синела на неподвижном теле тельняшка, но белые полоски на ней нельзя было различить: весь он был в земле, в едкой пыли раздробленного столетнего гранита.

У воды он очнулся, приподнял голову и посмотрел на шлюпки.

— Давай назад,— сказал он хрипло.— Я еще не мертвый, куда тащите? Есть пока силы бить фашистскую погань. Несите назад, ребята...

Моряки молча шли к шлюпкам.

— Назад неси, говорю! — крикнул он в бешенстве, приподымаясь на носилках.

И столько ярости и силы было в этом окрике раненого, что моряки так же молча повернулись у самых шлюпок и понесли его в форт.

Шлюпки продолжали ждать. Ждать им пришлось долго — еще вечер, еще день, еще ночь. Лишь на рассвете четвертого дня из облака каменной пыли, стоявшей над фортом, вышли моряки, неся раненых и оружие: приказ отозвал их на последний корабль.

Они шли к воде молча, неторопливо, изодранные, засыпанные каменной пылью, израненные, шли торжественной процессией героев, грозным и прекрасным видением черноморской славы, правнуки севастопольских матросов, строивших когда-то этот старый форт.

ВОРОБЬЕВСКАЯ БАТАРЕЯ

Зенитная батарея Героя Советского Союза Воробьева была уже хорошо знакома фашистам по декабрьскому штурму. Тогда длинные острые иглы ее орудий, привыкших искать врага только в небе, вытянулись по земле. Они били бронебойными снарядами по танкам, зажигательными — по машинам, шрапнелью — по пехоте. Краснофлотцы точным огнем из автоматов и бросками гранат останавливали фашистов, яростно лезших на батарею, внезапно возникшую на пути к Севастополю.

Теперь, в июне, батарея снова закрыла собой дорогу к городу славы.

На этот раз фашисты бросили на нее огромные силы. Самолеты пикировали на батарею один за другим. Дым-

ные высокие столбы разрывов закрывали собой все расположение батарей. Но когда дым расходился и дождь взлетавших к небу камней опускался на землю — из пламени и пыли вновь протягивались вдоль травы острые, длинные стволы зениток, и снова точные их снаряды разбивали фашистские танки.

Наконец орудия были убиты. Они легли, как отважные воины,— лицом к врагу, вытянув свои стройные изуродованные стволы. Батарея держалась теперь только гранатами и ручным оружием краснофлотцев.

Как дрались там моряки, как ухитрились они держаться еще несколько часов, уничтожая врагов, что происходило на этом клочке советской земли, остававшемся еще в руках советских людей,— не будем догадываться и выдумывать.

Пусть каждый из нас молча, про себя прочтет три радиограммы, принятые с воробьевской батареи в последний ее день:

«12-03. Нас забрасывают гранатами, много танков, прощайте, товарищи, кончайте победу без нас».

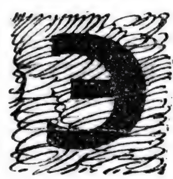
«13-07. Ведем борьбу за дзоты, только драться некому, все переранены».

«16-10. Биться некем и нечем, открывайте огонь по компункту, тут много немцев».

И четыре часа подряд била по командному пункту исторической батареи двенадцатидюймовая морская береговая. И если бы орудия могли плакать, кровавые слезы падали бы на землю из их раскаленных жерл, посылающих снаряды на головы друзей, братьев, моряков — людей, в которых жила морская душа, высокая и страстная, презирающая смерть во имя победы.

1942

Батальон четверых



тот бой начался для Михаила Негребы прыжком в темноту. Вернее — дружеским, но очень чувствительным толчком в спину, которым ему помогли вылететь из люка самолета, где он неловко застрял, задерживая других.

Он пролетел порядочный кусок темноты, пока не решился дернуть за кольцо: это был его первый прыжок, и он опасался повиснуть на хвосте самолета. Парашют послушно раскрылся, и, если бы Негреба смог увидеть рядом своего дружка Королева, он подмигнул бы ему и сказал: «А все-таки вышло по-нашему!»

Две недели назад в Севастополе формировался отряд добровольцев-парашютистов. Ни Королев, ни Негреба не могли, понятно, упустить такого случая, и оба на вопрос прыгали ли они раньше, гордо ответили: «Как же... в аэроклубе — семь прыжков». Можно было бы для верности сказать — двадцать, но тогда их сделали бы инструкторами, что, несомненно, было бы неосторожностью; достаточно было и того, что при первой подгонке парашютов обоим пришлось долго ворочать эти странные мешки (как бы критикуя укладку на основании своего опыта) и косить глазом на других, пока оба не присмотрелись, как же надо надевать парашют и подгонять лямки.

Однако все это обошлось, и теперь Негреба плыл в ночном небе, удивляясь его тишине. Сюда, в высоту, орудийная стрельба едва доносилась, хотя огненное кольцо залпов поблескивало вокруг всей Одессы, а с моря били корабли, поддерживая высадку десантного морского полка (с которым должны были соединиться парашютисты, пройдя с тыла ему навстречу). В городе кровавым цветком распускался большой, высокий пожар. Там же, где должен был приземлиться Негреба, было совершенно темно.

Впрочем, вскоре и там он различил огоньки. Было похоже, будто смотришь с мачты на бак линкора, где множество людей торопливо докуривают папиросы, вспыхивая частыми затяжками. Это и была линия фронта, и сесть следовало за ней, в тылу у румын. Он потянул лямки, как его учили, и заскользил над боем вкось.

Видимо, он приземлился слишком далеко от боя, потому что добрый час полз в темноте, никого не встречая. Внезапно что-то схватило его за горло, и он с размаху ударил в темноту кинжалом. Но это оказалось проволокой связи. Негреба вынул из мешка кусачки и перекусил ее в нескольких местах, ползя вдоль нее. Тут ему пришло в голову, что проволока может привести к румынской части, где можно устроить порядочный аврал огнем из автомата.

Через час проволока привела в бурьян. Всмотревшись в рассветную мглу, Негреба увидел трех коней и поодаль часового. Кони, почуяв человека, захрапели, и пришлось долго выжидать, пока они привыкнут. За это время Негреба надумал, что можно снять часового, вскочить на коня и помчаться по деревне, постреливая из автомата. Он медленно пополз к часовому, держа в левой руке автомат, в правой — кинжал. Именно эта правая рука провалилась на ползке в непонятную яму и тотчас уперлась во что-то мягкое. Его кинуло в жар, и он замер на месте. Откуда-то из-под земли шли громкие голоса.

Наконец он понял: мягкое и упругое препятствие оказалось одеялом, закрывавшим отдушину погреба. Там слышался чужой говор, звенели шпоры, стучала пишущая машинка. Негреба осторожно прорезал кинжалом дырку и заглянул в погреб. Очевидно, это был штаб батальона, может быть, полка. Румынские офицеры сгрудились у стола за картой, по которой им что-то раздраженно показывал черноусый и давно не бритый пожилой офицер.

В углу на корточках сидели телефонисты. Они подозвали одного из офицеров, и тот начал кричать в трубку. Негреба под этот шум вынул из сумки гранату. Одной ему показалось мало. Когда в подвале снова начался громкий говор, он достал вторую, потом третью и связал их вместе. Он собрался было кинуть их в отдушину, но тут зацокали копыта, и к погребу подскакали еще двое. Негреба дал им войти и тотчас же похвалил себя за это: все офицеры в подвале вытянулись и встали «смирно» — очевидно, один из вошедших был большим начальником.

Негреба швырнул гранаты в отдушину и кубарем покатился в бурьян. Часовой крикнул, но в подвале грянуло и рвануло, и часовой исчез неизвестно куда.

Уже рассвело, когда Негреба вышел в тыл переднего края румынских окопов. Он залег в копне и стал выжидать. Промчался одинокий всадник. Он скакал во весь дух, оглядываясь и пригибая голову к шее коня. Негреба навел на него автомат, но где-то близко простучала очередь, и всадник свалился. Негреба обрадовался: видно, рядом прятался еще один наш парашютист. Снова застучал автомат, и Негреба понял, что он бьет из кустов рядом.

Он решил переползти по кукурузе к товарищу (все же вдвоем лучше), но тут завыли мины и стали рваться у кустов одна за другой, и автомат замолк. Тогда из ложбинки показалось несколько румын, беспрерывно стреляющих по кустам, где сидел неизвестный Негребе товарищ. Негреба в их трескотню добавил свою очередь. Несколько румын упало, остальные кинулись в кукурузу. Все снова стихло, только издали доносилась стрельба.

Он пополз к кустам и нашел там Леонтьева. Тот лежал ничком, подбитый миной. Негреба повернул его. Леонтьев открыл глаза, но тут же закрыл их и негромко сказал:

— Миша... пристрели... не выбраться...

Негреба взглянул в его белое, восковое лицо и вдруг отчетливо понял, что тут, в этих кустах, он найдет и свой собственный конец: пронести Леонтьева через фронт один он не сможет, оставить его здесь или выполнить его просьбу — тоже. Все в нем похолодело и заныло, и он ругнул себя — нужно ему было лезть сюда... Шел бы сам по себе, целый и сильный, выбрался бы... Но хотя жалость к себе и своей жизни, с которой приходится расста-

ваться из-за другого, и сжимала его сердце, он прилег к Леонтьеву и сказал так весело, как сумел:

Это, друг, всегда поспеется... Сперва перевяжу... Отсидимся; двое — не один...

На перевязку ушли оба пакета — леонтьевский и свой. Леонтьев почувствовал себя лучше. Негреба устроил его поудобнее, всунул ему в руки автомат и сказал:

— Ты за кинжальную батарею будешь. Лежи и нажимай спуск, только и делов! Отобьемся. Слышь, наши близко.

В самом деле, впереди, за румынскими окопами, шла яростная стрельба. Видимо, десантный полк атаковал румын. Но от этого было не легче: скоро румыны, выбитые из окопов, хлынут назад, и кустик с двумя моряками окажется как раз на пути их отступления. Надо было приготовиться к этому. Негреба выложил перед собой гранаты, запасной диск к автомату и повернулся к Леонтьеву:

— Гранаты у тебя есть?

— Есть,— отвечал тот, примеряясь, сможет ли он хоть немного водить перед собой автоматом.— Три штуки. Гранаты возьми, а диск мой не тронь. Сам стрелять буду... Наложим их, Миша, пока дойдут, а?

— Факт, наложим,— сказал Негреба, и они замолчали.

Бой приближался. Стрельба доносилась все ближе. Солнце уже грело порядочно, и теплый, горький запах трав подымался от земли. Ждать последнего боя — с ним смерти — было трудно. Сбоку, метрах в трехстах, и виднелась глубокая балка, где можно было бы отлично держаться и бить румынских фашистов с фланга. Но перенести туда Леонтьева он не мог.

Он заставил себя смотреть перед собой, на ложбинку, откуда должны были появиться враги. И уже хотелось, чтобы это было скорее: ему показалось, что нервов у него не хватит и что, если это ожидание еще продлится, он оставит Леонтьева в кустах и один поползет к балке, в сторону от пути отходящих батальонов.

— Наши сзади,— сказал вдруг Леонтьев.— Слышишь?

Негреба и сам слышал сзади четкие недолгие очереди, но боялся этому верить. Леонтьев зашевелился и закричал слабым, хриплым голосом:

— Моряки!.. Сюда!..

Он пытался подняться, но снова упал на траву. Негреба высунул голову из куста и в желтой кукурузе увидел неподалеку черную бескозырку, левее — вторую. Он встал во весь рост и замахал рукой:

— Моряки!.. Перепелица, чертяка, право на борт, свои!

Два парашютиста перебежали по кукурузе к кустам.

Это были Перепелица и Котиков. Они прилегли в куст, и Негреба наскоро сообщил им обстановку и свой план: перебежать в балку и бить отходящих румын с фланга.

— Тут нам не позиция, тут нас, как курей, задушат,— сказал он.— Тащите Леонтьева, я прикрывать буду.

Котиков и Перепелица подняли раненого. Тот стиснул зубы и закрыл глаза: каждый толчок на бегу отдавался острой болью. До балки оставалось еще метров восемьдесят, когда из ложбинки затрещали выстрелы и выскочило больше десятка румын. Негреба ответил огнем из автомата, но и остальным двоим пришлось положить Леонтьева и тоже вступить в бой. Отбившись, моряки наконец скатились в балку и там нашли еще одного парашютиста — Литовченко. Он лежал, хозяйственно обложившись гранатами и выставив из травы черное дуло автомата. Увидев краснофлотцев, он возбужденно сказал:

— А я уж думал — мне труба! Лежу один как перст, а их сейчас попрет — только считай... Ну, теперь нас сила!

Леонтьев был без сознания. Негреба осмотрел повязки: они были в крови. Тогда он снял с себя форменку, разорвал ее и сделал новую перевязку. Перепелица тем временем достал бисквиты и шоколад.

— Позавтракаем пока, что ли,— сказал он. И остальные тоже вынули свои пайки. Но сухие бисквиты не лезли в горло, а шоколад забивал рот и проглотить его было трудно. Во рту пересохло от бега, солнце уже пекло, и каждый из них дорого дал бы за глоток воды. Но все, оказывается, опорожнили свои фляги еще ночью. Только у Литовченко случайно оказалось немного воды, и он протянул фляжку Негребе:

— Дай ему. Горит человек.

Негреба осторожно влил воду в рот Леонтьева. Тот глотнул и открыл глаза.

— Держись, Леонтьич,— сказал Негреба,— гляди, нас теперь сколько... Факт, пробьемся!

Леонтьев не ответил и снова закрыл глаза. Перепелица негромко сказал:

— Поперли руманешти, гляди...

И точно, из ложбинки прямо на те кусты, где недавно еще были моряки, выбежала первая толпа отступающих румын. Впереди всех и быстрее всех бежало шесть немцев-автоматчиков. Они добежали до кустов, залегли и открыли огонь по отступающим румынам.

— Вот это тактика! — удивился Негреба.— Что ж, морячки, поможем немцам?.. Только чур не по-ихнему: прицельно бить, не очередями.

Он засучил рукава тельняшки и выстрелил первым в офицера, размахивающего пистолетом. Из балки во фланг отступающим ударили пули моряков.

Можно было и не стрелять. Румыны не заметили бы этой горсточки, спрятанной в балке, и моряки прошли бы к себе в тыл без потерь. Но они стреляли, открывая огнем свое присутствие здесь, стреляли, потому что каждый выстрел уничтожал еще одного врага, стреляли, помогая атаке десантного полка.

Под этим огнем офицерам не удалось ни остановить, ни собрать выбежавшие из окопов роты. Тогда немецкие автоматчики перенесли огонь на моряков, и кто-то из офицеров собрал десятка два солдат и повел их на балку. Это был уже настоящий бой. Моряки отбили две атаки. Наконец волна румын прошла, оставив в кукурузе и у балки неподвижные тела. Перепелица оглянул поле боя.

— Порядком наложили! — сказал он удовлетворенно.— А как у нас с патронами, ребята?

С патронами было плохо. На автоматчиков и на отражение двух атак моряки израсходовали почти весь запас. Это было тем хуже, что теперь должны были побежать румыны соседнего участка, и, по всем расчетам, они неминуемо должны были наскочить на балку. Негреба предложил повторить маневр и перебраться в соседнюю, которая опять окажется с фланга отступающих, но, посмотрев на Леонтьева, сам отказался от этой мысли. Моряки помолчали, обдумывая. Потом Негреба сказал:

— Что ж... Видно, тут надо держаться. Патроны беречь на прорыв. Отбиваться будем только гранатами. По тем, кто вплотную набежит.

Они замолчали, выжидая, когда появятся враги. Потом Перепелица достал из мешка офицерский пистолет и посмотрел обойму.

— Шесть патронов,— сказал он.— А нас пятеро. Хватит. Разыграем, что ли, кому? Понятно?

— Понятно,— сказал Литовченко.

— Ясно,— подтвердил Котиков.

— Точно,— добавил Негреба.

Он сорвал четыре травинки и откусил одну, подровняв концы, зажал в кулак и протянул Литовченко.

— Откуда у тебя ихний пистолет? — спросил тот Перепелицу, вытягивая травинку, и закончил облегченно: — Не мне, длинная.

— Пристукнул ночью офицера,— ответил Перепелица.— Вещь не тяжелая, а пригодится... Тащи ты, Котиков.

— Может, лучше свои патроны оставить? — раздумчиво сказал тот, осторожно таща травинку.— Погано ихними-то пулями...

Его травинка тоже оказалась длинной.

— Коли ранят, с автоматом не управишься, а этим и лежа всех достанешь,— сказал Перепелица деловито и потянул травинку сам.— Тоже длинная. Выходит, Миша, тебе... Только ты не торопись. Когда вовсе конец будет, понятно?

— Ясно,— сказал Негреба и положил пистолет под руку.

— Кажись, пошли,— негромко сказал Котиков.— Ну, моряки... Коли ничего не будет, свидимся.

И моряки замолчали. Только изредка стонал Леонтьев. Перепелица перекинул Негребе бушлат:

— Прикройся. Лежишь, что зебра полосатая. За версту видать.

— Все одно видать,— ответил Негреба.— Лучше уж так. Хоть увидят, что моряки.

И они снова замолчали, вглядываясь в лавину румын, покатившуюся к балке.

Румыны выбегали из окопов, падали на землю, отстреливаясь от кого-то, кто наседал на них, снова вскакивали, перебегая метров на пять-шесть. Они двигались плотной цепью, почти рядом друг с другом, и с каждой перебежкой все ближе и ближе были к горсточке моряков. Около сотни их побежало прямо на балку, видимо чуя, что они смогут укрыться от огня преследующих их

моряков десантного полка. Они еще раз залегли, отстреливаясь, потом, как по команде, вскочили и ринулись к балке.

Уже видны были их лица, небритые, вспотевшие, искаженные страхом. Они были так близко, что тяжелый запах пота, казалось, ударял в нос. Они бежали к балке молча и дружно.

И тогда на их пути встал Негреба, встал во весь рост — крепкий и ладный, в полосатой тельняшке, с автоматом в левой руке и с поднятой гранатой в правой.

— Эй, антонески, огребай матросский подарок! — крикнул он в исступлении и швырнул гранату. Вслед за ней из балки вылетели еще три. Ахнули взрывы. Румыны попадали. Другие отшатнулись и, петляя, двинулись по сторонам. Моряки бросили еще четыре гранаты. Проход расширился. Перепелица крикнул:

— Мишка, а ведь прорвемся! Хватай Леонтьева!

Моряки мгновенно поняли его, и каждый свободной рукой подхватил раненого. Они ринулись в образовавшийся проход между румынами, и Леонтьев от боли пришел в себя и снова стиснул зубы, чтобы вытерпеть этот стремительный яростный бег. Они проскочили уже самую гущу, когда он увидел, что румыны кинулись за ними. Он разжал зубы и глянул на Перепелицу.

— Бросьте меня... Пробивайтесь...

Перепелица выругал его на бегу, и он замолчал.

Румыны подскочили уже близко. Моряков было всего пятеро, а их сотни. Враги, видимо, поняли это и решили взять моряков живьем. Рослый солдат прыгнул на Перепелицу, пытаясь ударить его штыком. Котиков выпустил ногу Леонтьева и выстрелил румыну в затылок, но другой кинулся на него. Перепелица подхватил румынскую винтовку и сильным ударом штыка повалил солдата, за ним второго и третьего. Потом он бросил винтовку, сорвал с пояса гранату и далеко кинул ее в подбегавших солдат. Те отшатнулись, но граната взорвалась среди них. Оставшиеся в живых залегли и открыли огонь. Пули засвистели вокруг моряков. Перепелица упал и крикнул:

— Тащите вдвоем, мы с Котиковым задержим!

Моряки тоже упали в траву и стали отстреливаться последними патронами. Негреба и Литовченко тащили ползком Леонтьева, а остальные двое ползли за ними, сдерживая румын редким, но точным огнем. Наконец те

отстали, спеша уйти в тыл, а моряки неожиданно для себя провалились в опустевший румынский окоп.

Тут они опомнились и осмотрелись: у Котикова пулей была пробита щека, у Перепелицы две пули сидели в ляжке, Литовченко тоже обнаружил, что он ранен. На перевязки ушли все форменки.

Румыны были уже далеко за кустами, и впереди, очевидно, были только свои. Моряки устроили Леонтьева в окопе поудобнее, принесли ему воды, обмыли и напоили, положили возле него румынский автомат и гранаты, найденные в окопе. Он смотрел на все эти заботы, слабо улыбаясь, и глаза его, полные слез, лучше всяких слов говорили о том, что было в его душе. Взгляд этот, вероятно, смутил Негребу, потому что он встал и сказал с излишней деловитостью:

— Полежи тут, больше трясти не будем. Сейчас носилки пришлем. Идем своих искать.

И они встали в рост — четыре человека в полосатых тельняшках, в черных бескозырках, окровавленные, перевязанные обрывками форменок, но сильные и готовые снова пробиваться сквозь сотни врагов.

И, видимо, сами они поразились своей живучей силище. И Перепелица сказал:

— Один моряк — моряк, два моряка — взвод, три моряка — рота... Сколько нас? Четверо?.. Батальон, слушай мою команду: шагом... арш!

1942

Воспитание чувства



ытье посуды, как известно, дело грязное и надоедливое. Но в тесном командирском буфете миноносца, о котором идет речь, для этой цели существовал некий сложный агрегат, в корне менявший дело. Агрегат этот занимал собой весь правый угол буфета, где сверкал медью паровой самовар — маленький, но злой, вечно фыркающий и обжигающий. Цинковый его поддон был загроможден проволочными стеллажами для тарелок, гнездами для стаканов, особой подвесной сеткой для ножей и вилок. Сложная система медных трубок соединялась резиновым шлангом с краном самовара. Струи кипятка сильно и равномерно били на стеллажи, смывая с посуды застывший жир, липкие следы компота и консервированного молока (которое почему-то любил комиссар миноносца). Сам же хозяин буфета, командирский вестовой Андрей Кротких, презрительно предоставив воде грязную работу, уходил в крошечную каюту, гордо именовавшуюся «командирским салоном». И пока, в знак окончания обеда командира и комиссара, он менял там белую скатерть на цветную, автомат исправно делал свое дело. Вернувшись, Кротких намыливал узкую щетку и с тем же презрительным выражением лица протирал ею в стеллажах тарелки, потом, смыв шлангом мыльную пену, закрывал воду и пар. В жарком воздухе тесного буфета

посуда обсыхала сама собой, и через час сухие диски тарелок сверкали уже в гнездах, оберегающих их от последствий качки. И только воинственная сталь ножей и вилок требовала полотенца: во избежание ржавчины.

Вся эта сложная автоматика была рождена горечью, жившей в сердце Андрея Кротких, краснофлотца и комсомольца. Грязную посуду он ненавидел как некий символ незадавшейся жизни. В самом деле, его товарищи по призыву готовились стоять у клапанов в машине, стрелять из орудий, вертеть штурвалы. Ему же выпала на долю странная боевая часть: посуда. Причиной тому было то, что Кротких, выросший в далеком колхозе на Алтае, по своим личным соображениям простился с учебниками еще в четвертом классе и поэтому при отборе во флотские школы специалистов остался не у дел.

Правда, по боевой тревоге Андрей Кротких был подносчиком снарядов зенитного автомата номер два. Но вся его боевая работа была ничтожна: он вынимал из ящика острожалые снаряды (которые больше походили на патроны гигантской винтовки) и укладывал их на подстеленный возле орудия мат. В дугу обоймы, торчащую из автомата, их вставлял уже другой краснофлотец — заряжающий Пинохин, и оставалось только с завистью смотреть на него и запоздало проклинать опрометчивый поступок юности. В первом же бою с пикировщиками Кротких с горечью понял, что на таком боевом посту Героем Советского Союза, пожалуй, не станешь и что комсомольской организации колхоза «Заря Алтая» гордиться им после войны, видимо, не придется.

Орудие номер два и подсказало ему буфетную автоматику. Перемывая однажды посуду, Кротких неожиданно для себя подумал, что тарелки тоже ведь можно расставить на ребра, вроде как в обойме. Тогда не придется по очереди подносить каждую под струю воды, обжигая при этом руки, а наоборот — можно будет обдавать крутым кипятком сразу все. Он перепортил массу проволоки, пока не добился того, что смутно мерещилось ему в мыслях и что, как с огорчением узнал он после, было давным-давно выдумано и применялось в больших столовых и ресторанах. Это сообщил ему военком миноносца, батальонный комиссар Филатов в первый же вечер, когда, заглянув в буфет в поисках чая, он увидел «автоматику», построенную Кротких.

Однако огорчение это неожиданно обернулось удачно: военком разговорился с ним, и Кротких вылил ему всю свою душу, смешав в кучу и посуду, и «Зарю Алтая», и мечты о Герое Советского Союза, и неведомую комиссару Олю Чебыкину, которой никак не напишешь письма о войне, где он моет посуду, тем более что и слова-то вылазят на бумагу туго и даже самому невозможно потом прочесть свои же каракули...

Военком слушал его, чуть улыбаясь, всматриваясь в блестящие смекалистые глаза и любопытно разглядывая его лицо — широкое и скуластое лицо сибиряка с чистой и ровной кожей. Улыбался он потому, что вспоминал, как когда-то, придя комсомольцем на флот, он так же страдал душой, попав вместо грезившегося боевого поста на скучную и грязную очистку трюма восстанавливаемого линкора, как мучился он над первым своим письмом к друзьям и как беспощадно врал в нем, описывая дальние походы, штормы и собственные ленточки, развевающиеся на мостике (не иначе как рядом с командиром). Молодость, далекая и невозвратимая, дохнула на него из этих блестящих глаз, и он всей душой понял, что Оле Чебыкиной о посуде и точно не напишешь: она, конечно, была такая же насмешливая, верткая и опасная на язык, какой была когда-то Валя с текстильной фабрики родного городка.

И он с таким живым интересом стал расспрашивать Кротких о «Заре Алтая», об Оле, о том, как же так вышло у него со школой, что тому показалось, будто перед ним не пожилой человек, пришедший на корабль из запаса, и не комиссар миноносца, а годок-комсомолец, которому обязательно нужно выложить все, что волнует душу. И глаза комиссара, внимательные и дружеские, подгоняли и подгоняли слова, и, если бы в салоне не появился политрук Козлов, разговор долго бы не закончился. Военком отставил стакан и стал опять таким, каким его привык видеть Кротких: сдержанным и немного суховатым.

— Кстати пришли, товарищ политрук,— сказал он обычным своим тоном, негромко и раздельно.— Значит, так вы порешили: раз война — люди сами расти будут. Ни учить не надо, ни воспитывать... Война, как говорится, рождает героев. Самосильно. Так, что ли?

— Непонятно, товарищ батальонный комиссар,— ответил Козлов, угадывая неприятность.

— Чего же тут непонятного? Спасибо, товарищ Кротких, можете быть свободны...

Кротких быстро прибрал стакан и банку с молоком (чтобы комиссару не пришло в голову угощать им Козлова), но, выйдя, задержался с той стороны двери: речь, видимо, шла о нем. Комиссар поинтересовался, известно ли политруку, что у краснофлотца Андрея Кротких слабовато с общим образованием и что ходу ему дальше нет? Он спросил еще, неужели на миноносце нет комсомольцев-вузовцев, и сам назвал химиста Сакова, студента педагогического института. Козлов ответил, что Саков — активист и что он так перегружен и боевым листком, и комсомольским бюро, и докладами, что времени у него нет. Комиссар рассердился. Это Кротких понял по внезапно наступившему молчанию: когда комиссар сердился, он обычно замолкал и медленно скручивал папиросу, посматривая на собеседника и тотчас отворачиваясь — как бы выжидая, когда уляжется гнев. Молчание затянулось. Потом зажигалка щелкнула, и комиссар негромко сказал:

— Это у вас нет времени подумать, товарищ политрук. Почему все на Сакова навалили? Людей у вас, что ли, нет?.. Не видите вы их, как и этого паренька не увидали. Наладьте ему занятия да зайдите в буфет: поглядите, что́ у него в голове...

С этого вечера перед Андреем Кротких раскрылись перспективы. Война шла своим чередом: были бои, штормы, походы, ночные стрельбы и дневные атаки пикировщиков, зенитный автомат жадно втягивал снаряды в ненасытную свою дугу, Кротких подтаскивал их на мат и мыл посуду, но все это приобрело будущее: перед ним стояла весна, когда он пойдет в Школу оружия. Он наловчился не терять и минуты времени. Регулируя свой буфетный автомат, он держал в другой руке грамматику. Драя медяшку в салоне, умножал в уме тридцать шесть на сорок восемь. Дежуря у снарядов по готовности номер два, решал в блокноте задачи. Блокнот был дан комиссаром. Все было дано комиссаром — блокнот, учеба и будущее.

И в девятнадцатилетнее сердце Андрея Кротких плотно и верно вошла любовь к этому пожилому спокойному человеку.

Он радовался, когда видел комиссара веселым, когда тот шутил на палубе или в салоне за обедом. Он мрач-

нел, видя, что комиссар устал и озабочен. Он ненавидел тех, кто доводил комиссара до молчания и медленной возни с папиросой. Тогда бешенство подымалось в нем горячей волной, и однажды оно вылилось поступком, от которого комиссар замолчал и закрутил папиросу.

Была тревожная походная ночь. Черное море сияло под холодной луной, и, хотя ветер был слабый и миноносец не качало, на палубе была жестокая стужа. Корабль шел недалеко от врага, и каждую секунду пустое обширное небо могло обрушить на него бомбы: на лунной дороге миноносец был отчетливо виден. Весь зенитный расчет проводил ночь у орудий.

Комиссар сошел с мостика и обходил палубу. Видимо, он и сам промерз порядочно: подойдя на корму к автомату номер два, он вдруг раскинул руки и начал делать гимнастику.

— И вам советую,— сказал он.— Кровь разгоняет.

Кротких подошел к нему и попросился вниз: он согреет чаю и принесет командиру и комиссару на мостик. Филатов улыбнулся.

— Спасибо, Андрюша,— сказал он, называя его так, как звал в долгих неофициальных разговорах.— Спасибо, дорогой. Не до чая... И потом — всех не согреешь, они тоже промерзли...

Он повернулся к орудию и стал шутить, привычно проверяя взглядом, на месте ли весь расчет. В велосипедных седлах, откинувшись навзничь и всматриваясь в смутное сияние лунного неба, лежали наводчики. Установщики прицелов сидели на корточках спиной к ветру, готовые вскочить и завертеть свои штурвальчики, командир орудия старшина первой статьи Гущев стоял в телефонном шлеме, весь опутанный шлангами, как водолаз. Орудие было готово к мгновенной стрельбе.

Но комиссар вдруг перестал шутить и нахмурился.

— А где заряжающий? В чем дело, старшина?

Гущев доложил, что Пинохин отпущен им оправиться, и вполголоса приказал Кротких найти Пинохина в гальюне и сказать ему, чтоб не рассиживался.

В гальюне Пинохина не оказалось. Кротких нашел его там, где подозревал: в кубрике. Пристроившись на рундуке у самого колокола громкого боя, Пинохин спал, очевидно решив, что в случае тревоги успеет выскочить к орудию.

Кротких смотрел на него, и ярость вскипала в его сердце. Он вспомнил, как грелся физкультурой комиссар, как отказался он от стакана чаю, как стоит он сейчас там, на холоду, молчит и ждет,— и вдруг, стиснув зубы, размахнулся и ударил Пинохина...

Разбор всего этого происходил в салоне после выполнения миноносцем задания. Комиссар молчал и крутил папиросу. Крутил из-за него, из-за Кротких,— и это было невыносимо. Жизнь казалась конченой: теперь никогда не скажет ему комиссар ласково «Андрюша», никогда не спросит, где в аккумуляторе плюс и где минус, никогда не улыбнется и не назовет «студентом боевого факультета»... Слезы подступали к глазам, видимо комиссар понял, что они готовы брызнуть из-под опущенных век. Он отложил папиросу и заговорил.

Слова его были медленны и казались жестокими. Филатов как-то удивительно все повернул. Он начал с того, что, будь на его месте другой комиссар, Кротких не так близко к сердцу принял бы поведение Пинохина. Он сказал, что давно видит, как преданно и верно относится к нему Кротких, но что все это не очень правильно. Оказалось, он заметил однажды ночью, как Кротких вошел к нему на цыпочках, прикрыл иллюминатор, поправил одеяло и долго смотрел, улыбаясь, как он спит (тут Кротких покраснел, ибо так было не однажды), и назвал это мальчишеством, никак не подходящим для краснофлотца. Если бы Кротких ударил Пинохина потому, что тот оставил свой боевой пост, навредил этим всему кораблю и, по существу, изменил Родине, то это комиссар мог бы еще как-то понять. Но ведь Кротких полез в драку совсем по другим причинам и причины эти высказал сам, крича, что у него, мол, за комиссара сердце горит, такой, мол, человек на палубе мерзнет, а эта гадюка в тепле припухает...

Филатов говорил резко, и Кротких мучился. Комиссар, наверное, заметил это, потому что закурил наконец папиросу, и Кротких, изучивший его привычки, понял, что он больше не сердится. Но Филатов выдохнул дым и неожиданно закончил:

— Взыскание — само собой. По комсомолу, надо полагать, тоже вздраят... А вас придется перевести.

У Кротких поплыло в глазах.

— Товарищ батальонный комиссар, мне на другом

корабле не жить,— сказал он глухо. И голос комиссара вдруг потеплел:

— Да я не собираюсь вас с миноносца списывать. Где вы такого Сакова найдете, этак вся учеба у вас пропадет... Перейдете вестовым в кают-компанию. Автоматику свою в тот буфет заберете, пригодится... Так, что ли?

И хотя Кротких внутренне считал, что совсем не так, что комиссар не понял его любви и преданности и что вся жизнь теперь потускнела и уходить в кают-компанию просто тяжело,— он все-таки вытянулся и ответил:

— Точно, товарищ батальонный комиссар.

Это было настоящим горем. Кроме того, Кротких не предполагал, что на свете, помимо любви, существует еще и ревность. Он впервые познал это горькое и обидное чувство. Другой заботится теперь о комиссаре, другой, а не он, слышит его шутки за обедом, с другим, а не с ним, ведет комиссар душевный вечерний разговор, прихлебывая чай с консервированным молоком. И уж, конечно, новый вестовой не догадается припрятывать молоко от гостей, не сумеет накормить комиссара в шторм...

В этом своем горе, ревности и раскаянье Кротких повзрослел. Он стал сдержаннее, серьезнее и, невольно подражая Филатову, выдерживал паузу, если гнев или обида требовали немедленного поступка. Крутить папиросу ему не приходилось — не везде закуришь. Поэтому он приучил себя в этих случаях шевелить по очереди всеми пальцами (что удобно было делать, даже держа руки по швам).

Филатова он видел теперь много реже, чем раньше: на официальных собраниях, иногда — в кают-компании или в кубрике, когда комиссар приходил туда для беседы. На палубе он старался пристать к кучке людей, обступивших комиссара, но Филатов говорил с ним, как со всеми, и в глазах его ни разу не мелькнуло то ласковое тепло и живое любопытство, к которым так привык Кротких и которых ему так теперь недоставало. И постепенно Филатов, родной и близкий человек, заменялся в его представлении Филатовым — комиссаром корабля. Но странное дело: именно теперь Филатов окончательно вошел в его сердце.

Это была не та мальчишеская, смешная и трогательная, но глуповатая любовь, которой он горел прежде. Теперь это была новая, глубокая — военная — любовь.

Черное море показало свой грозный нрав: миноносец нырял в волне, как подводная лодка, и вся палуба была в ледяной воде и в мокром льду, а в кубриках днем и ночью ждал горячий кофе, глоток вина и сухие валенки, и вахту наверху сменяли через час — и Кротких понимал, что это подсказано комиссаром. На маленькой базе, куда зашли ремонтироваться после шторма, к трапу подъехала подвода, где лежали восемь барашков, зелень, две гитары, мандарины и капуста. И люди в косматых шапках ломаным русским языком спросили, как передать этот маленький подарок храбрым морякам, о которых рассказывал вчера в колхозе комиссар. В каждом большом и малом событии корабельной жизни, в разговорах с другими, в бою и в шторме — везде чувствовал Кротких комиссара, его мысль, его волю, его заботу.

В один из тех смутных дней странной южной зимы, когда солнце греет, а ветер холоден, все на миноносце с утра ходили молчаливыми и хмурыми: дошло известие, что немцы взяли Ростов-на-Дону. Мысли, тяжелые и тревожные, уходили на Кавказ, к нефти, к прерванной линии железной дороги. Люди не разговаривали друг с другом, дело валилось из рук. Но потом головы стали подыматься, глаза — блестеть надеждой и ненавистью, руки — работать яростно и быстро: теперь все говорили о Москве, об ударе наших войск, о том, что удар этот вот-вот обрушится на врага, и Ростов встал на свое место в сложной схеме войны. И Кротких с гордостью подумал, что разъяснил это комиссар.

Он стал понимать, почему с таким уважением и любовью говорят о комиссаре остальные краснофлотцы, мало знающие его в частной, каютной жизни. Он стал понимать, почему каждый из них готов рискнуть головой, чтобы спасти в бою комиссара — не просто Филатова, хорошего, честного и отзывчивого человека, а военного комиссара Филатова, партийную душу и совесть корабля.

По-прежнему стоял Кротких у своего ящика со снарядами, выкладывая их на мат — не дальше. Но мальчишеская зависть к заряжающему (теперь уже не к Пинохину, который пошел под суд, а к Трофимову) больше не терзала его, как не мучило и сознание, что подвига тут не совершишь. Новое понятие — корабль — значительно и серьезно вошло в него. Он полюбил корабль — его силу и его людей, его сталь и его командиров, его ход и его название. И даже посуда, которую он так ненавидел

и презирал недавно, теперь совсем перестала беспокоить его воображение.

Это новое ощущение корабля как живого, сильного и ласкового друга настолько захватило его, что однажды вечером он сел писать свое первое письмо Оле Чебыкиной.

Но из письма ничего не получилось. Буквы были теперь четкими на загляденье, но передать это удивительное ощущение корабля и любви к нему он никак не смог. Он написал целую страницу затертых, невыразительных слов и в ярости разорвал письмо, даже забыв перед этим пошевелить пальцами. Два дня он ходил мрачный, мучаясь, как бы написать о корабле так, чтобы это запало Оле в самое сердце, но корабль сам отвлек его мысли.

На корабле готовился десант. На комсомольском собрании все объявили себя добровольцами. Но с миноносца требовалось только пятнадцать человек, умеющих хорошо владеть ручными автоматами, штыком и минометом. Кротких под эти требования никак не подходил, и на него даже не взглянули. Кротких пошевелил пальцами — и промолчал.

Однако когда на рассвете миноносец подходил к месту высадки и когда десантники вышли на палубу с оружием и ящик с минами был поставлен на корме, готовый к погрузке на шлюпку, вся душа в нем заныла. Мины лежали в ящике ровным рядом, пузатые, понятные, как снаряды его автомата,— и, конечно, он лучше всех мог бы вытаскивать их из ящика и подносить к миномету. Он вздохнул, но тут миноносец резко повернул, заверещал свисток командира автомата номер два: налетели самолеты, и пришлось отбиваться.

Автомат залаял отрывисто и четко, но что-то простучало по палубе, как горох. Трофимов упал, выронив снаряд, и автомат захлебнулся: пикировщик дал очередь из пулемета. Кротких подскочил к орудию и, быстро нагибаясь к снарядам, им же самим приготовленным на мате, накормил голодную обойму. Автомат вновь заработал. И все внимание ушло на то, чтобы успевать брать из ящика новые снаряды и вставлять их в обойму, и совершенно некогда было подумать, что вот наконец он, Кротких, сам ведет бой. Рядом с бортом встал огромный столб воды и дыма, что-то провизжало мимо орудия. Вслед за бомбой в ту же вздыбленную воду с воем и ревом врезался самолет. Кротких заметил лишь хвост с черным крестом и понял, что они все-таки сбили фаши-

ста, нахально пикнувшего на миноносец, у которого замолчал автомат. Но и этому он не успел ни обрадоваться, ни удивиться, потому что сзади него закричали:

— Мины!..

Он обернулся. Ящик с минами горел, сильно дымя. Мины в нем вот-вот должны были начать рваться. Он увидел, как в дыму мелькнула чья-то фигура, как чьи-то руки попытались приподнять ящик и как потом краснофлотец (кто — он так и не разобрал) отскочил. Гущев отчаянно махнул рукой, сорвал с себя телефонный шлем и крикнул:

— Все с кормы!

Каждую секунду могли рвануть два десятка мин, из которых и одной хватило бы на весь орудийный расчет. Кротких вдруг подумал, что вслед за минами начнут рваться в пожаре и его снаряды, а за ними — погреба и весь корабль, и шагнул было к ящику. Но тут за кормовой рубкой грохнуло четвертое орудие, и ему показалось, что уже грянула взрывом пылающая в ящике смерть. Это было так страшно, что он ринулся с кормы вслед за остальными. Шаг в сторону ящика оставил его позади всех, и отчаяние охватило его: если он споткнется, ему никто не поможет. Подлое, паническое малодушие подогнуло его колени. Он сделал усилие, чтобы шагнуть, и вдруг впереди, у носового мостика, увидел комиссара.

Филатов, расталкивая встречных, бежал на корму, и Кротких понял — зачем. Догадка эта поразила его. В два прыжка Кротких очутился у ящика и, обжигая ладони, ухватился за дно. Ящик был слишком тяжел для одного человека. Второй — бежал на помощь. Но этот второй человек был комиссар корабля, и подпускать его к ящику было нельзя.

Он присел на корточки и схватил раскаленный стабилизатор крайней мины. Ладонь зашипела, острая боль на миг захолонула сердце, но мина вылетела за борт. Он тотчас схватил другую.

Может быть, он что-то кричал. Так потом рассказывали ему товарищи: говорили, что он прыгал на корточках у ящика, танцуя какой-то страшный танец боли и ругаясь во весь голос бессмысленно и жутко. Но мины летели за борт одна за другой, быстро освобождая горящий ящик. Выпрямляясь с очередной миной в руках, он увидел комиссара: тот был уже у кормового мостика, рядом со смертью. Тогда Кротких, надсаживаясь, поднял на по-

ручни опустошенный наполовину ящик. Пламя лизнуло его лицо. Бушлат загорелся. Он отвернул лицо и сильным толчком сбросил за борт ящик. Потом ударил по бушлату ладонями, уже не чувствующими огня.

Тут кто-то крепко и сильно схватил его за плечи. Он повернул голову. Это подбежал комиссар.

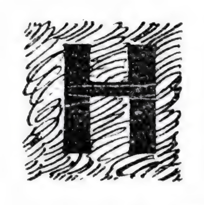
— Ничего, товарищ комиссар, уже тухнет,— сказал он, думая, что комиссар тушит на нем бушлат.

Но, взглянув в глаза комиссара, он понял: это было объятие.

1942

Держись, старшина...

1



а этот раз командир лодки поймал себя на том, что смотрит на циферблат глубомера и пытается догадаться, сколько же сейчас времени. Он перевел глаза на часы, висевшие рядом, но все-таки понять ничего не мог. Стрелки на них дрожали и расплывались, и было очень трудно заставить их показать время. Когда наконец это удалось, капитан-лейтенант понял, что до наступления темноты оставалось еще больше трех часов, и подумал, что этих трех часов ему не выдержать.

Мутная, проклятая вялость вновь подгибала его колени. Он снова — в который раз! — терял сознание. В висках у него стучало, в глазах плыли и вертелись радужные круги, он чувствовал, что шатается и что пальцы его сжимают что-то холодное и твердое. Огромным усилием воли он заставил себя подумать, где он, за что ухватились его руки и что он, собственно, собирается делать. И тогда он вдруг понял, что стоит уже не у часов, а у клапанов продувания, схватившись за маховичок. Видимо, снова он потерял контроль над своими поступками и теперь, вопреки собственной воле, был уже готов продуть балласт и всплыть, чтобы впустить в лодку чистый воздух.

Воздух... Благословенный, свежий воздух, без этого острого, душного, проклятого запаха, который дурманит

голову, клонит ко сну, лишает воли... Воздуха, немного воздуха!..

Его очень много было там, над водой. Несправедливо много. Так много, что его хватало и на врагов. Они могли не только дышать им. Они могли даже сжигать его в цилиндрах моторов, и их самолеты могли летать в нем над бухтой и Севастополем. И поэтому лодка должна была лежать на грунте, дожидаясь темноты, которая даст ей возможность всплыть, вдохнуть в себя широко открытыми люками чистый воздух и проветрить отсеки, насыщенные парами бензина.

Уже тринадцатый час люди в лодке дышали одуряющей смесью этих паров, углекислоты, выдыхаемой их легкими, и скупых порций кислорода, которым командир, расходуя аварийные баллоны, пытался убить бензинный дурман. Кислород, дав временное облегчение людям, сгорал в их организме, а бензинные пары все продолжали невидимо насыщать лодку.

Они струились в отсеки из той балластной систерны, в которой подводники, рискуя жизнью, привезли защитникам Севастополя драгоценное боевое горючее. Систерна ночью была уже опорожнена, бензин увезли к танкам и самолетам. Оставалось только промыть ее (чтобы при погружении водяной балласт не вытеснил из нее паров бензина внутрь лодки) и проветрить отсеки. Но сделать этого не удалось. С рассветом началась одна из тех яростных бомбежек, длившихся целый день, которые испытывал Севастополь в последние дни своей героической обороны.

Лодка была вынуждена лечь в бухте на грунт до наступления темноты.

Первые часы все шло хорошо. Но потом стальной корпус лодки стал подобен гигантской наркотической маске, надетой на головы нескольких десятков людей. Сытный, сладкий и острый запах бензина отравлял человеческий организм — люди в лодке поочередно стали погружаться в бесчувственное состояние. Оно напоминало тот неестественный мертвый сон, в котором лежат на операционном столе под парами эфира или хлороформа.

И так же, как под наркозом каждый человек засыпает по-своему: один — легко и покорно, другой — мучительно борясь против насильно навязываемого ему сна, так и люди в лодке, перед тем как окончательно потерять сознание, вели себя по-разному.

Одни медленно бродили по отсекам, натыкаясь на приборы и на товарищей, и бормотали оборванные, непонятные фразы. Другие, лежавшие терпеливо и спокойно в ожидании всплытия, вдруг принимались плакать пьяным истошным плачем, ругаясь и бредя, пока отравленный воздух не гасил в них остатков сознания и не погружал в молчание. Кто-то внезапно поднялся и начал плясать. Может быть, в затуманенном его мозгу мелькнула догадка, что этим он подымет дух у остальных,— и он плясал, подпевая и ухарски вскрикивая, пока не упал без сил рядом с бесчувственными телами, для которых плясал.

Большинство краснофлотцев, стараясь сберечь силы до того времени, когда можно будет всплывать, лежали так, как приказал командир,— молча и недвижно. Но и они в конце концов были побеждены бесчувствием, неодолимо наплывающим на мозг. И только глаза их — неподвижные, не выражающие уже мысли глаза — были упрямо открыты, словно краснофлотцы хотели этим показать своему командиру, что до последнего проблеска сознания они пытались держаться и что они ждут только глотка свежего воздуха, чтобы встать по своим боевым местам.

Но дать им этот глоток командир не мог.

Всплыть, когда над бухтой был день, означало подставить лодку под снаряды тяжелых батарей, под бомбы самолетов, непрерывно сменяющих друг друга в воздухе. Нужно было лежать на грунте и ждать темноты. Нужно было бороться с этим одуряющим запахом, погрузившим в бесчувствие всех людей в лодке. Он должен был держаться и сохранять сознание, чтобы иметь возможность всплыть и спасти лодку и людей.

Но держаться было трудно. Все чаще и чаще он переходил в бредовое состояние и уже несколько раз ясно видел на часах двадцать один час — время, когда можно будет всплывать. Глоток свежего воздуха, только один глоток — и он продержался бы и эти три часа. Он завидовал тем, кому привез бензин, мины и патроны: они дрались и умирали на воздухе. Даже падая с пулей в груди, они успевали вдохнуть в себя свежий, чистый воздух, и, вероятно, это было блаженством... Стоило только повернуть маховичок продувания балласта, отдраить люк, вздохнуть один раз — один только раз! — и потом снова лечь на грунт хоть на сутки... Пальцы его уже сжимали

маховичок, но он нашел в себе силы снять с него руки и отойти от трюмного поста.

Он сделал два шага и упал, всей силой воли сопротивляясь надвигающейся зловещей пустоте. Он не имел права терять сознание. Тогда лодка и все люди в ней погибнут.

Он лежал в центральном посту у клапанов продувания, скрипя зубами, глухо рыча и мотая головой, словно этим можно было выветрить из нее проклятый вялый дурман. Он кусал пальцы, чтобы боль привела его в чувство. Он бился, как тонущий человек, но сонная пустота затягивала в себя, как медленный сильный омут.

Потом он почувствовал, что его приподымают, и сквозь дымные и радужные облака увидел лицо второго во всей лодке человека, кто, кроме него, мог еще думать и действовать. Это был старшина группы трюмных.

— Товарищ капитан-лейтенант, попейте-ка,— сказал тот, прикладывая к его губам кружку.

Он глотнул. Вода была теплая, и его замутило.

— Пейте, пейте, товарищ командир,— настойчиво повторил старшина.— Может, сорвет. Тогда полегчает, вот увидите...

Капитан-лейтенант залпом выпил кружку, другую. Тотчас его замутило больше, и яростный припадок рвоты потряс все тело. Он отлежался. Голове действительно стало легче.

— Крепкий ты, старшина,— сказал он, найдя в себе силы улыбнуться.

— Держусь пока,— сказал тот, но капитан-лейтенант увидел, что лицо его было совершенно зеленым и что глаза блестят неестественным блеском. Командир попытался встать, но во всем теле была страшная слабость, и старшина помог ему сесть.

— А я думал, вам полегчает,— сказал он сожалеюще.— Конечно, кому как. Мне вот помогает, потравлю — и легче...

Командир с трудом раскрыл глаза.

— Не выдержать мне, старшина. Свалюсь,— сказал он, чувствуя, что сказать это трудно и стыдно, но сказать надо, чтобы тот, кто останется на ногах один, знал, что командира в лодке больше нет.

И старшина как будто угадал его чувство.

— Что ж мудреного, вы же в походе две ночи не спали,— сказал он уважительно.— Я и то на вас удивляюсь.

Он помолчал и добавил:

— Вам бы, товарищ командир, поспать сейчас. Часа три отдохнете, а к темноте я вас разбужу... А то вам и лодки потом не поднять будет...

Командир и так уже почти спал, сидя на разножке. Борясь со сном, он думал и взвешивал. Он отлично понимал, что, если он немедленно же не отдохнет, он погубит и лодку и людей. Он с усилием поднял голову.

— Товарищ старшина первой статьи,— сказал он таким тоном, что старшина невольно выпрямился и стал «смирно»,— вступайте во временное командование лодкой. Я и точно не в себе. Лягу. Следите за людьми, может, кто очнется, полезет в люк отдраивать... или продувать примется... Не допускать.

Он помолчал и добавил:

— И меня не допускайте к клапанам до двадцати одного часа. Может, и меня к ним тоже потянет, понятно?

— Понятно, товарищ капитан-лейтенант,— сказал старшина.

Командир снял с руки часы.

— Возьмите. Чтобы все время при вас были, мало ли что... Меня разбудить в двадцать один час, понятно?

— Понятно,— повторил старшина, надевая на руку часы.

Он помог командиру встать на ноги и дойти до каюты. Очевидно, тот уже терял сознание, потому что повис на его руке и говорил, как в бреду:

— Держись, старшина... Выдержи... Лодку тебе отдаю... людей отдаю... На часы смотри, выдержи, старшина...

Старшина уложил его в койку и пошел по отсекам.



Он шел медленно и осторожно, стараясь не делать лишних движений, потому что и у него от них кружилась голова. Он шел между бесчувственных тел, поправляя руки и ноги, свесившиеся с коек, с торпедных аппаратов, с дизелей. Порой он останавливался возле спящего или потерявшего сознание краснофлотца, оценивая его: может, если его привести в чувство, пригодится командиру при всплытии? Он попробовал расшевелить тех, кто казался ему крепче и выносливее других. Из этого ничего не получилось. Только трое на минуту пришли в себя,

но снова впали в бесчувственность. Однако он их приметил: это были нужные при всплытии люди — электрик, моторист и еще один трюмный.

Трижды за первые два часа ему пришлось прибегать к своему способу облегчения. Но в желудке ничего не оставалось, и рвота стала мучительной. По третьему разу он почувствовал, что его валит непобедимое стремление заснуть. Чтобы отвлечься, он опять пошел по отсекам, пошатываясь. Когда он проходил мимо командира, он подумал, не разбудить ли его, потому что сам он мог неожиданно для себя заснуть. Он остановился перед командиром. Тот по-прежнему продолжал бредить:

— Двадцать один час... Боевая задача... Держись, старшина...

— Спите, товарищ командир, все нормально идет,— ответил он, но, видимо, командир его не слышал, потому что повторял однотонно и негромко:

— Держись, старшина... Держись, старшина...

Старшина смотрел на него, взволнованный этим бредом, в котором командир и без сознания продолжал верить тому, кому он поручил свой отдых, нужный для спасения лодки. Ему стало стыдно за свою слабость. Он пересилил себя и пошел в центральный пост.

Но там, оставшись опять один, он снова почувствовал, что должен забыться хоть на минутку. Голова сама падала на грудь, и он боялся, что заснет незаметно для самого себя. Тогда он пошел на хитрость: прислонился к двери, взялся левой рукой за верхнюю задрайку и привалился головой к запястью с тем расчетом, что если случайно он заснет, то пальцы разожмутся и голова неминуемо стукнется о задрайку, что, несомненно, заставит его опомниться.

Какое-то время он сидел в забытьи, слушая громкий стук в висках. Потом этот стук перешел в ровное, убаюкивающее постукивание, равномерное и не очень торопливое. Это тикали у самого уха командирские часы на руке. Они тикали и как будто повторяли два слова: «Дер-жись, стар-шина, дер-жись, стар-шина...» Он понял, что засыпает, и тут же хитро подумал, что пальцы обязательно разожмутся, как только он уснет, и что пока можно сидеть спокойно, отдаваясь этому блаженному забытью. Но часы тикали надоедливо, и надоедливо звучали слова: «Держись, старшина» — и вдруг он вспомнил, что они значат...

Он резко поднял голову и хотел снять руку с задрайки. Но пальцы так вцепились в задрайку непроизвольной, цепкой судорогой, что он испугался. Их пришлось разжать другой рукой.

Ему стало ясно, что нельзя идти ни на какие сделки с самим собой: несмотря на свой хитрый план, он мог сейчас заснуть, как и все другие, погубить лодку. Чтобы встряхнуться, он запел громко и нескладно. Он никогда не пел раньше, стесняясь своего голоса, но сейчас его никто не слышал. Он пел дико и фальшиво, перевирая слова, но песня эта его несколько рассеяла. Вдруг он замолчал: он подумал, что наверху, может быть, подслушивают вражеские гидрофоны. Потом с трудом вспомнил, что никаких гидрофонов нет — лодка лежит в своей бухте.

Время от времени в лодку доносились глухие взрывы. Наверное, фашисты бомбили наши корабли. Он вспомнил, как перед погружением, когда, сдав груз и бензин, лодка отходила от пристани, в небе загудело неисчислимое количество самолетов и светлые столбы встали на нежном небе рассвета, и один из них, опав, обнаружил за собой миноносец. И снова с потрясающей ясностью он увидел, как корма миноносца поднялась над водой и как одно орудие на ней продолжало бить по самолетам, пока вода не заплеснула в его раскаленный ствол.

— Держись, старшина,— сказал он себе вслух,— держись, старшина... Люди же держались...

Его охватила жалость к этим морякам, погибшим на его глазах, и внезапная ярость ожгла сердце. Он поднял к подволоку кулак и погрозил.

— Еще и лодки ждете, чертовы дети?.. Прождетесь...— сказал он тихо и отчетливо.

Ярость эта как будто освежила его и придала ему сил. Он пошел по отсекам, чтобы найти тех, кого он наметил, и перетащить их в центральный пост, чтобы при всплытии привести их в чувство. Он наклонился над электриком, когда услышал в конце отсека шаги. Перегнувшись и посмотрев вдоль лодки сквозь путаную сеть труб, штоков и приборов, он увидел, что кто-то, шатаясь, подошел к люку и взялся за задрайку. Старшина быстро прошел к нему.

— С ума сошел? Кто приказал?

Но тот, очевидно, его не понимал. Старшина попробовал его оттащить, но тот вцепился в задрайку с неожи-

данной силой, покачивая опущенной головой, и бормотал:

— Обожди... на минутку только... обожди...

Он боролся со старшиной отчаянно и упорно, потом вдруг весь ослаб и упал возле люка.

Борьба эта утомила старшину, и он вынужден был отсидеться. Едва он отдохнул, как упавший снова встал и потянулся к задрайкам. На этот раз схватка была яростней, и, может быть, тот одолел бы старшину и впустил бы в лодку воду, если б не пустяк: старшина почувствовал, что рука с командирскими часами прижата к переборке, и ему почему-то померещилось, что если часы будут раздавлены в этой свалке, то он не сможет разбудить командира вовремя. Он рывком дернулся из зажавших его цепких объятий, и бредивший снова потерял силы. Для верности старшина связал ему руки чьим-то полотенцем и долго сидел возле, задыхаясь и вытирая пот. Когда он смог подняться на ноги, было уже десять минут десятого. Он прошел к командиру и тронул его за плечо:

— Товарищ капитан-лейтенант, время вышло, вставайте!

— Старшина? — тотчас же ответил тот, не открывая глаз.— Хорошо, старшина... Держись... Не забудь разбудить...

— Пора всплывать, товарищ командир, двадцать один час,— повторил старшина и поднял голову к подволоку, где за толстым слоем воды была спасительная тьма и воздух, чистый воздух, который сейчас хлынет в лодку.

Нетерпение охватило его.

— Вставайте, товарищ командир, можно всплывать,— повторил он, но командир очнуться не мог. Он подымал голову, ронял ее обратно на койку и повторял:

— Держись, старшина... боевой приказ... двадцать один час...

Разбудить его было невозможно.

Когда старшина это понял, он просидел минут пять, соображая. Потом прошел к инженеру и попытался поднять его. Но тот был совершенно без сознания.

В отчаянии старшина попробовал заставить очнуться кого-либо из тех, кого он наметил ранее. Но и они подымали голову, как пьяные, отвечали вздор, и толку от них не было.

Тогда он решился.

Он перенес командира в центральный пост и пристроил его под самым люком, чтобы воздух сразу хлынул на него. Потом подошел к клапанам и открыл продувание средней.

Все было в порядке. Знакомый удар сжатого воздуха хлопнул в трубах, вода в систерне зажурчала, и глубомер пополз вверх. Лодка всплыла на ровном киле, и глубомер показал, что рубка уже вышла из воды. Теперь оставалось лишь отдраить верхний люк и впустить в лодку воздух. Тогда под свежей его струей командир очнется, и все пойдет нормально.

Во всей этой возне старшина очень устал. И, как бывает всегда в последних секундах ожидания, ему показалось, что больше он выдержать не может. Свежий воздух стал нужен ему безотлагательно, сейчас же, иначе он мог упасть рядом с командиром, и тогда все кончится и для лодки и для людей. Сердце его билось бешеным стуком, голова кружилась. Он полз по скобтрапу вверх к люку медленно, как во сне, когда руки и ноги вязнут и когда никак нельзя дотянуться до того, что тебя спасет. Руки его и в самом деле ослабли, и, взявшись за штурвал люка, он едва смог его повернуть. Еще одно огромное усилие понадобилось, чтобы заставить крышку люка отделиться от прилипшей резиновой прослойки.

Свежий, прохладный воздух ударил ему в лицо. Он пил его всей грудью, вытянув шею, смеясь и почти плача, но вдруг с ужасом почувствовал, что голова кружится все сильней. Он сумел еще понять, что люк надо успеть задраить, иначе лодку начнет заливать, если разведет волну, и не будет уже ни одного человека, кто это сможет заметить. Теряя сознание, он повис всем телом на штурвале люка, крышка захлопнулась под тяжестью его тела, руки разжались, и он рухнул вниз.

3

Очнулся он оттого, что захлебнулся. Рывком он поднял голову, пытаясь понять, где он и что случилось.

В лодке по-прежнему было светло и тихо. Он лежал рядом с командиром, лицом вниз, в небольшой луже, заливавшей палубу центрального поста. Командирские часы на руке показывали 21 час 50 минут. Значит, он только что упал, и откуда появилась вода — было непонятно.

Он встал и с удивлением почувствовал, что силы его прибавились,— видимо, так помог воздух, которым ему только что удалось подышать. Но открывать вновь люк было опасно: раз в лодке была вода, значит, рубка не вышла целиком над поверхностью бухты. Он в раздумье обвел глазами центральный пост, соображая, что же могло произойти. Тут на глаза ему попались часы на переборке у глубомера. Они показывали 0 часов 8 минут.

Это значило, что командирские часы разбились и что он пролежал без сознания больше двух часов. Все это время лодка дрейфовала в бухте, и с ней могло произойти что угодно, раз вода выступила из трюма на настил палубы.

Он пошел осматривать отсек и понял, откуда появилась вода.

Тот, кого он связал полотенцем, сумел освободиться от него и все-таки отдраить носовой люк. Но, по счастью, он только ослабил задрайки: у него или не хватило сил открыть люк, или вода, полившаяся в щель, привела его на момент в чувство и он понял, что делает что-то не то. Однако и этой щели оказалось достаточно, чтобы вода, покрывавшая над люком верхнюю палубу лодки, всплывшей только рубкой, уже залила трюмы.

Поняв, что очнулся как раз вовремя, старшина тотчас довернул задрайки носового люка, вернулся в центральный пост, пустил водоотливные помпы и только после этого решился открыть рубочный люк. Воздух снова ударил его по голове, как молотком, но на этот раз он сразу же перевесился через комингс люка и удержался на трапе. Скоро он пришел в себя и поднялся на мостик.

Торжественно и величаво стояло над бухтой звездное, чистое небо. Вспыхивающее на горизонте кольцо орудийных залпов осеняло мужественный, израненный город огненным венцом славы. Шумели волны, разбиваясь о близкий берег. Свежий морской ветер бил в лицо, выдувая из легких ядовитые пары бензина.

Старшина стоял, наслаждаясь ветром, воздухом и возвращенной жизнью. Он стоял, он смотрел в звездное небо и слушал глухой рокот волн и залпов.

Но лодка снова напомнила ему о том, что по-прежнему он остался единственным человеком, от которого зависит ее судьба и судьба заключенных в ней беспомощных, одурманенных людей: она приподнялась на волне и ударила носом о грунт. Тогда он перегнулся через обвес

рубки, вгляделся во тьму и понял, что за эти два часа лодку поднесло к берегу и, очевидно, посадило носом на камни.

Опять следовало действовать, и действовать немедленно. Нужно было сняться с камней и уйти в море, пока еще темно и пока не появились над бухтой фашистские самолеты.

Он быстро спустился вниз, включил вентиляцию и с трудом вытащил командира на мостик. На воздухе тот очнулся. Но так же, как недавно старшина, он сидел на мостике, вдыхая свежий воздух и еще не понимая, где он и что надо делать. Старшина оставил его приходить в себя и вынес наверх еще одного человека, без которого лодка не могла дать ход,— электрика, одного из троих, намеченных им для всплытия.

Наконец они смогли действовать. Командир приказал продуть главный балласт, чтобы лодка, окончательно всплыв, снялась с камней. Электрик, еще пошатываясь, прошел в корму, к своей станции, старшина — к своему трюмному посту. Он открыл клапаны, и глубомер пополз вверх. Когда он показал ноль, старшина доложил наверх, что балласт продут, и командир дал телеграфом «полный назад», чтобы отвести лодку от камней. Моторы зажужжали, но лодка почему-то пошла вперед и вновь села на камни. Командир дал «стоп» и крикнул вниз старшине, чтобы тот узнал, почему неверно дан ход.

Электрик стоял у рубильников с напряженным и сосредоточенным вниманием и смотрел на телеграф, ожидая приказаний.

— Тебе какой ход был приказан? — спросил его старшина.

— Передний,— ответил он.— Полной мощностью оба вала.

— Ты что, не очнулся? Задний был дан,— сердито сказал старшина.

— Да я видел, что телеграф врет,— сказал электрик спокойно.— Как же командир мог задний давать? Сзади же у нас фашисты. Мы только вперед можем идти. В море.

Он сказал это с полным убеждением, и старшина понял, что тот все еще во власти бензинного бреда. Заменить электрика у станции было некем, а ждать, когда к нему вернется сознание полностью, было нельзя. Тогда старшина прошел на мостик и сказал капитан-лейтенан-

ту, что у электрика в голове шарики вертятся еще не в ту сторону, но что хода́ давать можно: он сам будет стоять рядом с электриком и посматривать, чтобы тот больше не чудил.

Лодка вновь попыталась сняться. Ошибка электрика поставила ее в худшее положение: главный балласт был продут полностью, и уменьшить ее осадку было теперь уже нечем, а от рывка вперед она плотно засела в камнях. Время не терпело, рассвет приближался. Лодка рвалась назад, пока не разрядились аккумуляторы.

Но за это время воздух, гулявший внутри лодки, и вентиляция сделали свое дело. Краснофлотцы приходили в себя. Первыми очнулись те упорные подводники, которые потеряли сознание последними. За ними, один за другим, вставали остальные, и скоро во всех отсеках началось движение и забила жизнь. Мотористы стали к дизелям, электрики спустились в трюм к аккумуляторам, готовя их к зарядке. Держась за голову и шатаясь, прошел в центральный пост боцман. У колонки вертикального руля встал рулевой. Что-то зашипело на камбузе, и впервые за долгие часы подводники вспомнили, что, кроме необходимости дышать, человеку нужно еще и есть.

Среди этого множества людей, вернувших себе способность чувствовать, думать и действовать, совершенно затерялся тот, кто вернул им эту способность.

Сперва он что-то делал, помогал другим, но постепенно все больше и больше людей появлялось у механизмов, и он чувствовал, будто с него сваливается одна забота за другой. И когда наконец даже у трюмного поста появился краснофлотец (тот, кого он когда-то — казалось, так давно! — пытался разбудить) и официально, по уставу, попросил разрешения стать на вахту, старшина понял, что теперь можно поспать.

И он заснул у самых дизелей так крепко, что даже не слышал, как они загрохотали частыми взрывами. Лодка снова дала ход, на этот раз дизелями, и винты полными оборотами стащили ее с камней. Она развернулась и пошла к выходу из бухты. Дизеля стучали и гремели, но это не могло разбудить старшину. Когда же лодка повернула и ветер стал забивать через люк отработанные газы дизелей, старшина проснулся. Он потянул носом, выругался и, не в силах слышать запах, хоть в какой-нибудь мере напоминающий тот, который долгие шестна-

дцать часов валил его с ног, решительно вышел на мостик и попросил разрешения у командира остаться.

Тот узнал в темноте его голос и молча нашел его руку. Долго, без слов, командир жал ее крепким пожатием, потом вдруг притянул старшину к себе и обнял. Они поцеловались мужским, строгим, клятвенным поцелуем, связывающим военных людей до смерти или победы.

И долго еще они стояли молча, слушая, как гудит и рокочет ожившая лодка, и подставляли лица свежему, вольному ветру. Черное море окружало лодку тьмой и вздыхающими волнами, оберегая ее от врагов.

Потом старшина смущенно сказал:

— Конечно, все хорошо получилось, товарищ капитан-лейтенант, только неприятность одна все же есть...

— Кончились неприятности, старшина,— сказал командир весело.— Кончились!

— Да уж не знаю,— ответил старшина и неловко протянул ему часы.— Часики ваши... Надо думать, не починить... Стоят...

1942

„2-У-2"



коде дружеских позывных под этим наименованием числились в эскадрилье младшие сержанты Усков и Уткин. Прозвище это родилось под крылом самолета, в ожидании боевого вылета. Кто-то спросил:

— А вот еще загадка — как вернее говорить: «стрижка и брижка» или «стритье и бритье»?

— Старо! — закричали все.

— Тогда поновее: «Усков и Утков» или «Ускин и Уткин»?

— Проще: «два-У-два»,— густым басом сказал штурман эскадрильи, и всем это понравилось, даже самим сержантам.

До сих пор их звали «тиграми», что их сердило,— прозвище «тигры» имело свою историю, вспоминать которую они не любили. «Два-У-два» звучало несколько по-цирковому, но очень верно определяло их специальность, подчеркивало их неразрывную дружбу и не задевало самолюбия. Оба они были летчиками, настоящими боевыми летчиками, хотя каждому из них было неполных девятнадцать лет.

Девятнадцать лет... Удивительный возраст! Силы твои еще незнакомы тебе самому, и ты уверен, что можешь совершить много, над чем человек постарше призадумается. Сердце еще горячо, как неостывшая сталь отливки,

и силы вскипают, ища выхода в действии. И всё — наружу, всё — на воле: любовь, отвага, гнев, ненависть — все чувства видны в блистающих глазах и стремительных поступках.

До того как получить самолет, Павел Усков и Иннокентий Уткин два месяца томились в аэродромной команде, и два месяца подряд они ходили то к майору, то к военкому, говоря все одно и то же: оба пришли сюда добровольцами, до призыва, оба — комсомольцы, оба имеют диплом пилота, полученный в осоавиахимовском клубе, и за обоими уже по шесть самостоятельных вылетов. Следовательно, им надо немедленно дать по боевому самолету. И всякий раз военком терпеливо разъяснял им, что каждый должен воевать на своем посту, что «вывозить» их на боевом самолете сейчас не время и не место и что он с охотой пошлет их в школу. Майор же сухо и коротко отсылал их на аэродром и однажды, потеряв терпение, пообещал посадить их под арест за обращение к нему не по команде. Они вышли из землянки штаба строевым шагом, в ногу, молча. И только у самых мастерских Уткин мрачно сказал:

— Добились, пилот Усков... Люди воюют, а мы, того гляди, присядем.

— Вынужденная посадка,— бодро ответит тот.— Взлетим еще, пилот Уткин!

— Пожалуй, не взлетим, а вылетим: из эскадрильи в пехоту,— махнул рукой Уткин.

Однако, видимо, несмотря на угрозу «вынужденной посадки», Ускову удалось поднять упавший дух друга, потому что, дав командованию недельку передышки, оба вновь предстали перед военкомом и майором. На этот раз они просили не два, а всего один самолет, и каждый из них просил его не для себя, а для друга. Это был тактический ход, придуманный Усковым, и оба сошлись на том, что ход этот гениален.

— Пилот Уткин, товарищ майор, в аэроклубе был отличником,— докладывал Усков.— У него в Симферополе мать и сестра остались... так что, понятно, драться он будет хорошо...

Уткин, наклонившись к военкому, между тем негромко говорил:

— Павка, то есть пилот Усков, товарищ батальонный комиссар, летает прямо классно... Два брата на фронте... танкисты... Мы хотели просто в окопы проситься, но ка-

кой же смысл? Усков один с воздуха больше набьет, верно же, товарищ батальонный комиссар? Это же простой расчет...

— Кого бы из нас вы ни выбрали, товарищ майор,— закончил Усков, выпрямляясь,— оба мы будем драться, не щадя жизни.

— Как тигры,— добавил Уткин.

— Какие тигры? — спросил майор сердито.

Уткин опешил:

— Обыкновенные, товарищ майор...

— А вы тигров в воздухе видали? Мелете, сами не знаете что...

Майору было не до юнцов с их просьбой. Утром со вторым звеном не вернулся Савельев, а Панкратов едва довел свой самолет, получив два ранения. Это было в дни первого натиска немцев на Севастополь, и самолеты эскадрильи день и ночь штурмовали на шоссе немецкие колонны, расстреливали врагов в окопах и возвращались на аэродром только за горючим и боеприпасами. Летчики вылетали на штурмовку по пять-шесть раз в день, сильно уставали, эскадрилья несла потери. Майор открыл уже рот, чтобы приказать не путаться тут под ногами, когда военком вдруг спросил Уткина:

— Так сколько у вас вылетов в клубе было?

— Шесть,— поспешно сказали оба враз.

— Шесть? — изумился военком.— Я думал, пять... Ну, коли шесть, ничего не поделаешь, придется подумать... Ну-ка, выйдите да обождите за дверью...

Он смотрел на них, хитро улыбаясь, и сердца комсомольцев дрогнули. Насмешка была очевидной. Они четко повернулись и вышли.

Минут пять они стояли у землянки в страшном волнении, без слов, только вытирая со лба пот. Наконец их позвали.

— Дадим вам самолет, один на двоих,— сказал комиссар серьезно.— В очередь будете летать, понятно?

— Понятно,— ответили оба, не понимая, откуда привалило им счастье. Но тотчас все стало ясно. Майор сказал, что он решил использовать для боевой службы учебный самолет У-2, который был в эскадрилье для связи и полетов в тыл,— как раз такой, на каком они учились в клубе. Им поручалось кидать по ночам на передний край немцев бомбы и гранаты. Военком подымется сейчас с каждым, проверит их летные качества, после чего им да-

дут минимальный срок на отработку ночных полетов и пошлют в боевой вылет.

— Только не деритесь вы там, как тигры,— хмуро закончил майор.— Тигр — животное трусливое. Он только голодный в атаку ходит, понятно?.. Сказали бы просто: будем драться, как комсомольцы, вот и было бы все ясно... Подумаешь — тигры!..

Друзья покраснели.

— Это они в газете вычитали,— пришел к ним на помощь военком.— Я и сам недавно где-то читал: «Наши крылатые соколы, как тигры, ринулись на фашистских гиен...» Прямо зоопарк, во как пишут!

Майор засмеялся — первый раз за день — и легонько подтолкнул военкома к двери:

— Ну, сажай своих тигров на самолет... Приду взглянуть...

Время было горячее, немцы окружали Севастополь, и дорог был каждый самолет, даже учебный. Мысль военкома понравилась майору, и он сам нашел время заняться с «тиграми» ночными полетами. Оба взялись за дело с удивившей его яростной страстностью, и скоро старенький учебный самолет, который в эскадрилье называли «телегой» или чаще «загробным рыданьем», неторопливо пошел на свою первую ночную «штурмовку». Его вел Усков, а на пустом сиденье второго летчика стояла корзина с малыми бомбами, с гранатами, «зажигалками» и пачками листовок.

И каждую ночь «загробное рыданье» стало ныть мотором над передним краем немцев, методически, с большими промежутками, швыряя в окопы гранаты и бомбы. Это, конечно, никак нельзя было назвать «штурмовкой», как гордо именовали свои рейсы Уткин и Усков. Но, как известно, и одинокий комар может быть причиной бессонной ночи. И немцы не спали, тревожно прислушиваясь к гуденью в темноте и время от времени получая на головы равномерно капающие с неба бомбы и связки гранат.

Оба «тигра» были теперь совершенно счастливы. На десятом боевом вылете им присвоили звание младших сержантов, и если бы не острое словечко, неизвестно как выпорхнувшее из землянки майора на простор аэродрома, все было бы отлично. Но это словечко — «тигры» — напоминало им о тех, казалось бы далеких, временах, когда оба они были желторотыми мальчишками.

Теперь они были взрослыми людьми, настоящими летчиками, делавшими суровое и серьезное дело длительной отваги, и романтическое представление о бое как о стремительном прыжке давно уже сменилось отчетливым пониманием, что война — это труд, постоянный, напряженный и опасный труд. Штурм захлебнулся, немцы закопались, не продвигаясь дальше, и каждую ночь, по очереди, один из друзей долгие часы гудел над немцами, дожидаясь неосторожно мелькнувшего в блиндаже огня, вспышки орудия, мерцающей очереди пулемета, чтобы кинуть туда с темной высоты небольшую, но злую бомбу.

Эта была точная, снайперская ночная работа. Днем «загробное рыданье» появляться над фронтом не могло, его сбил бы первый же «мессершмитт». Но ночью старый учебный самолет, ведомый юношей с крепкими нервами и с горячим сердцем, полным ненависти, был хозяином темноты над немецкими окопами. Немцы, не смея открыть на переднем крае прожекторов, били по нему наугад, по звуку мотора, тратя огромное количество пуль и снарядов. Порой он попадался в эту светящуюся сеть и тогда привозил в крыльях дырки. Друзья латали их вместе, и ночью их самолет вновь швырял свои бомбы надоедливо и размеренно, доказывая, что в войне всякое оружие хорошо, если умно и смело его применять.

Но, несмотря на то что Усков и Уткин завоевали себе общее уважение, «тигры» продолжали красться за ними по пятам и предварять собой всякое появление двух друзей: летчики любят шутку, веселый розыгрыш, и не использовать столь выгодного прозвища было просто невозможно. На аэродроме, у самолета, в мастерской друзья кое-как это терпели. Но в столовой...

— Дуся, тигры пришли, голодные, как крылатые соколы! — возглашал кто-либо, завидев их в дверях.— Готовьте добавку, Дуся!

Это было хуже всего, Дуся была буфетчицей, комсомолкой — и необыкновенной, единственной, замечательной, умной, отзывчивой... впрочем, ни к чему перечислять: пусть каждый припомнит все те качества, какие он в свои девятнадцать лет видел в девушке, в которую был влюблен, но помножит все это на два. Ибо влюблены в нее были оба и в разговорах о ней между собой, естественно, находили вдвое больше определений. Поэтому, когда «тигры» наконец были сданы в архив и на аэродроме появилось новое прозвище, оба почувствовали

необыкновенное облегчение: теперь и в глазах Дуси оба перестали быть мальчишками.

А это было очень важно. Дуся никак не хотела понять, что каждый из них давно (уже третий месяц!) видел, какой одинокой будет его дальнейшая жизнь, если Дуся не свяжет с его судьбой свою. Вопрос этот был глубоко прочувствован и решен каждым. Остановка была только за тем, с кем именно из системы «два-У-два» захочет она связать свою судьбу. Игра велась честно, без подсидки, оба провожали Дусю по очереди в свой «выходной день», и Дуся относилась и к тому и к другому одинаково дружески.

В этих прогулках получалось почему-то так, что каждый из друзей говорил не о себе, а об ушедшем на штурмовку друге, горячо расхваливая его. И Дуся, прислушиваясь к этому, очутилась перед железной необходимостью отдать свое сердце сразу всей системе «два-У-два» как неразрывному целому: выбора сделать не представлялось возможным. И может быть, бедное Дусино сердце не выдержало бы этого, если бы инстинкт самосохранения не подсказал ей спасительного выхода: Дуся влюбилась в третьего, и при этом — не в летчика, а в старшину второй статьи с крейсера, даже не очень часто заходившего в Севастополь. Таково девичье сердце в восемнадцать лет: дальнюю мечту оно предпочитает близкой реальности.

Первому узнать об этом привелось Павлу Ускову. Был тихий декабрьский вечер. Прозрачный и холодный воздух, странный для Крыма, был свеж, и Дусины щеки горели пленительным огнем. В первый раз Ускову захотелось говорить не об отваге и замечательных свойствах Кеши Уткина, а о самом себе. Но за пропускным пунктом в сумерках показалась высокая фигура в бушлате, Дуся с легким вскриком кинулась к неизвестному краснофлотцу, и черные рукава бушлата, скрестившись на ее спине, почти закрыли всю Дусю в поле зрения ошеломленного сержанта.

Такая горячая встреча была вполне естественна, потому что крейсера не было больше двух недель и о нем поговаривали разное.

Усков кинулся на аэродром. Сумерки сгущались, но Уткин еще не взлетал. Однако Усков нашел в себе достаточно мужества, чтобы не испортить другу его боевой вылет, и на вопрос его, почему он так рано вернулся,

сказал, что Дуся что-то устала и пристроилась на машину, идущую в город. Он проводил друга в воздух и остался ждать его на аэродроме.

Они провели бессонное утро во взаимных жалобах. К обеду оба уже удивлялись тому, что, собственно, они нашли в Дусе? Из обмена мнениями выяснилось с достаточной ясностью, что она всегда была девушкой бессердечной, пустой, лицемерной, жестокой, ничем не замечательной... впрочем, ни к чему перечислять: пусть каждый припомнит все те качества, какие он в свои девятнадцать лет обнаруживал в девушке, которая от него отвернулась, но помножит все это на четыре. Ибо оскорблены были двое, и каждый из них вдобавок был оскорблен за друга. Таково юношеское сердце в девятнадцать лет: с высот любви оно погружается в самые глубины презрения.

Но страдать было некогда: начался второй штурм Севастополя. Это не входило в планы друзей, потому что майор обещал как раз на этой неделе, пока в войне затишье, начать их тренировку на боевых самолетах. Теперь опять было не до того, и «два-У-два» продолжали по очереди вылетать на свои «штурмовки» переднего края, который они знали уже наизусть. И дружба, выдержавшая испытание любовью, крепла и закалялась в грозных испытаниях войны.

«Два-У-два» стали символом неразрывной, верной, мужественной дружбы.

Кольцо осады сжималось, аэродром оказался у самого переднего края обороны, и эскадрилья перешла на новое место, к самому берегу моря.

Это был аэродром, построенный в дни осады руками севастопольских горожан. Под обстрелом тяжелой артиллерии врага севастопольцы давно уже расчищали на мысу, врезавшемся в море, каменное поле — последний приют для самолетов на случай, если враг придвинется к городу. Они растаскивали огромные глыбы. Они ровняли твердые пласты скалистого мыса. Они взваливали убранный с поля камень на бревенчатые срубы капониров — укрытий для самолетов.

И поле и камень были здесь странного — кровавого — цвета.

Когда эскадрилья садилась на аэродром, был ясный солнечный день. Тесное каменное поле нового аэродрома красным клином врезалось в яркую синеву зимнего моря,

и красные каменные громады капониров высились на поле, подобные странным памятникам седой древности, похожие на первобытные храмы, сложенные руками великанов. Но сложили их не великаны; это сделали севастопольские мужчины и женщины, старики и подростки.

В чистом и прозрачном воздухе красный и синий цвета блистали всей ясностью тонов, и мужественное, строгое их различие было сурово, торжественно и напряженно. Ничто не унижало этой мужественной строгости картины, ни один невнятный, вялый полутон. Все было ясно и четко.

Тени были черны мрачной чернотой, напоминающей о грозной туче, нависшей над городом-воином. Камни были красны яркой алостью крови, как будто они впитали в себя благородную кровь его защитников. Море и небо синели пронзительной, освежающей душу, чистой, первозданной синевой, великим спокойствием простора, свободы и надежды. И солнце, вечное, бессмертное солнце, сияло в небе, отражалось в море и освещало красный камень. Добродушное, горячее крымское солнце отдыха и здоровья было теперь строгим и холодным светилом мести.

Так виден был с воздуха этот удивительный аэродром, памятник, воздвигнутый севастопольцами самим себе,— памятник мужества и упорства советских людей, решившихся биться до конца за город доблести, верности и славы: траур, кровь, надежда и месть.

Едва эскадрилья села, над полем взвилась ракета. В красных каменных ульях, раскиданных по нему, зажужжали потревоженные пчелы. Гудя, они высовывали из груды камней свои широкие серебряные головы, поблескивая стеклянными глазами и как бы озираясь. Потом они вытягивали все свое длинное крепкое тело, расправляя жесткие, сверкающие крылья, и с мстительным, злым гуденьем взвивались в синее небо. Бомбардировщики пошли на очередной бомбовый удар.

Друзья, первый раз летевшие вместе на своем «загробном рыданье», с завистью проводили их глазами и, вздохнув, повели своего «старичка» на край аэродрома. Укрытия для него не нашлось, и первое, чем занялись «два-У-два», была постройка капонира. Забота о своем самолете еще более сблизила их, но, как ни странно, именно здесь, на аэродроме славы, в тяжкие дни второго

штурма, система «два-У-два» потерпела серьезную аварию.

Это была не ссора. Это был разрыв. И хуже всего было то, что это произошло на глазах большого начальника, прилетевшего из Москвы.

Генерал осматривал новый аэродром, обходя капониры. В эскадрилье майора он поинтересовался, где прославленное «загробное рыданье», слух о подвигах которого дошел и до него, и где эти «два-У-два», которых ставят в пример дружбы. Он наклонился к майору и сказал, что ребят пора представить к награде, и на нее не скупиться, и что им следует дать боевые самолеты.

В этом разговоре они дошли до укрытия. Здесь было тихо, гуденье взлетающих самолетов доносилось едва слышно. И в этой тишине генерал услышал раздраженные голоса и брань.

— Ты подхалим, понимаешь? Подхалим и пролаза, понятно? — кричал один голос.— За такое дело тебе ряшку на сторону своротить не жалко, понятно?

— А ты завистливый дурак, понятно? — перекрикивал второй голос.— Подумаешь, крылатый тигр!.. Задаешься, а не с чего! Что я тебе — докладывать должен? Я летчик, меня и послали...

— Ты летчик? Ты черпало, а не летчик, вот ты кто!

— А из тебя и черпалы не выйдет! Тебе и на подхвате стоять ладно!

Генерал быстро зашел за угол капонира и во всей красе увидел знаменитую систему «два-У-два».

Система явно сломалась. Сержанты стояли красные, злые, смотря друг на друга бешеными глазами, сжимая кулаки. И драка, вероятно, состоялась бы, если бы майор (едва удержавшись, чтобы не схватиться в отчаянии за голову) не окликнул их по фамилиям. Они повернулись, тяжело дыша, с трудом скрывая ярость, и стали «смирно».

— Это и есть «два-У-два»? — спросил генерал, пряча улыбку.— Ничего себе дружба у вас в эскадрилье. А звону развели... До самой Москвы... Это петухи какие-то, а не летчики...

Все молчали, и только тяжело дышали оба «петуха».

— Объяснить можете, товарищ майор? Нет?.. Тогда вы, сержанты. В чем дело?

Вперед выступил Уткин, и, когда он, волнуясь, заговорил, майор с изумлением увидел перед собой не сер-

жанта, отважного и спокойного летчика, а обыкновенного мальчишку-школьника, чем-то изобиженного до слез. Слезы и вправду стояли в его глазах. Он путано рассказал, что в прошлую ночь была его очередь лететь на бомбежку, но Усков «забежал» к майору, наговорил тому, что нашел минометную батарею и что нынче лучше лететь ему, потому что рассказать, где она, трудно и Уткин ее не найдет,— словом, Усков полетел вчера не в очередь... Уткин стерпел, одна ночь не в счет. Но сегодня-то уж его очередь лететь! А Усков опять нахально говорит, что полетит снова он, потому что он, мол, не виноват, что его послали вместо Уткина... И вообще Усков подхалимничает перед командованием, выпрашивает себе поручения, и это не по-товарищески, не по-комсомольски, это...

— Довольно,— сказал генерал хмуро.— Что ж, товарищ майор, раз они самолет поделить не могут, снимите их с полетов совсем. Война идет, а они склоками занимаются...

Лица обоих вытянулись, и Уткин сделал еще шаг вперед.

— Это же не склока, товарищ генерал-майор,— сказал он в отчаянии.— Разрешите доложить.

— Ну, докладывайте,— по-прежнему хмуро сказал генерал.

Но это не был доклад. Это был страстный крик горячего юношеского сердца. Кипящее отвагой и стремлением в бой, полное ненависти к врагу, сжигаемое жаждой мести и уязвленное обидой, оно раскрылось перед командирами во всей своей пленительной, трогательной, несколько смешной, но покоряющей красоте. Оно было еще горячо, как неостывшая сталь отливки, силы в нем бурлили, ища выхода в действии, и все в нем было наружу, все — на воле: отвага, гнев, обида и страсть... Девятнадцать лет! Удивительный возраст...

Генерал слушал его прерывистую речь, смотрел в его глаза, в которых читал больше, чем мог рассказать это Уткин,— и всепобеждающая, огромная сила юности, в гневе схватившейся за оружие и не желающей уступать его никому, всколыхнула и его сердце. Он поймал себя на том, что хочет тут же обнять этого юношу, как сына, и негромко, в самое ухо сказать: «Хорошо, сынок, хорошо... Зубами держись за каждую возможность уйти в бой, никому не уступай права бить врага, никому... Сам бей,

пока молодо сердце, пока руки крепки... Хорошо, сынок, хорошо!»

Но он опустил глаза, в которых Уткин, казалось, уже видел сочувствие и понимание, и сухо сказал:

— Понятно. А в драку младшим командирам лезть не годится.

Он помолчал и вдруг закончил:

— А теперь помиритесь. При мне.

«Два-У-два» мрачно посмотрели друг на друга. Потом Усков, поколебавшись, первый протянул руку. Уткин, помедлив, взял ее. Но лица обоих были такие кислые, что командиры невольно отвернулись, чтобы скрыть улыбку, а генерал махнул рукой:

— Петухи!.. Ну, что ж... Самолет мы у вас отнимем. Подумайте на досуге. Может, помиритесь...

И самолет у них точно отняли. Правда, вместо него каждый из них получил по штурмовику, а оба вместе — новое прозвище «петухи». Оно было вернее, ибо система «два-У-два» уже оказалась ненужной: каждый летал на своем самолете, рядом с другим, в одном звене.

Но все же, однако, «два-У-два» еще раз прозвучало на каменном аэродроме. Это случилось весной. На фронте опять было затишье, но «петухи» исправно вылетали всякий день на штурмовку немецких окопов — теперь уже днем, при солнце, поливая врагов из пушек и пулеметов. Из одной такой штурмовки Уткин не вернулся.

Усков доложил майору, что Уткина, очевидно, подбили снарядом, потому что он задымил и резко пошел к морю. Пойти за ним было нельзя — надо было еще поддерживать нашу контратаку. Удалось заметить, что он тянул к той косе, что слева за высотой 113,5 и где немцев нет. Если послать туда самолет, есть шанс поднять его раньше, чем туда доберутся немцы, которые, несомненно, кинутся за самолетом.

Усков доложил еще, что косу эту он знает. На ней нельзя сесть ни штурмовику, ни истребителю — мала площадка. Он попросил разрешения слетать за Уткиным на У-2, которому места там хватит и для посадки и для взлета. Майор разрешил.

И снова старый самолет почувствовал руку одного из своих прежних хозяев. Он послушно повернул к морю,— Усков решил идти низко над водой, чтобы не быть замеченным истребителями. Над морем мотор начал фыр-

кать, чего он никогда себе раньше не позволял, когда был в их руках и когда знал настоящий уход и заботу.

Скоро показалась коса. Самолета на ней не было, не было видно и людей.

Усков сел и остановил мотор, чтобы не привлечь немцев шумом, и прислушался. Сумерки сгущались, каменные скалы нависали над косой таинственно и мрачно.

Он негромко крикнул:

— Кеша! Живой?

И тогда из расщелины скалы вылез Уткин, в мокрой одежде, таща за собой резиновую камеру от колеса.

— Павка? — сказал он.— Я и то подумал: какой чудак тут на телеге садится? Спасибо.

— Потом спасибо скажешь, крутани винт, а то застукают,— торопливо сказал Усков.

— Никого тут нет. Были бы, убили бы. А я, видишь, живой. Только мокрый. Я, понимаешь, самолет в воду грохнул, чтоб не доставался.

Он повернул винт, но мотор не заводился.

Добрый час оба летчика бились с мотором, вспоминая его капризы. Но старый самолет, когда-то не знавший отказа, видимо, в чужих руках одряхлел. Мотор так и не заводился.

Они присели на берегу. Было почти темно. Уткин сказал:

— Значит, Павка, все одно придется вплавь.

— Далековато, пожалуй,— сказал Усков.— И вода холодная.

— В море подберут. И у меня камера есть.

— Нырял?

— Ага. Вспомнил, что запасная в кабинке была... На камере-то доплывем?

— Пожалуй, доплывем,— сказал Усков.— Ну, так поплыли!

Они надули камеру и вошли в воду. Вода была нестерпимо холодная, а раньше утра их вряд ли могли подобрать. Они плыли больше получаса, потом Усков выругался:

— Кеша, что же мы «загробное рыданье» не сожгли? Починят немцы. Что ни говори, машина боевая...

Уткин выругался тоже.

— Поплыли обратно,— сказал он.— До рассвета далеко, успеем отплыть еще.

И они повернули к берегу. Едва они вышли из воды, их сразу охватил озноб.

— Согреемся, как загорится, и поплывем,— сказал Уткин и собрался открыть бензокран. Но Усков его остановил:

— Крутанем еще на счастье?

Уткин повернул винт, и по четвертому разу мотор загудел. Уткин быстро вскочил в кабину и крикнул в самое ухо Ускова:

— Да здравствует «два-У-два»!

— Долой «петухов»! — ответил Усков и дал полный газ.

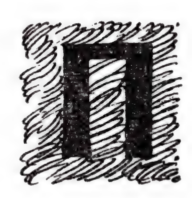
«Загробное рыданье» затарахтело в темноте и покатилось к морю, но, чутьем угадав воду, Усков поднял в воздух старый самолет, свидетеля боевой славы, мальчишеской ссоры и новой — взрослой, крепкой, воинской дружбы двух морских летчиков, каждому из которых было девятнадцать лет.

Девятнадцать лет! Удивительный возраст...

1942

Одно желание

1



од Одессой у моряков, сошедших с кораблей на берег для смертного боя, я встретил восьмилетнего мальчика с синими глазами. Ясные и открытые, они смотрели на мир со всей чистотой младенчества — любопытно и жадно. Он был сыном морского полка. Его подобрали в той деревне, откуда недавно выгнал фашистов короткий и страшный матросский удар. Ему справили ладный бушлатик, подогнали бескозырку и дали трофейный кинжал. Он совался не в свои дела, шалил, бегал, подбирал гранаты и патроны — настоящий ребенок своего возраста.

Но порой он садился у орудия, охватывал колени и замирал. И синие его глаза останавливались, и смертный взрослый ужас стоял в них неподвижно и холодно. Так холодно, что в первый раз, когда я это увидел, дрожь пробежала у меня по спине. Тогда капитан тотчас подходил к нему и, нежно приподымая, прижимал его к себе. Мальчик всхлипывал и рыдал, и скоро детские слезы вымывали из синих глаз ужас.

Эти синие глаза видели, как люди в чужой форме привязали его отца, председателя колхоза, к двум танкам и разорвали пополам.



Горе стоит над миром. Огромное человеческое горе тяжкой пеленой обволакивает земной шар. Он в огне. Жадное пламя войны перебрасывает языки через океаны, лижет материки и острова, пылает на экваторе и бушует у полюса.

Горе стоит над миром. Пылающий, стонущий, перемазанный кровью и облитый слезами старый земной шар вкатывается в Новый год. Миллионы раз начинала Земля свой очередной оборот вокруг Солнца. Но с тех пор когда люди стали вести счет этим оборотам, назвав их годами, никогда еще не несла на себе Земля столько человеческого горя.

Были мировые катаклизмы. Сползали с гор ледниковые поля, раздавливая целые племена. Проваливались в океаны материки, унося с собой целые народы. Но сама слепая стихия не причиняла человечеству столько страданий, сколько рождено их сейчас злой волей людей, стремящихся к мировому господству.

В день Нового года первым моим словом было проклятье. Проклятье тем, кто поджег земной шар, кто подготовил и начал эту войну, кто вселил ужас в синие детские глаза.

Если бы я мог собрать в один образ, в одно слово все человеческое горе, порожденное фашизмом, все стоны и вопли, все жалобы на сотне языков, все слезы, страдания и молчаливые безумные взгляды, все последние короткие вздохи предсмертья, всю горечь расставания с жизнью, весь ужас потери близкого человека, все разрушенные фашизмом мечты — от большого замысла ученого до обыкновенной человеческой тоски по любимым губам, по родному теплу, все уничтоженные войной плоды человеческого труда — от огромного Днепрогэса до наивной авиамодели, сделанной детскими руками и раздавленной сапогом фашистского солдата, если бы собрать все страшные уходы с родных полей, от хат, заводов, городов, все поруганные девичьи тела, разбитые головы младенцев, седые бороды, залитые кровью, и показать тем, кто облек земной шар в этот кровавый и слезный туман...

Но к чему?

Зверь и тот сошел бы от этого с ума. Эти люди не сойдут. Им не с чего сходить. В них нет ни человеческого

ума, ни сердца. Сталь топора не чувствует, что она крушит живую ткань и обрывает человеческую жизнь.

Машина, сошедшая с ума, не была бы страшнее этих людей: у нее было бы меньше выдумки. Она бы просто убивала.

Оставим проклятья. Они бесполезны.

3

Группа больших советских военачальников пробиралась к осаждаемому фашистами городу. Рельсы оказались взорванными авиабомбой. Пришлось идти три километра, чтобы за мостом найти другой паровоз. Железнодорожная бригада отдала генералам свои пальто и кепки. «Так будет получше,— сказали они,— того и гляди, из-за леса выскочит штурмовик, увидит форму...»

На мосту стоял часовой — обыкновенный русский старик с седой бородой, с нависшими лохматыми бровями. Винтовку он держал на ремне, словно собравшись на охоту. Разводящий, тоже партизан, в ватнике и в картузе, дал ему знак — пропустить. Старик молча сделал шаг влево. Старший из военачальников, проходя, обратился к нему:

— Мост охраняешь, дед?

Старик покосился на него.

— Стою.

— Как у вас тут фашисты — нагадили здорово?

— Порядочно.

— Что ж, дед, придется тряхнуть стариной, наказать их, как бывало, а?

Старик обвел всех взглядом. Узнал ли он под кепкой машиниста живые и веселые глаза нестареющего воина, которого знала вся страна,— понять было нельзя. Ничего не изменилось ни в его тоне, ни в позе, когда он ответил:

— Нет. Изничтожить придется.

И, опять помолчав, добавил:

— Раздать нам каждому по одному. Лют на них народ.

И он отступил еще шаг, открывая дорогу и давая понять, что высказался полностью.

4

Кто хоть краем глаза видел сгоревшие города, взорванные заводы, гибнущие поля и виноградники, кому встречались на шоссе молчаливые волны беженцев, кто видел опозоренных тринадцатилетних девочек и повешенных стариков, кому хоть раз доводилось привозить известие о гибели сына, мужа, брата, кто опускал в могилу боевого товарища — смелого, веселого красавца, которому жить бы да жить, любить да трудиться,— тот всем сердцем поймет слова старика.

Синие детские глаза, расширенные ужасом, стоят передо мною, когда я подвожу итог кончившемуся году и думаю о том, что́ важнее всего пожелать на Новый год.

Было время — в этот новогодний вечер у миллионов людей были миллионы пожеланий. Каждый искал свою заветную мечту, тайное желание, самое дорогое устремление. Нынче человеческие судьбы слились в одно. Одно горе, одна беда. И одна причина. И одна ненависть. И одно желание: разгром врага.

Разгром фашистских полчищ — это облегченный вздох человечества. Это — миллионы сохраненных жизней. Это — конец кошмара, которым долгие годы мучается земной шар, не в силах проснуться.

Разгром врага — это соединение семей, это улыбки детей, свободный труд, восстановление ценностей, нужных человеку для жизни. Это — свет, воздух, вода, счастье, это — жизнь!

Не вернуть нам погибших братьев наших, отцов, сынов и мужей, отдавших жизнь в боях за Родину, за свободу советских народов. Но если что-нибудь может смягчить тяжкое горе — это только разгром врага, с которым они бились: значит, недаром пролили они драгоценную для нас кровь — она смывает с земного шара ползучую паршу фашизма и очищает мир для новых поколений свободных людей.

31 декабря 1941 г.

Содержание

Моря и океаны 7
Перстни 39
Первый слушатель 69
Экзамен 88
Англичанин 104
Рассказы капитана 2-го ранга В. Л. Кирдяги, слышанные от него во время „Великого сиденья“ . . 132
Рождение командира 252
„Ответ врагу“ 262
Третье поколение (Из фронтовых записей) 267
Все нормально 297
Крошка 306
Грузинские сказки 316
Топовый узел 323
Своевременно или несколько позже... 353
Ночь летнего солнцестояния . . . 360
Голубой шарф 377
„Черная туча“ (Из фронтовых записей) 383
Соловей 394
Парикмахер Леонард 397
Разведчик Татьян 400

В лесу 406
Невеста 412
Морская душа (Из фронтовых записей) 419
Батальон четверых 443
Воспитание чувства 452
Держись, старшина... 463
«2-У-2» 476
Одно желание 489

Леонид Сергеевич Соболев

МОРСКАЯ ДУША

Рассказы

Редактор **М. Филатова**
Художник **Е. Ганушкин**
Художественный редактор **Б. Мокин**
Технический редактор **Л. Анашкина**
Корректоры **О. Голева, Н. Попикова, Н. Саммур**

Сдано в набор 24/I-1975 г. Подписано к печати 25/III 1975 г. Формат изд. $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага тип. № 1. Печ. л. 15,5+вкл. Усл. печ. л. 26,15. Уч.-изд. л. 26,47. Тираж 300 000 экз. Заказ № 1853. Цена 1 р. 08 к.

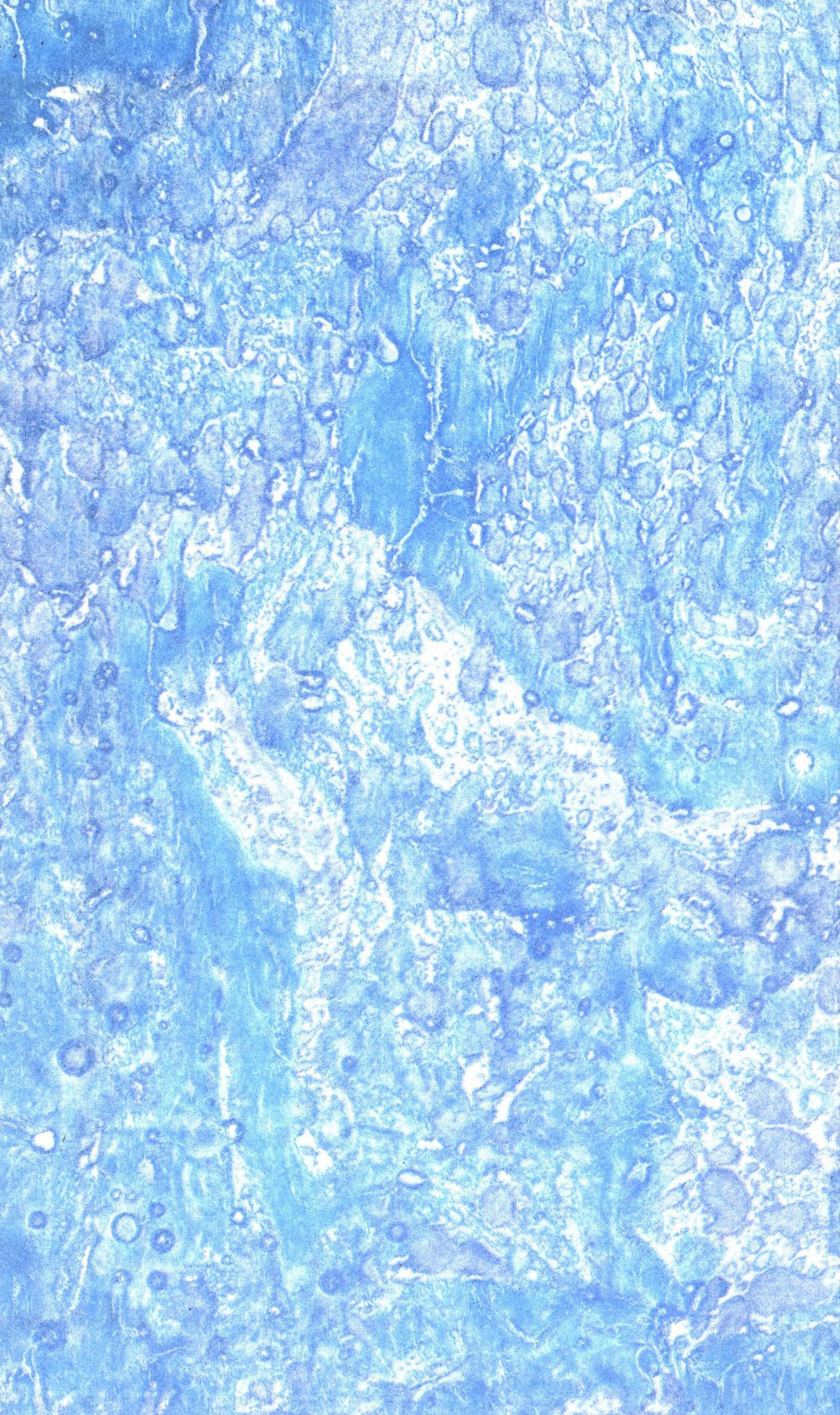
Издательство «Современник» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

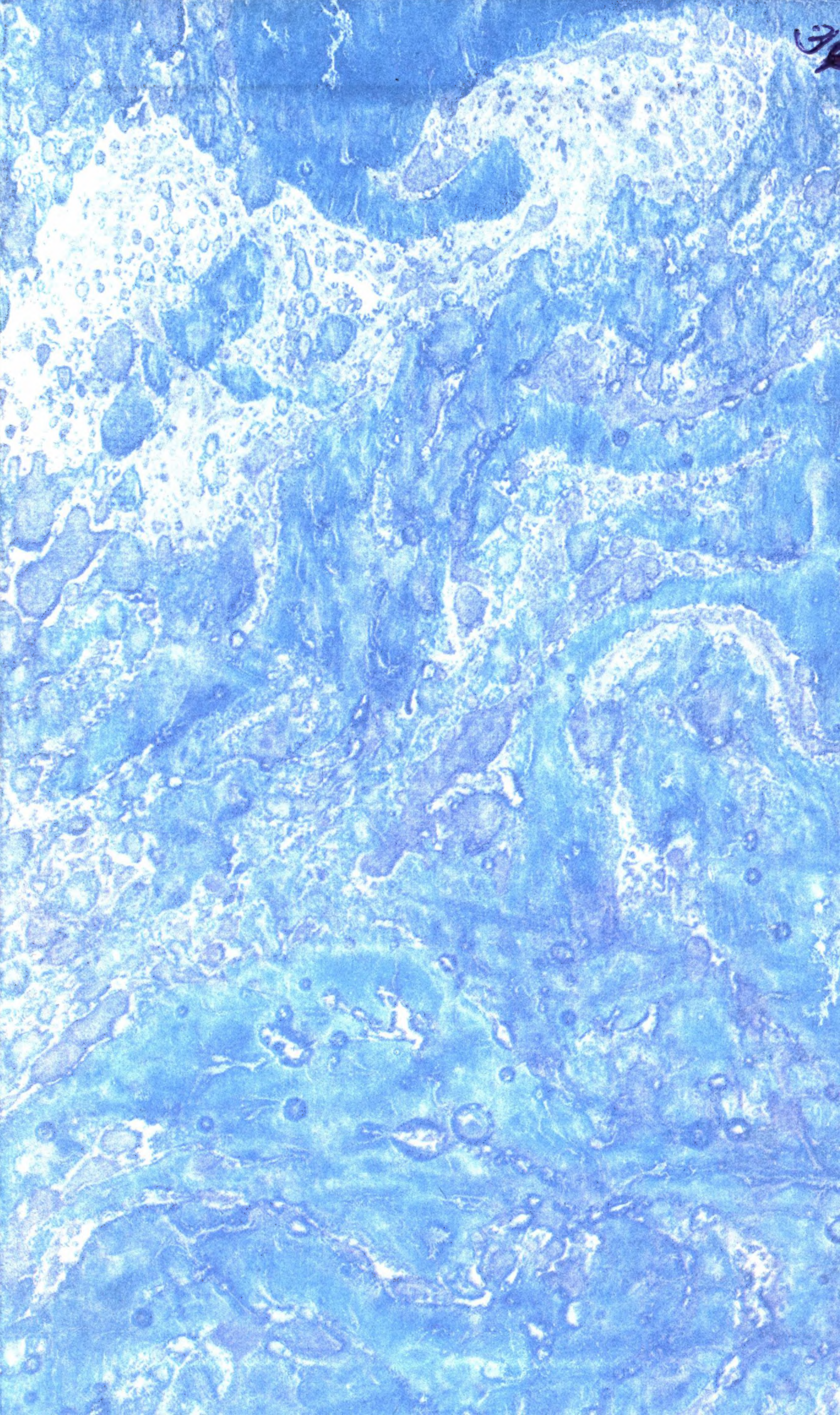
Полиграфкомбинат им. Я. Коласа Государственного комитета Совета Министров БССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
Минск, Красная, 23

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Просим свои отзывы о книге — ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении — направлять по адресу:

121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4
Издательство «Современник»





1 р. 08 к.


Морская душа
ЛЕОНИД СОБОЛЕВ